ФРАНЦ КАФКА

замок
превращение



Замок
Франц Кафка

Аннотация
Франц Кафка. ЗАМОК
Франц Кафка: созерцание сна. (Александр Белобратов)
Замок
1. Прибытие
2. Варнава
3. Фрида
4. Первый разговор с трактирщицей
5. У старосты
6. Второй разговор с трактирщицей
7. Учитель
8. В ожидании Кламма
9. Борьба против допроса
10. На дороге
11. В школе
12. Помощники
13. Ханс
14. Упрек Фриды
15. У Амалии
16
17. Тайна Амалии

18. Кара для Амалии
19. Прошения
20. Планы Ольги
21
22
23
24
25

Аннотация

В настоящий том вошли роман Кафки «Замок», признанный одной из главных книг XX столетия, и сборник его рассказов.

Франц Кафка
ЗАМОК

Франц Кафка: созерцание сна
(Александр Белобратов)

В немецкоязычной литературе мало писателей, которые по своей популярности во всем мире могли бы сравниться с Францем Кафкой (1883–1924). Из восемнадцатого века, к примеру, известны имена Гете и Шиллера (первого почитают как немецкого классика № 1, второго давно перестали читать). Век девятнадцатый представлен Гейне (его сумасшедшая известность в России закончилась несколько десятилетий назад и ограничивается теперь школьной программой, а его место самого переводимого на русский язык немецкоязычного поэта занял австриец и пражанин Рильке) и Гофманом, до сих пор, пожалуй, самым любимым «русским» автором из немецкой классики. Двадцатый век дал нам Томаса Манна, чтение интеллектуальной прозы которого нередко выглядит своего рода «налогом на интеллигентность», и Стефана Цвейга, писателя обо всем, для всех и на все времена. Брехт, по всей видимости, исчезает и со сцены, и из памяти читающей публики. А вот Франц Кафка,

еще тридцать с небольшим лет назад мало кому доступный (не было переводов, а единственное книжное издание 1965 г. стоило «из-под полы» половину месячной зарплаты) и почти неизвестный, в России последнего десятилетия стал самым издающимся и, смею надеяться, самым читаемым автором[1].

О книгах и судьбе немецкоязычного еврея, пражанина и подданного Австро-Венгерской монархии Франца Кафки написано много. Обстоятельства его биографии подробно и не один раз изложены в статьях, книгах, справочниках и энциклопедиях. Биография, надо сказать, мало чем примечательная: гимназия, юридическое образование в Пражском университете, 15 лет службы в страховых конторах. Семьи не завел, хотя был трижды обручен. Профессиональным писателем никогда не был, работал над своими произведениями по ночам. Писательство воспринимал и как дьявольское наказание, и как единственную форму подлинного существования. Последние десять лет жизни были омрачены тяжелой болезнью — туберкулезом легких, ставшим в конце

[1] Примечания: 1.1

К наиболее основательным публикациям произведений Кафки относится 4-томное собрание его сочинений, вышедшее в С.-Петербурге в 1999 г. (составитель — Е. А. Кацева).

концов причиной смерти.

Франц Кафка — классик литературы XX столетия. Западная проза в своих классических образцах (Марсель Пруст, Томас Манн, Джеймс Джойс, Владимир Набоков) тесно связана с литературной традицией, с плотной «интертекстуальностью». Виртуозность в обращении с предшествующим культурным материалом рассчитана на особого читателя, на умение проникнуть в утонченную литературную игру, оценить ее многообразие и принять в ней посильное участие. Франц Кафка также работает с мифологическим и литературным материалом, однако сюжеты и имена, к которым он обращается, вполне расхожи и доступны самому непритязательному читателю. Магия творчества Кафки связана с другим — с его доступной недоступностью, откровенной загадочностью, понятной непостижимостью (притча «Прометей»). И в этом качестве Кафка сродни безымянным творцам прамифов, черпавших материал из своего непосредственного окружения, из самых достоверных, внешне объяснимых и очевидных, но внутренне загадочных и многозначных историй, событий и фактов. Мифологизация обыденного, прозрение и обозначение архетипических структур в сфере

подсознательного — одна из сторон творческого поведения Кафки, на которую многие, писавшие о нем, обращали внимание.

О Кафке — певце отчуждения и одиночества, о пророке, предсказавшем ужасы тоталитарного устройства социального организма, сказано также достаточно. В некоторых работах о нем его творческая манера предстает и как своего рода отсутствие всякой художественности, как прямая запись его «видений» и сновидений. Внешний и психологический биографизм в понимании его прозы — наиболее распространенный и, на наш взгляд, мало что объясняющий подход. Художник творит свои фикциональные миры из материала, непосредственно ему доступного. Однако проходит время, материал этот перестает для читателя другой эпохи что-либо значить, и что же остается?

Остается поэзия, искусство, искусность художника, его умение ввести читателя в по сути далекие от нас и чуждые миры, превратить их в миры узнаваемо-близкие и болезненно-остро воспринимаемые.

В декабре 1914 г. Кафка делает в своем дневнике запись о «лучшем из того, что мною написано: во всех сильных и убедительных местах речь

всегда идет о том, что кто-то умирает, что ему это очень трудно, что в этом он видит несправедливость по отношению к себе или, по меньшей мере, жестокость; читателя, во всяком случае так мне кажется, это должно тронуть. Для меня же… такого рода описания втайне являются игрой, я даже радуюсь возможности умереть в умирающем, расчетливо использую сосредоточенное на смерти внимание читателя, у меня гораздо более ясный разум, нежели у него, который, как я полагаю, будет жаловаться на смертном одре, и моя жалоба поэтому наиболее совершенна, она не обрывается внезапно, как настоящая жалоба, а кончается прекрасной и чистой нотой, подобно тому как я всегда жаловался матери на страдания, которые были далеко не такими сильными, какими они представали в жалобе. Правда, перед матерью мне не требовалось столько искусности, сколько перед читателем».

Игровое, даже актерское начало искусства автор осознает достаточно отчетливо, и, как еще в 1951 г. писал Гюнтер Андерс, «ни один из его образов, даже самых абсурдных, не производит случайного впечатления». Кафка вырабатывает достаточно точную стратегию письма, которая позволяет ему с помощью особой, иной образ-

ности воздействовать на читателя предельно интенсивно, завлекая его «в клетку одиночества».

Когда готовилось отдельное издание самой знаменитой новеллы Кафки «Превращение», автор писал издателю по поводу предполагавшихся иллюстраций к книге: «Мне пришло в голову, что художник захочет нарисовать само насекомое. Этого делать не надо, прошу Вас, не надо! Само насекомое изображать нельзя. Его нельзя нарисовать даже на дальнем плане… я бы выбрал такие сцены: родители и банковский управляющий перед закрытой дверью, а еще лучше — сестра в освещенной комнате перед раскрытой дверью, ведущей в совершенно темное соседнее помещение». Это замечание Кафки важно не только для его понимания роли иллюстраций в литературном тексте. Оно может послужить объяснением и некоторых аспектов поэтологического «расчета» и «искусности» австрийского писателя.

Почему же нельзя, по Кафке, изобразить насекомое? Писатель следует здесь одному старинному приему, восходящему к гомеровскому эпосу: в «Илиаде» поэт не изображает волшебные прелести Елены напрямую, а использует своего рода тайхоскопию, «рассказ со стены», описывая

реакцию троянских старцев на красоту этой женщины, послужившей причиной губительной войны.

Возможно также понимать слова Кафки как реакцию на драматургические открытия, сделанные Морисом Метерлинком в его «театре ожидания», «театре смерти»: страх, боязнь (припомним здесь замечание Вальтера Беньямина о Кафке: «Кафка — это тот парень из сказки, который отправился в мир, чтобы научиться бояться») — эти чувства «нельзя нарисовать», и даже самые несдержанные, но слишком наглядные изображения ужасных сцен вызывают не страх, а отвращение или смех. Страх — это всегда нечто иное, и требуются иные средства изображения, чтобы, как писал Лессинг в «Лаокооне», показать определенное чувство «в его воздействии на нас».

И ревизор в комедии Гоголя не появляется в некоем телесном образе прямо на сцене: Хлестаков является его травестированным заместителем, тем, кто не обладает реальной властью, но воспринимается как таковой — вопреки очевидным доказательствам его незначительности, смешной нелепости и ничтожности. Ничтожность (повседневное, незначительное) кажется

даже более пригодной для указания на чудовищное, страшное, ведь и кафковский страж у врат закона в его «тяжелой шубе», с «острым горбатым носом», «с длинной жидкой черной монгольской бородой», с «блохами в меховом воротнике» предстает для читателя скорее как персонаж смешной и ничтожный, чем угрожающе-страшный. При этом его указательная, намекающая функция проявляется как много более ужасная, пробуждающая больший страх, чем он сам.

Очевидно, что любой художественный образ есть не только отображение мира, что он всегда представляет собой и (более простую или более сложную) структуру отражающего и порождающего сознания. Об изобразительных возможностях Кафки писали уже не раз. Д. В. Затонский в своей книге о Кафке (1972) очень точно замечает: Кафка «видит, а не изображает».

Что «видит» Кафка? На что указывают образы в его книгах? Где располагается «иное»? В дневнике Кафки на самой первой странице, датированной 1910 г., автор фиксирует образ, точнее, возможность образа, рассматривание образа, программное для его взгляда: «Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд». Что здесь изображено? Зрители? Или здесь лишь делается

намек на возможность такого изображения? Скорее перед нами возникает фиксация определенного момента созерцания, описание взгляда. Самих зрителей мы не видим. Однако мы можем почувствовать их оцепенение, благодаря тому, что наблюдающий за ними видит их оцепенение и пытается передать его нам. А где же находится сам наблюдающий? Он тоже цепенеет, как и другие зрители, когда мимо проезжает поезд? Или он тот единственный, кто, с одной стороны, должен оцепенеть, но, с другой, из состояния своего оцепенения умеет воспринимать и отражать оцепенение других? Выбор особого угла зрения, как известно, создание уникальной перспективы рассмотрения относится к сути «кафкианского». В дневнике Кафка записывает однажды: «Я строю планы. Я пристально смотрю перед собой, чтобы не отвести взгляда от *воображаемого глазка воображаемого калейдоскопа,* в который гляжу».

Опыт смотрения на оцепеневших зрителей, с одной стороны, возможно отнести к вполне банальному жизненному переживанию Франца Кафки, который часто путешествовал по железной дороге. Однако речь может идти и о сцене, которая была известна любому посетителю синематографа в начале нашего столетия, о сцене

«Прибытие поезда на вокзал», снятой братьями Люмьер. Перспектива, которую представляет Кафка, получает здесь существенное расширение, поскольку речь может идти не только о зрителях, которые цепенеют при взгляде на поезд, проезжающий мимо них, но и о зрителях, которые сидят в темном зале и переживают это оцепенение как реакцию на кадры проезжающего на экране поезда, на кадры, которые создаются художником таким образом, что восхищение и ужас зрителей в эти кадры уже вработаны. Кафка как пишущий и описывающий зритель не только переживает «иное состояние» предметов, но и создает и отображает его в своем произведении, повышая аффективное начало в создании и изображении вследствие того, что он вводит указательные, намекающие фигуры, которые «показывают» на ужасное и находятся в напряженном отношении к основной фигуре, которая переживает ужасное или же сама его создает (новелла «Превращение»).

Хорошо известно, насколько беспомощно-наивно реагировали на тексты и образы Кафки его первые читатели и слушатели. После публичного чтения новеллы «Приговор» Кафка отмечает в дневнике: «Старый Вельч особенно похвалил

живописное изображение в рассказе: „Я словно вижу этого отца прямо перед собой” — и при этом он смотрел в совершенно пустое кресло, в котором сидел, пока шло чтение». Кафка довольно раздраженно реагирует на традиционное образное восприятие: «Сестра сказала: „Я узнаю нашу квартиру”. Я подивился тому, насколько неверно было воспринято место действия, и сказал: „Тогда отцу пришлось бы жить в клозете”».

Неверное восприятие места действия касается не только того, что одна квартира перепутана с другой: речь идет о другом месте действия, о пространстве внутреннего мира. По Кафке, «не существует возможности наблюдать внутренний мир, как это возможно при наблюдении внешнего мира. По меньшей мере, описательная психология, вероятно, представляет собой полный антропоморфизм. Внутренняя жизнь может только проживаться, не быть описанной». Австрийский прозаик пишет о «чудовищном мире», который «теснится» в его голове. «Но как мне освободиться от него и освободить его, не разорвав. И все же лучше тысячу раз разорвать, чем хранить или похоронить его в себе. Для того я и живу на свете, это мне совершенно ясно». Эта внутренняя перспектива предстает как

перспектива пристального взгляда, направленного на оцепеневших зрителей, когда мир вдруг становится иным, и эта его инаковость должна быть сообщена читателю, который не только относится к оцепенелым зрителям, но и способен к сопереживанию его метаморфоз вследствие наблюдения за наблюдателем.

Одна из известнейших дневниковых записей Кафки (июль 1913 г.): «На шею набросили петлю, выволокли через окно первого этажа, безжалостно и равнодушно протащили, изувеченного и кровоточащего, сквозь все потолки, мебель, стены и чердаки до самой крыши, и только там появилась пустая петля, потерявшая остатки моего тела, когда им проламывали черепичную кровлю».

Это «созерцание сна», вернее, это литературное изображение парящего состояния чувств спящего человека, этого «мысле-чувства» часто трактовалось как доказательство крайней сенсибельности автора, его страданий и болей. На мой взгляд, этот отрывок содержит своего рода описание повествовательной стратегии Кафки в его произведениях: он словно накидывает петлю на шею своему читателю и безжалостно протаскивает сквозь свой текст (через все его потолки,

стены и чердаки). В конце чтения веревка не обрывается до конца. Появляется что-то вроде пустой петли, потерявшей остатки тела читателя, но одновременно раскачивающейся перед его внутренним взором и укорененной в его глубинные воспоминания, сидящей в памяти глубоко и прочно, так что этот образ перманентно объявляется в его снах. Мысль о петле «пронизана чувствами». Не возникает обычная мысль, не возникает отчетливый образ, не возникает внятное чувство — происходит соединение всего этого воедино, и ясная неясность, отчетливая неотчетливость раскачивается подобно пустой петле над читателем, полупомысленная, полуувиденная, полупочувствованная.

По Кафке: «Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую свечку». Маленькая свечка читателя помещается в дупло, которое произведения Кафки выжгли в окружающем нас мире, и при этом слабом свете читатель из собственного оцепенения может бросить несколько взглядов на оцепенение гениального наблюдателя, который смотрит на зрителей, цепенеющих, когда мимо проезжает поезд. Ведь поезд проезжает и мимо читателя.

Александр Белобратов

Замок

1
Прибытие

Был поздний вечер, когда К. добрался до места. Деревня тонула в снегу. Ни горы, ни замка не было видно, мрак и туман окутывали гору, и в этой кромешной мгле большой замок там, наверху, не выдавал себя ни единым проблеском света. Стоя на деревянном мосту, по которому уползал от дороги к деревне убогий проселок, К. долго вглядывался в эту обманчивую пустоту.{1}

Потом пошел искать ночлег. В трактире еще не спали, хозяин, правда, комнат не сдавал, но, застигнутый врасплох и даже напуганный приходом столь позднего гостя, согласился уложить К.

{1} Варианты: 2.1

Первый вариант начала романа:

Трактирщик поздоровался с гостем. Комната во втором этаже приготовлена.

— Просто царская комната, — сообщил он.

Большая комната, с двумя окнами и застекленной дверью между ними, вид имела голый и выглядела нестерпимо огромной. Скудная и странная тонконогая мебель стояла в ней как потерянная и казалась железной, хоть и была из дерева.

— На балкон попросил бы не выходить, — заметил хозяин, когда гость, постояв немного у окна, откуда глядела на него ночная темень, направился было к застекленной двери. — Там балка ослабла, трухлявая малость.

Вошла горничная, принялась возиться с умывальником и между

делом спросила, достаточно ли натоплено. Гость кивнул. Ни словом против комнаты не возразив, он, однако, по-прежнему расхаживал взад-вперед не раздеваясь, в пальто, с тростью и шляпой в руках, словно не решил еще, оставаться ему или нет. Хозяин подошел было к горничной, но внезапно гость подскочил к обоим сзади и воскликнул:

— О чем это вы тут шушукаетесь?

Хозяин испуганно отпрянул.

— Да я просто отдавал распоряжения насчет постельного белья. Я только сейчас заметил, комната, к сожалению, прибрана совсем не так тщательно, как я приказывал. Но сию минуту все будет сделано.

— Не о том речь, — перебил его гость. — Ничего, кроме гнусной конуры и нечистой постели, я и не ждал здесь увидеть. Ты мне голову не морочь. Я только одно желаю знать: кто тебя о моем приезде известил?

— Да никто, барин, — отвечал трактирщик.

— Но ты меня ждал.

— На то я и трактирщик, чтобы гостей ждать.

— И комната была приготовлена…

— Как всегда…

— Что ж, хорошо, коли ты ничего не знал, я тут не останусь. — С этими словами он распахнул окно и крикнул в ночь: — Не распрягать, мы едем дальше!

Но едва он спешно направился к двери, путь ему преградила горничная — эта слабенькая, нежная девочка, почти ребенок — и, потупившись, сказала:

— Не уходи. Да, мы ждали тебя, просто отвечаем невпопад и не знаем, как тебе угодить, вот и выходит, что скрываем.

Вид девушки тронул гостя, но слова ее его насторожили.

— Оставь меня с ней наедине, — бросил он трактирщику.

Помешкав немного, тот все-таки вышел.

— Иди сюда, — приказал гость девушке, и они уселись за стол. — Как тебя зовут? — спросил он, через стол хватая горничную за руку.

— Элизабет, — ответила та.

— Элизабет, — повторил гость, — слушай меня внимательно. Передо мной трудная задача, которой я посвятил себя всецело. Я исполняю ее с радостью и ни в чьем сочувствии не нуждаюсь. Но поскольку в этой задаче вся моя жизнь, я без пощады сомну всякого, кто попытается стать у меня на пути. И в беспощадности своей, имей в виду, могу дойти до безумия. — Он сжал ее руку, она вскинула на него глаза и кивнула. — Так, значит, это ты усвоила, — продолжил он. — А теперь объясни мне, откуда вам стало известно о моем приезде. Только это я и хочу знать, ваше отношение меня нисколько не интересует. Я ведь пришел сюда сражаться, но не хочу, чтобы меня застигли врасплох, можно сказать, еще до схватки. Что тут было перед моим приездом?

— Вся деревня знает, что ты должен приехать, даже не могу объяснить, почему так, только уже несколько недель, как тебя ждут, должно быть, это от Замка исходит, а больше я и не знаю ничего.

— Кто-то из Замка был здесь, предупреждал о моем приезде?

— Нет, никого не было, господа из Замка с нами не больно знаются, может, челядь наверху болтала, а наши, из деревни, услыхали, так оно и разнеслось. Приезжих у нас немного бывает, вот о каждом и судачат без конца.

— Мало приезжих? — переспросил гость.

— Да что там, — сказала девушка и улыбнулась, причем улыбка вышла одновременно и доверчивая, и чужая, — никто не приезжает, нас словно весь свет позабыл. [*1. Зато, правда, коли пожалует кто, то и требует куда больше, чем обычный приезжий, — такому все подавай.*

— Все? А что у вас такого имеется?

— У нас-то ничего нет, зато Замок богат.

2. Гость на улыбку девушки не ответил, но медленно проговорил:

— Хорошо, поверю тебе, что покамест я тут в безопасности. Тебя это радует? — спросил он.

— Нам от этого ни радости, ни печали, — ответила девушка. — Мы люди маленькие, для нас такие вещи значения не имеют. Когда человек приезжает, он ведь приезжает не к нам, а в Замок.

— Отвечаешь ты весьма складно, — заметил гость, — для твоих лет даже слишком рассудительно. Ты сама так думаешь, или тебя подучили так говорить?

— И сама так думаю, и все думают так же.]

— Да и с какой бы стати к вам сюда приезжать? — заметил гость. — Что у вас тут такого замечательного?

Девушка нерешительно, отняла руку и тихо сказала:

— Ты все еще не доверяешь мне.

— И правильно делаю, — заметил гость, поднимаясь из-за стола. — Все вы тут одна шайка, а ты еще опаснее трактирщика. Тебя нарочно из Замка подослали мне прислуживать.

— Подослали из Замка, — повторила девушка. — Плохо ты знаешь наши порядки. Не веришь никому, вот и уезжаешь, теперь-то точно уедешь.

— А вот и нет, — ответил гость, срывая с себя пальто и бросая его в кресло. — Не уеду, видишь, даже прогнать меня отсюда тебе не удалось. — Тут он пошатнулся, его вдруг повело в сторону, и, сделав несколько шагов, он рухнул на кровать.

Девушка кинулась к нему.

— Что с тобой? — прошептала она, потом стремглав кинулась к умывальнику, принесла воды и, опустившись возле незнакомца на колени, принялась обтирать ему лицо.

— Зачем вы меня так мучаете? — с трудом произнес он.

— Да не мучаем мы тебя, — отозвалась девушка. — Ты от нас чего-то добиваешься, а мы не поймем чего. Скажи лучше прямо, и я так же прямо тебе отвечу.

прямо между столами на соломенном тюфяке, и К. не стал возражать. Несколько крестьян сидели за пивом, но ему ни с кем говорить не хотелось, и он, сам стащив тюфяк с чердака, устроился на полу поближе к печке. Стало тепло, мужики сидели тихо, усталым, но пристальным взглядом он какое-то время на них поглядывал, потом уснул.

Вскоре, однако, его разбудили. Молодой человек, по-городскому одетый, с фиглярской физиономией — глаза щелочкой, брови щеточкой, — стоял над ним чуть ли не об руку с хозяином. Мужики тоже еще были здесь, некоторые развернули свои стулья в их сторону, чтобы получше видеть и слышать. Молодой человек весьма учтиво извинился, что вынужден К. разбудить, представился сыном замкового кастеляна, после чего заявил:

— Деревня относится к владениям Замка, и всякий, кто здесь живет или просто ночует, в известном смысле живет или ночует в Замке. Без графского разрешения такое никому не дозволено. У вас такого разрешения нет, во всяком случае, вы его не предъявили.

К. приподнялся на локтях, сел, пригладил растрепанные волосы, поглядел на обоих снизу вверх, потом спросил:

— В какую же деревню меня занесло? Здесь что, Замок?

— Да уж конечно, — произнес молодой человек врастяжку, а некоторые из присутствующих укоризненно покачали головами, дивясь неосведомленности пришельца. — Замок господина графа Вествеста.

— И чтобы переночевать, требуется разрешение? — переспросил К., словно желая удостовериться, не приснилось ли ему, часом, все, сказанное раньше.

— Конечно, нужно разрешение, — раздалось в ответ, причем в голосе молодого человека слышалась издевка, особенно явная, когда он, разведя руками и обращаясь к хозяину и остальным посетителям, добавил: — Или, может, теперь и разрешения не требуется?

— Значит, придется брать разрешение, — зевнув, сказал К. и откинул одеяло, делая вид, будто намеревается встать.

— Это у кого же? — поинтересовался молодой человек.

— У господина графа, — ответил К. — Больше-то вроде не у кого.

— Сейчас, среди ночи, брать разрешение у господина графа? — воскликнул молодой человек и

даже отступил на шаг.

— А что, это невозможно? — равнодушно проронил К. — Тогда зачем вы меня разбудили?

Тут молодой человек просто вышел из себя.

— Это что за босяцкие замашки?! — заорал он. — Я попрошу с надлежащим уважением относиться к распоряжениям властей! Я вас для того и разбудил, чтобы уведомить: вам надлежит немедленно покинуть графские владения!

— Да ладно комедию-то ломать, — подчеркнуто тихо и невозмутимо ответил К., снова ложась и натягивая на себя одеяло. — Вы, молодой человек, слишком далеко заходите, и к вашему поведению мы еще вернемся завтра утром. А хозяин и вон те господа будут свидетелями, если мне вообще понадобятся свидетели. Кроме того, позвольте вам сообщить: я землемер и вызван сюда по указанию графа. Помощники со всеми приборами подъедут на подводе завтра. А я не смог отказать себе в удовольствии пройтись по снежку, да вот, к сожалению, несколько раз сбился с пути, поэтому и пришел так поздно. Я и сам, без ваших поучений, знаю, что сейчас являться в Замок не время и не след. Потому и решил довольствоваться таким вот ночлегом, который вы, мягко говоря, соизволили столь неучтиво нарушить.

На этом пояснения мои исчерпаны. Доброй ночи, господа!

И с этими словами К. повернулся лицом к печке.

— Землемер? — услышал он, как кто-то недоверчиво переспрашивает у него за спиной, потом наступила мертвая тишина.

Однако молодой человек недолго пребывал в растерянности: голосом, достаточно приглушенным, чтобы не потревожить сон незнакомца, но и достаточно внятным, чтобы при желании его можно было расслышать, он бросил хозяину:

— Надо запросить по телефону.

Как? Неужели в деревенском трактире даже телефон имеется? Неплохо, однако, у них тут все обустроено. Телефон, впрочем, удивил К. лишь отчасти, скорее он чего-то такого даже ожидал. Оказалось, телефон висит чуть ли не у него над головой — сперва, то ли от усталости, то ли со сна, он этого не заметил. Если молодой человек вздумает сейчас звонить, он при всем желании не сумеет не потревожить спящего К., вопрос лишь в том, допускать его к телефону или нет, — К. подумал и решил не препятствовать. Но тогда нет смысла прикидываться спящим — и К. снова повернулся на спину. Он увидел, как мужики, испуганно

сбившись в кучку, что-то обсуждают, — видимо, приезд землемера для них целое событие. Тут отворилась дверь кухни; в проеме, заполнив его чуть не целиком, воздвиглась мощная фигура хозяйки, хозяин на цыпочках поспешил к ней дать необходимые пояснения. Между тем начались телефонные переговоры. Кастелян спал, однако младший кастелян, вернее, один из младших кастелянов, некий господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавшись Шварцером, доложил, как он обнаружил К., незнакомца лет тридцати, вида весьма потрепанного, преспокойно спящим на соломенном тюфяке, под головой — небольшой рюкзак, тут же, поодаль, самодельный резной посох. Ясное дело, ему это сразу показалось подозрительным, и поскольку трактирщик своим долгом явно пренебрег, то он, Шварцер, тем более посчитал необходимым основательно во всем разобраться. Побудка, предварительный опрос и правомочная угроза выдворения из графских владений восприняты К. с чрезвычайным неудовольствием, впрочем, как впоследствии выяснилось, быть может, и небезосновательным, ибо он утверждает, что является землемером, вызванным якобы по распоряжению господина графа. Разумеется, по меньшей

мере проформы ради это его утверждение требуется проверить, в связи с чем он, Шварцер, и просит господина Фрица запросить главную канцелярию, действительно ли ожидается прибытие землемера или кого-то в этом роде, а выяснив, незамедлительно телефонировать ему.

Наступила тишина: на том конце провода Фриц наводил справки, на этом ожидали его ответа, К. лежал, как и прежде, не шевелясь, смотрел прямо перед собой и, казалось, нисколько не интересовался происходящим. Доклад Шварцера, где очевидная зловредность перемежалась с вкрадчивой опаской, наводил на мысль о своеобразной дипломатической выучке, которой в Замке уверенно владеют даже столь мелкие людишки. И в рвении, судя по всему, здесь тоже нет недостатка, вон, в главной канцелярии и ночью не дремлют. И, как выяснилось, довольно быстро отвечают на запросы — звонок Фрица не замедлил воспоследовать. Ответ, впрочем, оказался слишком короток, ибо Шварцер в ярости уже шваркнул трубку.

— Я же говорил! — заорал он. — Никакой он не землемер, обычный грязный бродяга, да еще и враль, если не что похуже.

В первую секунду К. показалось, что это конец: сейчас все они — Шварцер, крестьяне, трактир-

щик с трактирщицей — набросятся на него, и, чтобы защититься хотя бы от первого натиска, он юркнул под одеяло с головой, — но тут — не веря своим ушам, он снова осторожно высунулся — телефон зазвонил снова, причем, как почудилось К., зазвонил как-то особенно требовательно и грозно. И хотя совсем невероятно было предположить, чтобы и этот второй звонок снова касался К., все замерли, и Шварцер вернулся к аппарату. Он долго выслушивал какие-то пояснения, потом тихо проронил:

— Выходит, ошибка? Как это неприятно, однако. И что, сам столоначальник звонил? Странно, странно. И как прикажете объяснить все это господину землемеру?

К. навострил уши. Значит, Замок признал в нем землемера. С одной стороны, для него это не слишком благоприятное известие, ибо оно означает, что все необходимое о нем в Замке знают, уже прикинули соотношение сил и вызов его принимают с усмешкой. С другой стороны, была тут, на его взгляд, и благоприятная подоплека, ибо снисходительность властей доказывала, что его недооценивают, а значит, предоставят ему большую свободу действий, чем он смел надеяться. Но если они там, заведомо и настолько

уверенные в своем превосходстве, рассчитывают высокомерным признанием его землемерства постоянно держать его в страхе, то они просчитались: они его лишь в первую секунду слегка припугнули, только и всего.

От робко приблизившегося к нему Шварцера К. теперь просто отмахнулся, переселяться в хозяйскую горницу, как его ни упрашивали, отказался наотрез, соизволил только принять от хозяина стакан сонного отвара, от хозяйки — таз для мытья, мыло и полотенце, а требовать, чтобы очистили помещение, и вовсе не понадобилось, все и так, стараясь не оборачиваться, чтобы он завтра кого-нибудь не признал, толклись в дверях, торопясь выйти, — да и лампа тотчас погасла, и его наконец оставили в покое. Спал он крепко до самого утра, лишь разок-другой слегка потревоженный шмыгавшими мимо крысами.

После завтрака, за который, как и за все дальнейшее пребывание К., по уверениям хозяина, теперь должен платить Замок, К. намеревался тотчас отправиться в деревню. Но поскольку хозяин, с которым К., памятуя о вчерашнем его поведении, говорил односложно и сухо, теперь с немой мольбой в глазах вертелся поблизости, К. сжалился и позволил тому ненадолго присесть

за стол.

— Я еще не знаком с графом, — начал К. — Говорят, за хорошую работу он и платит хорошо, это правда? Когда, как я, уезжаешь от жены и ребенка в такую даль, хочется и вернуться не с пустыми руками.

— На этот счет, сударь, не изволь беспокоиться, на плохую оплату тут пока никто не жаловался.

— Что ж, — продолжал К., — я и сам не робкого десятка, в случае чего могу и господину графу напрямик свое мнение выложить, но, ясное дело, миром поладить с господами всегда лучше.

Трактирщик примостился напротив К. на краю подоконника, расположиться поудобнее он явно робел, и не спускал с К. испуганного взгляда широко распахнутых карих глаз. Сперва сам же около К. терся, а теперь, казалось, не чает ноги унести. Может, расспросы о графе его так встревожили? А может, он боится откровенничать с К., раз тот теперь оказался из «господ»?

К. решил перевести разговор на другое. Глянув на часы, он бросил:

— Скоро помощники мои должны подъехать, ты сможешь их разместить?

— Конечно, сударь, — отозвался тот, — только разве они не будут жить с тобой в Замке?

Легко же он отказывается от постояльцев, а от К. в особенности, раз норовит непременно спровадить его в Замок.

— Это еще не наверняка, — заметил К. — Сперва надо узнать, какую мне поручат работу. Если, к примеру, работать придется тут, внизу, то и жить сподручнее здесь же. Да и вообще, боюсь, жизнь в Замке не больно-то по мне. Я люблю, когда я сам себе хозяин.

— Ты Замка не знаешь, — тихо проронил трактирщик.

— Разумеется, — согласился К. — Прежде времени ни о чем судить не стоит. Пока что я о Замке знаю лишь одно: толкового землемера там подобрать умеют. Как знать, может, найдутся у них и другие достоинства.

И он встал, дабы избавить наконец испуганно кусающего губы хозяина от своего общества. Оказалось, не так-то просто войти к этому человеку в доверие.

У дверей, уже на выходе, К. бросился в глаза темный, в темной же раме, портрет. Он, впрочем, еще со своего соломенного ложа успел его заприметить, однако издали разглядеть не смог и решил, что саму картину из рамы вынули и видит он только черный задник. Но это все-таки

была картина, поясной портрет некоего господина лет пятидесяти. Голова мужчины опущена так низко, что глаз не видно почти вовсе, зато при таком наклоне резко выдавался вперед высокий, обремененный думами лоб и нос, загнутый клювом. Окладистая борода, придавленная к груди тяжелым подбородком, смотрела торчком. Левая, запущенная в густые волосы рука подпирала чело, но приподнять его, казалось, не в силах.

— Это кто? — поинтересовался К. — Граф?

К. застыл перед портретом, даже не взглянув на хозяина.

— Нет, — отозвался тот. — Это кастелян.

— Кастелян в Замке и вправду красавец, — заметил К., — жаль только, с сынком ему не повезло.

— Да нет, — возразил хозяин и, слегка притянув К. к себе, зашептал ему на ухо: — Шварцер вчера приврал, его отец всего лишь младший кастелян, да и то из самых последних.

В эту секунду трактирщик почему-то показался К. сущим ребенком.

— Каков наглец! — усмехнулся К., но хозяин не улыбнулся, только заметил:

— И *его* отец тоже власть.

— Да ладно тебе, — бросил К. — У тебя, похоже, все власть. Может, скажешь, и я тоже?

— Ты? — робко, но серьезно переспросил тот. — Нет, ты не власть.

— В наблюдательности тебе не откажешь, — заметил К. — По совести сказать, я и вправду человек небольшой. А значит, имею к власти не меньше почтения, чем ты, только я не такой откровенный, как ты, и не всегда готов это почтение выказывать.

И К. то ли в утешение, то ли в надежде заручиться расположением трактирщика слегка похлопал его по щеке. Только теперь тот наконец робко улыбнулся. Он и вправду был как мальчишка — лицо мягкое, округлое, почти безбородое. И как его угораздило обзавестись столь необъятной и отнюдь не молодой супругой, которая сейчас — в окошке раздачи ее хорошо было видно, — широко расставив локти, деловито хозяйничала на кухне у плиты. Но К. не стал больше донимать трактирщика расспросами, не стал прогонять с его лица эту улыбку, с таким трудом отвоеванную, а только взмахом руки велел отворить перед собой дверь и вышел навстречу ясному зимнему утру.

Теперь наконец в прозрачном морозном воздухе он узрел наверху Замок во всей четкости его очертаний, оттененных к тому же, словно контуром, тонким слоем повторяющего все формы

снега, что без конца и края укрыл округу своей пушистой пеленой. Кстати, там, на горе, снега, казалось, гораздо меньше, чем здесь, в деревне, где К. пробирался по сугробам с тем же трудом, что и вчера по проселку. Здесь снег подпирал подоконники приземистых домишек и тяжелой бахромой нависал навстречу с низких крыш, тогда как там, на горе, все свободно и легко устремлялось ввысь — по крайней мере, отсюда, снизу, так казалось.

В целом же Замок, каким он вырисовывался сейчас из своей дали, вполне соответствовал тому, что К. ожидал увидеть. Не старинная, рыцарских времен крепость и не красиво поставленный особняк, а распластавшаяся в длину постройка из нескольких двухэтажных зданий и множества лепившихся друг к дружке строений поменьше и пониже; все вместе, если не знать, что это и есть Замок, вполне можно принять за небольшой городишко. Башня виднелась только одна, и к чему она относится — к церкви или к жилому дому, — понять было невозможно. Стаи ворон кружились над ней.

Не сводя с Замка глаз, К. двинулся вперед, казалось, ни до чего больше ему нет дела Но по мере приближения Замок его разочаровывал, это, действительно, оказался довольно жалкий

городишко, кое-как слепленный из неказистых, деревенского вида домов, разве что построено все вроде как из камня, но штукатурка давно облупилась, да и камень, судя по всему, тоже пошел трещинами и крошился. К. невольно вспомнился родной город, уж он-то, пожалуй, нисколько этому так называемому Замку не уступит, и если бы К. только из праздного любопытства, для осмотра достопримечательностей сюда приехал, то жалко было бы времени и сил, зря потраченных на столь дальнее странствие, куда разумней было бы съездить снова на родину, где он так давно не бывал. И он мысленно сравнил церковную башню у себя на родине с башней там, наверху. Та, что на родине, сужающаяся кверху, устремленная ввысь прямо и без колебаний, увенчанная солидной кровлей из красной черепицы, была сооружением хоть и вполне земным — а разве посильно нам сооружать что-то иное? — но созданным с более возвышенной целью, нежели убогая толчея домишек внизу, и с более торжественным смыслом, нежели тусклая череда невразумительных буден. А вот здешняя же башня — единственная, какую он на горе разглядел, башня жилого дома, как теперь все очевидней казалось, быть может, башня главного корпуса замка, — напоминала скорее

неказистую кадушку, кое-где из милосердия прикрытую плющом, с маленькими оконцами, что подслеповато таращились сейчас на солнце, придавая всему строению налет тихого безумия, и увенчивалась чем-то вроде навершия, зубцы которого, разные, неровные, вкривь и вкось, словно наспех нарисованные рукой перепуганного или поленившегося ребенка, нелепо вгрызались в голубизну неба. Всем своим видом башня напоминала горемычного приживала, которому место в самой дальней и темной каморке дома, а он вдруг проломил крышу и зачем-то выставился всему свету на обозрение.

К. вновь остановился, словно стоя у него будет больше сил уразуметь увиденное. Но его отвлекли. За деревенской церковью, возле которой он стоял, — по сути, это была часовня с более поздней, наподобие сарая, пристройкой, чтобы все прихожане могли поместиться, — оказалась школа. Длинное низкое здание, странным образом сочетавшее в себе приметы глубокой старины и времянки, укрылось за решеткой забора в саду, который сейчас походил просто на заснеженную поляну. Из школы как раз высыпали дети во главе с учителем. Обступив учителя тесной гурьбой и не спуская с него глаз, дети без умолку и напе-

ребой галдели, да так быстро и все скопом, что К. не мог разобрать ни слова. Учитель, тщедушный, узкоплечий молодой человек, — при этом очень прямой и подтянутый почти до смешного, но только почти, — заприметил К. еще издали; впрочем, вокруг, если не считать самого учителя и ребят, никого больше и не было. Как и положено приезжему, особенно при виде хоть и маленького, но столь начальственного человечка, К. поздоровался первым.

— Добрый день, господин учитель, — сказал он.

Дети, как по команде, разом смолкли, и эта внезапная тишина в ожидании его ответа, видимо, настроила учителя на благодушный лад.

— Что, Замок разглядываете? — спросил он мягче, чем К. ожидал, однако тоном, в котором явственно слышалось неодобрение.

— Да, — ответил К. — Я нездешний, только со вчерашнего вечера в ваших местах.

— И Замок вам не нравится? — неожиданно спросил учитель.

— Что-что? — переспросил слегка обескураженный К. и повторил вопрос учителя, но в более учтивой форме: — Нравится ли мне Замок? А почему вы считаете, что он мне не нравится?

— Он никому из приезжих не нравится, — изрек учитель.

К, чтобы не сказать чего-нибудь невпопад, на всякий случай решил перевести разговор на другое:

— Вы, конечно, знаете графа?

— Нет, — отрезал учитель и сразу попытался отвернуться, но К., не позволяя ему этого сделать, повторил свой вопрос:

— Как? Вы графа не знаете?

— Да откуда мне его знать? — тихо ответил учитель и вдруг, уже громко, добавил по-французски: — Хоть в присутствии невинных детей поостереглись бы!

К. посчитал, что это замечание дает ему право на следующий вопрос:

— Нельзя ли как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал надолго и чувствую себя довольно неприкаянно, я ведь и крестьянам чужой, и к Замку вроде бы тоже отношения не имею.

— Между крестьянами и Замком различия нет, — заметил учитель.

— Может быть, — согласился К., — но мне от этого не легче. Так можно как-нибудь к вам зайти?

— Я живу в Лебяжьем переулке, в доме мясника. И хотя это было скорее сообщение адреса, чем

приглашение в гости, К. сказал:

— Хорошо, так я приду.

Учитель кивнул и с ватагой детворы, тотчас снова загалдевшей, двинулся дальше. Вскоре все они скрылись за горбом круто завалившегося вниз пригорка.

К., однако, был расстроен, разговор его раздосадовал. Впервые после приезда он вдруг почувствовал, что по-настоящему устал. Поначалу-то казалось, что дальняя дорога ничуть его не утомила, — шаг за шагом, спокойно и уверенно шел он сквозь череду дней, — зато теперь последствия непомерного напряжения начали сказываться, и, конечно, в самое неподходящее время. Его неудержимо влекло искать новых встреч и знакомств, но всякое новое знакомство усугубляло усталость. [*и тем не менее его неодолимо влекло на поиски все новых и новых знакомств. Было ясно: даже несколько дней, проведенных здесь без пользы, навсегда отнимут у него силы для решающего поступка. И все равно — спешить никак нельзя,*][2] Так что если он, в

[2] Примечания: 1.2

Таким образом отмечены вычеркнутые Кафкой фрагменты текста. Фрагменты, не противоречащие ходу развития сюжета, оставлены в тексте романа, остальные отнесены в комментарии. *(Прим. верстальщика ƒb2)*

нынешнем своем состоянии, сумеет заставить себя продлить прогулку хотя бы до входа в Замок, этого будет вполне достаточно.

И он снова двинулся вперед, но путь оказался неблизкий. Улица — та, по которой он шел, главная улица деревни, — вела вовсе не к замковой горе, но лишь по направлению к ней, а потом, почти у подножия, вдруг, как нарочно, уклонялась в сторону и, вроде бы не удаляясь от Замка, однако и не приближалась к нему. К. все ждал, когда дорога наконец повернет к Замку, собственно, только в ожидании этого поворота он шел и шел вперед, не решаясь — очевидно, вследствие усталости — сойти с дороги и дивясь про себя протяженности деревни, которая никак не кончалась: снова и снова тянулись по сторонам низенькие избенки, подернутые морозным узором окошки, снег, безлюдье, — пока наконец он не заставил себя сойти с дороги, чья накатанная колея держала его словно привязью, и его принял в свое русло узенький переулок, где снег, однако, оказался еще глубже и вытаскивать ноги из вязких сугробов было еще трудней, так что К. сразу прошиб пот, он вдруг встал и понял, что дальше идти просто не в силах.

Но ведь он не в чистом поле, вон, справа и слева

крестьянские избы, он скатал снежок и запустил в окошко. Тотчас отворилась дверь — первая открывшаяся дверь за все время, что он шел по деревне, — и на пороге, склонив голову чуть набок, показался старик крестьянин в коричневом полушубке, немощный с виду, с приветливым лицом.

— Можно мне зайти ненадолго? — попросил К. — Я очень устал.

Он не расслышал, что говорят ему в ответ, только с благодарным облегчением увидел у ног услужливо подсунутую кем-то доску, по которой и выбрался из сугроба; несколько шагов — и К. уже стоял в горнице.

Тут, однако, было хоть и просторно, но сумрачно. Поначалу, войдя со свету, ничего нельзя было разобрать. К. пошатнулся, наткнулся на корыто, женская рука мягко его поддержала и отвела в сторону. Где-то в углу галдели дети. В другом углу клубился пар, превращая полумрак в полную тьму; К. почудилось, что он стоит в облаках.

— Да он пьяный, — сказал кто-то.

— Кто вы такой? — почти выкрикнул чей-то властный голос, а потом, обращаясь, очевидно, к старику, тем же тоном спросил: — Зачем ты впустил его? Так и будем всякого с улицы пускать?

— Я графский землемер, — сообщил К., торопясь оправдаться перед все еще незримым вопрошателем.

— Ах, так это землемер, — проронил женский голос, и воцарилась тишина.

— Вы меня знаете? — спросил К.

— Да уж конечно, — бросил тот же голос. Похоже, про К. и вправду знали, только это вовсе не говорило в его пользу.

Пар между тем рассеялся, и К. огляделся. Видимо, сегодня тут был банный день. Неподалеку от двери стирали белье. Но пар валил из другого угла, где в деревянной лохани — таких огромных, чуть ли не с две кровати величиной, К. еще не видывал, — смутно различимые в пелене пара, мылись двое мужиков. Но еще неожиданнее — хотя в чем тут, собственно, неожиданность, было не вполне ясно — оказался правый угол. Из оконного проема, единственного в торцевой стене, в горницу падал белесый, снежный свет, придавая мягкое шелковистое мерцание платью женщины, что глубоко в углу, в полном изнеможении, почти лежала в высоком кресле. На груди у женщины покоился младенец. Вокруг нее тоже играли дети, причем сразу видно — крестьянские, тогда как сама она, казалось, совсем из другого

теста, похоже, усталость и болезнь способны придавать утонченный вид даже крестьянам.

— Садитесь, — буркнул один из мужиков, бородатый, с обвислыми усами, под которыми чернела дырка постоянно открытого, тяжело отдувающегося рта, и, выбросив руку над краем лохани, — было что-то нелепо жутковатое в этом жесте, ибо рука двигалась как будто сама по себе, — указал на сундук, теплыми каплями обрызгав при этом К. все лицо.

На сундуке в дремотной задумчивости сидел старик, тот самый, что впустил К. Радуясь возможности наконец присесть, К. с благодарностью опустился на сундук. Все тут же о нем забыли. Женщина у корыта, белокурая, пышнотелая молодуха, тихо напевала за работой, мужики, тяжело ворочаясь, плюхались и барахтались в лохани, дети норовили приблизиться к ним, но мощные всплески брызг, щедро обдававшие, кстати, и К., заставляли их отпрыгивать назад, женщина в кресле по-прежнему лежала как неживая, даже на младенца у себя на груди не смотрела, устремив остановившийся взгляд куда-то вверх.

К., должно быть, довольно долго созерцал эту прекрасную в своей скорбной неподвижности

картину, но потом, судя по всему, заснул, ибо когда очнулся от чьего-то громкого окрика, оказалось, что голова его лежит на плече у старика. Мужики закончили мытье в лохани, где теперь под присмотром белокурой прачки бултыхались дети, и стояли перед К. одетые. Тут выяснилось, что бородач, пусть он и горластый, вовсе из них не главный. Второй — хоть и ростом не выше и не с такой окладистой бородой, молчун и тугодум с виду, коренастый, крепко сбитый и лицо, под стать фигуре, широкое — исподлобья смотрел на К.

— Господин землемер, — вымолвил он, — нельзя вам тут оставаться. Уж извините за неучтивость.

— Да не собираюсь я оставаться, — возразил К. — Просто хотел передохнуть немного. Теперь вот отдохнул и пойду.

— Вы, должно быть, удивляетесь такому обхождению, — продолжал коренастый. — Только гостеприимство у нас не в обычае, нам гости ни к чему.

Освеженный коротким сном, К. теперь яснее воспринимал окружающее и даже обрадовался откровенным словам мужика. Он и двигался посвободнее, по-хозяйски потыкал палкой там и

сям, подошел и к женщине в кресле; ему казалось, что он крупнее всех в этой комнате.

— И правда, — подхватил К., — к чему вам гости. Но иной гость может и пригодиться, например я, землемер.

— Этого я не знаю, — протянул коренастый. — Коли вас позвали, значит, наверно, есть в вас нужда, и тогда вы, должно быть, исключение, но мы-то люди маленькие и живем по правилам, вы уж не обессудьте.

— Да нет, нет, — заверил К., — я, напротив, только благодарен вам лично и всем тут. — И, неожиданно для всех, К., совершив чуть ли не антраша, резко перевернулся и оказался лицом к лицу с той женщиной. Она смотрела на К. усталыми голубыми глазами, лоб наполовину прикрыт прозрачной шелковой косынкой, на груди спящий младенец.

— Кто ты? — спросил К.

С пренебрежением, которое неясно к кому относилось — то ли к К., то ли к собственным словам, — она бросила в ответ:

— Служанка из Замка.

Все это продолжалось лишь мгновение, ибо в ту же секунду оба мужика подхватили К. под локти и, будто все средства словесного убеждения окон-

чательно исчерпаны, молча, зато уж изо всех сил потащили к дверям. Старик при этом радовался, как младенец, и хлопал в ладоши. Да и прачка, все еще при детях, которые вдруг заорали как оглашенные, тоже рассмеялась.

В итоге К. опять очутился на улице под снегом, хотя вокруг стало как будто посветлее; мужики с порога следили за ним. Видно, устав ждать, бородач крикнул:

— Куда вам хоть надо? В Замок — это туда, в деревню — сюда.

Ему К. не ответил, зато второго, который, несмотря на свое главенство, показался ему пообходительнее, спросил:

— Кто вы такие? Кого мне благодарить?

— Я кожевник Лаземан, — послышалось в ответ, — а благодарить никого не надо.

— Хорошо, — бросил К. — Может, еще встретимся.

— Вряд ли, — отозвался коренастый.

В ту же секунду бородатый вскинул руку и воскликнул:

— Добрый день, Артур, добрый день, Иеремия!

К. обернулся: оказывается, в этой деревне люди все-таки иногда выходят на улицу! Со стороны Замка к ним приближались двое парней

среднего роста, оба очень стройные, в ладном облегающем платье, да и с лица весьма похожие, одинаково смуглые, почти коричневые, хотя их острые, клинышком, бородки даже на этом фоне выделялись своей иссиня-смоляной чернотой. Несмотря на заснеженную дорогу, шагали оба поразительно быстро, ладно, в такт выбрасывая стройные ноги.

— Куда вы? — крикнул бородатый.

Общаться с ними можно было только криком, до того быстро, не останавливаясь, они шли.

— По делам! — откликнулись оба со смехом.

— Это куда же?

— В трактир.

— Так и мне туда! — гаркнул вдруг К. во всю мочь, так ему захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой; знакомство с ними вроде бы никаких выгод не сулило, однако попутчики они спорые и бодрые, уж это наверняка. Но те, хотя и услышали К., только кивнули — и были таковы.

К. все еще стоял в снегу, без малейшей охоты выдергивать ногу из сугроба, а потом опускать ее снова в сугроб, только чуть дальше; кожевник с товарищем, довольные тем, что окончательно спровадили К., потихоньку, то и дело на него оглядываясь, сквозь щель приоткрытой двери

протиснулись обратно в дом, и К. снова остался один на один с окутывающим его снегом. «Казалось бы, ерунда, — мелькнуло у него в голове, — а ведь очутись я тут случайно, без умысла, было бы отчего впасть в отчаяние».

Но тут в избушке по левую руку распахнулось крохотное оконце; закрытое, оно казалось темно-синим — быть может, это снег в нем так отражался — и было столь крохотным, что все лицо смотревшего из него человека в нем не умещалось, только старческие карие глаза.

— Да вон он стоит, — донесся до К. дребезжащий старушечий голос.

— Это землемер, — раздался в ответ голос мужчины.

А вскоре и сам он, сменив у оконца старуху, выглянул и без особой враждебности, просто как хозяин, озабоченный тем, чтобы перед его домом на улице был порядок, спросил:

— Вы кого ждете?

— Саней, чтобы меня подвезли.

— Тут саней не бывает, — заметил мужчина. — По этой дороге движения нету.

— Но ведь это дорога к Замку, — возразил К.

— Тем не менее, тем не менее, — повторил мужчина с какой-то странной неумолимостью в

голосе, — здесь движения нету.

Какое-то время оба молчали. Но мужчина, судя по всему, о чем-то раздумывал, ибо окошко, из которого валил пар, не закрывал.

— Дорога сегодня скверная, — заметил К., лишь бы втянуть мужчину в разговор.

Тот в ответ только буркнул:

— Да уж конечно. — Но немного погодя вдруг добавил: — Если хотите, могу вас отвезти на своих санях.

— О, прошу вас, — оживился К., весьма обрадованный предложением. — Сколько это будет стоить?

— Нисколько, — бросил мужчина и, заметив удивление К., пояснил: — Вы ведь землемер, значит, от Замка. Куда вас отвезти?

— В Замок, — мгновенно ответил К.

— Нет, туда не повезу, — столь же быстро отрезал мужчина.

— Но ведь я от Замка, — сказал К., повторяя мужчине его собственные слова.

— Может быть, — произнес тот с прежней неуступчивостью в голосе.

— Тогда отвезите меня в трактир, — решил К.

— Ладно, — согласился мужчина. — Пойду за санями.

Весь вид его говорил о чем угодно, только не о любезности, — скорее об испуге и своекорыстном, твердолобом интересе немедленно и любой ценой спровадить К., лишь бы тот не торчал здесь, перед его домом.

Ворота во двор распахнулись, и из них выехали небольшие, для легкой поклажи дровни, запряженные хилой лошаденкой; за дровнями шел мужичок, с виду не старый, но какой-то весь немощный, сгорбленный, вдобавок хромой, с костлявым, обветренным, насквозь простуженным лицом, которое на фоне обмотанного вокруг шеи толстого шерстяного шарфа казалось совсем уж сморщенным и жалким. Мужичонка был явно болен, на улицу вышел только потому, что очень уж нужно увезти К. отсюда. К. попытался на что-то такое намекнуть, но мужичонка отмахнулся. К. лишь удалось узнать, что он возчик и звать его Герштекер, а дровенки эти неудобные он потому взял, что наготове стояли, выводить большие сани много времени уйдет.

— Садитесь, — буркнул он, ткнув кнутом себе за спину в сторону дровней.

— Я рядом с вами сяду, — предложил К.

— Так я пешком, — сказал Герштекер.

— Но почему? — изумился К.

— Нет уж, я пешком, — убежденно повторил Герштекер и тут же закатился в приступе такого кашля, что ноги его ушли в сугроб чуть ли не по колено, а руки поневоле уцепились за облучок.

К. ничего больше говорить не стал, уселся в дровни, выждал, пока мужичка перестанет бить кашель, и они тронулись в путь.

Замок там, наверху, в этот час загадочно сумрачный, тот самый Замок, куда К. чаял попасть еще сегодня, опять от него удалялся. Но, словно в знак кратковременного, как хотелось думать, прощания, оттуда вдруг грянул удар колокола, до того светлый и вдохновенно радостный, что от этого звона — а была в нем еще и щемящая боль — в первый миг тревожно заколотилось сердце, словно свершение того, к чему К. смутно влекло, таило в себе угрозу. Но вскоре большой колокол умолк и сменился слабым однозвучным перезвоном колокольчика, то ли оттуда, с горы, то ли из деревни. И однотонный этот перезвон как-то лучше подходил и к неторопливому ходу саней, и к облику их жалкого, но неумолимого возницы.

— Послушай, — крикнул вдруг К. (они уже подъезжали к церкви, отсюда до трактира рукой подать, вот он и осмелел), — я вот удивляюсь, как ты на свой страх и риск решился меня отвезти?

Разве тебе это дозволено?

Герштекер, словно и не слыша его, преспокойно вышагивал рядом с лошаденкой.

— Эй, — крикнул К. и, собрав с дровней пригоршню снега, запустил в Герштекера снежком, угодив ему прямо в ухо.

Только теперь Герштекер остановился и обернулся, но когда К. узрел его вблизи — дровенки успели немного проехать, — увидел эту согбенную, битую-перебитую жизнью и людьми фигуру, это сыромятное лицо, тощее, обветренное, изможденное, с разными щеками, одна плоская, другая запавшая, увидел разинутый в беспонятливом ожидании рот с редкими пеньками зубов, — когда он увидел все это, то повторил свой вопрос уже не со зла и не в сердцах, а просто из сострадания: мол, не накажут ли Герштекера за то, что он взялся К. отвезти.

— Да что тебе надо-то? — бестолково спросил возница, но ответа дожидаться не стал, только прикрикнул на лошаденку, и они двинулись дальше.

Когда они — К. узнал поворот дороги — подъезжали к трактиру, вокруг, к немалому его изумлению, воцарилась полная тьма. Неужели он так долго отсутствовал? Да нет, час, от силы

два, по его прикидкам. Но вышел-то он утром! И есть ему еще ни разу не захотелось! Ведь только что был белый день, а тут сразу такая темень!

— Короткие дни, совсем короткие, — бормотал он, слезая с дровней и направляясь к трактиру.

Приятно было увидеть на крыльце трактирщика с высоко поднятым фонарем: сам вышел встретить и ему посветить. Мельком вспомнив о вознице, К. остановился: где-то в темноте слышался кашель, да, это он. Ну да ничего, не в последний раз видятся. Лишь поднявшись на крыльцо и поравнявшись с хозяином, который подобострастно с ним поздоровался, К. вдруг заметил еще двоих — они замерли по обе стороны двери. Забрав у хозяина фонарь, он посветил на незнакомцев: оказалось, те самые двое парней, которых он встретил в деревне и которых кликали Артуром и Иеремией. Сейчас оба дружно отдали ему честь. Припомнив славное, счастливое времечко своей военной службы, К. рассмеялся.

— Кто такие? — спросил он, переводя взгляд с одного на другого.

— Твои помощники, — прозвучало в ответ.

— Да, это помощники, — тихо подтвердил хозяин.

— То есть как? — изумился К. — Это вы-то — мои

прежние помощники, те, за которыми я посылал, которых жду?

Они согласно кивнули.

— Хорошо, — сказал К. после некоторого раздумья. — Хорошо, что вы пришли. Кстати, — продолжил он еще немного погодя, — вы сильно запоздали, почему такая нерадивость?

— Путь был далекий, — ответил один из них.

— Путь далекий, — повторил К. — Но ведь это вас я встретил, когда вы из Замка шли?

— Да, — ответили оба без дальнейших пояснений.

— Где ваши приборы? — спросил К.

— У нас их нет, — отвечали помощники.

— Приборы, которые я вам доверил, где они? — не унимался К.

— У нас их нет, — повторили они.

— Ну что за народ! — сокрушенно заметил К. — А в землемерном деле вы хоть что-нибудь смыслите?

— Нет, — отвечали парни.

— Но если вы мои прежние помощники, значит, должны разбираться, — сказал К.

Они молчали.

— Ну ладно, пошли, — проронил К., проталкивая обоих перед собой в дверь.

2
Варнава

Потом, втроем за маленьким столиком, они молча сидели в трактире за пивом, К. посередке, справа и слева помощники. Еще один стол, как и в прошлый вечер, был занят крестьянами, других посетителей не было.

— Нелегко, однако, с вами, — сказал К., в который раз сравнивая лица помощников. — Как прикажете вас различать? У вас только имена разные, а в остальном вы похожи друг на друга, как… — тут он запнулся, потом почти против воли договорил: — Как змеи.

Они улыбнулись.

— Вообще-то нас легко различают, — сказали они, словно оправдываясь.

— Охотно верю, — согласился К. — Я сам тому свидетель, но я на вас своими глазами смотрю, а они вас не различают. Так что буду обращаться с вами как с одним человеком и кликать обоих Артуром, ведь так, кажется, кого-то из вас зовут, тебя, что ли? — спросил К., кивнув на одного из них.

— Нет, — отозвался тот. — Меня Иеремией зовут.

— Ну и ладно, какая разница, — бросил К. — Буду обоих Артурами звать. Как Артура куда-нибудь посылаю, значит, оба туда идете, работу какую-нибудь Артуру даю, значит, оба ее выполняете. Для меня, конечно, большое неудобство, что по отдельности на разных работах использовать вас не смогу, но есть и свои преимущества, потому как за все, что я вам поручу, вы несете ответственность сообща и нераздельно. А как вы между собой работу распределите, мне совершенно безразлично, только не вздумайте друг на дружку пенять, вы для меня один человек.

После некоторого раздумья они сказали:

— Однако это было бы нам весьма неприятно.

— Еще бы, — сказал К. — Разумеется, это и должно быть вам неприятно, но я так решил, и быть по сему.

К. давно приметил, что один из мужиков все время вертится возле их стола; сейчас, наконец решившись, он шмыгнул к одному из помощников, норовя что-то тому шепнуть.

— Нет уж, извините, — сказал К., прихлопнув по столу ладонью и вставая, — это мои помощники, и у нас сейчас совещание. Никто не имеет

права нам мешать.

— Виноват, виноват, — испуганно залепетал мужик и попятился к своему столу.

— И зарубите себе на носу, — сказал К., снова садясь на место, — без моего разрешения бы ни с кем разговаривать не смеете. Если я здесь чужак, а вы мои прежние помощники, то и вы здесь чужаки. А раз так, то мы, трое чужаков, должны держаться вместе. Понятно? Дайте мне ваши руки!

Руки протянулись к нему с чрезмерной поспешностью.

— Да ладно лапы-то совать, — бросил К. — Но приказ есть приказ{2}. Сейчас я пойду спать и вам то же советую. Сегодня у нас день для работы пропал, поэтому завтра приступим спозаран-

---

{2} Варианты: 2.2

— Да ладно лапы-то совать, — бросил К. — Но приказ есть приказ. [*Потом все снова замолчали. К. так и подмывало на новые расспросы, но он не поддался соблазну, такое любопытство не подобало его господскому положению. К тому же дельных ответов он наверняка не получит, одни бесполезные. Мучительно было ловить на себе их взгляды, не наставленные в упор, но часто скользившие по нему украдкой.*

— Сейчас я спать иду, — сказал К., — и вам советую, завтра раным-рано приступим к работе. Для начала вам придется раздобыть сани,] и чтобы к шести утра оба у крыльца меня ждали, с санями![5]

[5] Примечания: 1.5

Таким образом отмечены вычеркнутые Кафкой фрагменты текста, содержащие альтернативные варианты развития событий. *(Прим. верстальщика fb2)*

ку. Завтра мне в Замок ехать, сани достанете, и чтобы в шесть утра оба у крыльца меня ждали, с санями!

— Хорошо, — сказал один.

Но второй тут же его одернул:

— Вот ты говоришь «хорошо», а прекрасно ведь знаешь, что это невозможно.

— Тихо! — сказал К. — Вы, похоже, вздумали один от другого отличаться.

Однако теперь и первый сказал:

— Он прав, это невозможно, посторонним в Замок без разрешения никак нельзя.

— Хорошо, где испрашивают разрешение?

— Не знаю, у кастеляна, наверно.

— Тогда запросим по телефону, вы оба сейчас же позвоните кастеляну.

Они кинулись к аппарату, вызвали нужный номер, — все это в страшной спешке, отталкивая друг друга и всем видом до смешного усердно стараясь изобразить послушание, — и спросили, можно ли К. завтра вместе с ними явиться в Замок. Брошенное в ответ «нет» было сказано так резко, что донеслось даже до столика К., однако это было еще не все, полный ответ гласил:. «Ни завтра, ни когда-либо впредь».

— Я сам позвоню, — заявил К., вставая.

Прежде, если не считать размолвки с назойливым мужичком, ни сам К., ни его помощники внимания к себе почти не привлекали, но последнее заявление К. вызвало всеобщий переполох. Вслед за К. все повскакивали с мест и, несмотря на отчаянные попытки трактирщика сдержать напор ротозеев, беспокойной гурьбой сгрудились около телефона вокруг К. Мнение большинства сводилось к тому, что К. вообще никакого ответа не удостоится. К. пришлось даже прикрикнуть на них: дескать, их мнения никто и не спрашивает.

Из слухового рожка донеслось странное гудение, какого К. по телефону никогда прежде не слыхивал. Казалось, это слитное гудение бесчисленного множества детских голосов — впрочем, даже не гудение, а пение, только очень-очень отдаленное, — как если бы из этого гудения непостижимым образом образовался один высокий, но сильный голос, бьющий прямо в барабанную перепонку, буравящий ее, словно он не только презренного слуха стремится достигнуть, а посягает проникнуть гораздо глубже. Даже не пытаясь звонить, К. вслушивался в этот звук: левой рукой оперся на подвесной корпус телефонного аппарата, да так и замер, вслушиваясь.

Неизвестно, сколько это продолжалось и сколь-

ко бы длилось еще, если бы хозяин не дернул его за рукав: к нему, мол, посыльный.

— Да уйди ты! — в сердцах крикнул К., судя по всему, прямо в переговорный рожок, потому что в слуховой ему тотчас же ответили. Разговор получился вот какого свойства:

— Освальд слушает, кто говорит? — спросил строгий, неприязненный и заносчивый голос, в котором К. почудился некий речевой изъян, и еще почудилось, будто именно этот изъян голос и пытается перекрыть избытком строгости.

К. не решался назваться, ведь перед телефоном он совершенно бессилен: одна оплошность — и на том конце провода на него могут наорать, бросить трубку, а значит, один из важных путей мгновенно будет отрезан. Однако и молчание К. вызвало нетерпеливое раздражение.

— Кто говорит? — повторил голос и тотчас же добавил: — Было бы совсем неплохо, если бы с вашего номера пореже сюда звонили, ведь только что уже был звонок.

И тут К., посчитав возможным на это замечание вовсе не отвечать, в порыве внезапной решимости вдруг отозвался:

— Говорит помощник господина землемера.

— Какой помощник? Какого господина? Какого

землемера?

Но К., припомнив вчерашний разговор, мигом нашелся и коротко бросил:

— Спросите у Фрица.

К немалому его изумлению, уловка сработала. Но еще больше, чем эта удача, его изумила слаженность работы тамошних служб. В ответ прозвучало:

— Ах да, знаю. Вечно этот пресловутый землемер. Так-так. Дальше что? Какой помощник?

— Йозеф, — доложил К.

Ему немного мешал ропот крестьян за спиной, видно, тем не по нраву пришлось, что он не своим именем назвался. Но сейчас ему было не до них, слишком уж занимал его телефонный разговор.

— Йозеф? — переспросил голос. — Помощников зовут… — Тут возникла пауза, очевидно, голос у кого-то сверялся. — Артур и Иеремия.

— Так то новые помощники, — возразил К.

— Нет, прежние.

— Новые, это я прежний, нынче в распоряжение господина землемера прибыл.

— Нет! — гаркнули на том конце провода.

— Кто же тогда я? — спросил К., сохраняя прежнюю невозмутимость.

Опять повисла пауза, и тот же голос, с тем же

речевым изъяном, только тоном пониже и вроде бы уважительнее, вдруг протянул:

— Ты — прежний помощник.

Вслушиваясь в этот переменившийся голос, К. едва не проворонил следующий вопрос:

— Так чего тебе надо?

[*Но уже через секунду К.*[3] *пришел в себя и сказал:*

— Мой господин спрашивает, когда ему завтра явиться в Замок.

В ответ раздалось:

— Передай своему господину, только ни слова не пропусти. Если он и десятерых помощников пошлет спрашивать, ответ будет всегда один: ни завтра, ни в какой другой день.

Лучше бы ему давно положить трубку. Такой разговор ни на йоту не продвинул его вперед, да и не мог продвинуть. Иначе, совсем иначе надо было действовать. Таким манером он борется не с другими, а только с самим собой. Впрочем, он

---

[3] Примечания: 1.3

В начальных главах первой редакции романа повествование ведется от первого лица. Когда Кафка решил заменить «я» на К., он, выправляя рукопись, в вычеркнутые места эту правку, разумеется, не внес. *(Прим. пер.)*

Чтобы не нарушать целостности повествования, здесь и далее произведена замена на третье лицо единственного числа. *(Прим. верстальщика fb2)*

лишь вчера сюда прибыл, а Замок стоит здесь со стародавних времен.]

В эту секунду он охотнее всего просто положил бы трубку на рычаг. От этого разговора больше ждать нечего. И все же напоследок и скороговоркой, почти против воли он спросил:

— А когда моему хозяину можно прийти в Замок?

— Никогда, — раздалось в ответ.

— Хорошо, — сказал К. и повесил трубку. Между тем крестьяне за спиной обступили его почти вплотную. Помощники, то и дело на него оглядываясь, якобы изо всех сил пытались их оттеснить. Похоже, однако, они только ломали комедию, хотя крестьяне, явно удовлетворенные итогами телефонных переговоров, помаленьку им поддавались. Но тут их толпу с тылу решительным шагом рассек человек, который, подойдя к К., с поклоном вручил ему письмо. К. принял письмо, а сам не спускал глаз с человека, ибо тот почему-то казался ему сейчас важнее. Было большое сходство между ним и помощниками: такой же стройный, одет в такое же ладное платье, такой же ловкий и спорый, как они, а все-таки совсем другой. Вот бы этого молодца ему в помощники! Чем-то он напомнил К. женщину с грудным мла-

денцем, виденную в доме кожевника. Одет он был почти во все белое, и платье это, хотя и не из шелка, а зимнее, как и у всех прочих, вид имело нарядный и праздничный, будто шелковое. Светлое, открытое лицо, огромные распахнутые глаза. И удивительная, бодрящая улыбка; сейчас он даже рукой по лицу провел, как бы норовя эту улыбку стереть, но ему это не удалось.

— Ты кто такой? — спросил К.

— Варнавой меня зовут, — отвечал тот, — я посыльный.

Губы его, когда он говорил, раскрывались и смыкались мужественно, но вместе с тем и нежно.

— Нравится тебе тут? — спросил К., обводя рукой по-прежнему не терявших к нему интереса мужиков, которые, все как один, с перекошенными, иначе и не скажешь, образинами, — словно им размеренными ударами долго сплющивали черепушки, и мука этого сплющивания исказила лица пожизненно, — стояли вокруг, раззявив рты, раскатав толстые, слюнявые губы, и то ли глазели на него, то ли нет, потому что тупой, смутный их взгляд беспрестанно блуждал, убегая в сторону и подолгу задерживаясь на предметах вовсе уж никчемных, — а потом К. ткнул в

помощников, что, стоя в обнимку, щека к щеке, дружно улыбались, и неясно было, чего больше в их улыбке, подобострастия или издевки, — К. указал на всех них, словно представляя свою волею обстоятельств навязанную ему свиту и ожидая — в этом и была доверительность жеста, а именно доверительности К. и добивался, — чтобы Варнава осознал различие между ним и всем этим сбродом. Но Варнава — в святой простоте, это ясно было видно — истинного смысла вопроса не понял, восприняв его, как благовоспитанный слуга воспринимает слово хозяина, даже когда слово это вроде и не к нему лично обращено, обвел, подчиняясь вопросу, глазами всех присутствующих, увидев среди мужиков знакомых, кому-то помахал рукой, перемолвился с помощниками, и все это непринужденно, с достоинством, явно не ставя себя с прочими на одну доску. К., без умысла отринутый, хотя и не посрамленный, поневоле обратился к письму у себя в руке и вскрыл его. Письмо гласило нижеследующее:

«Многоуважаемый сударь! Как вам известно, вы приняты на господскую службу. Непосредственным вашим начальством отныне является староста деревни, который и сообщит вам дальнейшее относительно вашей работы и условий

оплаты и которому вы впредь подотчетны. Тем не менее и сам я не намерен упускать вас из виду. Варнава, предъявитель сего послания, время от времени будет осведомляться у вас относительно ваших пожеланий, дабы уведомлять об оных меня. В моем лице вы всегда встретите желание и готовность по мере возможности идти вам навстречу. Мы заинтересованы в том, чтобы работники наши были всем довольны».

Подпись от руки была неразборчивая, но под ней было допечатано: «Начальник X канцелярии».

— Жди! — приказал К. послушно поклонившемуся Варнаве, потом кликнул трактирщика и велел показать отведенную ему комнату, он, дескать, желает побыть с письмом наедине.

Тут он вспомнил, что Варнава, при всем расположении, которое в нем этот человек вызывает, всего лишь посыльный, и распорядился подать тому пива. Он проследил, как Варнава к этому отнесется, тот принял пиво с удовольствием и отхлебнул сразу. Затем К. направился вслед за хозяином. В утлом трактире для К. смогли выделить лишь маленькую каморку под крышей, да и то с превеликим трудом, ибо пришлось куда-то переселять двух служанок, что ночевали здесь

прежде. Собственно, ничего, кроме выдворения служанок, и не было сделано: сама комнатенка осталась, судя по всему, в прежнем виде, на единственной кровати никакого белья, лишь пара подушек да попона, скомканные еще с прошлой ночи, на стене несколько образков святых да фотографии солдат, даже проветрить и то не удосужились, очевидно, в надежде, что новый постоялец надолго не задержится, а удерживать его обходительным услужением и вовсе незачем. К., однако, и это устраивало, он укутался в попону, присел к столу и при свете свечи принялся читать письмо еще раз.

В бумаге этой не было слитного единства, в иных местах к нему адресовались как к свободному человеку, признавая за ним право на собственную волю, — таково было обращение, а также место, где речь шла о его пожеланиях. Но, с другой стороны, были в письме и пассажи, когда с ним завуалированно, а то и неприкрыто обходились как с букашкой, которую с начальственных высот и не разглядеть почти: начальнику канцелярии явно приходилось напрягаться, чтобы «не упустить его из виду», в непосредственные руководители ему отрядили деревенского старосту, которому он к тому же «подотчетен», а равным

ему по должности сослуживцем оставался, пожалуй, лишь деревенский полицейский. Это все были несомненные несуразности и неувязки, притом настолько очевидные, что допустить их можно только с умыслом. Совершенно сумасбродная по отношению к таким властям мысль, что тут, быть может, имела место нерешительность, навестила К. лишь мельком. Скорее он усмотрел в бумаге некий открыто предложенный выбор: ему самому предоставлялось решать, как истолковать распоряжения письма, стать ли рядовым работником в деревне, хотя и отмеченным связью с Замком, но связью лишь по видимости, либо, напротив, лишь по видимости быть рядовым работником, определяя свои служебные полномочия и обязанности в соответствии с вестями, получаемыми через Варнаву. К. ни секунды не колебался в выборе: даже отбросив весь свой жизненный опыт, он бы все равно не колебался. Только рядовым работником деревни, как можно дальше от господского пригляда, он в силах чего-то от Замка добиться, эти люди в деревне, пока что столь к нему недоверчивые, мало-помалу разговорятся, когда увидят в нем если не друга, то хотя бы односельчанина, когда он перестанет отличаться в их глазах, допустим, от Герштекера

или Лаземана, — и произойти это должно как можно скорей, от этого все зависит, — а уж тогда ему разом откроются все пути, которые, положись он лишь на господ сверху и их милости, оставались бы для него не только заказаны, но и незримы. [*К. сунул письмо в карман, для него это была большая ценность, странно, что письмами ему здесь преподают лишь столь грозные уроки, и лучше бы письмо сразу навело его на такие тревожные мысли, чем понапрасну укреплять в нем прежние, благостные.*] Есть тут, правда, одна опасность, и в письме она подчеркнута более чем явно, даже с каким-то злорадством, словно от нее ему никуда не уйти. Это — само его положение работника. «Служба», «начальство», «работа», «условия оплаты», «подотчетность», «работники» — бумага подобными словами буквально кишела, и даже когда в ней имелось в виду нечто иное, более личное, непосредственно его касающееся, оно все равно имелось в виду с казенной, безличной точки зрения. Хочет К. стать работником — он может стать работником, но уж тогда за страх и за совесть, без всяких шуток и без каких-либо иных видов на будущее. К. знал: страшна не угроза действительного принуждения, ее он не боится вообще, а здесь не боится и подавно, но

вот угроза унылой, удручающей жизни, угроза вошедших в привычку разочарований, угроза каждого неприметно растрачивающего тебя мгновения — эта угроза, безусловно, страшила его, и с этой опасностью ему предстоит вступить в схватку. Письмо ведь не обходило молчанием, что если дело дойдет до схватки, то именно К. имел дерзость ее затеять, сказано это было не без подвоха и так, чтобы только человек с неспокойной совестью — именно с неспокойной, а не с нечистой — мог это заметить, тут все таилось в трех словцах «как вам известно», касающихся его приема на службу. К. сам вызвался, и с тех пор, как уведомляло письмо, ему известно, что он принят.

К. снял со стены какую-то картинку и вместо нее повесил на гвоздик письмо: в этой комнатенке ему предстоит жить, значит, и письму тут висеть.

Потом он спустился обратно в залу, где Варнава уже сидел с помощниками за одним столом.

— Вот ты где, — сказал К. без видимого повода, просто так, потому что рад был снова увидеть Варнаву.

Тот сразу вскочил. Но и все мужики, едва К. вошел, тоже как по команде поднялись, норовя

подступить поближе, видно, у них в привычку входило чуть ли не бегать за ним по пятам.

— Да что вам всем от меня надо? — прикрикнул на них К.

Ничуть не обидевшись на окрик, они медленно разбрелись по своим местам. А один, отходя, с невнятной ухмылкой, которая и на другие лица тут же перекочевала, пояснил:

— Так ведь все время чего-нибудь новенькое услышишь, — и даже облизнулся, словно «новенькое» для него лакомство.

К. мог бы бросить в ответ что-нибудь примирительное, однако не стал, пусть побаиваются и уважают, это хорошо, но едва он присел возле Варнавы, как тотчас почувствовал затылком чье-то дыхание, это опять был один из мужиков, которому, как он объяснил, якобы понадобилась солонка. К. от ярости даже ногами затопал, и мужик, забыв про солонку, очертя голову кинулся прочь. Видно, с ним, пришлым, и вправду нетрудно справиться: достаточно напустить на него всех этих мужиков, ведь назойливое любопытство одних казалось даже худшим злом, чем угрюмая замкнутость других, хотя и за назойливостью любопытных таилась все та же замкнутость, — вздумай К. подсесть к их столу, они немедля

встанут и разойдутся. Только присутствие Варнавы удерживало К. от того, чтобы на них наорать. Тем не менее он с угрожающим видом обернулся — оказалось, все они тоже на него смотрят. Но когда он оглядел их всех, сидящих вот так, каждый на особицу, не переговариваясь, без видимой общности и связи друг с другом, объединенных лишь тем, что все они, как один, на него глазеют, ему почудилось, что вовсе не злоба заставляет их следить и следовать за ним столь неотвязно, что они, быть может, и вправду чего-то от него хотят, только сказать не умеют, а если и не хотят, то все равно это не злоба, а только ребячливость — ребячливость, которая, похоже, у всех тут в повадке, вон и трактирщик, разве не ребячлив он сейчас, когда, замерев на месте и испуганно обхватив ладонями кружку пива, которую нес кому-то из гостей, во все глаза смотрит на К. и даже прослушал сердитый окрик своей сварливой супруги, что высунулась из раздаточного окошка кухни.

Чуть успокоившись, К. повернулся к Варнаве, помощников он сейчас охотнее всего отослал бы прочь, да как-то не находилось предлога.

— Письмо, — начал К., — я прочел. Ты знаешь, о чем оно?

— Нет, — ответил Варнава. Но глаза его, каза-

лось, говорят больше, чем слова.

Может, К. и тут только мерещится доброе, как мерещится в мужиках злое, но благотворность присутствия Варнавы была явной, он ее чувствовал.

— В письме и о тебе тоже речь, тебе предстоит теперь быть вестовым между мною и начальством, вот я и подумал, может, тебе известно, о чем письмо.

— Мне, — отвечал Варнава, — только велено вручить письмо, дождаться, пока ты его прочтешь, и доставить ответ, письменный или устный, если ты сочтешь нужным ответить.

— Хорошо, — сказал К. — Писать ничего не понадобится, передай господину начальнику… как, кстати, его фамилия? Я подпись не разобрал.

— Кламм, — отозвался Варнава.

— Так вот, передай господину Кламму мою благодарность за прием и оказанную мне особую любезность, которую я, человек здесь новый и ничем пока себя не проявивший, весьма ценю. Я всецело в его распоряжении. Никаких особых пожеланий у меня на сегодняшний день нет.

Варнава, выслушав ответ с предельным вниманием, попросил у К. разрешения его повторить, К. разрешил, и Варнава повторил все слово в слово.

После чего встал, намереваясь распрощаться.

К., и прежде испытующе вглядывавшийся в это лицо, теперь всмотрелся в него напоследок. Варнава был примерно того же, что и К., роста, однако взгляд его, казалось, смотрит чуть свысока, но без всякой гордыни — невозможно, к примеру, представить, чтобы этот человек вздумал кого-то стыдить. Конечно, он всего лишь посыльный, не знает даже содержания писем, которые разносит, однако его взгляд, его улыбка, его поступь, казалось, тоже несут в себе некую весть, пусть сам он о ней не ведает. И К. протянул Варнаве руку, что явно того обескуражило — он-то хотел всего лишь поклониться.

Едва он ушел, — перед тем как отворить дверь, он, уже навалившись на нее плечом, замер на секунду и взглядом, который ни к кому по отдельности вроде бы не относился, обвел напоследок всю залу, — К. сказал помощникам:

— Пойду возьму из комнаты свои записи, обсудим ближайшие дела.

Оба вскочили, намереваясь пойти за ним.

— Останетесь здесь! — приказал К.

Они тем не менее все еще порывались идти. К. пришлось повторить приказ настоятельнее. В прихожей Варнавы не было. Но он ведь только

что вышел! Однако и перед домом — опять повалил снег — К. посыльного не увидел.

— Варнава! — крикнул он.

Никакого ответа. Может, он в трактире? Пожалуй, больше ему и негде быть. Тем не менее К. еще раз что есть мочи выкрикнул его имя, громовым раскатом прокатившееся в ночи. И вдруг откуда-то издали донесся слабый отклик — вон, оказывается, сколько он уже отмахал. К. кликнул еще раз и сам пошел на голос Варнавы; когда они встретились, трактира позади не было видно.

— Варнава, — сказал К., не в силах унять дрожь в голосе, — я хотел еще кое-что тебе сказать. Я подумал, нескладно получится, если в своих сношениях с Замком я буду зависеть только от твоих приходов, а ты будешь являться, когда тебе вздумается. Если бы сейчас я чудом тебя не вернул — ты не ходишь, а летаешь прямо, я думал, ты еще в трактире, — кто знает, сколько бы мне пришлось потом тебя дожидаться.

— Но ты ведь можешь, — отвечал Варнава, — попросить начальника, чтобы я приходил в определенное время, какое ты установишь.

— Этого тоже недостаточно, — возразил К. — Мне, может, целый год ничего не понадобится, а потом, только ты уйдешь, как раз неотложная

оказия и возникнет.

— Значит, мне доложить начальнику, чтобы с тобою другую связь установили, не через меня?

— Да нет же, — перебил его К., — совсем нет, это я так, к слову, сейчас-то я, по счастью, успел тебя вернуть.

— Может, вернемся в трактир, — предложил Варнава, — и ты дашь мне там новое поручение? — И двинулся было в сторону трактира.

— Да нет, Варнава, — сказал К., — в этом нет нужды, лучше я пройдусь с тобой немного.

— Но почему ты не хочешь вернуться в трактир? — удивился Варнава.

— Эти люди там, они мне мешают, — признался К. — Мужики эти назойливые, ты сам видел.

— Так в комнату к тебе можно пройти, — предложил Варнава

— Это комната прислуги, — отмахнулся К., — грязная, затхлая; я потому и захотел с тобой пройтись, чтобы там не сидеть, только вот, — добавил он, окончательно преодолевая нерешительность, — позволь мне за тебя ухватиться, вон как ты лихо вышагиваешь…

И К. ухватил Варнаву под руку. Кругом чернела тьма, лица Варнавы К. не видел, даже силуэт различал смутно, а руку он еще раньше пытался

нащупать, да не вышло.

Варнава подчинился его желанию, и они шли теперь прочь от трактира. [*Как странно, что образ этого человека, каким он представал в сознании К., ему самому казался далеким от действительности, словно перед ним не один человек, а двое, и словно только один К., но никак не действительность, способен этих двоих различать, — и еще К. подумал, что, наверно, вовсе не его бесхитростная уловка, а только его растерянное, исполненное робкой надежды лицо, которое Варнава, должно быть, даже в ночи сумел разглядеть, побудило посыльного взять его с собой. Только в этом К. и черпал теперь надежду, ибо в остальном…*] Однако К. чувствовал, что, несмотря на все старания, идти с Варнавой в ногу он не в силах и поневоле висит на нем обузой; выходит, даже в самых обычных обстоятельствах из-за такого, казалось бы, пустяка все может рухнуть, тем более в здешних переулках, где К. давеча утонул в сугробах и где Варнаве, чего доброго, пришлось бы попросту выносить его на руках. Впрочем, сейчас К. гнал от себя подобные мысли, да и молчание Варнавы утешало его; раз они идут молча, значит, и Варнава согласен: одно только их продвижение вперед — и то имеет ка-

кой-то смысл и может считаться общим делом.

Так они и шли, правда, К. понятия не имел куда, он ничего вокруг не узнавал, даже не разглядел, прошли они уже церковь или нет. Из-за того что столько сил приходилось тратить на обычную ходьбу, он никак не мог собраться с мыслями. Мысли путались и сбивались, не в силах сосредоточиться на одной задаче. Почему-то вспоминались родные места, и воспоминания эти переполняли его, не давали покоя. Там, на родине, на главной площади тоже стояла церковь со старинным погостом за высокой стеной. Из мальчишек лишь очень немногим удавалось вскарабкаться на эту ограду, вот и К. еще ни разу не взбирался. Влекло их туда не любопытство, никаких таких тайн на кладбище не было, сквозь маленькую решетчатую калитку они частенько туда захаживали, только высокая гладкая стена манила их своей неприступностью. И однажды утром — тихая, пустынная площадь была залита солнцем, ни прежде, ни потом К., пожалуй, никогда больше ее такой не видел, — ему неожиданно легко все удалось; в том месте, где стена уже не раз его сбрасывала, он, с маленьким флажком в зубах, взлетел на нее с первого же приступа. Еще шуршала внизу потревоженная разбегом галька

— а он уже был наверху. Он укрепил флажок, ветер расправил и натянул материю, он глянул вниз, по сторонам и через плечо назад, на тяжело ушедшие в землю кресты, — не было в это мгновение никого вокруг сильнее и выше, чем он! Мимо, как назло, проходил учитель, чей сердитый взгляд мигом согнал К. со стены, соскакивая, он расшиб колено, едва доковылял до дому, но на стене он все-таки побывал, и тогда казалось, что восторг этой победы послужит опорой во всей его будущей долгой жизни, — и, наверно, не такой уж это вздор, раз теперь, столько лет спустя, в заснеженной ночи, вместе с рукой Варнавы это чувство пришло ему на помощь.

Он уцепился еще сильней, чуть ли не повис на руке Варнавы, который его теперь почти тащил, но молчание между ними не прерывалось; о дороге К. мог судить только по состоянию улицы под ногами и, исходя из этого, заключил, что ни в какие переулки они, похоже, пока не сворачивали. Он строго-настрого наказал себе во что бы то ни стало идти вперед, отбросив мысли о трудностях пути и тем паче о тяготах возвращения, пусть его хоть волоком тащат, уж на это-то у него достанет сил. Да и возможно ли, чтобы у дороги не было конца? При свете дня Замок лежал перед

ним легко достижимой целью, и посыльный наверняка знает кратчайший до нее путь.

Тут Варнава вдруг остановился. Где они? Неужто дальше не пойдут? Или Варнава вздумал с ним распрощаться? Ну уж нет, этому не бывать. И К. так вцепился Варнаве в руку, что самому больно стало. Или и вправду случилось невероятное и они уже в самом Замке или у замковых ворот? Но, сколько помнил К., они вовсе не поднимались в гору. Или Варнава провел его какой-то пологой дорогой, где подъем незаметен?

— Где мы? — тихо спросил К., скорее самого себя, чем Варнаву.

— Дома, — так же тихо отвечал тот.

— «Дома»?

— Только смотри не поскользнись, сударь, тут под уклон.

«Под уклон?»

— Тут всего два шага, — добавил Варнава, уже стуча в дверь.

Им отворила девушка, они стояли на пороге большой избы почти в полной тьме, только где-то слева, над столом, мерцала крохотная керосиновая лампа.

— Кто это с тобой, Варнава? — спросила девушка.

— Землемер, — отозвался тот.

— Землемер, — обернувшись к столу, громче повторила девушка.

При этих словах из-за стола поднялись люди: старик со старухой и еще одна девушка. Они поздоровались с К. Варнава всех ему представил — это были его родители и две сестры, Ольга и Амалия. У К. едва хватило сил поднять на них глаза, однако с него уже снимали промокшее пальто, чтобы высушить у печки, и он не пытался противиться.

Так, значит, не оба они дома, дома только Варнава. Зачем они пришли сюда? Отведя Варнаву в сторонку, К. спросил:

— Зачем ты привел меня к себе домой? Или вы живете в пределах Замка?

— «В пределах Замка»? — повторил Варнава, явно не понимая, о чем речь.

— Варнава! — не унимался К. — Ты ведь собирался из трактира в Замок идти.

— Да нет, сударь, — возразил тот. — Я домой собирался, а в Замок мне только завтра утром идти, я там никогда не ночую.

— Так, — протянул К., — ты, значит, не в Замок шел, а сюда? — Улыбка Варнавы показалась ему вдруг жалкой, да и сам посыльный в его глазах

как будто сразу помельчал. — Почему же ты мне раньше не сказал?

— Так ты, сударь, не спрашивал, — отвечала Варнава. — Ты вроде еще одно поручение собирался мне дать, но ни в трактире, ни в своей комнате говорить не хотел, я и подумал, что тут, у родителей моих, ты без помех мне все и накажешь, ты только распорядись, они сразу же выйдут, да и переночевать можешь, если тебе у нас больше понравится. Или я что не так сделал?

К. не смог ему ответить. Выходит, это недоразумение, самое обычное, гнусное житейское недоразумение, а К. так доверился — и так обмишурился? Позволил ослепить себя шелковистым блеском ладно пригнанной куртки, которую Варнава как раз расстегивал и из-под которой лезла на свет грубая, грязно-серая, латаная-перелатаная рубаха, что прикрывала его костлявую, но могучую батрацкую грудь. И все вокруг было этой рубахе под стать, если не хуже: дряхлый, скрюченный подагрой отец, который, казалось, передвигается скорее с помощью шарящих в воздухе рук, нежели шаркающих по полу ног, мать с вечно сложенными на груди руками, тоже еле-еле, крошечными шажками таскающая свое непомерно тучное тело; оба они, и мать, и

отец, едва только К. вошел в дом, из своего угла тронулись навстречу гостю, но путь этот обещал быть еще очень долгим. Сестры, обе белокурые, похожие друг на дружку и на Варнаву, только лицами погрубее его, рослые крепкие девахи, обступили вошедших и ждали от К. хоть приветливого словца, а он ничего вымолвить не мог, он думал, здесь, в деревне, любой житель для него важен, да, наверно, так оно и есть, вот только эти людишки почему-то нисколько его не интересуют.{3} Будь он в состоянии осилить дорогу до трактира в одиночку, он не раздумывая ушел бы сию же секунду. Возможность завтра спозаранку отправиться в Замок вместе с Варнавой теперь нисколько его не прельщала. Он хотел проникнуть в Замок сегодня же, среди ночи, никем не

{3} Варианты: 2.3

…вот только эти людишки почему-то нисколько (меня) не интересуют. [*К. обернулся, ища глазами пальто и твердо намереваясь, хоть оно и промокло насквозь, надеть его снова и немедленно отправиться обратно в трактир, сколь бы трудно это ни было. Надо было прямо и открыто сказать себе и этим людям, что он обманулся, и только возвращение в трактир казалось ему подобающей и достаточной формой такого признания. Но прежде всего он не хотел дать проснуться в себе колебаниям и неуверенности, не хотел дать втянуть себя в предприятие, оказавшееся вопреки первоначальным упованиям столь безнадежным. Руку, тянувшую меня за рукав, К. просто стряхнул, даже не глянув, кто это его трогает.*

Тут он услышал, как старик сообщает Варнаве:

— Служанка из Замка к тебе приходила. — И они тихо о чем-то заговорили.

К. уже настолько ничему не верил, что некоторое время пристально наблюдал за ними, пытаясь понять, не нарочно ли ради него старик обронил свое замечание насчет служанки. Видимо, все-таки не нарочно, болтливый отец, чьи слова время от времени с готовностью подхватывала и матушка, рассказывал Варнаве без разбору все подряд, Варнава склонился к нему и, слушая, улыбался К., словно призывая и его порадоваться, какой у него родитель. К., однако, радоваться не стал, наоборот, некоторое время созерцал эту улыбку с удивлением. Затем обернулся к девушкам и спросил:

— Вы ее знаете?

Те его не поняли, да и оробели слегка — слишком уж строго и властно К. ненароком к ним обратился. Тогда он объяснил, что имеет в виду служанку из Замка. Ольга, та из сестер, что поприветливее, — она и что-то вроде девичьего смущения выказывала, в то время как Амалия не сводила с К. ощутимо тяжелого, казалось, даже чуточку туповатого взгляда, — ответила:

— Служанку из Замка? Конечно знаем. Она сегодня тут была. А ты тоже ее знаешь? Я думала, ты лишь со вчерашнего дня здесь.

— Да, со вчерашнего, — ответил К. — А сегодня с ней повстречался, мы словцом-другим перемолвились, однако потом нас прервали. Я бы охотно увиделся с ней еще. — И, чтобы звучало не так откровенно, добавил: — Она насчет какого-то дела хотела со мной посоветоваться. — Упорный взгляд Амалии стал его раздражать, и К. повернулся к ней: — В чем дело, что с тобой? Пожалуйста, перестань на меня так смотреть.

Амалия, однако, вместо того чтобы извиниться, лишь плечами передернула, отошла в сторону, взяла со стола недовязанный чулок и снова принялась за рукоделие, не обращая больше на меня ни малейшего внимания.

Ольга, пытаясь загладить неучтивость сестры, сказала:

— Служанка эта, наверно, завтра снова к нам зайдет, тогда и поговоришь с ней.

— Хорошо, — сказал К., — значит, я у вас и заночую. Вообще-то я и у сапожника Лаземана мог бы с ней поговорить, но лучше у вас останусь.

— У Лаземана?

— Ну да, там я ее и встретил.

— Тогда это недоразумение. Я имела в виду другую служанку, не ту, что у Лаземана была.

— Что же ты сразу не сказала! — воскликнул К. и возбужденно забегал взад-вперед по горнице, пересекая ее из конца в конец. Странной, прихотливо смешанной казалась ему натура этих людей: редкие проблески приветливости не могли прогнать их всегдашней холодной замкнутости и настороженности, даже хитровато выжидательной и хищной опаски, исходившей вроде бы не от них лично, а от неведомого повелителя; все это отчасти заглаживалось — можно, впрочем, сказать, что и обострялось, но К., по его характеру, виделось не так, — беспомощностью, детской пугливостью и детской же медлительностью ума, даже известной его податливостью. Если бы удалось радушие их натуры использовать, а враждебность обойти — для чего, впрочем, одной ловкости мало, тут требовалось нечто большее, а вероятно, к сожалению, еще и помощь от них же самих, — тогда, наверно, они не стояли бы у К. на пути помехой и преградой, не отталкивали бы его от себя беспрестанно, как покамест только и делали, а напротив, подхватили бы на руки и понесли, куда он захочет, да еще с детской доверчивостью и с детским же азартом. Нервно расхаживая взад-вперед по комнате, он вдруг на секунду остановился возле Амалии, небрежно выхватил у нее из рук вязанье и бросил на стол, за которым сидела вся семья.

— Что ты делаешь? — воскликнула Ольга.

— Да так, — в сердцах, хотя и с улыбкой ответил К., — зло берет на всех вас глядеть.

И сел на лавку у печки, взяв на колени маленькую черную кошку, что там же, на лавке, дремала. До чего чужим и все же почти как дома чувствовал он себя тут, в этой горнице, хотя обоим старикам пока даже руки не протянул, с девушками, можно считать, и не поговорил толком, да и с Варнавой в его новом обличье еще слова не сказал, и тем не менее вот, сидит в тепле, никто не обращает на него внимания, ведь с сестрами он уже слегка поцапался, и только доверчивая, несмышленая домашняя кошка карабкается по груди ему на плечо. Даже если и здесь его поджидало разочарование, то вместе с разочарованием зарождаются и новые надежды. Да, Варнава сегодня в Замок не собрался, но завтра с утра отправится, да, та девушка из замка сюда не приходила, зато приходила другая.] *Будь он в состоянии осилить дорогу до трактира в одиночку…*

замеченный, да, ведомый Варнавой, но тем Варнавой, каким тот ему виделся прежде — самым близким человеком из всех, кого он здесь пока что повстречал, однако еще и человеком, гораздо теснее связанным с Замком, чем положено ему по его внешне скромной должности. А с теперешним Варнавой, отпрыском этакой семейки, с которой он сросся давно и накрепко, вон, уже за общим столом сидит, с человеком, которому, что весьма примечательно, даже ночевать в Замке не дозволено, — рука об руку с таким человеком являться в Замок белым днем совершенно исключено, это дурацкая, смешная в своей безнадежности затея.

К. присел на скамью у окна, твердо решив провести так всю ночь и больше никаких услуг от семейства Варнавы не принимать. Другие жители деревни, те, что гнали его или пугливо чурались, сейчас казались ему не такими опасными, ведь они просто предоставляли его самому себе, тем самым помогая ему собраться с силами, зато мнимые горе-помощники, что маскарадными уловками вместо Замка заманивают его к себе в дом, — вот они волей-неволей сбивают его с толку и, значит, понапрасну подтачивают его силы. Радушное приглашение откушать с хозяевами за одним столом К. попросту пропустил мимо ушей

и, понуря голову, остался сидеть на скамейке.

Тогда Ольга, та из сестер, что обличьем потоньше и не без девичьей застенчивости, сама подошла к К. и попросила его к столу, хлеб с салом уже нарезаны, за пивом она сейчас сходит.

— Куда? — спросил К.

— В трактир, — ответила она.

К. только того и нужно было, он попросил Ольгу никакого пива не покупать, а вместо этого проводить его обратно до трактира, у него там, дескать, важные дела. Однако выяснилось, что Ольга собралась не в его далекий трактир «У моста», а в тот, что поближе, в «Господское подворье». К. все равно попросил разрешения ее проводить, быть может, так он подумал, ему удастся найти ночлег там; каким бы этот ночлег ни оказался, К. заранее предпочитал его самой просторной кровати в этой хибаре. Ольга ответила не сразу, сперва оглянулась в сторону стола. Тогда ее брат поднялся, с готовностью кивнул и сказал:

— Ежели сударю так угодно…

Согласие это едва не подвигло К. взять свою просьбу назад, ибо ничего путного от Варнавы ждать не приходилось. Но затем, когда все принялись обсуждать, пустят ли К. вообще в трактир, и дружно в этом усомнились, К. с тем большим

упорством стал на своей просьбе настаивать, даже не утруждаясь сколько-нибудь вразумительным ее объяснением; пусть это семейство принимает его таким, как есть, перед ними он почему-то совершенно не испытывал неловкости. Слегка смущала его разве что Амалия, не спускавшая с него тяжелого, упорного и как будто чуточку туповатого взгляда.

По пути в трактир — дорога была недолгой, но К. снова уцепился, теперь за Ольгу, он ничего с собой поделать не мог, и та тащила его за собой почти так же, как недавно брат, — он узнал, что трактир этот вообще-то только для господ из Замка, которые, когда бывают по делам в деревне, там едят, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо и доверительно, ему было приятно идти с ней, почти так же приятно, как с братом, и хотя К. пытался это благодатное ощущение от себя гнать, оно все равно не проходило.

Внешне трактир оказался очень похож на тот, где остановился К., видимо, в деревне вообще больших внешних различий ни в чем не было, зато в мелочах они сразу бросались в глаза: здесь, например, крыльцо было с перилами, его освещал красивый фонарь над дверью, а когда они вошли, над их головами колыхнулось полотни-

ще, оказалось, это знамя с графским гербом. В прихожей они тотчас наткнулись на хозяина, должно быть совершавшего дежурный обход своего заведения; мимоходом стрельнув в К. сквозь прищур своих то ли пристальных, то ли сонных глазок, хозяин предупредил:

— Господину землемеру вход только до буфетной.

— Конечно, — откликнулась Ольга, незамедлительно беря К. под защиту, — он со мной, просто провожал.

Однако К. вместо благодарности решительно отстранился от Ольги и отвел трактирщика в сторонку, Ольга терпеливо осталась ждать у дверей.

— Я хотел бы тут переночевать, — заявил К.

— К сожалению, это невозможно, — отвечал тот. — Вы, похоже, не осведомлены, это заведение только для господ из Замка.

— Так то, наверно, просто предписание такое, — заметил К. — Однако дать мне прикорнуть где-нибудь в уголке, полагаю, возможность все-таки найдется.

— Был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу, — отозвался трактирщик, — но, даже невзирая на строгость предписания, о котором вы судите явно как человек приезжий, желание

ваше потому еще неисполнимо, что господа в подобных вопросах донельзя щепетильны, и я убежден, они совершенно не способны — по крайней мере, без предупреждения — выносить один только вид постороннего лица; если я пущу вас переночевать, а вас по какой-нибудь случайности — случайность ведь всегда на стороне господ — обнаружат, пропаду не только я, но и вы пропадете. Звучит, должно быть, смешно, но поверьте, это чистая правда.

Этот высокий, безупречно застегнутый на все пуговицы господин, что, одной рукой опершись о стену, другую положив на пояс, скрестив ноги и чуть склонившись к К., доверительно и даже дружелюбно с ним беседовал, казалось, почти никакого отношения к деревне не имеет, разве что его темный костюм слегка походил на праздничный наряд крестьянина.

— Охотно и вполне вам верю, — сказал К., — да и значение предписания я вовсе не склонен недооценивать, хоть и выразился неловко. Я только на одно хочу обратить ваше внимание: у меня в Замке влиятельные связи, и еще более влиятельными я обзаведусь, они защитят вас от любой угрозы, какой чревата для вас моя ночевка, и послужат порукой моей щедрой благодарности в

будущем даже за столь пустяковое одолжение.

— Это я знаю, — вымолвил трактирщик и задумчиво повторил: — Это я все знаю.

Видимо, именно сейчас К. следовало проявить побольше настойчивости, но как раз такой ответ хозяина его огорчил, и он спросил только:

— А что, много господ из Замка у вас сегодня ночуют?

— Да в этом отношении сегодня благополучно, — ответил хозяин тоном уже почти зазывным. — Один господин всего остается.

Однако К. все еще не решался наседать, хотя почти уверился, что ему не откажут, — тем не менее он только осведомился о фамилии господина.

— Кламм, — бросил трактирщик как бы между прочим и тотчас обернулся к жене, которая плыла к ним, шурша своим донельзя странным, поношенным, явно старомодным, в бесчисленных рюшах и складочках, но когда-то, несомненно, изысканным городским платьем.

Она пришла позвать мужа: господин начальник изволил чего-то пожелать. Трактирщик, прежде чем уйти, напоследок обернулся на К., словно в отношении ночевки решающее слово теперь уже за самим гостем. Однако К., вконец обескураженный тем, что в трактире оказался

именно его непосредственный начальник, так ничего вымолвить и не смог; даже сам себе не умея это объяснить, он в отношении Кламма не чувствовал в себе той свободы, какую чувствовал по отношению к Замку в целом, то есть вообще-то быть застигнутым здесь Кламмом он не боялся, по крайней мере, в том смысле, в каком страшился этого трактирщик, и все же, случись такое, он испытал бы ужасную неловкость, как если бы кому-то, кому он обязан благодарностью, он вместо этого ненароком, по недомыслию, причинил боль; с другой стороны, он с тяжелым сердцем отметил, что в самих этих колебаниях, очевидно, уже сказываются последствия — не зря он их так опасался — его подчиненности, его удела наемного работника, и даже сейчас, когда последствия эти проявляются столь отчетливо, он не в состоянии с ними совладать. Так он и стоял, кусая губы, не в силах произнести ни слова. Трактирщик, прежде чем окончательно скрыться в дверях, еще раз оглянулся на К., но тот только смотрел ему вслед, не сходя с места, покуда подошедшая Ольга не потянула его за рукав.

— Что тебе надо было от трактирщика? — спросила она.

— Хотел тут переночевать, — ответил К.

— Так ты ведь у нас ночуешь, — удивилась Ольга.

— Да уж конечно, — бросил в ответ К., предоставляя ей как хочешь, так и понимать его слова.

3
Фрида

В буфетной — просторной комнате, посередке свободной — вдоль стен вокруг пивных бочек, а то и прямо на них сидел народ, но совсем другого вида, чем мужики в трактире «У моста». Эти были почище и одеты все в одинакового пошива, грубой серо-желтой материи платье: куртки пышные, штаны почти в обтяжку. Роста все были небольшого и на первый взгляд как будто на одно лицо, вроде бы худое и плоское, но при этом пухлощекое. Вели они себя очень спокойно, почти не двигались, только взглядами, да и то лениво и безразлично, следя за вновь пришедшими. И тем не менее — может, оттого, что их так много и сидят они так тихо, — К. стало не по себе. Он снова взял Ольгу под руку, давая всем понять, почему он здесь. Тут из угла поднялся мужчина, явно знакомый Ольги, намереваясь подойти к ней, но К. едва заметным движением повернул Ольгу в другую сторону, причем никто, кроме самой Ольги, его уловки не заметил, Ольга же приняла ее безропотно, только с улыбкой покосилась в

его сторону.

Пиво разливала молодая буфетчица по имени Фрида. На вид это была невзрачная, небольшого росточка белокурая девушка с печальным лицом и впалыми щеками, однако с неожиданно острым взглядом, полным какого-то особого превосходства. Едва она посмотрела на К., тому показалось, что одним этим взглядом многие важные для него вещи улажены, в том числе и такие, о которых он еще понятия не имеет, но в существовании которых почему-то мгновенно уверился. К. продолжал наблюдать за Фридой со стороны, даже когда та, отвернувшись, заговорила с Ольгой. Непохоже, что они подруги, слишком уж натянуто и немногословно они беседуют. И К., желая оживить разговор, вдруг спросил:

— А господина Кламма вы знаете?

Ольга рассмеялась.

— Чему ты смеешься? — рассердился К.

— Да не смеюсь я, — ответила она, продолжая смеяться.

— Ольга еще почти ребенок, — сказал К., склоняясь над стойкой в надежде еще раз поймать взгляд Фриды.

Но та, не поднимая глаз, тихо спросила:

— Вы хотите видеть господина Кламма?

Да, К. просил бы об этом.

Она указала на дверь слева от себя.

— Там глазок, можете посмотреть.

— А как же все эти люди?

Вместо ответа она лишь брезгливо выпятила нижнюю губку и решительной, но неожиданно мягкой рукой потянула К. к двери.

Сквозь маленький глазок, высверленный, судя по всему, специально в целях наблюдения, соседняя комната просматривалась почти целиком. Посреди комнаты, за письменным столом, в удобном, с округлой спинкой кресле, выхваченный из полутьмы низко висящей прямо над ним яркой электрической лампочкой, сидел господин Кламм. Это был грузный, неуклюжий мужчина среднего роста. Лицо гладкое, без морщин, но щеки под тяжестью лет уже слегка обрюзгли. Длинная полоска черных усиков рассекала лицо поперек почти надвое. Стеклышки криво насаженного пенсне поблескивали, не давая увидеть глаза. Сиди Кламм за столом прямо, К. смог бы разглядеть его только в профиль, но он как раз повернулся и, казалось, смотрел прямо на К. Левый локоть покоится на столе, правая рука с зажатой в ней виргинской сигарой лежит на колене. Рядом на столе бокал с пивом; по краям столешницы

высокий бортик, мешавший К. разглядеть, есть ли на столе какие-нибудь бумаги, но, похоже, там было пусто. Для пущей уверенности он попросил взглянуть в глазок Фриду. Но оказалось, она недавно была в комнате и без всякого глазка может подтвердить: никаких бумаг на столе нет. К. спросил у Фриды, не пора ли ему уходить, но та ответила, что нет, может смотреть сколько душе угодно. К. был теперь с Фридой наедине, Ольга, как он мельком успел заметить, все-таки улизнула к своему знакомому и теперь восседала там на бочке, болтая ногами.

— Фрида, — спросил К. полушепотом, — вы что, очень хорошо знаете господина Кламма?

— Еще бы, — отвечала та, — очень хорошо. — Она прислонилась возле К. к стенке, кокетливо одергивая свою легкую, кремового цвета и, как только сейчас заметил К., с вырезом блузку, которая, однако, все равно смотрелась на ее тщедушной фигурке словно с чужого плеча. Потом добавила: — Разве вы не помните, как смеялась Ольга?

— Да уж, бескультурье, — отозвался К.

— Нет, — вполне мирно заметила Фрида. — Тут было чему посмеяться, вы спросили, знаю ли я Кламма, а ведь я… — тут она невольно слегка

распрямилась, и снова на К. упал ее победный, неведомо что сулящий взгляд, со смыслом ее слов никак не вяжущийся, — а ведь я его возлюбленная.

— Возлюбленная Кламма? — переспросил К. Она кивнула.

— Но тогда вы, — проговорил К. с улыбкой, чтобы не впустить слишком много серьезности в их разговор, — тогда вы очень уважаемое для меня лицо.

— И не только для вас, — отозвалась Фрида вполне приветливо, но на улыбку не отвечая.

Однако К. знал, как ее осадить, чтобы не важничала, и немедля пустил это средство в ход, задав вопрос:

— А в Замке вы уже бывали?

Средство не подействовало, ибо она ответила:

— Нет, но разве недостаточно того, что я здесь, в буфетной?

А тщеславие у нее, похоже, и впрямь необузданное, и именно на К., судя по всему, она вознамерилась вдоволь его потешить.

— Ну конечно, — поспешил заверить К., — здесь, в буфетной, вы ведь все равно что хозяйка.

— Именно, — подтвердила она, — а начинала батрачкой, скотницей, в трактире «У моста».

— С такими нежными ручками, — то ли спросил, то ли отметил К., сам не зная, просто так он ей льстит или и в самом деле покорен. Руки у нее и вправду изящные и нежные, но, с другой стороны, их ведь можно назвать и невыразительными, слабыми.

— На это тогда никто не смотрел, — проговорила она, — да и сейчас…

К. бросил на нее вопросительный взгляд, но она покачала головой и ничего больше говорить не стала.

— Разумеется, — сказал К., — у каждого свои секреты, и вы о своих не станете говорить со случайным человеком, которого знаете всего полчаса и у которого даже не было возможности хоть что-то вам о себе сообщить.

Однако это замечание, как оказалось, вышло неудачным, оно словно пробудило Фриду от некой благоприятной для К. полудремы, она тотчас же деловито извлекла из кожаной сумочки у себя на поясе деревянную затычку, закрыла ею глазок и сказала К., явно с трудом стараясь скрыть от него перемену в своем настроении:

— Да нет, относительно вас я все знаю, вы тот самый землемер. — И, добавив: — А теперь мне работать пора, — отправилась за стойку, погля-

дывая на посетителей, из которых многие уже поднимались с мест, указывая на свои пустые кружки.

Желая незаметно для других продолжить разговор, К. снял с полки пустую кружку и подошел к буфетчице.

— Еще только одно, мадемуазель Фрида, — проговорил он. — Это, конечно, невероятное достижение — из скотниц выбиться в буфетчицы, для этого и силы нужны, и достоинства редкостные, однако захочет ли такой человек, как вы, на этом успокаиваться? Дурацкий вопрос. В ваших глазах, только не смейтесь, мадемуазель Фрида, написана не столько прошлая, сколько будущая ваша борьба. Но мир полон преград, и они тем выше, чем выше поставленные цели, поэтому вовсе не зазорно заручиться на всякий случай поддержкой пусть маленького, пусть не влиятельного человека, который, однако, тоже ведет свою борьбу. Может, мы могли бы как-нибудь переговорить спокойно, не на глазах у всех этих ротозеев?

— Не знаю, к чему вы клоните, — отвечала Фрида, и в голосе ее на сей раз невольно отозвалось не торжество всех ее побед, а горечь бесконечной вереницы разочарований. — Или, может, вы

вздумали отбить меня у Кламма? Бог ты мой! — И она даже руками всплеснула.

— Вы меня просто насквозь видите, — пошутил К., всем видом показывая, насколько он устал от вечного недоверия. — Ну конечно, это мой самый сокровенный замысел. Чтобы вы бросили Кламма и стали моей возлюбленной. А теперь мне пора. Ольга! — громко позвал он. — Мы идем домой.

Ольга послушно спрыгнула с бочки, но сразу освободиться от окруживших ее друзей-приятелей не смогла. В эту секунду Фрида, глянув на К. тяжело и почти грозно, тихо спросила:

— Когда же я смогу с вами переговорить?

— А мне можно здесь заночевать? — спросил К.

— Да, — ответила Фрида.

— И можно прямо сейчас остаться?

— Выйдите с Ольгой, я тем временем всех этих выпровожу. А через какое-то время возвращайтесь.

— Хорошо, — сказал К. и в нетерпении стал дожидаться Ольгу.

Но мужики не отпускали ее, они затеяли пляску, в самом средоточии которой оказалась Ольга, они же двигались вокруг нее хороводом, и время от времени то один, то другой под общий гогот и

вопль к ней подскакивал, крепко обхватывал за талию и кружил на месте, хоровод раскручивался все быстрей, крики, хриплые, голодные, жадные, слились в сплошной вой, Ольга, которая вначале еще пыталась вырваться из круга с улыбкой, теперь, с растрепанными волосами, пошатываясь, только перелетала из рук в руки.

— Присылают всяких, — проговорила Фрида, в гневе кусая тонкие губы.

— А кто они такие? — спросил К.

— Да слуги Кламма, — отвечала она. — Вечно он таскает за собой целый табор, а мне с ними мучайся. Даже не помню толком, о чем я с вами, господин землемер, говорила, если что сказала со зла, вы не обессудьте, все из-за мрази этой, гнуснее и омерзительнее их я никого не знаю, и таким вот холопам я пиво в бокалы должна разливать. Сколько раз я просила Кламма оставлять их дома, мало мне, что ли, от слуг других господ достается, уж мог бы обо мне немного подумать, но нет, проси не проси, а за час до его приезда они прутся сюда, как скотина в стойло. Но сейчас им и вправду в стойло пора, им там самое место. Не будь здесь вас, я бы просто вон ту дверь распахнула, и Кламму самому пришлось бы их выпроваживать.

— Разве он их не слышит? — спросил К.

— Нет, — отмахнулась Фрида. — Он спит.

— То есть как? — воскликнул К. — Спит? Но когда я в комнату заглядывал, он же за столом сидел!

— Он всегда так сидит, — отвечала Фрида. — И когда вы на него смотрели, он тоже спал — иначе разве бы я вам позволила? Это его обычная поза во время сна, господа вообще много спят, просто удивительно. Да если бы он столько не спал, как бы он выносил всю эту челядь? Но сейчас мне самой придется их выставлять. — С этими словами она взяла из угла хлыст и одним-единственным высоким, хотя и не слишком уверенным прыжком — словно барашек — влетела в круг танцующих. Те сперва решили, что еще одна плясунья прибавилась, и действительно в первый миг почудилось, будто Фрида сейчас свой хлыст отбросит и пустится в пляс, но тут она его вскинула.

— Именем Кламма! — пронзительно крикнула она. — В стойло! Все в стойло!

В тот же миг все они в приступе непостижимого для К. страха заметались, теснясь в глубь залы, где под напором первого беглеца уже распахивалась дверь, дохнув волной ночной прохлады с улицы,

и все разом сгинули, включая и Фриду, которая, очевидно, гнала их теперь по двору к воротам конюшни. В наступившей тишине К., однако, явственно услышал чьи-то шаги в прихожей. На всякий случай он кинулся к стойке, единственному месту, где можно укрыться: хотя находиться в буфетной ему вроде бы не запрещено, но, коли он собрался здесь ночевать, на глаза попадаться не след. Вот почему, едва дверь и вправду начала отворяться, он юркнул под прилавок. Конечно, быть обнаруженным в таком месте тоже небезопасно, однако на этот случай он придумал достаточно правдоподобную отговорку: дескать, спрятался от разбуянившегося мужичья.

Оказалось, это пришел хозяин трактира.

— Фрида! — позвал он и несколько раз прошелся взад-вперед по буфетной.

Фрида, по счастью, скоро вернулась, о К. не обмолвилась ни словом, только пожаловалась на слуг и, явно пытаясь отыскать К., прошла за стойку, где К. тотчас же дотронулся до ее ноги и с этой секунды почувствовал себя в совершенной безопасности. Поскольку Фрида о К. не упомянула, хозяин заговорил о нем сам.

— А землемер где? — спросил он. Он, похоже, вообще был человек вежливый, и не без тонкости,

обретенной, вероятно, в длительном и довольно непринужденном общении с лицами гораздо более высокого звания, чем он сам, однако с Фридой он обходился как-то особенно уважительно, это потому бросалось в глаза, что говорил он с ней все-таки как хозяин с наемной работницей, к тому же работницей довольно кокетливой и дерзкой.

— Про землемера я напрочь забыла, — отвечала Фрида, ставя свою маленькую ножку К. прямо на грудь. — Давно ушел, наверно.

— Но я его не видел, — не успокаивался хозяин, — а я все время в прихожей был.

— Во всяком случае, здесь его нет, — холодно возразила Фрида.

— Может, спрятался где, — предположил хозяин. — Судя по виду, от него всякого можно ожидать.

— Да нет, на такое у него смелости не хватит, — заявила Фрида, еще сильнее наступая на К. своей ножкой. Оказалось, какая-то лихость и отчаянное озорство таятся во всей ее натуре, чего К. сперва в ней вообще не разглядел, а сейчас именно эта удаль возобладала и била через край, когда Фрида, внезапно рассмеявшись, со словами: — Может, он под стойкой спрятался? — склонилась

к К., наскоро его чмокнула и, мгновенно вскочив, с притворным огорчением протянула: — Нет, здесь его нет.

Но и хозяин своими следующими словами изрядно К. удивил:

— Это, однако, весьма досадно, что я не знаю с определенностью, ушел он или нет. Тут не только в господине Кламме дело, дело в предписании. А предписание, милейшая Фрида, в равной мере распространяется и на меня, и на вас. За буфетную отвечаете вы, остальной дом я обыщу сам. Доброй ночи! И приятного отдыха!

Не успел он выйти из буфетной, как Фрида, выключив электричество, уже очутилась под стойкой, подле К.

— Миленький! Сладенький мой! — шептала она, но при этом даже не притрагивалась к К., лежа на спине, раскинув руки, она, словно обессилев, млела от любви, и перед счастьем этой любви время казалось бесконечным, она не то вздыхала, не то тихо мурлыкала какую-то песенку. [*К. думал больше о Кламме, чем о Фриде. Он завоевал Фриду, и это требовало срочного изменения планов, в руках у него теперь такой инструмент власти, который, пожалуй, всю его работу в деревне делает излишней.*] Потом

испуганно встрепенулась, заметив, что К. по-прежнему безмолвно погружен в свои мысли, и стала как-то по-детски его теребить:

— Скорей же, тут внизу и задохнуться недолго!

Они обнялись, ее маленькое тело горело у К. в руках, в жарком беспамятстве, от которого К. все время, но тщетно силился очнуться, они прокатились по полу, с глухим стуком уткнулись в дверь Кламма [*лежа почти без одежд, ибо успели сорвать их друг с друга руками, а то и зубами,*] и там замерли среди лужиц пива и трактирного сора. Так проходили часы, часы слитного дыхания, слитного биения сердец, часы, когда К. ни на миг не оставляло чувство, будто он заблудился или так далеко забрел на чужбину, как до него ни один человек не забредал, на чужбину, где даже в воздухе ни частицы родины не сыскать и от чуждости неминуемо суждено задохнуться, где тебе, прельщенному вздорными и пустыми соблазнами чужбины, остается только одно — идти и идти вперед, заблуждаясь все больше, теряясь вдали все безнадежней. Вот почему, по крайней мере в первый миг, его не испугало, а скорее показалось спасительным проблеском избавления, когда из комнаты Кламма низкий, властный и равнодушный голос позвал Фриду.

— Фрида, — шепнул К. Фриде на ухо, как бы передавая ей этот зов.

В порыве едва ли не врожденного послушания Фрида чуть было не вскочила, но потом опомнилась, увидев, где она и с кем, потянулась, тихо засмеялась и сказала:

— Да неужто я к нему пойду? Да в жизни я к нему не пойду!

К. попытался возразить, хотел поторопить ее пойти к Кламму, порывался собрать обрывки ее разодранной блузки, но не мог сказать ни слова, слишком он был счастлив держать Фриду в объятиях, так счастлив, что даже страшно, ибо ему казалось: уйди сейчас от него Фрида — и вместе с ней уйдет все, чем он богат. И, словно ощутив эту поддержку К., Фрида, сжав кулачок, забарабанила в дверь и крикнула:

— Я с землемером! С землемером я!

В комнате Кламма все стихло. Только теперь К. поднялся и, стоя подле Фриды на коленях, стал тревожно озираться в смутном предрассветном полумраке. Это что же такое произошло? Где теперь все его надежды? Чего ему ждать от Фриды после такого предательства? Вместо того чтобы продвигаться вперед, соблюдая предельную осторожность, как того требуют мощь врага и

величие цели, он целую ночь валяется в пивных лужах, от которых сейчас, под утро, еще и вонь несусветная.

— Что ты натворила? — пробормотал он себе под нос. — Мы оба пропали.

— Нет, — возразила Фрида. — Пропала только я, зато и нашла, у меня теперь есть ты. Да успокойся ты. Смотри, вон как те двое смеются.

— Кто? — не понял К. и обернулся.

На стойке сидели его помощники, оба-два тут как тут, немного заспанные, но радостные — это была радость людей, честно исполняющих свой долг.

— Что вам здесь надо? — набросился на них К., словно именно они во всем виноваты, и уже искал глазами хлыст, что вчера вечером был в руках у Фриды.

— Но нам ведь положено тебя искать, — отвечали помощники. — В трактире ты к нам больше не спустился, вот мы и пошли искать тебя к Варнаве, пока не нашли тут. Целую ночь здесь сидим. Служба — дело нелегкое.

— Вы мне днем нужны, а не ночью, — отрезал К. — Пошли вон!

— Так сейчас день, — отвечали те, не двигаясь с места.

И действительно, был уже день, двери во двор распахнулись, мужики вместе с Ольгой, о которой К. напрочь забыл, ломились в буфетную, Ольга, несмотря на изрядно помятую прическу и платье, все такая же развеселая, как накануне вечером, от порога искала глазами К.

— Почему ты не пошел со мной домой? — чуть ли не со слезами на глазах спросила она. — И все из-за этой девки! — добавила она, а потом еще несколько раз повторила: — И все из-за этой девки!

Фрида, скрывшись ненадолго, появилась теперь с узелком в руках.

— Можем идти, — сказала она, и было само собой понятно, что подразумевается трактир «У моста», куда им предстояло отправиться.

Впереди К. с Фридой, за ними помощники — так выглядело их шествие, мужики теперь вовсю норовили выказать Фриде свое презрение, оно и понятно, ведь прежде она ими помыкала, один даже схватил палку и перегородил ей дорогу, дескать, пока не перепрыгнешь, не пропущу, впрочем, одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он сгинул. На улице, по снежку, дышалось полегче, снова очутиться на свежем воздухе было просто счастьем, даже проклятущая дорога не ка-

залась неодолимой, а будь К. один, идти было бы и того легче. В трактире К. сразу же направился к себе в комнату и повалился на кровать, Фрида устроила себе ложе рядом, на полу, помощники тоже вперлись в каморку, их выгнали в дверь, но они уже лезли в окно. К. слишком устал, чтобы прогонять их снова. Хозяйка-трактирщица собственной персоной поднялась к ним наверх, чтобы поздороваться с Фридой, та назвала ее «матушкой», что возымело следствием необъяснимо сердечную сцену с поцелуями и долгими, крепкими объятиями. Покоя в каморке вообще было немного, то и дело заявлялись — что-то забрать или, наоборот, принести — служанки, топоча своими мужицкими сапожищами. Если нужная вещь оказывалось на битком забитой всяческим хламом кровати, служанки попросту ее из-под К. вытаскивали, на него самого не обращая ни малейшего внимания. С Фридой эти девки поздоровались по-свойски, как с ровней. Невзирая на подобные мелкие беспокойства, К. пролежал в постели весь день и всю ночь. Фрида не отходила от него ни на шаг, выполняя малейшие его прихоти. Когда на следующее утро он, свежий и отдохнувший, наконец встал, начался четвертый день его пребывания в деревне.

4
Первый разговор с трактирщицей

Ему очень хотелось поговорить с Фридой по душам, [— *общего будущего у них ведь быть не может, и какое-то решение надо принимать уже очень скоро,*] но помощники, с которыми Фрида, кстати, без конца хихикала и перешучивалась, одним своим назойливым присутствием этому мешали. Были они, впрочем, неприхотливы, пристроились в углу на полу на двух старых юбках, то и дело уверяя Фриду, что не мешать господину землемеру и занимать как можно меньше места — для них дело чести, в разнообразных попытках осуществления коего дела они, беспрерывно шушукаясь и прыская, то сплетали по-новому руки-ноги, то вертелись волчком, в сумерках превращаясь в своем углу в один большой ворошащийся клубок. К сожалению, опыт наблюдения за ними при свете дня все очевиднее показывал, что они очень зоркие соглядатаи, ни на минуту не оставляющие К. без присмотра, — даже когда под видом детской забавы они приставляют к глазам кулачки, изображая подзорную трубу,

или еще какое-нибудь дурачество затевают, ко и когда посматривают на К. лишь мельком, исподтишка, занимаясь якобы исключительно уходом за своими бородками — предметом особой их гордости, — бессчетное число раз сравнивая, чья длинней и гуще и призывая в судьи Фриду. Пока лежал, К. со своей кровати частенько поглядывал на возню всех троих с полнейшим безразличием.

Когда же он почувствовал, что достаточно окреп, чтобы подняться с постели, все трое кинулись наперебой за ним ухаживать. И, как выяснилось, окреп он недостаточно, во всяком случае, чтобы противостоять этому услужливому рвению, которое, как он смутно осознавал, втягивает его в нехорошую, чреватую последствиями зависимость и которое он не в силах пресечь. Да оно и не без приятности было — сидя за столом, попивать вкусный кофе, что принесла Фрида, греться у печки, которую Фрида истопила, гонять вверх-вниз по лестнице хотя и рьяных, но бестолковых помощников, посылая их поочередно за водой для мытья, за мылом, за расческой и за зеркалом и даже, коли уж К. нечто вроде подобного желания полувопросительно высказал, — за стопочкой рома. И вот, посреди всех этих распо-

ряжений и услужливого их исполнения К., скорее в приливе благодушного любопытства, нежели в надежде на успех, вдруг сказал:

— А теперь подите-ка оба вон, от вас пока что ничего не требуется, а мне нужно поговорить с мадемуазель Фридой наедине, — и, не увидев в лицах помощников открытого сопротивления, добавил лишь бы их уластить: — Потом все втроем пойдем к старосте, ждите меня в трактире.

Они, как ни странно, подчинились, только, уходя, сказали:

— Мы могли бы и тут обождать.

На что К. ответил:

— Я знаю, но я этого не хочу.

Раздосадовало, хотя в определенном смысле и почти обрадовало К., что Фрида, едва только помощники ушли, усевшись к нему на колени, сказала:

— Дорогой, чем тебе не угодили помощники? У нас не должно быть от них тайн. Они такие верные.

— Верные? — изумился К. — Да они следят за мной беспрестанно, это совершенно бессмысленно, но все равно противно.

— Кажется, я понимаю, о чем ты, — пробормотала Фрида и повисла у него на шее, словно хотела

еще что-то сказать, но не смогла, а поскольку кресло стояло подле кровати, они, покачнувшись, перевалились на кровать. И там легли, но отдаться друг другу всецело и безраздельно, как прошлой ночью, не сумели. Каждый искал свое, они искали неистово, яростно, пряча друг у друга на груди искаженные мукой страсти лица, но их объятия, их судорожно вскидывающиеся тела не давали им забыться, наоборот, только сильнее заставляли искать и искать дальше — как собаки в ожесточении роют лапами землю, так и они зарывались друг в друга, в тщете отчаяния норовя ухватить последние крохи счастья и иногда по-собачьи вылизывая друг другу языком лоб, щеки, шею. Лишь полное изнеможение вынудило их наконец затихнуть, прислушиваясь к благодарному воспоминанию друг о друге. Тут вошли служанки.

— Ишь, как разлеглись, — сказала одна и то ли из жалости, то ли от стыда прикрыла обоих платком.

Какое-то время спустя, когда К., выбравшись из-под платка, осмотрелся, оказалось, что помощники — его это не удивило — уже снова тут как тут, в своем углу, тычут в сторону К. пальцами, безмолвными жестами призывая друг друга к

ответственности, отдают ему честь, но, кроме того, у кровати, совсем рядом, сидит трактирщица и вяжет чулок, причем эта мелкая рукодельная работа никак не согласуется с ее мощной, едва ли не всю комнату застившей фигурой.

— А я давно жду, — сказала она, поднимая от рукоделья широкое, испещренное морщинками, однако во всем своем массивном облике скорее гладкое, а когда-то, должно быть, и красивое лицо.

Слова эти прозвучали совершенно непонятным и неуместным упреком, ведь К. и не думал ее приглашать. Поэтому он ограничился в ответ лишь кивком, сев на кровати, и Фрида тоже поднялась, но возле К. не осталась, подошла к креслу трактирщицы и стала там.

— Нельзя ли, госпожа трактирщица, — небрежным тоном бросил К., — все, что вы намереваетесь мне сказать, отложить на потом, до моего возвращения от старосты? У меня там важный разговор.

— Этот важнее, вы уж поверьте, господин землемер, — не согласилась трактирщица, — там, вероятно, речь всего лишь о работе, а тут о человеке, о Фриде, девочке моей, служаночке моей ненаглядной.

— Ах вон что, — отозвался К. — Ну тогда конечно, только я не пойму, почему бы не дать нам самим друг с другом все выяснить.

— Так это от любви, от заботы большой, — продолжала трактирщица, притягивая к себе Фриду, которая, стоя, ей, сидящей, едва доставала головой до плеча.

— Ну, раз Фрида питает к вам такое доверие, — сказал К., — тогда и мне нельзя иначе. Поскольку же Фрида недавно сообщила мне, что и помощники у меня, оказывается, верные, то, выходит, мы все тут среди своих. Коли так, могу сообщить вам, госпожа трактирщица, что нам с Фридой, я так считаю, лучше всего пожениться, причем как можно скорей. К сожалению, к глубокому сожалению, женитьбой этой я не смогу возместить Фриде всего того, чего она из-за меня лишается: места в «Господском подворье» и благосклонности Кламма.

Фрида подняла голову, в глазах у нее были слезы, от былого победоносного торжества в них не осталось и следа.

— Ну почему я? Почему именно мне такое выпало?

— Что? — в один голос переспросили К. и трактирщица.

— Совсем голову потеряла, бедная девочка, — сказала трактирщица. — Немудрено: столько счастья и несчастья враз свалилось.

И, словно в подтверждение этих слов, Фрида вдруг бросилась к К., стала его целовать, как безумная, словно, кроме них, никого в комнате нет, а потом, с плачем и все еще обнимая, упала перед ним на колени. Обеими руками гладя Фриду по волосам, К. спросил трактирщицу:

— Стало быть, вы одобряете мои намерения?

— Вы человек чести, — сказала трактирщица тоже со слезами в голосе, тяжко вздыхая и вообще как-то сразу, на глазах, подряхлев. Тем не менее у нее достало сил продолжить: — Надобно теперь обдумать известные ручательства, которые вы обязаны Фриде дать, ведь сколь ни велико мое к вам почтение, но вы человек чужой, пришлый, рекомендаций ни от кого не имеете, ваши домашние обстоятельства здесь неизвестны, так что ручательства нужны, вы и сами с этим согласитесь, дорогой господин землемер, сами же подчеркнули, сколько всего Фрида из-за отношений с вами и теряет тоже.

— Ну конечно, ручательства, разумеется, — проговорил К., — их, вероятно, лучше всего заверить у нотариуса, но и другие графские службы, воз-

можно, еще вмешаются. Впрочем, до свадьбы мне непременно нужно уладить одно дело. Мне надобно переговорить с Кламмом.

— Это невозможно, — сказала Фрида, приподнявшись с колен и прильнув к К. — Что ты такое выдумываешь!

— Нет, это обязательно нужно, — упорствовал К. — Если я не смогу этого добиться, значит, придется тебе.

— Но я не могу, К., не могу, — залепетала Фрида. — Никогда в жизни Кламм не станет с тобой разговаривать. Как ты вообще можешь думать, будто Кламм станет с тобой разговаривать!

— А с тобой станет? — спросил К.

— И со мной не станет, — ответила Фрида. — Ни с тобой, ни со мной, это все совершенно невозможные вещи. — И, разведя руками, она обернулась к трактирщице: — Вы только посмотрите, госпожа трактирщица, чего он требует.

— Экий вы, однако, странный, господин землемер, — проговорила трактирщица, и сейчас, когда она, чуть распрямясь, сидела, широко расставив ноги с выпирающими из-под тонкой юбки мощными коленями, вид у нее был устрашающий, — вы требуете невозможного.

— Почему же это невозможно? — не унимал-

ся К.

— А вот я вам объясню, — сказала трактирщица таким тоном, будто объяснение это с ее стороны даже не самое последнее одолжение, а скорее, нечто вроде первого наказания, — охотно объясню. Сама-то я хоть к Замку и не отношусь и вообще всего лишь женщина, простая трактирщица, да еще в распоследнем трактире — ладно, пусть не в распоследнем, но близко к тому, — так что вы, быть может, словам моим особого значения не придадите, но только я жизнь не с закрытыми глазами прожила, много разных людей повидала, и трактир этот одна на своем горбу поднимала, потому как муж у меня парень хоть и славный, но трактирщик из него никакой, и что такое ответственность, ему в жизни не понять. Вот вы, к примеру, только ему и его разгильдяйству — сама-то я в тот вечер умаялась до смерти — обязаны тем, что сейчас тут, в деревне, в уюте и тепле на постели сидите.

— То есть как? — изумился К., разом очнувшись от некоторой рассеянности, причем изумился не столько от досады, сколько из чистого любопытства.

— А вот так: только его разгильдяйству и обязаны! — повторила, а вернее, выкрикнула трактир-

щица, грозно наставя на К. указательный палец. Фрида попыталась ее утихомирить, но та резко, всем телом к ней обернувшись, продолжила: — А что ты хочешь? Господин землемер меня спросил, я ему и отвечаю. Иначе как ему уразуметь то, что всем нам само собой понятно: господин Кламм никогда не станет с ним разговаривать, да что там «не станет» — не сможет. Вот вы послушайте, господин землемер. Господин Кламм — это господин из Замка, что само по себе, совершенно независимо от его там должности, уже означает очень высокое положение. А кто такой вы, чьего согласия на женитьбу мы сейчас столь униженно вынуждены добиваться? Вы человек не из Замка, вы даже не из деревни, вы никто. Но, к несчастью, при том, что вы никто, вы все же кто-то — вы пришлый, чужак, один из тех, от кого ни покоя, ни проходу, тот, из-за кого вечно одни неприятности, из-за кого прислугу приходится выселять, тот, кто непонятно чего добивается, тот, кто совратил нашу дорогую малютку Фриду и кому теперь, к сожалению, приходится отдавать ее в жены. Но все это, в сущности, не в упрек вам сказано; какой вы есть, такой вы и есть; слишком многое я на своем веку перевидала, чтобы именно от вашего вида вдруг в обморок падать.

А теперь попытайтесь себе вообразить, чего вы требуете. Чтобы такой человек, как Кламм, и удостоил вас разговора. Мне было больно услышать, что Фрида дала вам подсмотреть в глазок — считайте, что, когда она это сделала, вы ее уже совратили. Теперь скажите: да как вы один только вид Кламма смогли вынести? Можете не отвечать, я и так знаю: прекрасно вынесли. Хотя, если хотите знать, по-настоящему-то Кламма вы видеть просто не в силах, и с моей стороны говорить вам это вовсе никакое не высокомерие, я тоже не в силах. Чтобы Кламм, и с вами-то, разговаривать стал — да он даже с людьми из деревни слова не скажет, еще никогда в жизни он сам ни с кем из деревенских не заговаривал. Ведь одно то, что он хотя бы Фриду имел обыкновение по имени окликать и что она могла обращаться к нему когда угодно и даже дозволение на глазок получила, — одно это было для нее огромным отличием, отличием, которым я до конца дней буду гордиться, — но чтобы разговаривать, нет, даже с ней он никогда не разговаривал. А что он иногда Фриду звал, вовсе не имело того смысла, который, может, иные и хотели бы тому приписать, — он просто выкрикнет имя «Фрида» — а с какой целью, откуда нам знать? — и, конечно,

Фриде полагалось тотчас к нему бежать, а что ее к нему безо всякого пропускали — так это тоже только благодаря Кламму и его доброте, но утверждать из-за этого, что он будто бы и вправду по-настоящему ее позвал, никак нельзя. Правда, теперь даже и то, что было, безвозвратно прошло. Может, Кламм еще выкрикнет иной раз имя Фрида, но пропустить-то ее, девку, которая с вами спуталась, к нему теперь точно не пропустят. И одного только, одного я никак своей бедной головушкой в толк не возьму: как девушка, которая слывет возлюбленной Кламма — хотя я-то считаю, что «возлюбленная» это очень громко сказано, больно много чести, — такому, как вы, вообще позволила до себя дотронуться…

— Разумеется, это странно, — отозвался К., усаживая Фриду, которая, хоть и с опущенной головой, сразу ему покорилась, к себе на колени, — но, полагаю, это только доказывает, что и с остальным не все в точности так обстоит, как вам видится. Вот вы, к примеру, конечно, правы, говоря, что супротив Кламма я никто, и, хотя все еще добиваюсь с ним разговора и даже ваши объяснения не отбили у меня охоты с ним переговорить, однако это вовсе не значит, что я в силах вынести вид Кламма с глазу на глаз,

без двери между нами, и не вылечу из комнаты пробкой при одном его появлении. Но подобное, хотя и обоснованное опасение для меня еще не повод отказываться от задуманного. Зато если мне удастся вынести его вид, тогда, быть может, и разговор не понадобится, мне достаточно будет оценить впечатление, которое произведут на него мои слова или не произведут, или он вовсе меня не услышит, — все равно при мне останется хотя бы тот выигрыш, что я свободно говорил перед лицом власти. Но именно вы, госпожа трактирщица, с вашим жизненным опытом и знанием людей, вы и Фрида, которая еще вчера была возлюбленной Кламма — не вижу, кстати, никакого резона от этого слова отказываться, — вы-то, конечно же, легко можете обеспечить мне возможность переговорить с Кламмом хотя бы в «Господском подворье», если другой оказии нету, быть может, он и сегодня еще там.

— Да невозможно это, — проговорила трактирщица, — и я вижу, у вас просто соображения не хватает это понять. Но скажите: о чем таком вы хотите говорить с Кламмом?

— О Фриде, конечно, — ответил К.

— О Фриде? — недоуменно переспросила трактирщица и даже повернулась к Фриде: — Ты

слышишь, Фрида, это он-то, он, о тебе с Кламмом, понимаешь, с Кламмом говорить хочет.

— Бог ты мой, — вздохнул К., — госпожа трактирщица, вы такая умная, такая уважаемая женщина, а всякого пустяка пугаетесь. Ну да, я хочу переговорить с Кламмом о Фриде, и ничего чудовищного в этом нет, скорее, тут все само собой разумеется. Ведь если вы полагаете, будто с той секунды, как я вошел в ее жизнь, Фрида перестала для Кламма что-либо значить, вы тоже заблуждаетесь. Вы недооцениваете Кламма, если так думаете. Я хорошо понимаю, поучать вас большая самонадеянность с моей стороны, но поневоле приходится. Поймите, из-за меня в отношении Кламма к Фриде ровно ничего измениться не могло. Либо никакого серьезного отношения там не было — собственно, именно это и имеют в виду те, кто хотел бы отнять у Фриды почетное звание возлюбленной, — и тогда его и сегодня нет, либо отношение все-таки было серьезное, и тогда из-за меня, полного, как вы сами совершенно справедливо утверждаете, ничтожества в глазах Кламма, как, скажите, могло оно пострадать? Это в первый миг испуга нам лезет в голову всякий вздор, но стоит немного подумать — и все становится на свои места.

Все еще прижимаясь щекой к груди К. и задумчиво глядя куда-то вдаль, Фрида пробормотала:

— Все будет так, как матушка говорит. Кламм больше и знать меня не захочет. Но, конечно, не из-за того, что ты, милый, ко мне пришел, его ничто такое потрясти вообще неспособно. Скорее, я думаю, то, что мы обрели друг друга тогда, под стойкой, — дело его воли, да благословен, а не проклят будет тот час.

— Если так, — протянул К., ибо сладки были для него слова Фриды, и он даже глаза на миг прикрыл, чтобы до конца эту сладость прочувствовать, — если так, то у меня тем меньше причин страшиться беседы с Кламмом.

— И вправду, — сказала трактирщица, глянув на К. совсем уж свысока, — вы иной раз мне мужа моего напоминаете, такой же упрямец и ребенок. Вы всего несколько дней здесь, а полагаете все знать лучше нас, местных, лучше меня, пожилой женщины, и лучше Фриды, которая в «Господском подворье» столько всего повидала и слышала. Не спорю, может, иной раз и можно чего-то добиться вопреки предписаниям и обычаю, я сама ничего подобного не видывала, но, говорят, случаи бывали, может быть, но даже если такое возможно, то происходит оно совсем не таким манером, каким

вы это делаете, вечно твердя лишь «нет» да «нет», во всем полагаясь только на свою голову и самых доброжелательных советов слушать не желая. Думаете, я о вас пекусь? Да разве я о вас беспокоилась, когда вы один-то были? Хотя, наверное, надо было еще тогда вмешаться, глядишь, кое-чего удалось бы избежать. Единственное, что я еще тогда мужу своему про вас сказала: «Держись от него подальше!» Мне бы и самой себе нынче впору то же самое сказать, если бы Фриду в вашу судьбу не затянуло. Только ей одной — нравится вам это или нет — вы обязаны моей заботливостью и даже уважением моим. А потому права не имеете просто так от меня отмахиваться, ведь я единственная, кто о малютке Фриде по-матерински печется, а значит, вы передо мной за нее в ответе. Возможно, Фрида и права, и все, что случилось, случилось по воле Кламма, только про Кламма я знать ничего не знаю, говорить с ним никогда не смогу, он для меня совершенно недоступен, а вы вот сидите тут, держите на коленях мою Фриду, тогда как вас-то самого — с какой стати мне об этом умалчивать? — держат здесь только по моей милости. Да-да, по моей милости, попробуйте-ка, молодой человек, если я вам на порог укажу, найти в деревне хоть какое-нибудь пристанище,

даже и в собачьей конуре.

— Спасибо за откровенные слова, — сказал К., — я вполне вам верю. Вот, значит, до чего ненадежно мое положение, а вместе с ним, выходит, и положение Фриды.

— Нет! — яростным вскриком перебила его трактирщица. — Положение Фриды с вашим положением никак не связано. Фрида все равно что член моей семьи, и никто не смеет называть ее положение в моем доме ненадежным.

— Хорошо, хорошо, — не прекословил К., — я и тут с вами согласен, тем паче что Фрида по не ясным для меня причинам, похоже, слишком вас боится, чтобы вставить хоть слово. Остановимся пока на мне одном. Положение мое крайне ненадежно, вы сами этого не отрицаете, наоборот, всячески стараетесь мне это доказать. Но, как и во всем, что вы говорите, вы правы только по большей части, однако не полностью. Я, к примеру, знаю место, где меня ждет вполне приличный ночлег.

— Это где же? Где? — вскричали трактирщица и Фрида в один голос и с таким нетерпением, будто для их жадного любопытства имелась какая-то общая и особая причина.

— У Варнавы, — ответил К.

— У этой голытьбы! — воскликнула трактирщица. — У распоследней подзаборной голытьбы! У Варнавы! Нет, вы слыхали, — и она обернулась в угол на помощников, но те давно оттуда вышли и плечом к плечу стояли за спиной у трактирщицы, которая, узрев их и словно ища опоры, даже схватила одного за руку, — вы слыхали, с кем этот господин якшаться изволит! С семейкой Варнавы! Разумеется, там-то его на ночлег пустят, по мне, так лучше бы он там и заночевал, чем в «Господском подворье». Но вы-то оба где были?

— Госпожа трактирщица, — встрял К., прежде чем помощники успели что-либо ответить, — это мои помощники, вы же обращаетесь с ними так, словно помощники они ваши, а ко мне приставлены в сторожа. Что до всех прочих ваших суждений, то я готов самым учтивым образом по меньшей мере спорить, но только не по поводу моих помощников, уж тут-то все ясно как день. А потому прошу вас с моими помощниками не разговаривать, если же этой просьбы вам мало, я запрещу помощникам вам отвечать.

— Выходит, мне с вами и поговорить нельзя, — бросила трактирщица помощникам, и все трое рассмеялись, трактирщица с легкой издевкой, но куда более безобидной, чем К. ожидал, по-

мощники же на свой обычный лад — ни к чему не обязывающим и заранее снимающим с них всякую ответственность смехом.

— Ты только не сердись, — сказала Фрида, — и пойми наше волнение правильно. В конце концов, если угодно, мы только Варнаве обязаны тем, что обрели друг друга. Когда я в первый раз увидела тебя в буфетной — ты вошел под ручку с Ольгой, — я хоть и знала о тебе кое-что, но в целом ты был мне совершенно безразличен. То есть не только ты был мне безразличен, а почти все, почти все на свете было мне безразлично. Вообще-то я, конечно, и тогда многим бывала недовольна, а кое-что меня просто злило, только какое это было недовольство, какая там злость! К примеру, оскорбит меня кто-то из посетителей — они в буфетной вечно ко мне приставали, ты и сам этих мужланов видел, а приходили и похлеще, слуги Кламма еще ничего, — так вот, оскорбит меня кто-нибудь, а для меня это что? Да почти ничто, словно много лет назад случилось, да и то не со мной, словно я только понаслышке это знаю и забыла почти. Нет, не могу описать, даже представить себе всего этого уже не могу — настолько все изменилось с тех пор, как Кламм меня бросил…

И, оборвав свой рассказ, Фрида печально понурила голову, сложив руки на коленях.

— Вы посмотрите, — воскликнула трактирщица с таким видом, будто это не она говорит, будто это голос Фриды все еще через нее вещает, она, кстати, и придвинулась к Фриде поближе и сидела теперь с ней совсем рядом, — вы посмотрите только, господин землемер, к чему ваши дела приводят, и помощники ваши, с которыми мне, оказывается, уже и говорить нельзя, тоже пусть посмотрят себе в назидание. Вы вырвали Фриду из счастливейшего блаженства, какое она могла изведать в жизни, и удалось вам это лишь потому, что Фрида, с ее детской, непомерно сострадательной душой, просто не смогла спокойно глядеть, как вы за руку Ольги уцепились и, значит, всей Варнавиной семейке в полон угодили. Она вас спасла — а собой пожертвовала. А теперь, когда случилось то, что случилось, и Фрида все, что имела, променяла на счастье сидеть у вас на коленях, вы являетесь сюда и козыряете тем, что, оказывается, имели возможность разок переночевать у Варнавы. Желая, очевидно, этим доказать, насколько вы от меня независимы. Что ж, оно и правда: если б вы и в самом деле у Варнавы переночевали, вы бы настолько были от меня

независимы, что вам пришлось бы немедленно, сию же секунду, выметаться из моего дома.

— Не знаю, какие такие у семейства Варнавы грехи, — сказал К., осторожно снимая Фриду, которая и теперь покорилась как неживая, с колен и пересаживая на кровать, после чего встал. — Может, вы и в этом правы, но в чем безусловно прав я, так это в том, что просил наши с Фридой дела предоставить выяснять нам самим. Вы тут поначалу что-то говорили о любви и заботе, но не больно-то много любви и заботы я заметил, зато ненависти, издевки и желания выставить меня вон — сколько угодно. Если вы замыслили нас с Фридой разлучить, то взялись за это довольно ловко, только, думаю, все равно вам это не удастся, а даже если и удастся — позвольте и мне разок прибегнуть к невнятной угрозе, — вы горько об этом пожалеете. Что до жилья, которое вы мне предоставили, — если не ошибаюсь, вы имеете в виду вот эту мерзкую конуру, а не что-то другое, — то я не вполне уверен, что сделали вы это по доброй воле, скорее, похоже, на сей счет имеется указание графских властей. Так я доложу, что мне здесь от квартиры отказано, и, когда мне определят другое место жительства, вы сможете вздохнуть с облегчением, а я и подавно. Ну а

теперь мне пора — по этому да и по другим делам — к сельскому старосте, прошу вас, хотя бы Фриду теперь пощадите, ее ваши, с позволения сказать, материнские речи и так вполне доконали. После чего он обернулся к помощникам.

— Пошли, — сказал он, снимая с гвоздика письмо Кламма и направляясь к двери.

Трактирщица наблюдала за ним молча и, только когда он взялся за дверную ручку, молвила:

— Господин землемер, на дорожку только еще одно напутствие хочу вам дать, ибо какие бы речи вы тут ни вели и как бы меня, пожилого человека, ни норовили оскорбить, все-таки вы для меня будущий муж Фриды. Только потому и говорю вам, что насчет порядков здешних вы ужасающе несведущи, просто голова кругом идет, как вас послушаешь да про себя сравнишь ваши рассуждения, мысли ваши с истинным положением дел. И поправить это незнание одним махом никак нельзя, может, его вообще уже не поправишь, однако многое все-таки можно улучшить, если вы хоть чуточку мне поверите и свою неосведомленность постоянно будете в уме держать. Вы бы тогда, к примеру, сразу ко мне справедливее относиться стали и начали бы прозревать, какой ужас я пережила — и до сих пор

от него толком не оправилась, — когда осознала, что моя малютка, можно сказать, бросила орла ради того, чтобы связаться со слепым кротом, хотя истинное соотношение величин и того хуже, гораздо хуже, просто я изо всех сил стараюсь о нем позабыть, иначе и слова бы спокойно с вами сказать не могла. Ну вот, опять вы сердитесь. Нет, не уходите, хотя бы одну просьбу еще выслушайте. Куда бы вы ни пошли, постоянно помните, что вы самый незнающий, и будьте начеку: здесь, у нас, где присутствие Фриды оберегает вас от всех бед, можете потом облегчать сердце и молоть все, что душе угодно, можете, к примеру, изображать нам, как намереваетесь побеседовать с Кламмом, вот только там, на людях, умоляю, ничего такого не делайте.

Она встала, даже слегка пошатываясь от волнения, подошла к К. и с мольбой в глазах схватила его за руку.

— Госпожа трактирщица, — отвечал К., — не понимаю, почему из-за такого дела вы так передо мной унижаетесь. Если, как вы уверяете, мне и вправду невозможно поговорить с Кламмом, то, значит, проси я, не проси, все равно ничего не выйдет. Но если это каким-то образом возможно, то почему мне не попытаться, особенно если

учесть, что ввиду этого главного довода и все прочие ваши страхи становятся весьма сомнительными. Разумеется, я несведущ, что правда, то правда, и для меня это весьма прискорбно, однако есть тут и преимущество: несведущий человек действует смелей, вот почему я и не прочь еще какое-то время влачить на себе бремя неведения и его скверных последствий, покуда сил хватит. К тому же последствия, в сущности, затронут только меня, и это главное, почему я не понимаю вашей просьбы. О Фриде вы всегда сможете позаботиться, так что если я напрочь сгину и глаза ее больше меня не увидят, то, на ваш-то взгляд, это будет только счастье. Чего в таком случае вам бояться? Уж не боитесь ли вы — несведущему человеку все кажется возможным, — спросил К., уже приоткрывая дверь, — уж не боитесь ли вы, часом, за Кламма?

Трактирщица только молча смотрела, как он торопливо сбегает по лестнице, а вслед за ним

семенят помощники.{4}

{4} Варианты: 2.4

...как он торопливо сбегает по лестнице, а вслед за ним семенят помощники.

[*Но К. уже был за дверью, уже спешил вниз по лестнице. Помощники следовали за ним.*

— К старосте! — приказал К.

Помощники повели его. И хотя легкий морозец скорее приятно бодрил, на улице опять не было ни души.

«Почему они все по домам сидят? — спрашивал себя К. — Даже дети и те в снежки поиграть не выйдут».

Двор старосты оказался неподалеку. Сам он, когда К. вошел, как раз занимался служебными надобностями, сидел за столом вместе с писарем.]

5
У старосты

Едва ли не к удивлению самого К., предстоящее совещание у старосты мало его беспокоило. Для себя он объяснял это тем, что его личный опыт пока позволял считать сношения по службе с графскими властями делом очень даже простым. С одной стороны, причина, надо полагать, крылась в том, что в отношении его лично где-то наверху, очевидно, с самого начала вышла некая весьма благоприятная для него реляция, с другой же — и сама работа всех служб отличалась достойной восхищения согласованностью, совершенство которой особенно чувствовалось там, где согласованности этой внешне как будто не наблюдалось вовсе. Вот почему К., покуда он раздумывал только об этих вещах, склонен был находить свое положение вполне удовлетворительным, хотя всякий раз после подобных приступов благодушия торопился внушить себе, что как раз в благодушии-то главная опасность и есть. Да, прямое сношение с властями было делом не слишком трудным, [*особенно в случае вроде*

этого, когда власти только оборонялись, а К. был в наступлении, то есть властям приходилось держать поистине бесконечный фронт обороны, К. же, напротив, имел возможность ударить по этому фронту где и когда вздумается] ибо властям, при всей слаженной их деятельности, надлежало в интересах далеких и незримых вышестоящих господ оборонять далекие и незримые цели, тогда как К. сражался за свой кровный, жизненно насущный интерес, к тому же, по крайней мере в первое время, сражался по своей воле и сам шел на приступ, да и сражался не в одиночку, на его стороне, очевидно, выступали какие-то еще силы, которых он, правда, не знал, но в существование которых, судя по мерам властей, имел все резоны верить. Однако тем, что власти в несущественных мелочах — о большем пока нечего было и говорить — заранее и с готовностью шли ему навстречу, они отнимали у К. возможность маленьких легких побед, [*вроде той первой и как раз поэтому так и оставшейся пока что единственной победы над Шварцером*] а значит, лишали его и победного удовлетворения, и вытекающей из этого чувства обоснованной уверенности в себе, столь необходимой для грядущих, более серьезных сражений. Вместо этого

власти — пока, правда, только в пределах деревни — всюду перед ним отступали, всюду, куда бы он ни направился, давали ему проход, расслабляя его волю и притупляя бдительность; они, казалось, пока что всякую войну вообще исключают и вместо этого втягивают его в здешнюю внеслужебную жизнь, напрочь чуждую, смутную, не проницаемую для его понимания. Этак, если не быть начеку, вполне могло случиться, что он, несмотря на всю предупредительность властей, несмотря на сугубое исполнение всех своих пока что подозрительно легких служебных обязанностей, обольщенный оказанными ему мнимыми милостями, в своей внеслужебной, обыденной жизни настолько утратит осторожность, что в конце концов неминуемо оплошает и какая-нибудь из властных служб, внешне по-прежнему любезно и кротко, вроде бы даже и не по своей воле, а только именем некоего неизвестного ему общественного установления, обязана будет вмешаться и попросту его устранить. Да что такое здесь эта так называемая обыденная жизнь? Нигде еще К. не приходилось видеть, чтобы служба и жизнь переплетались столь же тесно, тесно настолько, что временами казалось, будто они поменялись местами. Много ли, к примеру, значила

сейчас та сугубо формальная власть, которую имел над К. и его служебными обязанностями Кламм, по сравнению с той действительной и непререкаемой властью, которую Кламм наяву и со всею силой вершил у К. в спальне? Вот оттого и получалось, что некоторое легкомыслие, известная игривая непринужденность были здесь возможны и даже уместны только в прямом сношении с властями, тогда как в остальном всегда и всюду потребна была крайняя осторожность, оглядка на каждом шагу и во все стороны.

В этих своих взглядах на повадки местных властей К., явившись к старосте, поначалу еще более утвердился. Сам староста, приветливого вида, гладко выбритый толстяк, оказался болен: подкошенный тяжелым приступом подагры, он принял К., лежа в постели.

— А вот и наш господин землемер, — объявил он, пытаясь приподняться, но так и не сумел этого сделать и, как бы в извинение показав на ноги, обессиленно упал обратно на подушки.

Его тихая, почти призрачного вида жена, едва различимая в полумраке хотя и просторной, но с маленькими, к тому же занавешенными окнами комнаты, принесла для К. стул и поставила его к кровати.

— Садитесь, садитесь, господин землемер, — предложил староста, — и расскажите, какие у вас ко мне пожелания.

К. зачитал письмо Кламма, присовокупив к нему несколько слов от себя. И опять у него возникло чувство необыкновенной легкости общения с властями. Казалось, они готовы взять на себя буквально любую обузу, на них все можно переложить, а самому без забот без хлопот гулять припеваючи. Со своей стороны староста, как будто смутно угадав мысли К., беспокойно заворочался в постели. Потом наконец заговорил:

— Я, господин землемер, как вы, должно быть, успели заметить, о деле этом и раньше знал. А что сам ничего не предпринял, так то, во-первых, по причине болезни, а еще потому, что вы долго не приходили, вот я и подумал, может, у вас надобность отпала. Но уж теперь, коли вы так любезны сами меня навестить, я вынужден открыть вам всю весьма неприятную правду. Вы, как сами говорите, приняты землемером, но, к сожалению, землемер нам не нужен. У нас нет для него никакой, ну просто ни малейшей работы. Межи наших мелких наделов давно размечены, все занесено в реестры, смена владельцев происходит редко, а разногласия по спорным межам и участкам

мы улаживаем сами. Зачем нам, спрашивается, землемер?

Где-то в глубине души, правда не успев как следует об этом подумать, К. нечто подобное и ожидал услышать. [*Он ведь уже начинал понемногу осваиваться с аппаратом власти, уже учился играть на этом тонком, настроенном на вечное равновесие инструменте. В сущности, все искусство заключалось в том, чтобы, ничего не делая, заставить аппарат работать самому, а именно — понудить его к работе одной только неустранимой силой своей земной тяжести, своего бездеятельного, но неотступного присутствия.*] Именно потому он и не замедлил с ответом:

— Я чрезвычайно поражен. Это опрокидывает все мои расчеты. Остается надеяться, что тут какое-то недоразумение.

— К сожалению, нет, — проговорил староста. — Все так, как я сказал.

— Но как такое возможно! — воскликнул К. — Не для того же я проделал бесконечное путешествие, чтобы меня тотчас спровадили обратно!

— Это уже другой вопрос, — сказал староста, — и не мне его решать, а вот как подобное недоразумение могло произойти, это я вам объяснить

могу. В канцеляриях столь огромных, как графская, иной раз вполне может случиться, что один отдел распорядится произвести одно, а другой, ничего о том не ведая, напротив, совсем другое, вышестоящий же контроль за их распоряжениями работает хотя и чрезвычайно тщательно, но как раз из-за тщательности, по самой природе своей, нередко запаздывает, тогда-то и возникают подобные мелкие неурядицы. Разумеется, это всегда только пустяки, сущие мелочи, вроде вашего случая в серьезных-то делах мне еще ни разу об ошибках слышать не доводилось, однако и мелочи тоже бывают достаточно досадны. Что же до вашего случая, то, не утаивая от вас никаких служебных секретов, — не настолько уж я чиновник, я крестьянином был, крестьянином и останусь, — я расскажу вам все, как было, начистоту. Давным-давно, я тогда еще только несколько месяцев старостой был, пришел указ, уж не помню теперь, от какого отдела, в котором в свойственном тамошним господам непререкаемом тоне сообщалось, что, дескать, вызван землемер и нашей общине предписывается держать наготове все необходимые для его работы чертежи и реестры. Указ этот, разумеется, к вам никакого отношения иметь не мог, потому как

это много лет назад было, я бы даже и не вспомнил о нем, кабы не слег, в постели, знаете ли, и не о такой ерунде начинаешь думать. Мицци, — сказал он вдруг, внезапно прерывая свой рассказ и обращаясь к жене, которая все еще сновала по комнате в тихом ажиотаже совершенно непонятной стороннему человеку деятельности, — пожалуйста, глянь там в шкафу, может, ты и найдешь указ. Это еще с первых времен моей службы, — пояснил он для К., — я тогда каждую бумажку норовил сохранить.

Жена открыла шкаф, К. и староста за ней наблюдали. Шкаф был забит доверху, едва распахнулись дверцы, из него тут же вывалились две огромные бумажные кипы, туго, как вязанки дров, перехваченные вкруговую бечевкой; женщина испуганно отпрянула.

— Где-то внизу он должен быть, внизу, — не унимался староста, из постели продолжая руководить поисками.

Жена, охапками сгребая бумаги, послушно выбрасывала из шкафа все подряд, лишь бы добраться до нижних папок. Вскоре бумагами было завалено уже полкомнаты.

— Да, большая работа проделана, — сказал староста, задумчиво кивая. — И это лишь малая

часть. Основную-то массу я в сарае храню, а еще больше, по правде сказать, просто потерялось. Да разве такую прорву сохранишь! В сарае, правда, этого добра еще много. Ну, так найдешь ты указ или нет? — нетерпеливо обратился он к жене. — Ты ищи папку, на которой синим подчеркнуто слово «землемер».

— Больно тут темно, — пожаловалась жена. — Пойду принесу свечку. — И, ступая прямо по бумагам, вышла из комнаты.

— В этой тяжкой канцелярской работе, которую мне-то ведь к тому же между делом справлять приходится, жена — моя главная опора, — сообщил староста. — У меня хоть и есть для письменных работ еще один помощник, учитель наш, только со всем все равно не управишься, много дел так и остается без движения, я их туда складываю, вон их сколько скопилось. — И он указал на другой шкаф. — А сейчас, когда я болею, от бумаг и вовсе спасу нет, — добавил он, устало, но не без гордости откидываясь на подушки.

— Нельзя ли и мне, — попросил К., когда жена старосты вернулась со свечой и, став на колени, возобновила поиски, — помочь вашей жене?

Староста улыбнулся и покачал головой:

— Как я уже сказал, у меня нет от вас служеб-

ных секретов, но позволить вам самому рыться в документах я никак не могу, это было бы совсем невесть что.

В комнате стало тихо, слышно было только шуршание бумаг, под которое староста, похоже, начал слегка задремывать. Робкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это были помощники. Все-таки он немного их вышколил: они уже не ломились в комнату без спроса, а, приотворив дверь, с порога прошептали:

— Мы там на улице совсем продрогли.

— Кто это? — спросил староста, встрепенувшись.

— Помощники мои, — сказал К. — Не знаю, где их оставлять, на улице мороз, а здесь они будут надоедать.

— Мне они не помешают, — приветливо сказал староста. — Пусть заходят. К тому же я их знаю. Старые знакомые.

— Да они мне будут надоедать, — не таясь, сказал К. и, переводя глаза с помощников на старосту и обратно, обнаружил, что все трое улыбаются, причем до неразличимости одинаковой ухмылкой. — Ну ладно, раз уж вы здесь, — продолжил он наудачу, — оставайтесь и помогите госпоже отыскать папку, на которой синим подчеркнуто

слово «землемер».

Староста и не подумал возражать; выходит, то, что К. запрещено, помощникам разрешается, они, кстати, мигом набросились на бумаги, но больше ворошили, чем искали, и пока один по слогам разбирал написанное, другой уже норовил выхватить папку у него из рук. Жена старосты, напротив, застыла на коленях перед пустым шкафом и, казалось, давно ничего не ищет — свечка, во всяком случае, стояла от нее очень далеко.

— Так, значит, — заметил староста с самодовольной улыбкой, словно все вокруг происходит по его велению, только никто об этом даже смутно не подозревает, — помощники вам надоедают. Но ведь это ваши помощники.

— Нет, — холодно возразил К. — Эти только здесь ко мне приблудились.

— Что значит «приблудились»? — удивился староста. — Вы, наверно, имели в виду, что их вам выделили.

— Ну, значит, выделили, — сказал К. — Хотя с тем же успехом они, как снег на голову, и с неба могли свалиться, до того бездумно их выделяли.

— Бездумно здесь ничего не делается, — наставительно изрек староста и, даже позабыв о своих недужных суставах, вдруг сел очень прямо.

— Так уж и ничего? — переспросил К. — А как тогда с моим вызовом?

— И с вашим вызовом все было тщательно взвешено, — не смутился староста, — просто вмешались непредвиденные сторонние обстоятельства, я вам с бумагами в руках докажу.

— Да этих бумаг в жизни не найти, — сказал К.

— Как это не найти! — возмутился староста. — Мицци, прошу тебя, нельзя ли искать поживее! Впрочем, для начала я могу изложить вам всю историю и без бумаг. На тот указ, о котором я уже говорил, мы тогда с благодарностью ответили в том смысле, что землемер нам не нужен. Однако ответ наш, похоже, попал не в тот отдел, из которого указ вышел, назовем его отдел «А», а по ошибке угодил в другой отдел, скажем, «Б». То есть в отдел «А» наш ответ не поступил, но и в отдел «Б» он, к сожалению, тоже поступил не полностью; содержимое папки то ли у нас где-то завалялось, то ли по пути пропало — в самом-то отделе точно нет, за это я ручаюсь, — как бы там ни было, но и в отдел «Б» пришла только пустая папка, на которой и пометок никаких не было, кроме одной: что дело касается якобы прилагаемого — в действительности же отсутствующего — указа о вызове землемера. Между тем отдел

«А» все еще ждал нашего ответа, и хотя соответствующие регистрационные записи у них были, но как это вполне понятным образом нередко происходит и даже при самом неукоснительном и точном делопроизводстве иногда неизбежно случается, ответственный за дело чиновник понадеялся, что мы на запрос еще ответим и тогда он либо землемера вызовет, либо, в соответствии с надобностью, с нами переписку продолжит. Вследствие чего произведенные по делу регистрационные записи он оставил без внимания, и само дело у него как-то забылось. Однако в отделе «Б» пустая папка дошла до славящегося своей добросовестностью чиновника по фамилии Сордини, он итальянец, и даже мне, человеку, как-никак посвященному во многое, совершенно непостижимо, как такого работника, при его-то способностях, все еще держат едва ли не на самой низкой должности. Разумеется, этот Сордини прислал нам пустую папку обратно с требованием ее доукомплектовать. Но со времени написания первого рескрипта из отдела «А» прошли уже месяцы, если не годы, что и понятно, ведь если дело движется верным путем, оно в нужный отдел самое позднее за один день поступает и в тот же день решается, однако если оно с пути сбилось

— а при такой превосходной организации, как у нас, оно буквально из кожи вон должно лезть, чтобы куда-то не туда прошмыгнуть, иначе ему эту ложную лазейку нипочем не найти, — ну тогда, конечно, все тянется очень долго. И когда мы получили от Сордини запрос на пополнение папки, мы о самой надобности помнили уже очень смутно, вся работа тогда только на нас двоих держалась, на Мицци да на мне, учителя мне в подмогу еще не выделили, и копии мы сохраняли лишь с самых важных бумаг, — короче, ответ мы смогли дать только очень расплывчатый в том смысле, что о вызове землемера нам ничего не известно и потребности в таковом у нас не имеется. Однако, — вдруг перебил сам себя староста, как будто даже испугавшись, не слишком ли далеко он зашел или вот-вот может зайти в своем повествовательном раже, — не наскучила ли вам эта история?

— Нет-нет, — ответил К., — она меня очень даже занимает.

[*Как он радовался, что в лице старосты судьба послала ему столь доверчивого, столь податливого на чужое мнение человека!*]

На это староста откликнулся укоризненно:

— Я вам не занятности ради все это рассказы-

ваю.

— Мне потому только это занятно, — пояснил К., — что позволяет заглянуть в курьезные хитросплетения, от которых при известных обстоятельствах, оказывается, зависит человеческая жизнь.

— Никуда вы пока что не заглянули, — строго сказал староста. — Вот погодите, дальше расскажу. Ответ наш такого доку, как Сордини, ясное дело, не устроил. Я преклоняюсь перед этим человеком, хотя он, можно сказать, просто бич мой. Он, надобно вам заметить, не доверяет вообще никому, даже если кто-то уже бессчетное число раз зарекомендовал себя заслуживающим всяческого доверия человеком, Сордини во всяком следующем деле будет не доверять ему точно так же, как если бы не знал его вовсе, а точнее сказать, как если бы знал, что перед ним отъявленный мошенник. Я-то считаю, что оно и справедливо, чиновник только так и должен действовать, но, к сожалению, сам, по слабости характера, этому правилу следовать не могу, сами видите, как я вам, человеку пришлому, все подчистую выкладываю, — ну что делать, если не умею я иначе. Сордини, напротив, едва получив наш ответ, сразу почуял неладное. [*Сперва он не*

понимал — мы только потом об этом узнали, — с какой стати у нас вообще возникло, если так можно выразиться, само побуждение землемера не вызывать. А вся штука в том, что о первом письме из отдела «А» мы вообще не упоминали, ибо предполагали, что само дело в соответствии с каким-то рескриптом от одного отдела передано теперь другому. Вот тут Сордини и ухватился за ниточку.] Ну и завязалась долгая переписка. Сордини заинтересовался, с какой стати я решил вдруг известить канцелярию, что землемера вызывать не требуется, я на это — с помощью Мицци и ее замечательной памяти — ответил, что первый рескрипт относительно землемера исходил как раз из самой канцелярии (что это совсем другой отдел был, мы, конечно, давно запамятовали); Сордини на это мне: почему о служебном рескрипте я только теперь упоминаю; я в ответ: потому что только сейчас о нем вспомнил; Сордини: это, однако, весьма странно; я: вовсе не странно, ежели дело тянется так долго; Сордини: тем не менее это весьма странно, ибо рескрипта, о котором я изволил упомянуть, не существует; я: разумеется, его не существует, поскольку потерялось все содержимое папки; Сордини: однако относительно того первого рескрипта

должна иметься хотя бы регистрационная запись, а ее нет. Тут я, признаться, запнулся, ибо ни утверждать, ни даже поверить, что у Сордини в отделе могла закрасться ошибка в работе, я не осмелился. Быть может, вы, господин землемер, про себя делаете господину Сордини упреки в том смысле, что мои утверждения могли бы побудить его справиться об этой оказии в других подразделениях. Но как раз это и было бы в корне неверно, и я не хочу, чтобы на этом человеке, пусть хотя бы в чьих-то мыслях, оставалось пятно. Одно из первых правил в работе канцелярии в том и состоит, что возможность ошибки как таковая вообще не допускается. Правило, кстати, совершенно оправданное безупречной организацией делопроизводства в целом и необходимое, поскольку в продвижении документов потребна предельная быстрота. Так что осведомляться в других отделах Сордини попросту права не имел, да они, отделы-то, ему бы и не ответили, сразу бы смекнули, что их подбивают на расследование возможной ошибки.

— Разрешите, господин староста, перебить вас одним вопросом, — встрял К. [*поудобнее откидываясь в кресле, однако чувствовал он себя не столь уютно, как прежде, безудержная*

говорливость старосты, которую он сам же еще недавно всячески пытался поощрить, вдруг стала его утомлять. Меньше всего его пугало при этом усугубляющееся нагромождение новых обстоятельств, которые срочно предстояло продумать, ибо в действительности оно, быть может, вовсе и не усугублялось.] — Разве не упоминали вы давеча о контрольной службе? Судя по вашим же словам, тут такой размах работы, что при одной мысли, будто все это вершится бесконтрольно, просто голова кругом идет.

— Вон вы какой строгий, — заметил староста. — Но преумножьте вашу строгость тысячекратно, и все равно это будет пшик в сравнении со строгостью, с которой службы наши с самих себя спрашивают. Вопрос вроде вашего может задать только совсем неосведомленный чужак. Есть ли у нас контрольные службы? Да только контрольные службы у нас и есть! Правда, назначение их вовсе не в том, чтобы, грубо говоря, выискивать ошибки, ибо ошибок у нас не случается, а если даже вдруг и проскочит где ошибка, как вот в вашем случае, кто возьмет на себя смелость с окончательной уверенностью утверждать, ошибка ли это?

— Ого, это уже что-то новенькое! — опешил К.

— Для вас новенькое, а для меня так очень даже старенькое, — не дал смягчить себя староста. — Я и сам не меньше вашего убежден, что произошла ошибка, и знаю, что Сордини из-за этой ошибки в отчаянии и даже тяжело заболел, да и первые контрольные инстанции, которым мы обязаны вскрытием ошибки, все происшедшее именно как ошибку аттестуют. Но кто поручится, что контрольные инстанции второго уровня рассудят так же, а потом и третьего и так далее? [*Разве мне самому, хоть я еще и вижу тут ошибку, в то же время сама эта ошибка, и вообще возможность ошибки, не представляется совершенно невероятной? И разве невозможно вообразить, что при столь бесконечно тонкой организации делопроизводства в случае необходимости может случиться так, что…*]

— Может быть, — проговорил К. — Мне в подобные рассуждения лучше не вникать, я и слышу-то о контрольных службах впервые и, разумеется, не могу сразу в них разобраться. Только все равно я думаю, что здесь надвое смотреть нужно, различая, во-первых, то, что в самих службах творится и что внутри самих служб, по служебной линии так или этак расценивать можно, а во-вторых, с другой стороны, меня, отдельную личность,

живого человека, который отдельно от служб существует и которому со стороны этих служб теперь ущемление грозит, причем настолько несуразное, что в серьезность угрозы я толком поверить не могу. Так вот, с первой точки зрения все, что вы, господин староста, с таким обескураживающим знанием дела тут рассказывали, возможно, и верно, но теперь я хотел бы хоть слово и о себе услышать.

— И до этого дойдет, — молвил староста, — только, боюсь, не поймете вы, если прежде я еще кое-что вам не растолкую. Я вот упомянул про контрольные службы, а ведь даже это преждевременно было. Поэтому вернусь к недоразумению с Сордини. Как уже сказано, отпираться мне становилось все трудней. А Сордини, коли почует в противнике хоть малейшую слабину, можно считать, уже победил, тут его бдительность, энергия, присутствие духа возрастают неимоверно, и тогда один вид его способен повергнуть неприятеля в ужас, зато врагов неприятеля — в восторг. Я и сам не однажды этот восторг испытывал, только потому вам сейчас так об этом человеке и рассказываю. Мне, кстати, ни разу не доводилось видеть его в лицо, он сюда не успевает спускаться, слишком завален работой, про кабинет его

рассказывают, будто там папки с делами прямо колоннами от пола до потолка громоздятся, из-за них стен не видно, причем все это только те папки, которые у Сордини непосредственно в работе, и, поскольку дела выхватываются и засовываются обратно целыми пачками, откуда и куда попало, колонны папок то и дело обрушиваются, и этот почти непрерывный, снова и снова сотрясающий стены грохот стал, говорят, самой верной приметой, по которой кабинет Сордини издалека найти можно. Да, что и говорить, Сордини — это работник, он и самой мелкой оказии уделяет столько же тщания, сколько самому серьезному делу.

— Вот вы, господин староста, — заметил К., — все время числите мое дело по разряду самых мелких, а скольким чиновникам пришлось им заниматься, так что если поначалу оно и было совсем ничтожным, то благодаря рвению чиновников вроде Сордини оно, наверно, уже в большое разрослось. Добавлю: к сожалению и совершенно против моей воли, ибо совсем не в том мое честолюбивое рвение, чтобы из-за меня росли и обрушивались колонны папок с касающимися меня бумагами, а в том, чтобы простым землемером спокойно работать за скромным

чертежным столом.

— Нет, — возразил староста, — ваше дело совсем не большое, в этом отношении вам жаловаться не на что, оно, можно считать, среди мелких дел одно из мельчайших. Ведь степень важности дела вовсе не объемом работы обусловлена, вы очень далеки от понимания сути наших служб, если так полагаете. Но даже если бы все решал объем работы, и тогда ваш случай был бы одним из пустяковейших, рядовые дела, то бишь те, в которых все без так называемых ошибок обходится, задают работы куда больше, правда, от них больше и отдача. Кстати, о самой-то работе, которую ваш случай причинил, вы пока и не знаете, я только собираюсь о ней рассказать. Поначалу меня самого Сордини вроде бы не трогал, зато чиновники от него зачастили в деревню, каждый день в «Господское подворье» вызывали кого-нибудь из уважаемых односельчан, и проводились допросы с протоколом. Большинство-то меня поддержали, но нашлись и супротивники, замер наделов для крестьянина — вопрос нешуточный, им сразу стали чудиться сговоры да обманы, выискался среди них, кстати, и застрельщик, вот по их сведениям у Сордини и сложилось убеждение, что будто бы, когда я докладывал вопрос

на совете общины, против вызова землемера высказались якобы не все. [*А дело это к совету общины вообще никакого отношения не имеет. Не стану же я, в самом деле, с каждым письмом в совет общины бегать, да только Сордини про то письмо ничего не знал, вообще отрицал само его существование, вот и выходило, будто я кругом виноват. ~~Больше всего отличился во всех этих интригах…~~*[4] *Получалось, будто я, без ведома совета общины, всеми силами стремлюсь сохранить существующее положение дел по части земли и недвижимости, — кстати, только из-за этого и само положение дел вдруг стало казаться подозрительным.*] Так самоочевидная вещь — а именно что землемер нам не нужен — по меньшей мере начала казаться сомнительной. Особо постаралсяся небезызвестный Брунсвик, вы его, наверно, еще не знаете, мужик он, может, и неплохой, но глупый и взбалмошный, он зять Лаземанна.

— Кожевника? — оживился К. и описал внешность бородатого мужика, которого он видел в доме Лаземанна.

— Да, это он, — подтвердил староста.

---

[4] Примечания: 1.4

Таким образом помечаются места, вычеркнутые Кафкой внутри вычеркнутых фрагментов текста. *(Прим. верстальщика fb2)*

— Я и жену его знаю, — бросил К. скорее наугад.

— Тоже возможно, — проронил староста и умолк.

— Очень красивая женщина, — продолжал К., — только бледная малость, вид какой-то болезненный.

Староста глянул на часы, налил себе в ложку микстуры и с торопливой жадностью проглотил снадобье.

— Вы, должно быть, только служебные помещения в Замке знаете? — без околичностей спросил К.

— Да, — ответил староста с чуть насмешливой, но все же как будто благодарной улыбкой. — Так они самое главное и есть. А что до Брунсвика, будь у нас такая возможность, почти все, и Лаземан не в последнюю очередь, были бы просто счастливы исключить его из общины. Но в ту пору Брунсвик приобрел в деревне некоторый вес, говорить он, правда, не больно мастак, зато орать горазд, а некоторым и этого довольно. Вот и вышло, что мне пришлось доложить вопрос на совете общины, — кстати, это и был единственный успех Брунсвика, ведь большинство совета, разумеется, ни о каком землемере даже слушать

не пожелало. И это тоже давным-давно было, много лет назад, однако все это время дело никак не могло утрястись, отчасти из-за добросовестности Сордини, который путем тщательнейших опросов пытался выяснить настроения как большинства, так и оппозиции, отчасти же из-за дурости и зазнайства Брунсвика, у которого самые неожиданные личные связи в инстанциях, и он эти связи всячески старался пустить в ход все новыми и новыми бреднями. Сордини, впрочем, провести себя не дал — да и как Брунсвику провести самого Сордини? — но чтобы опровергнуть его домыслы, всякий раз требовались новые опросы и расследования, а прежде чем они успевали завершиться, Брунсвик опять удумывал что-то новенькое, такая уж у него глупость, что заполошный он до невозможности. Вот тут я и подхожу к одной странной особенности всего нашего управленческого механизма. Насколько он точен, настолько же и капризен. И коли дело рассматривается слишком долго, может случиться, что еще до окончания всех рассмотрений вдруг — молниеносно и в совершенно непредсказуемом, а впоследствии и не установимом месте — выскакивает решение, которым дело закрывается; закрывается в большинстве случаев,

конечно же, крайне справедливо, но все-таки самопроизвольно. И тогда возникает чувство, будто механизм делопроизводства, перенапрягшись от многолетнего раздражения вечно одним и тем же, вдобавок, бывает, совершенно ничтожным казусом, принимает и извлекает из себя решение сам, без всякого участия чиновников. Разумеется, на деле это никакое не чудо, где-то в инстанциях какой-нибудь чиновник наверняка написал заключение или даже без всякой писанины решение принял, но по крайней мере извне, с нашей-то колокольни, да и изнутри, в самих службах, невозможно установить, какой именно чиновник в данном случае принимал решение и по каким причинам. Только контрольные службы, много позже, способны это установить, но нам-то об этом нипочем не узнать, да к тому времени оно, пожалуй, и интересовать никого не будет. Так вот, как я уже сказал, по большей части эти самопроизвольные решения превосходны, одно только в них неладно: так уж водится, что узнаёшь о них с большим запозданием, и получается, что из-за давным-давно решенного дела еще долго и совершенно зазря ломаются копья. Не знаю, как в вашем случае, выпало такое решение или нет — многое говорит за, многое против, — но

если бы око, допустим, выпало, то вам бы послали вызов, вы, едучи сюда, проделали бы долгое путешествие, времени прошла бы уйма, а между тем здесь Сордини все еще до изнеможения бился бы над вашим делом, Брунсвик по-прежнему плел бы свои козни и, уж конечно, оба они донимали бы меня. Я вам на такую возможность только намекаю, доподлинно мне известно лишь одно: тем временем одна из контрольных служб обнаружила, что много лет назад из отдела «А» в общину был направлен запрос относительно землемера и ответа на запрос этот до сих пор не получено. Совсем недавно меня снова по этому поводу запрашивали, и тут, конечно, все дело сразу разъяснилось, отдел «А» вполне моим ответом удовлетворился — в смысле, что землемер нам не требуется, — и даже Сордини пришлось признать, что в данном случае вопрос был совсем не по его ведомству и, значит, он хоть и без вины, но все-таки проделал прорву бесполезной, зазря изматывающей нервы работы. Так что, если бы новая работа не наваливалась со всех сторон и если бы ваш случай, как уже сказано, не был таким мелким — а он, можно сказать, и из мелких-то самый мельчайший, — то все мы, конечно, вздохнули бы с облегчением, по-моему,

и сам Сордини, и только Брунсвик по-прежнему бы злобствовал, но это уж было бы только смешно. А теперь, господин землемер, вообразите себе мое разочарование, когда после благополучного разрешения всей этой кутерьмы, — а с тех пор тоже немало воды утекло, — вдруг являетесь вы и даете повод полагать, будто все дело надо начинать сызнова. Надеюсь, вы понимаете, что я, насколько это в моих силах, полон решимости ничего подобного не допустить?

— Да уж конечно, — сказал К. — А еще яснее я понимаю, что со мной лично, а возможно, и вообще с законностью в ваших краях творится возмутительный произвол. И со своей стороны найду способ за себя постоять.

— И как вы намерены это сделать? — поинтересовался староста.

— А вот этого я вам не выдам, — ответил К.

— Не хочу навязываться, — сказал староста, — но советую принять в соображение, что в моем лице вы можете найти не скажу чтобы друга — мы ведь совсем чужие люди, — но в известном смысле дружественного союзника. Вот только чтобы вас приняли землемером — этого я никак не допущу, в остальном же с полным доверием всегда можете ко мне обращаться, разумеется,

в пределах моих властных полномочий, а они невелики.

— Вы все время говорите, — заметил К., — что я еще только должен быть принят землемером, но я ведь уже принят, вот же письмо Кламма.

— Письмо Кламма, — отозвался староста, — конечно, вещь ценная и заслуживающая всяческого уважения из-за самой подписи Кламма, которая, кажется, и вправду подлинная, в остальном же… — впрочем, не берусь да и не смею об этом судить. Мицци! — позвал он жену, но тут же вскричал: — Да что это вы делаете?

Надолго оставленные без присмотра, помощники и Мицци, видимо так и не обнаружив искомый указ, вознамерились уложить и запереть бумаги обратно в шкаф, однако, в связи с беспорядочностью и обилием разбросанных по полу папок, это им не удавалось. И тогда, не иначе что именно помощников осенила идея, которую они сейчас и приводили в исполнение, они положили шкаф на пол, запихали в него папки и, усевшись вместе с Мицци на дверцы, пытались теперь медленным и дружным нажимом все-таки их закрыть.

— Значит, так и не нашли указ, — изрек староста. — Жаль, впрочем, всю историю вы и так знаете, в сущности, указ нам больше не нужен,

потом он, конечно, обязательно отыщется, вероятно, он у учителя лежит, у него тоже целая прорва бумаг и папок. Подойди-ка, Мицци, лучше со свечой ко мне да прочти мне это письмо.

Мицци подошла, и теперь, когда она присела на край кровати подле своего крепкого, полного жизни супруга, который вдобавок тотчас обнял ее за плечи, вид у нее сделался совсем уж серенький и невзрачный. В блике свечи из темноты выделялось только ее маленькое личико с ясными, строгими, лишь под воздействием лет слегка смягчившимися чертами. Едва завидев письмо, она даже руками слегка всплеснула.

— От Кламма, — вымолвила она.

Потом они вместе прочитали письмо, о чем-то пошушукались, покуда наконец — тут помощники дружно грянули «ура!», ибо им удалось-таки дожать и закрыть дверцы шкафа, за что Мицци вознаградила их безмолвным благодарным взором, — староста не объявил:

— Мицци совершенно моего мнения, теперь, пожалуй, я рискну его высказать. Это вообще не служебная бумага, а частное письмо. Уже из самого обращения «Многоуважаемый сударь!» это совершенно ясно. Кроме того, здесь и словом не упомянуто, будто вы приняты землемером, ско-

рее, тут общие рассуждения о вашей господской службе, но и в них ничего определенного и обязывающего нет, сказано только, что вы приняты, «как вам известно», то есть бремя доказательства, что вы и в самом деле приняты, возложено на вас. Наконец, в отношении служебной подчиненности вас определяют исключительно ко мне, старосте, как к вашему непосредственному начальству, которое и должно сообщить вам все дальнейшее, что по большей части, кстати, уже исполнено. Кто в чтении служебных бумаг поднаторел, а вследствие этого и неслужебные письма еще лучше разбирает, для того здесь все ясней ясного; а что вы, сторонний человек, всех этих тонкостей не улавливаете, так оно и не удивительно. В общем и целом письмо ни о чем не говорит, кроме того, что Кламм лично намерен о вас позаботиться, если вы будете приняты на господскую службу.

— Вы, господин староста, — проговорил К., — так ловко письмо истолковали, что от него в конце концов вообще ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. [*Мое толкование иное, я остаюсь при нем, и хотя в моем распоряжении и совсем другие средства борьбы имеются, я приложу все силы к тому, чтобы*

именно мое толкование было признано верным.]
Да разве вы не замечаете, что этим вы принизили само имя Кламма, которого на словах якобы так уважаете.

— Это недоразумение, — возразил староста. — Я вовсе не отрицаю значения письма и толкованием своим нисколько это значение не умаляю, совсем напротив. Частное письмо от Кламма, разумеется, имеет куда большее значение, чем служебное послание, однако как раз того значения, какое вы ему приписываете, у него нет.

— Вы Шварцера знаете? — вдруг спросил К.

— Нет, — ответил староста. — Может, ты, Мицци? Тоже нет? Нет, не знаем такого.

— Странно, — заметил К. — Он же сын младшего кастеляна.

— Дорогой мой господин землемер, — проронил староста. — Ну откуда мне знать всех сыновей всех младших кастелянов.

— Хорошо, — сказал К. — Тогда вам придется поверить мне на слово, что такой человек есть. С этим Шварцером у меня сразу по прибытии неприятная стычка вышла. Так он запросил обо мне по телефону некоего младшего кастеляна по имени Фриц и получил справку, что я действительно принят землемером. Как, по-вашему, это

можно объяснить?

— А очень просто, — ответил староста. — В том-то и дело, что в действительности вы пока ни разу в соприкосновение с нашими властями и не вступали. Все эти соприкосновения лишь кажущиеся, вы же по неведению, по неосведомленности в наших делах принимаете их за действительные. А что до телефона — взгляните: у меня, кому по долгу службы и вправду приходится достаточно часто сноситься с властями, телефона вовсе нет. В трактирах и тому подобных заведениях от телефона еще может быть какой-то прок, ну вроде как от музыкального автомата, но не более того. Вам ведь уже приходилось здесь звонить, верно? Тогда, может, вы и поймете, о чем я. В самом-то Замке телефон, очевидно, работает безукоризненно; как мне рассказывали, там звонят беспрерывно, что, разумеется, очень ускоряет работу. Так вот, эти непрестанные телефонные переговоры мы в наших здешних телефонных аппаратах тоже слышим — они доносятся сюда пением и шумом, которые и вы наверняка слыхали. Но пение и шум — единственное, чему и вправду можно доверять в наших здешних телефонах, все остальное, что из них до нас доходит, сплошной обман слуха. Между деревней

и Замком прямого телефонного сообщения нет, нет и телефонной станции, которая бы соединяла наши вызовы с Замком; и если кто удумает вдруг отсюда позвонить в Замок, там трезвонят разом все аппараты во всех самых нижних отделах, вернее сказать, трезвонили бы, если бы почти во всех, как мне доподлинно известно, не были отключены звонки. Но иной раз то в одном отделе, то в другом у какого-нибудь переутомившегося чиновника нет-нет да и возникнет прихоть малость развеяться, особенно по ночам или вечером, вот он и включает звонок, и тогда мы в самом деле получаем ответ, правда, ответ этот не более чем шутка. Да оно и понятно. Кому в голову взбредет со своими мелкими личными заботами соваться в важнейшие и всегда сугубо срочно исполняемые дела Замка? Вот я лично не пойму, как даже несведущий сторонний человек может надеяться, что если он, допустим, Сордини позвонил, то ему и вправду Сордини ответит? Куда вероятней это будет мелкий регистратор из совсем другого подразделения. С другой стороны, но это в редчайшем случае, может выпасть и такая оказия, что позвонишь мелкому регистратору, а ответит тебе сам Сордини. Тогда, правда, впору сразу бросать трубку и опрометью бежать

от телефона при первых же звуках его голоса, а лучше и того раньше.

— Я, конечно, так на это дело не смотрел, — сказал К., — и подробностей этих знать не мог, но особого доверия здешние телефонные переговоры у меня тоже не вызывали, я всегда понимал: действительное значение имеет только то, что сам узнаешь или чего сам добьешься непосредственно в Замке.

— Нет, — ответил староста, решив, видимо, сегодня твердо стоять на этом слове. — Действительное значение у этих телефонных ответов, безусловно, имеется, а как же иначе? Как это может быть, чтобы справка, данная чиновником из Замка, не имела значения? Я и в отношении письма Кламма примерно то же самое вам говорил. Служебного значения все эти высказывания не имеют; если вы им служебное значение приписываете, то вы заблуждаетесь, зато их частное значение — в дружественном или, наоборот, враждебном вам смысле — крайне велико, настолько велико, что никакому служебному

значению такая важность и не снилась.{5}

— Хорошо, — сказал К., — если допустить, что все обстоит именно так, то, выходит, у меня в Замке уйма добрых друзей; ведь если так смотреть, то еще тогда, много лет назад, осенившая какой-то отдел идея — мол, не вызвать ли землемера? — была, можно сказать, в отношении меня дружественным актом, и благоприятствования эти, судя по всему, потом следовали одно за другим, покуда не обернулись таким вот злополучным фортелем: меня сперва заманили, а теперь норовят вышвырнуть.

— Вообще-то доля правды в таком взгляде на вещи есть, — заметил староста. — Вы правы в том, что никакие указания из Замка нельзя принимать буквально. Но осторожность — она ведь

{5} Варианты: 2.5

…что никакому служебному значению такая важность и не снилась.

[*— Послушать вас, — сказал К., поднимаясь, со смятым письмом Кламма в руке, — выходит, будто у меня наверху, в Замке, множество закадычных друзей и заклятых врагов, однако, к сожалению, я ни от кого из них толком ни «да», ни «нет» не услышал. Но я такого человека непременно найду. Кое-какие возможности его найти вы мне полунамеком сами подсказали.*

— В мои намерения это не входило, — со смешком ответил староста, пожимая ему на прощание руку. — Но весьма приятно было с вами потолковать, просто, знаете ли, совесть облегчил. Надо полагать, я вас вскорости увижу снова.

— Наверно, мне понадобится еще к вам прийти, — сказал К., склоняясь над рукой Мицци; превозмогая себя, он совсем было собрался эту руку поцеловать, но Мицци с коротким вскриком ужаса ее отдернула и от

испуга даже спрятала под подушку.

— Ну-ну, Мици, голубушка, — успокаивающе проговорил староста, ласково поглаживая супругу по спине. — Мы всегда вам рады, — продолжил он, возможно пытаясь таким образом выручить К. из неловкого положения, но тотчас добавил: — Особенно сейчас, покуда я болен. Зато уж потом, как только до письменного стола смогу добраться, служебные дела поглотят меня с головой.

— Не хотите ли вы сказать, — спросил К, — что и сегодня говорили со мной неофициально?

— Разумеется, — ответствовал староста. — Официально я с вами точно не говорил, пожалуй, этот разговор можно считать полуофициальным. Как я уже сказал, господин землемер, вы неслужебные дела перенедооцениваете, но и официальные недооцениваете. Поймите, служебное решение — это вам не что-то вроде склянки с микстурой, что на столике рядом стоит. Только руку протяни — и вот она, тут как тут и вся твоя. Подлинному служебному решению предшествует неисчислимое множество мелких соображений и вердиктов, тут потребна кропотливая работа лучших чиновников, которую никакими силами не сократить, если даже окончательное решение, допустим, с самого начала известно чиновникам заранее. Да и возможно ли оно вообще — окончательное решение? На то ведь и существуют у нас контрольные службы, чтобы никаких окончательных решений не допускать.

— Ну да, — заметил К., — у вас все просто распрекрасно устроено, кто в этом усомнится? И вы настолько заманчиво расписали мне все в общих чертах, что я теперь все силы приложу, дабы вникнуть в частности.

Они раскланялись, и К. вышел. Помощники, впрочем, не преминули попрощаться отдельно, с перешептываниями и смешками, но вскоре нагнали его.

В трактире К. не узнал свою комнату — настолько дивно она преобразилась. Это постаралась Фрида, встретившая его на пороге поцелуем. Комната была хорошо проветрена, печь как следует протоплена, пол вымыт, постель застелена, вещи служанок вместе с их картинками исчезли, только одна новая фотография висела теперь на стене над кроватью. К. подошел поближе, фотографии…]

— Хорошо, — сказал К., — если допустить, что все обстоит именно так…

всюду нужна, не только здесь, и она тем нужнее, чем серьезнее указание, о котором идет речь. Вот только ваши слова насчет заманивания мне не совсем понятны. Если бы вы повнимательнее следили за моими рассуждениями, то должны бы уразуметь: вопрос вашего сюда вызова слишком сложен, чтобы нам двоим прояснить его в столь краткой беседе.

— Значит, в конечном итоге остается, — вымолвил К., — что все весьма неясно и неразрешимо, кроме одного: меня отсюда вышвыривают.

— Да кто же осмелится вас вышвырнуть, господин землемер? — изумился староста. — Как раз неясность всех изначальных вопросов и есть порука самого вежливого с вами обхождения, просто вы, похоже, слишком чувствительны. Никто вас здесь не удерживает, но это вовсе не значит, что вас вышвыривают.

— Э-э, господин староста, — возразил К., — на сей раз это вы на некоторые вещи слишком просто смотрите. Я вам сейчас примерно перечислю, что меня тут удерживает: лишения, жертвы и издержки, ценой которых я оторван от родного дома, тяготы долгого пути, обоснованные надежды, которые я питал в связи с видами на должность, мое полное нынешнее безденежье,

невозможность по возвращении на родину снова найти приличествующую мне работу и, наконец, совсем не в последнюю очередь, моя невеста, она-то ведь здешняя.

— Ах, Фрида! — бросил староста, нисколько не удивленный. — Я знаю. Ну Фрида хоть на край света за вами пойдет. Что же до остального, тут и правда кое-что в соображение принять следует, я так в Замке и доложу. И если решение придет или понадобится прежде еще раз вас допросить, я распоряжусь вас вызвать. Вас это устраивает?

— Нет, нисколько, — возразил К., — я не желаю от Замка никаких подачек из милости, я хочу добиться своего права.

— Мицци, — обратился староста к супруге, которая по-прежнему сидела прильнув к мужниному плечу и в задумчивости играла письмом Кламма, успев соорудить из него бумажный кораблик; К., заметив это, тотчас же испуганно отобрал у нее письмо, — Мицци, что-то нога у меня опять разболелась, пора примочку сменить.

К. встал.

— Тогда позвольте откланяться, — сказал он.

— Да-да, — отозвалась Мицци, уже готовя какое-то снадобье. — А то что-то очень дует.

К. обернулся: помощники в своем, как всегда,

неуместном услужливом рвении, едва услышав, что К. откланивается, распахнули настежь обе створки двери. Торопясь уберечь больного от ворвавшейся в дом волны уличной стужи, К. успел только слегка поклониться старосте. После чего, увлекая за собой помощников, стремглав выбежал из комнаты и поспешно прикрыл дверь.

6
Второй разговор с трактирщицей

Перед трактиром его дожидался трактирщик. Поскольку заговорить первым он не решался, К. спросил, что ему нужно.

— Ты уже подыскал себе новую квартиру? — спросил тот, пряча глаза.

— Это жена тебя послала? — поинтересовался К. — Ты, похоже, совсем у нее под каблуком.

— Нет, — ответил трактирщик. — Я не от нее, я сам по себе спрашиваю. Но она очень разволновалась и расстроилась из-за тебя, работать совсем не может, в постель слегла, только вздыхает и сетует без конца.

— Так мне что, сходить к ней? — спросил К.

— Да, очень тебя прошу, — взмолился трактирщик. — Я уж и к старосте за тобой ходил, под дверью постоял, но у вас разговор был, я не стал мешать, да и о жене беспокоился, обратно домой побежал, только она меня к себе не допустила, вот мне ничего и не осталось, кроме как здесь тебя дожидаться.

— Тогда пошли скорей, — сказал К., — я живо

ее успокою.

— Хорошо бы, коли так, — вздохнул трактирщик. Они прошли через просторную, светлую кухню, где три или четыре служанки, работавшие порознь и довольно далеко друг от друга, при виде К. все как одна буквально оцепенели. Уже отсюда, из кухни, слышны были вздохи хозяйки. Оказалось, она лежит в небольшой каморке без окон, отделенной от кухни лишь тонкой дощатой перегородкой. Уместились в каморке только двуспальная супружеская кровать да шкаф. Кровать стояла так, чтобы с нее можно было обозревать всю кухню и происходящие там работы. Из кухни же, напротив, разглядеть что-либо в закутке было почти невозможно — такая там стояла темень, только бело-красная постель смутно проступала из мрака. И лишь войдя внутрь и дав глазам попривыкнуть, посетитель хоть что-то начинал различать.

— Наконец-то вы пришли, — простонала хозяйка слабым голосом. Она лежала на спине, вытянувшись, дышать ей, судя по всему, было трудно, она даже перину с себя сбросила. Сейчас, в постели, она выглядела гораздо моложе, чем давеча в платье, хотя ночной чепчик из тонкого кружева — возможно, еще и оттого, что был ей

мал и плохо держался на волосах, — оттенял меты возраста на ее лице и вызывал к ней жалость.

— Да как же я мог прийти, — сказал К. как можно ласковей, — когда вы меня не звали?

— Нехорошо заставлять меня ждать так долго, — с настырностью капризного больного продолжала твердить свое хозяйка. — Садитесь, — сказала она, указывая на край кровати. — А вы, все остальные, уйдите.

Оказалось, что помимо помощников в каморку тем временем набились еще и служанки.

— Мне тоже уйти, Гардена? — спросил трактирщик, и К. впервые услышал имя хозяйки.

— Конечно, — протянула та и, словно занятая еще какими-то мыслями, рассеянно добавила: — С какой стати именно тебе оставаться?

Но когда все ретировались на кухню, включая помощников, которые на сей раз подчинились безропотно, — впрочем, они просто увязались за одной из служанок, — у Гардены хватило бдительности сообразить, что из кухни все будет слышно, ибо двери в каморке не было, — и она распорядилась всем тотчас же из кухни выйти. Что и было исполнено.

— Пожалуйста, господин землемер, — попросила Гардена, — в шкафу, наверху, вы сразу же

увидите, висит шаль, подайте ее мне, я ею накроюсь, перину я терпеть не могу, мне под ней не продохнуть. — А когда К. принес шаль, сказала: — Видите, какая красивая шаль, верно?

На взгляд К., ничего особенного в шали не было, обычный шерстяной платок, он из вежливости пощупал шаль еще раз, но ничего не сказал.

— Да, очень красивая, — проговорила Гардена, кутаясь в шаль. Теперь она лежала на кровати вполне уютно, казалось, все ее беды и хвори как рукой сняло, она даже вспомнила, что волосы не в порядке, и, ненадолго сев в постели, слегка поправила под чепчиком прическу. Волосы у нее были пышные.

Начиная терять терпение, К. спросил:

— Вы, госпожа трактирщица, посылали спросить, подыскал ли я себе новое жилье?

— Я посылала? — удивилась трактирщица. — Нет, тут какая-то ошибка.

— Ваш муж только что меня об этом спрашивал.

— А, это я верю, — заметила хозяйка. — Совсем я с ним измучилась. Когда не хотела вас держать, он вас привечал, а теперь, когда я счастлива, что вы у нас живете, он вас гонит. С ним всегда вот этак.

— Так, значит, — спросил К., — вы успели изменить свое мнение обо мне? За какой-нибудь час-другой?

— Мнения своего я не меняла, — проговорила хозяйка, снова заметно слабея голосом. — Дайте мне вашу руку. Вот так. А теперь обещайте быть со мной совершенно откровенным, тогда и я ничего от вас утаивать не стану.

— Хорошо, — сказал К. — Кто первый начнет?

— Я, — выдохнула хозяйка, словно она не в угоду К. соглашается, а сама давно жаждет выговориться.

Достав из-под подушки, она протянула К. фотографию.

— Взгляните вот на это, — попросила она.

Чтобы получше разглядеть снимок, К. шагнул на кухню, но и там, на свету, нелегко было хоть что-нибудь различить на фотокарточке, настолько та выцвела от старости, потрескалась, помялась, да и захватана-заляпана была изрядно.

— Не сказать, чтобы она хорошо сохранилась, — заметил К.

— Увы, к сожалению, — согласилась хозяйка. — Когда вещь столько лет всегда и всюду при себе держишь, так оно и бывает. Но если как следует

вглядитесь, то все увидите наверняка. Да я и помочь вам готова, расскажите только, что вы видите, мне так приятно про эту карточку слушать.

— Вижу молодого человека, — сказал К.

— Верно, — подтвердила хозяйка. — А что он делает?

— По-моему, лежит на какой-то доске, тянется и зевает.

Трактирщица рассмеялась.

— Нет, совсем не то, — сказала она.

— Но вот же доска, — стоял на своем К., — а вот он лежит.

— А вы внимательней присмотритесь, — уже с раздражением в голосе посоветовала она. — По-вашему, он в самом деле лежит?

— Нет, — вынужден был согласиться К., — он парит в воздухе, я теперь вижу, и это не доска, а, вероятней всего, веревка, молодой человек прыгает в высоту.

— Ну вот, — обрадовалась хозяйка. — Именно что прыгает, это канцелярские посыльные так тренируются, я же знала, вы разберетесь. А лицо его видите?

— Да лица-то почти не видно, — сказал К. — Но, похоже, старается он изо всех сил: рот раскрыт, глаза зажмурены, волосы растрепаны.

— Очень хорошо, — похвалила хозяйка. — Больше-то, если его лично не знать, и не разглядишь. Но он красивый был мальчик, я его только один раз мельком видела и уже вовек не забуду.

— И кто это был? — поинтересовался К.

— Это был, — вымолвила хозяйка, — посыльный, через которого Кламм в первый раз меня к себе вызвал.

К., впрочем, не мог толком слушать — его отвлекало дребезжание стекла. Он вскоре обнаружил источник помехи. За окном, во дворе, стояли помощники, вернее, не стояли, а подскакивали, переминаясь с ноги на ногу. И делали вид, будто страшно рады снова видеть К.: вне себя от счастья, они показывали на него друг дружке, беспрестанно тыча пальцами в оконное стекло. К. замахнулся на них, и они тотчас прекратили стучать, отпрянули, оттаскивая друг друга, но один тут же вывернулся, и вскоре оба снова прилипли к окну. К. поспешил в каморку, откуда помощники его видеть не могли да и ему глаза не мозолили. Но тихое, как будто просительное дребезжание оконного стекла доносилось и сюда и еще долго не давало ему покоя.

— Опять эти помощники, — оправдываясь, бросил он трактирщице, указывая на окно.

Но та даже внимания не обратила, забрала у него фотографию, разгладила и снова сунула под подушку. Движения ее вдруг замедлились, но не от усталости, а под гнетом воспоминаний. Она собиралась что-то рассказать К., но, похоже, за раздумьями о предстоящем рассказе напрочь о самом К. позабыла. [*Вот так же иногда замолкала и Фрида, когда рассказывала о Кламме, но Фрида еще молода и честолюбива, к тому же ее боль недавняя, совсем свежая, Гардена же, напротив, уже старая женщина без всяких видов на будущее и рассказывает о давно минувшем. К. был почти благодарен ей за это молчание, он сидел на кровати у нее в ногах, прислонясь к спинке и для удобства даже колено под себя подтянув. Как же он устал и как мало, несмотря на всю усталость, достиг — да поверни это достигнутое в руках пару раз, и сразу видно, что почти ничего и не останется. Мелкие успехи, которых он добился у властей, староста, можно сказать, перечеркнул как весьма сомнительные, и хотя он старосте скорее верил…*] Рассеянно играла бахромой шали. Лишь некоторое время спустя подняла голову, провела рукой по глазам и сказала:

— И шаль эта тоже от Кламма. И чепчик. Фотокарточка, шаль да чепчик — всего три вещи у

меня от него на память. Я уже не молоденькая, как Фрида, не такая гордячка, как она, и не такая ранимая, она-то ужасно ранимая, — словом, я всякого в жизни понавидалась, но одно скажу: без этих трех вещей мне бы так долго здесь не выдержать, нет, я бы, наверно, и дня здесь не вытерпела. Вам они, может, покажутся ерундой, но судите сами: у Фриды, которая с Кламмом вон как долго была, вообще ничего от него на память нету, я ведь ее спрашивала, но она мечтательница, да и привереда, а я, хоть всего три раза у Кламма побывала, уж не знаю, почему он меня больше не вызывал, только я как будто чувствовала, что счастье мое недолгим будет, вот и взяла на память. Да-да, тут самой о себе позаботиться надо, по своей охоте Кламм ничего не даст, но, если там что подходящее лежит, выпросить можно.

К. почему-то испытывал неловкость, внимая всем этим откровенностям, сколь бы близко они его ни касались.

— И давно ли все это было? — вздохнув, спросил он.

— Да уж годков двадцать с лишним, — ответила хозяйка. — Много больше двадцати.

— Вот, значит, как хранят верность Кламму, — проговорил К. — Отдаете ли вы себе отчет,

госпожа трактирщица, что вы такими признаниями, как вспомню о своем будущем браке, большие тревоги мне внушаете.

Хозяйка, посчитав, видимо, крайней бесцеремонностью со стороны К. встревать сейчас со своими личными делами, только искоса стрельнула в него сердитым взором.

— Ну зачем так гневаться, госпожа трактирщица, — заметил К. — Я ведь слова против Кламма не говорю, но по воле событий я тоже имею теперь некоторое к нему отношение, этого даже самый ревностный почитатель Кламма не станет отрицать. Вот то-то и оно. А значит, теперь при всяком упоминании Кламма я поневоле о себе думаю, тут уж ничего не попишешь. И вообще, госпожа трактирщица, — тут К., невзирая на легкое сопротивление, взял ее за руку, — вспомните, как скверно наша прошлая беседа закончилась, а сегодня мы ведь хотели миром разойтись.

— И то правда, — согласилась хозяйка, опуская голову. — Но вы уж меня пощадите. Я не обидчивей других, напротив, но у каждого свои больные места имеются, у меня вот только одно это.

— К сожалению, это и мое больное место, — сказал К. — Но с собой я как-нибудь справлюсь. А теперь объясните, госпожа трактирщица, как

мне прикажете терпеть в собственном браке такую чудовищную верность Кламму, если, конечно, предположить, что Фрида в этом будет похожа на вас?

— Чудовищную верность? — с негодованием повторила хозяйка. — Да какая же это верность? Это мужу своему я верна, а Кламму? Кламм однажды соизволил сделать меня своей возлюбленной, разве кто-нибудь лишит меня этого звания? Как вам терпеть подобное с Фридой? А кто вы такой, господин землемер, чтобы иметь дерзость задавать подобные вопросы?

— Госпожа трактирщица! — предостерегающе осадил ее К.

— Да знаю, знаю, — проговорила та, смиряясь. — Только вот муж мой таких вопросов не задавал. Даже не знаю, кого из нас двоих несчастнее считать — меня тогда или Фриду теперь? Фриду, у которой хватило духу самой от Кламма уйти, или меня, которую он больше не вызвал. Наверно, все-таки Фриду, хоть она пока всей меры своего несчастья и не ведает. Моя печаль занимала тогда мои мысли всецело, я без конца спрашивала себя, да и по сей день не перестаю спрашивать: ну почему так? Три раза Кламм меня вызывал, а в четвертый не вызвал, так никогда

в четвертый раз и не вызвал! А что еще могло меня тогда больше-то занимать? О чем еще было с мужем говорить, с которым мы вскоре после этого поженились? Днем времени у нас не было, трактир этот нам в жутком виде достался, и поднимали мы его тяжко, но ночью? Годами все наши ночные разговоры вокруг одного только и вертелись — все о Кламме да о том, почему его чувства переменились. И когда муж мой за этими разговорами ненароком засыпал, я его будила, и мы говорили дальше.

— Тогда я, — сказал К., — если позволите, задам очень грубый вопрос.

Хозяйка промолчала.

— Значит, спросить нельзя, — ответил за нее К. — Что ж, мне и этого довольно.

— Ну конечно, — пробурчала трактирщица. — Вам и этого довольно, вам как раз только этого и довольно. Вы все, все по-своему перетолковываете, даже молчание. Просто не можете иначе. Так вот, я позволяю — спрашивайте.

— Если я все по-своему перетолковываю, — заметил К., — я, может, и вопрос свой понимаю неверно, может, он вовсе и не такой грубый. Я просто хотел спросить, как вы с мужем вашим познакомились и как вам трактир этот достался?

Хозяйка наморщила лоб, потом равнодушно сказала:

— Ну, это очень простая история. Отец мой кузнецом был, а Ханс, мой нынешний муж, конюхом работал у одного богатого крестьянина и часто к отцу моему захаживал. А было это как раз после моей последней встречи с Кламмом, я тогда от горя просто убивалась, хотя вообще-то права не имела, ведь все чин чином прошло, а что меня больше к Кламму не допускали, так на то была его воля, то есть опять-таки все как положено, только причины мне были неясны, но чтобы от горя убиваться, такого права у меня не было, ну а я все равно убивалась и даже работать не могла, только сидела целыми днями перед домом в садочке нашем, и все. Там Ханс меня и видел, иногда подсаживался ко мне, я ему не жаловалась, но он понимал, каково у меня на душе, а поскольку мальчик он добрый, то бывало даже и всплакнет со мной вместе. И как-то раз тогдашний трактирщик — у него жена померла, и пришлось дело прикрыть, да он уже и старый был, — проходил мимо нашего дома, увидел, как мы в садочке сидим, остановился и с ходу предложил нам свой трактир сдать в аренду, даже задатка брать не стал, сказал, что и так нам дове-

ряет, и плату назначил очень низкую. А я обузой отцу быть не хотела, остальное же все было мне безразлично, и я, подумав о трактире и о новой работе, которая вдруг да и поможет мне забыться, отдала свою руку Хансу. Вот и вся история.

Некоторое время было тихо, потом К. сказал:

— Трактирщик поступил, конечно, благородно, но ведь необдуманно, или, может, у него особые причины имелись так вам обоим доверять?

— Так он Ханса хорошо знал, — пояснила трактирщица, — дядей Хансу приходился.

— Ну, тогда конечно, — сказал К. — Очевидно, семье Ханса очень хотелось породниться с вами?

— Может быть, — бросила хозяйка. — Не знаю, меня это не волновало.

— Наверно, так оно и было, — продолжал К. — Раз уж семья готова была такие жертвы принести и без всяких ручательств трактир в ваши руки отдать.

— Ну, потом-то оказалось, что не такая уж это и опрометчивость с их стороны, — заметила трактирщица. — На работу я, можно сказать, набросилась, девка я была сильная, даром что дочь кузнеца, ни служанок, ни батраков мне не требовалось, я всюду сама поспевала, и в столовой, и у плиты, и в стойле, и во дворе, а стряпала

так, что из «Господского подворья» клиентов переманивать стала, вы наших обеденных гостей еще не знаете, поначалу их и того больше у нас столовалось, но с тех пор многие обратно отбились или по другим местам разошлись. А в итоге мы не только арендную плату исправно платить смогли, но через несколько лет и все хозяйство откупили, а теперь и из долгов почитай что выбрались. Есть тут, правда, и другой итог — что здоровье я себе вконец надорвала, сердце у меня никуда, да и сама вон совсем старуха. Вы небось думаете, что я намного Ханса старше, а на самом деле он только на два-три годка меня моложе, правда, он и не постареет никогда на такой работе — трубку выкурить, с гостями поболтать, потом трубку выбить, ну и, может, пива кому разок подать, — нет, от такой работы не состаришься.

— Вы поразительно многого добились, — сказал К., — тут и сомневаться нечего, но мы ведь говорили о временах до вашей свадьбы, и в ту пору разве не было странно, что родственники Ханса, не страшась денежных потерь или, по крайней мере, идя на такой большой риск, как передача вам трактира, все-таки настаивали на свадьбе, не имея в этом отношении других надежд, кроме как на вашу рабочую силу и трудолюбие, которых

они тогда еще знать не могли, и на рабочую силу и трудолюбие Ханса, об отсутствии каковых им наверняка было хорошо известно?

— Ну да, да; — устало бросила хозяйка, — понятно, куда вы клоните, да только опять пальцем в небо. Кламм во всех этих делах ни сном ни духом не замешан. С какой стати ему было обо мне заботиться, а вернее сказать — как он вообще мог обо мне позаботиться? Он обо мне ровным счетом ничего не знал. И раз больше не вызывал, значит, забыл. Кого он больше не вызывает — про того забывает напрочь. Я уж при Фриде об этом говорить не стала. Но это не просто забвение, тут гораздо больше. Кого однажды позабыл — с тем когда-нибудь снова познакомиться можно. А с Кламмом на этого надеяться уже нельзя. Если он кого к себе больше не вызывает, значит, позабыл напрочь не только в прошлом, но и на будущее, на веки вечные, можно сказать. Если постараться, я могу, конечно, вашими мыслями начать думать, которые там, на чужбине, вам, может, и пригодились бы, только здесь, у нас, это мысли совершенно бесполезные, вздорные. Может, вы в своих рассуждениях даже до такого сумасбродства дошли, будто Кламм нарочно мне Ханса сосватал, чтобы мне без помех к нему,

Кламму, приходить, если когда-нибудь в будущем он меня вызвать надумает. Вот уж поистине ничего сумасброднее и придумать нельзя. Да где такого мужа сыскать, который помешал бы мне к Кламму по первому его зову, по первому кивку бегом побежать? Вздор, сущий вздор, тут у самой ум за разум зайдет, когда с такими бреднями играться начинаешь.

— Нет, нет, — сказал К., — ум за разум у нас не зайдет, да и я в своих мыслях так далеко не заходил, как вам подумалось, хотя, по правде сказать, двигался куда-то в ту же сторону. Поначалу меня просто удивило, с какой стати родня Ханса столько надежд возлагала на свадьбу и каким образом все эти надежды и вправду сбылись, хотя и ценой вашего сердца, вашего здоровья? Мысль о причастности Кламма к этим обстоятельствам, разумеется, напрашивалась, но не в таком — вернее, еще не в таком — грубом виде, как ее представили вы, полагаю, единственно с одной лишь целью опять меня осадить, благо вам это доставляет удовольствие. Что ж, я рад вам его доставлять! Но мысль моя была вот какая: во-первых, очевидно, что Кламм стал причиной этой свадьбы. Не будь Кламма, вы не убивались бы от горя, не сидели бы без дела в садочке; не

будь Кламма, вас не увидел бы там Ханс, а не будь вы так печальны, робкий Ханс и заговорить бы с вами в жизни не решился; не будь Кламма, вы никогда бы с Хансом не обнялись в слезах; не будь Кламма, добрый старый дядюшка-трактирщик никогда бы не увидел, как вы в садочке, словно два голубка, сидите; не будь Кламма, вы не были бы столь безразличны ко всему на свете и, значит, не пошли бы за Ханса замуж. Все-таки рискну сказать, что во всем этом Кламм достаточно сильно замешан. Но оно и дальше так идет. Не ищи вы возможности забыться, вы бы уж наверняка не стали так гробить себя работой, а значит, так истово не поднимали бы трактир. Выходит, и тут без Кламма не обошлось. Но и помимо этого Кламм, безусловно, виновник ваших недугов, ведь сердце ваше еще до свадьбы было иссушено пагубной страстью. Остается только один вопрос: чем это родню Ханса так привлекала его женитьба на вас? Вы сами как-то упомянули, что стать возлюбленной Кламма — значит получить пожизненное высокое звание, которого невозможно лишиться, — наверно, вот это их и привлекло. А кроме того, полагаю, еще и надежда на вашу счастливую звезду, — если только согласиться, что звезда и вправду счастливая,

но вы на этом настаиваете, — на то, что звезда эта всегда будет вам сопутствовать, а не покинет вас столь же скоропалительно и внезапно, как покинул Кламм.

— Вы все это всерьез говорите? — спросила трактирщица.

— Всерьез, — не задумываясь, ответил К. — Только я думаю, что родичи Ханса в своих надеждах оказались не совсем правы, хотя и не совсем просчитались, а еще я думаю, что вы допустили ошибку, и я эту ошибку вижу. Внешне вроде бы все удачно вышло, Ханс всем обеспечен, и жена у него из себя видная, семья в почете, хозяйство без долгов. Но на самом деле все вовсе не так удачно, с простой девушкой, полюбившей его первой большой любовью, он наверняка изведал бы счастья куда больше; и если он иной раз ходит по трактиру как потерянный, в чем вы его упрекаете, то лишь потому, что он и в самом деле чувствует себя тут потерянным — ничуть, правда, не будучи из-за этого несчастным, уж настолько я успел его узнать, — однако столь же очевидно и то, что этот ладный, смышленый малый с другой женой был бы куда более счастливым человеком, а значит, и вполне мужчиной, самостоятельным, дельным, работящим. И вы тоже нисколько не

счастливы и, как сами говорите, без трех вещей, оставшихся на память, жить бы дальше не захотели, да и сердце у вас больное. Выходит, родня в своих надеждах все-таки просчиталась? Нет, я так не думаю. Благословение было над вами, только они не сумели его с неба достать.

— Что же они упустили? — спросила хозяйка. Она лежала теперь вытянувшись на спине и смотрела в потолок.

— Кламма спросить, — сказал К.

— Опять вы за свое, — устало бросила трактирщица.

— Или за ваше, — возразил К., — дела-то наши одного свойства.

[— *В известном смысле его спросили, — сказала трактирщица. — Мое свидетельство о браке оформлено его подписью, правда случайно, он просто замещал тогда начальника другой канцелярии, поэтому там и значится: и. о. начальника Кламм. Помню, как я прямо из магистрата с этим свидетельством домой помчалась, ни подвенечного платья, ни фаты не сняла, за стол села, свидетельство перед собой положила, снова и снова на дорогое имя любовалась и с детским усердием в свои-то семнадцать лет эту заветную подпись скопировать пыталась, да еще с каким*

пылом, целую страницу вензелями исписала и не заметила, что Ханс у меня за спиной стоит, за моим занятием наблюдает и помешать мне боится. К сожалению, потом, когда на свидетельстве все необходимые подписи проставлены были, пришлось его в совет общины сдать.

— Да нет, — сказал К., — такой запрос я даже не имел в виду, вообще ничего официального, говорить надо не с чиновником Кламмом, а с Кламмом как частным лицом. Все служебное здесь ровным счетом ничего не стоит; если бы вы, к примеру, как я сегодня, всю документацию общины, включая, возможно, и ваше ненаглядное свидетельство о браке, сваленным в кучу на полу увидели, — если, конечно, оно в сарае не хранится, где его давным-давно крысы съели, — тогда, полагаю, вы бы со мной согласились.]

— Хорошо, что вы хотите от Кламма? — спросила хозяйка. Она теперь села прямо, взбив подушки и откинувшись на них, и смотрела К. прямо в глаза. — Я свою историю откровенно вам рассказала, может, вас это чему и научит. Но теперь и вы откровенно мне скажите: о чем таком вы хотите Кламма спросить? Я еле-еле Фриду уговорила в комнату к себе подняться и там побыть, боялась, вы при ней не станете говорить вполне

откровенно.

— Мне скрывать нечего, — сказал К. — Но сперва я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Вот вы говорите, Кламм забывает сразу же. Во-первых, мне это представляется крайне маловероятным, во-вторых, это утверждение совершенно бездоказательно, не иначе это сказка, выдумка досужих девичьих умов, сочиненная возлюбленными, когда они были у Кламма в фаворе. Удивляюсь, как вы способны верить в такие сказки.

— Никакая это не сказка, — проронила трактирщица, — скорее, общий наш жизненный опыт.{6}

— Значит, как и всякий прежний опыт, он когда-нибудь опровергается новым, — заметил К. — Но есть и еще одно различие между вашим и Фридиным случаями. Невозможно утверждать, что Кламм больше не позвал бы к себе Фриду, этого в известном смысле просто не было, скорее, напротив, он ее позвал, а она не пошла. Очень даже может быть, что он до сих пор ее ждет.

Хозяйка молчала и только смерила К. испыту-

{6} Варианты: 2.6

— Никакая это не сказка, — проронила трактирщица, — скорее, общий наш жизненный опыт. [*Вдобавок, быть может, это всего лишь легенда, не иначе ее выдумали брошенные возлюбленные, себе в утешение.*]

— Значит, как и всякий прежний опыт, он когда-нибудь опровергается новым, — заметил К.

ющим взглядом. Потом наконец произнесла:

— Я себе наказала все, что вы тут будете говорить, выслушать спокойно. Так что лучше говорите прямо, не старайтесь меня щадить. Об одном только прошу: не поминайте имя Кламма. Называйте его «он» или еще как-нибудь, но не по имени.{7}

— Извольте, — согласился К. — Мне, однако, трудно сказать, чего я от него хочу. Для начала хочу просто посмотреть на него вблизи, потом хочу услышать его голос, потом хотел бы узнать, как он относится к нашей свадьбе; а вот уж о чем я потом, быть может, его попросил, это зависит от дальнейшего хода беседы. На словах много всего может проявиться, но главное для меня — предстать перед ним. Ведь я по-настоящему,

---

{7} Варианты: 2.7

Называйте его «он» или еще как-нибудь, но не по имени.

[*— Извольте, — сказал К. — А теперь о том, что я хотел бы ему сказать. Вот как примерно я бы с ним говорил: мы с Фридой любим друг друга и хотим пожениться как можно скорей. Однако Фрида любит не только меня, но и вас, правда, совершенно иной любовью, и не моя вина, что скудость языка обозначает оба этих чувства одинаковым словом. Каким образом в ее сердце нашлось место и для меня — этого Фрида и сама понять не в силах, а потому полагает, будто такое могло произойти только по вашей воле. Судя по всему, что я от Фриды услышал, я к этому ее мнению могу лишь присоединиться. И все же это только предположение, а если его отбросить, остается одна мысль: что я, пришлый чужак, ничтожество, как изволит именовать меня госпожа трактирщица, сумел вклиниться между вами и Фридой. Так вот, ради ясности в таком щекотливом сюжете я и осмеливаюсь вас*

спросить, как оно на самом деле обстоит? Вот таким был бы мой первый вопрос, полагаю, достаточно уважительный.
Хозяйка вздохнула.
— Ну что вы за человек, — проговорила она. — С виду вроде бы и умный, да только незнание, невежество у вас поистине беспросветное. Хотите вести переговоры с Кламмом, словно с отцом невесты, — ну все равно как если бы вы в Ольгу влюбились, чего, к сожалению, не произошло, и к Варнавину старику отцу пришли насчет свадьбы потолковать. Нет, до чего все-таки мудро устроено, что у вас никогда не будет возможности переговорить с Кламмом.
— Подобного замечания, — возразил К., — я бы в разговоре с Кламмом, который в любом случае происходил бы только наедине, наверняка не услышал, а посему я просто пропускаю его мимо ушей. Что же до его ответа, тут есть три возможности: либо он скажет «Нет, это не моя воля», либо «Да, такова моя воля», либо промолчит. Первую возможность я из своих соображений пока что исключаю, отчасти из уважения к вашим чувствам, молчание же я опять-таки истолковал бы как знак согласия.
— Есть и другие возможности, куда более вероятные, — заметила хозяйка, — если уж поверить в вашу сказку и допустить такую встречу: например, что он и слушать вас не станет, просто уйдет, и все.
— Это ничего не меняет, — не согласился К., — я бы преградил ему дорогу и заставил себя слушать.
— Заставил себя слушать! — повторила хозяйка. — Заставил льва жевать солому! Ну прямо герой, да и только!
— Что вы все время так раздражаетесь, госпожа трактирщица, — заметил К. — Я ведь не навязываюсь вам со своими откровенностями, я только на вопросы ваши отвечаю. Да и говорим мы не о льве, а всего лишь о начальнике канцелярии, к тому же, допустим, уведи я прямо из-под носа у льва его львицу, полагаю, я был бы в его глазах достаточно значительной фигурой, чтобы снизойти хотя бы меня выслушать.]
— Извольте, — согласился К.

с глазу на глаз, еще ни с одним чиновником не разговаривал. Похоже, этого труднее добиться, чем я полагал. Но теперь я просто обязан, это мой долг — переговорить с ним как с частным лицом по частному делу, и уж это, думается мне, осуществить гораздо легче; как с чиновником я могу говорить с ним только в Замке, в его кабинете, доступ куда мне, возможно, заказан, или в «Господском подворье», но и это скорее сомнительно, зато как частное лицо я могу заговорить с ним везде: дома, на улице, всюду, где бы я его ни встретил. Что в лице этого частного лица передо мной одновременно будет еще и чиновник — с этим я охотно примирюсь, но это не главная моя цель.{8}

— Хорошо, — сказала трактирщица, вдруг пря-

{8} Варианты: 2.8

Что в лице этого частного лица передо мной одновременно будет еще и чиновник — с этим я охотно примирюсь, но это не главная моя цель.

[*1. — Ох, пропадете вы у нас тут, господин землемер, — молвила трактирщица. — Ведь у вас в речах сплошные заблуждения. Разве что Фрида, как любящая жена, вас убережет, только для нее, слабенькой девчушки, это почти непосильная задача. Она и сама знает, нет-нет то вздохнет украдкой, то слезы утрет, когда думает, будто никто на нее не смотрит. Конечно, и мой муж на мне обузой висит, но он хоть верховодить не рвется, а и вздумал бы, так наделал бы глупостей, но как местный, то есть ничего непоправимого не совершил бы, у вас же в голове полным-полно самых опасных несуразиц, и вы никогда от них не избавитесь. Говорить с Кламмом как с частым лицом! Да разве Кламма как частное лицо кто-нибудь видел? Да разве кто-то способен вообразить Кламма как частное лицо? Вы способны, заявите вы мне,*

так в том-то вся и беда! Вы якобы на это способны, потому что вовсе не в состоянии его вообразить — ни как чиновника, ни вообще никак. Вы полагаете, раз Фрида была возлюбленной Кламма, то видела его как частное лицо. Вы полагаете, раз мы его любим, мы его любим как частное лицо. Так вот, про настоящего чиновника невозможно сказать, будто он иногда в большей мере чиновник, иногда в меньшей, — он всегда и во всей полноте только чиновник. Но чтобы хоть на ниточку понимания вас навести, я сейчас все эти тонкости отброшу и скажу вам вот что: никогда он в большей мере чиновником не был, как в пору моего с ним счастья, и тут мы с Фридой совершенно заодно — никого мы так не любим, как чиновника Кламма, да, высокого, чрезвычайно высокого чиновника.

2. — Ну конечно, — сказала трактирщица. — Вы повстречаете Кламма на улице, поздороваетесь, представитесь, так, мол, и так, я землемер К., Кламм будет просто счастлив новому знакомству, возьмет вас под локоток, вы прогуляетесь вместе с ним прямо до Замка и в ходе беседы сможете изложить ему все свои пожелания.

— Да, что-то в этом роде, — невозмутимо заметил К. — Я вам потом обязательно расскажу.

— А теперь шутки в сторону, — сказала трактирщица.]

— Хорошо, — сказала трактирщица, вдруг пряча лицо в подушки…

ча лицо в подушки, словно она произносит нечто совсем постыдное, — если я, используя свои связи, добьюсь, чтобы вашу просьбу о беседе довели до Кламма, вы обещаете мне до получения ответа ничего на свой страх и риск не предпринимать?

— Этого я обещать не могу, — сказал К., — сколь бы ни хотелось мне исполнить вашу просьбу, вернее, не просьбу даже, а прихоть. Дело не терпит, особенно теперь, после неблагоприятного исхода моего разговора со старостой.

— Ну, это не довод, — возразила трактирщица. — Староста сам по себе совершенно безобидная личность. Разве вы не заметили? Да он бы дня в своей должности не продержался, если бы не жена, вот она все и решает.

— Мицци? — изумился К.

Трактирщица кивнула.

— Она тоже там была, — вымолвил он.

— И как-нибудь высказалась? — спросила трактирщица.

— Нет, — ответил К. — И у меня не создалось впечатления, что она вообще на это способна.

— Ну да, — заметила трактирщица. — Вы у нас все вот этак, шиворот-навыворот видите. В любом случае, как бы там староста относительно вас ни распорядился, никакого значения это не имеет, а

с женой его я при случае переговорю. Ну а если я вам пообещаю, что ответ от Кламма придет самое позднее через неделю — уж тогда-то у вас не будет оснований не уважить мою просьбу, верно?

— Тут не это решает, — ответил К. — Намерение переговорить с Кламмом у меня твердое, и я пытался бы его осуществить, даже если бы ответ пришел неблагоприятный. Но раз оно у меня такое изначально, мне тем более нельзя просить о разговоре заранее. То, что без просьбы было бы, возможно, поступком дерзким, но по крайней мере благонамеренным, после отказа станет открытым неподчинением. А это куда хуже.

— Хуже? — переспросила трактирщица. — Да это в любом случае будет неподчинение. Ладно, поступайте как знаете. Подайте-ка мне юбку.

Прямо при К., не стесняясь, она надела юбку и поспешила на кухню. Действительно, из зала давно доносились непривычно громкие шумы. И в окошко раздачи уже не однажды стучали. Теперь его вдруг разом распахнули помощники и принялись орать, что хотят есть. За их спинами виднелись и другие лица. А потом вдруг послышалось пение, тихое, но многоголосое.

Разумеется, из-за разговора К. с трактирщицей обед сильно задержался, а столовики уже

собрались, однако нарушить запрет хозяйки и сунуться на кухню никто не отваживался. Теперь, когда наблюдатели от окошка раздачи доложили, что трактирщица идет, служанки кинулись на кухню, как полоумные, и, когда К. вышел в зал, он застал там поразительно многолюдное общество, человек этак двадцать, мужчин и женщин, вида хотя и провинциального, но не деревенского: сейчас все они ринулись от окошка к столам занимать места. Только за маленьким столиком в углу уже сидела супружеская чета с детьми, отец семейства, приятный голубоглазый господин с бородкой и растрепанной седой шевелюрой стоял, склонясь над детьми, и ножом отбивал такт их пению, которое, однако, он всячески старался приглушить. Видно, пением он надеялся отбить у детей голод. Хозяйка извинилась перед всеми, произнеся несколько безразличных, ни к чему не обязывающих слов, но никто и не осмелился ее упрекнуть. Она поискала глазами мужа, который ввиду столь критического положения, похоже, уже давно куда-то сбежал. Потом медленно направилась на кухню; на К., который поспешил в свою комнату к Фриде, она больше не взглянула.

7
Учитель

Наверху К. застал учителя. Комнату, по счастью, было почти не узнать, так постаралась Фрида. И проветрено хорошо, и печка натоплена жарко, и пол помыт, и постель прибрана, вещи служанок, весь этот мерзкий скарб, включая картинки на стенах, исчез без следа, а стол, который прежде, куда ни повернись, буквально таращился на тебя заскорузлой и липкой от грязи столешницей, теперь укрывала белая вязаная скатерка. Теперь тут и гостей принять не стыдно, и даже сушившееся у печки нехитрое бельишко К., очевидно спозаранку постиранное Фридой, почти не мешало. Учитель и Фрида сидели за столом, при появлении К. оба встали, Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., все еще расстроенный и взбаламученный после разговора с хозяйкой, начал было извиняться, что до сих пор к учителю не зашел, в итоге создалось неловкое впечатление, будто учитель, не дождавшись визита К., сам пришел его навестить. Тот, однако, в свойственной ему степенной манере, казалось,

лишь сейчас смутно припомнил, что они с К. о чем-то таком уславливались.

— Так вы, господин землемер, тот самый приезжий, с которым я пару дней назад возле церкви беседовал?

— Да, — недовольно бросил К.

Он не желал снова, теперь уже у себя в комнате, подвергаться обхождению, какое вынужден был терпеть одиноким и неприкаянным чужаком, когда до него никому не было дела. Поэтому он обратился к Фриде, дабы посоветоваться с ней насчет важного визита, который ему сейчас же предстоит сделать и ради которого нужно одеться как можно лучше. Фрида, не вдаваясь в подробности, немедля кликнула помощников — те как раз с большим интересом изучали новую скатерть — и распорядилась снести во двор и хорошенько почистить костюм и сапоги К., которые тот послушно принялся снимать. Сама же сдернула с веревки сорочку и помчалась на кухню ее гладить.

Теперь К. остался с учителем, который снова тихо сидел за столом, с глазу на глаз, но, решив заставить того еще немного подождать, стянул с себя рубашку и, подойдя к раковине, начал мыться. И лишь тогда, стоя к учителю спиной,

поинтересовался надобностью его прихода.

— Я по поручению господина старосты, — отозвался тот.

К. сказал, что готов поручение выслушать. Однако, поскольку в плеске воды слова его звучали неразборчиво, учитель вынужден был подойти к К. поближе и даже прислониться возле него к стенке. К. извинился за свое мытье и спешку ввиду срочности предстоящего визита. Учитель пропустил его извинения мимо ушей и сказал:

— Вы были непочтительны с господином старостой, с пожилым, многоопытным, заслуженным, достойным всяческого уважения человеком.

— Не могу припомнить, чтобы я был непочтителен, — ответил К., вытираясь, — но что голова моя другим занята и мне не до хороших манер было, это верно, речь ведь шла о моем существовании, которое сейчас под угрозой из-за возмутительного и позорного чиновничьего ротозейства, в подробности коего не мне вас посвящать, ведь вы и сами прилежный участник здешнего делопроизводства. А что, староста на меня пожаловался?

— Да кому он может пожаловаться? И даже если б было кому, разве он стал бы? Я просто под его диктовку составил небольшой протокол о вашей встрече и из него достаточно много смог уяснить

о доброте господина старосты и вашей манере на эту доброту отвечать.

Стараясь разыскать свой гребешок, который Фрида, очевидно, куда-то задевала, К. спросил:

— То есть как? Протокол? Составленный в мое отсутствие, задним числом, да еще человеком, которого при разговоре вообще не было? Неплохо, однако. А к чему вообще протокол? Разве это была служебная оказия?

— Нет, — ответил учитель. — Наполовину служебная, и протокол тоже только наполовину служебный и составлен лишь потому, что у нас во всем должен быть строгий порядок. Как бы там ни было, протокол имеется и служит не к вашей чести.

К., отыскав наконец соскользнувший на кровать гребешок, уже спокойнее заметил:

— Что ж, пусть себе имеется. Вы только затем и пришли, чтобы меня об этом известить?

— Нет, — ответил учитель. — Но я не автомат и должен был высказать вам свое мнение. Поручение же мое, напротив, только лишнее доказательство доброты господина старосты; от себя хочу подчеркнуть, что мне эта доброта непостижима и поручение я исполняю сугубо по служебной своей подчиненности, а еще из

глубокого почтения к господину старосте.

Между тем К., уже умытый и причесанный, сидя за столом в ожидании свежей рубашки и костюма, под впечатлением недавнего пренебрежительного отзыва хозяйки о старосте особого любопытства к учителю и его поручению не проявлял.

— Должно быть, уже за полдень? — спросил он, погруженный в размышления о предстоящей дороге, но потом, словно спохватившись, добавил: — Так вы мне хотели что-то передать от старосты?

— Ну да, — сказал учитель, передернув плечами и тем самым как бы снимая с себя всякую собственную ответственность за происходящее. — Господин староста опасается, как бы вы, если решение вашего дела затянется, не предприняли на свой страх и риск какого-нибудь необдуманного шага. Со своей стороны я понятия не имею, почему он этого опасается, по мне, пусть бы вы поступали, как вам угодно. Мы вам не ангелы-хранители и обязательств повсюду бегать за вами по пятам на себя не брали. Ну да ладно. Господин староста иного мнения. Ускорить само решение, которое есть сугубо дело графских властей, он, разумеется, не в силах. Однако в

рамках своих полномочий он намерен пока что отдать распоряжение поистине великодушное, и только в вашей воле принять его или нет: он предлагает вам временно занять место школьного смотрителя.

О сути самого предложения К. поначалу едва успел подумать, но одно то, что ему что-то предлагают, уже показалось ему обстоятельством, не лишенным значения. Все указывало на то, что, по мнению старосты, он, К., защищая свои интересы, способен на шаги, оградить от которых общину староста готов даже ценой некоторых затрат. И какую важность придают его делу! Судя по всему, староста буквально погнал сюда учителя, и тот не счел за труд его дождаться, а прежде ведь еще и протокол составлял!

Заметив, что он все-таки заставил К. призадуматься, учитель продолжил:

— Я, со своей стороны, имел возражения. Я указал на то, что прежде никакого смотрителя школе не требовалось, жена церковного служки время от времени в школе убирает, за этим барышня Гиза, учительница, присматривает, у меня-то хватает своих забот с детьми, чтобы еще со школьным смотрителем маяться. На это господин староста заявил, что, мол, в школе грязь

страшная. На что я, в свою очередь и в полном соответствии с истиной, возразил, что все отнюдь не так уж плохо. А еще, добавил я, разве станет лучше, если мы наймем смотрителем мужчину? Да конечно нет. Мало того, что он в подобной работе ничего не смыслит, так ведь и в школе самой только две большие классные комнаты без всяких подсобных помещений, это значит, смотрителю с семьей придется жить, спать, а то, не приведи бог, даже и готовить в одном из классов, и чистоты от этого уж точно не прибавится. Но на это господин староста указал, что для вас это место будет спасением от беды и что вы, следовательно, будете стараться исполнять свой долг как можно добросовестнее, кроме того, считает господин староста, нанимая вас, мы заручаемся еще помощью вашей жены и рабочей силой ваших помощников, благодаря чему не только сама школа, но и пришкольный сад будут содержаться в образцовом порядке. Ну уж это-то все я опроверг с легкостью. В конце концов господин староста, не имея больше никаких доводов в вашу пользу, рассмеялся и сказал, что раз вы, дескать, землемер, то сможете особенно красиво разбить грядки и клумбы в школьном саду. Ну, против шутки как возражать, вот и пришлось

идти к вам с поручением.

— Вы напрасно беспокоитесь, господин учитель, — сказал К., — я и не подумаю принять это место.

— Вот и отлично! — откликнулся учитель. — Отлично. Значит, вы отказываетесь без всяких объяснений.

И тут же, взяв шляпу, откланялся и ушел.

В комнату тотчас вошла Фрида — лицо опрокинутое, сорочку принесла невыглаженную, на вопросы не отвечала; К., надеясь ее развлечь, рассказал об учителе и его предложении, но она, едва выслушав, бросила рубашку на кровать и выбежала вон. Вскоре она вернулась, причем не одна, а с учителем, который явно был раздосадован и даже не кивнул. Фрида попросила учителя еще немного обождать — судя по всему, она по пути уже не раз это делала — и через боковую дверцу, которой К. прежде не замечал, увлекла К. за собой на соседний чердак, где, задыхаясь от волнения, рассказала ему наконец, что случилось. Оказывается, хозяйка, возмущенная тем, что унизилась перед К. до откровенных признаний и даже до уступок относительно возможной беседы К. с Кламмом, ничего при этом не достигнув, кроме, как она сама выразилась, холодного и к тому же

неискреннего отказа, теперь решительно заявила, что долее терпеть К. в своем доме не намерена; раз у него есть связи в Замке, пусть воспользуется ими как можно скорей, а пока пусть покинет ее дом сегодня же, нет, сейчас же, и впредь она по своей воле приюта ему не даст, разве что под нажимом, по прямому приказу властей, но она надеется, что до этого не дойдет, у нее тоже свои связи в Замке имеются, и она знает, как пустить их в ход. Он и попал-то в ее трактир только по недосмотру мужа и в жилье вовсе не нуждается, еще нынче утром похвалялся, будто в другом месте всегда может переночевать. Фрида, конечно, пусть остается, а если Фрида надумает вместе с К. съехать, то она, хозяйка, конечно, будет очень горевать, уже сейчас там, внизу, на кухне, у нее при одной этой мысли ноги подкосились, и она, бедная больная женщина, сердечница, разрыдавшись, прямо у плиты осела на пол, но может ли она поступить иначе, особенно теперь, когда, по крайней мере в ее понимании, сама ее память о Кламме осквернена. Вот как оно обстоит с хозяйкой. Фрида, конечно, пойдет за К. хоть на край света, что по снегу, что по льду, об этом и говорить нечего, но дела у них обоих сейчас очень плохи, вот почему предложение старосты она встретила

с такой радостью, хоть это, разумеется, для К. совсем неподобающее место, но ведь оно, это особо все подчеркивают, временное, что позволит им выиграть некоторый срок, а там и другие возможности легко сыщутся, даже если окончательное решение выпадет неблагоприятным.

— В крайнем случае, — в конце концов уже повиснув на шее у К., воскликнула Фрида, — уедем совсем, что нас тут, в деревне, держит? Но пока что, миленький, мы примем предложение, хорошо? Я и учителя обратно привела, ты только ему скажи «согласен», и мы сразу переедем в школу.

— Скверно все это, — буркнул К., но всерьез не расстроился: жилье вообще не особо его беспокоило, вдобавок сейчас, в одном белье, он уже основательно продрог на этом чердаке, где с торцов не было ни стен, ни окон и ветер гулял нещадно. — Только-только ты комнату так красиво прибрала, и нам съезжать. Не по душе, не по душе мне принимать это место, и сейчас-то унижаться перед этим учителишкой тошно, а ведь в школе он будет моим начальником. Если бы нам сколько-нибудь еще тут продержаться, как знать, может, уже к вечеру положение мое переменится. Или хотя бы ты оставайся, чтобы нам чуток выждать, а учителю пока что-нибудь

неопределенное ответить. Для себя я всегда ночлег найду, хотя бы у Вар…

Фрида прикрыла ему рот ладошкой.

— Только не это, — испуганно пролепетала она. — Прошу тебя, никогда больше этого не повторяй. Во всем остальном я всегда буду тебя слушаться. Хочешь, чтобы я тут одна осталась, — останусь, как бы грустно мне это ни было. Хочешь, мы и от места откажемся, сколь бы ошибочно, на мой взгляд, ни было такое решение. Ведь сам посуди, если сыщется другая возможность, тем более сегодня к вечеру, то, конечно, само собой, мы от места в школе сразу откажемся, отказаться нам никто не запретит. А что перед учителем унижаться надо, так это уж моя забота, чтобы никакого унижения не было, я сама с ним поговорю, ты только стой рядом и молчи, и потом всегда будет так же, если не захочешь, тебе с ним и слова сказать не придется, на самом деле подчиненной его буду я, да и то не буду, я его слабости знаю. Мы ведь ничего не теряем, принимая это место, зато если откажемся, потеряем многое, прежде всего ты останешься ни с чем: если сегодня же хоть чего-нибудь от Замка не добьешься, ни у кого, ни у кого в деревне ты ночлега не найдешь, то есть, я имею в виду, такого ночлега, чтобы мне, твоей

будущей жене, не пришлось бы стыдиться. А если ты ночлега не найдешь, не станешь же ты требовать от меня, чтобы я тут в тепле спала, покуда ты там всю ночь где-то по холоду бродишь.

К., который слушал все это, обхватив себя руками и похлопывая по ребрам в тщетной надежде хоть немного согреться, наконец сказал:

— Значит, ничего другого не остается. Надо соглашаться. Пошли.

Войдя в комнату, он сразу устремился к печке, на учителя даже не взглянув. Тот, по-прежнему сидя за столом, извлек карманные часы и сказал:

— Однако поздно уже.

— Зато мы во всем пришли к согласию, господин учитель, — бодро доложила Фрида. — Мы принимаем место.

— Хорошо, — сказал учитель, — но место предложено господину землемеру, пусть он и выскажется.

Фрида и тут пришла К. на помощь.

— Ну конечно, — сказала она, — конечно, он принимает место, правда ведь, К.?

Благодаря этому К. смог ограничить свое заявление о согласии простым «да», обращенным даже не к учителю, а к Фриде.

— Тогда, — проговорил учитель, — мне оста-

ется только изложить вам ваши должностные обязанности, чтобы в этом отношении у нас раз и навсегда не было недоразумений. Вам, господин землемер, надлежит ежедневно убирать и топить обе классные комнаты, производить мелкие починки в доме, а также ремонт имеющегося учебного и гимнастического инвентаря, расчищать от снега аллею в саду, выполнять отдельные поручения, мои и госпожи учительницы, а в теплое время года справлять всю работу в саду. За это вам предоставляется право жить в любой из классных комнат по вашему выбору, однако, если уроки идут не одновременно в обоих классах, а вы находитесь в той из комнат, где начинаются занятия, вам, разумеется, придется переселяться в другую комнату. Готовить еду в школе не разрешается, вы и ваша семья будете питаться здесь, в трактире, за счет общины. О том, что поведение ваше не должно ронять достоинство школы, а в особенности вынуждать детей во время занятий становиться свидетелями неприглядных сцен вашей семейной жизни, я упоминаю лишь вскользь, вы человек культурный и сами все должны понимать. В этой связи хотел бы заметить: мы вынуждены настаивать, чтобы ваши отношения с госпожой Фридой были как можно

скорей узаконены. Обо всем этом, включая и другие несущественные мелочи, будет составлен договор, который вам надлежит подписать сразу по въезде в служебное помещение.

К. все это казалось несущественным, как будто даже не к нему относящимся или, во всяком случае, его лично ни к чему не обязывающим, только апломб учителя безмерно его раздражал, поэтому он нарочито небрежно бросил:

— Ну да, обычные условия…

Чтобы как-то загладить надменность его тона, Фрида осведомилась о жалованье.

— Вопрос о назначении жалованья, — сообщил учитель, — будет решаться только после месячного испытательного срока.

— Это, однако, тяжкое условие для нас, — попыталась возразить Фрида. — Выходит, нам и жениться почти без гроша, и хозяйство на ровном месте без денег заводить. Нельзя ли нам, господин учитель, подать ходатайство в совет общины с просьбой о назначении скромного жалованья уже сейчас? Как вы посоветуете?

— Нет, — отрезал учитель, по-прежнему обращаясь исключительно к К. — Подобное ходатайство может быть удовлетворено только с моего согласия, а я такового не дам. Место и так предо-

ставлено вам в виде одолжения, а на одолжения, если осознаешь свою ответственность перед обществом, нельзя рассчитывать без конца.

Тут уж К., почти против воли, вынужден был вмешаться.

— Что касается одолжения, господин учитель, — заметил он, — тут вы, по-моему, сильно заблуждаетесь. Скорее, это я делаю одолжение.

— Нет, — возразил учитель с улыбкой: он все-таки заставил К. заговорить. — На этот счет я точно осведомлен. Школьный смотритель нужен нам ничуть не больше, чем землемер. Что смотритель, что землемер — все одно, только обуза нам на шею. Мне еще предстоит сильно голову поломать, придумывая, как обосновать эти расходы перед общиной, лучше, да и честнее, было бы просто бросить запрос на стол без всяких обоснований.

— Вот и я о том же, — заметил К. — Вы вынуждены принимать меня против воли, несмотря на то что вам от этого одни затруднения. Но если один вынужден принимать, а другой позволяет себя принять, то именно этот другой и делает одолжение.

— Странно, — удивился учитель. — Что бы такое могло нас заставить принять вас против

воли? Только доброе, чересчур доброе сердце нашего старосты — вот что нас заставляет. Вам, господин землемер, как я погляжу, еще предстоит отбросить некоторые фантазии, прежде чем вы сможете стать толковым смотрителем. И торопиться с назначением вам жалованья подобные ваши высказывания тоже особой охоты не вызывают. Вдобавок вынужден заметить, что и манерами вашими мне еще предстоит основательно заняться: ведь все это время вы ведете со мной переговоры — я смотрю и просто глазам не верю — в рубахе и подштанниках.

— Ах да! — со смехом воскликнул К. и хлопнул в ладоши. — Это все мерзкие помощники, куда они запропастились?

Фрида кинулась к дверям, учитель, убедившись, что К. с ним более разговаривать не намерен, спросил у Фриды, когда они собираются переезжать.

— Сегодня, — ответила Фрида.

— Тогда завтра утром я зайду с проверкой, — предупредил учитель, попрощался взмахом руки и хотел было выйти в дверь, которую Фрида перед ним распахнула, но столкнулся на пороге со служанками — те, уже с вещами, вернулись занимать свою прежнюю комнату, так что учителю

в сопровождении Фриды пришлось между ними буквально протискиваться, ибо девки-то дорогу никому уступать не собирались.

— Эк вам приспичило, однако, — сказал К., хотя на сей раз был служанкам почти рад, — мы еще не съехали, а вы уже пожаловали.

Те ничего не ответили, только в растерянности держали перед собой узлы, из которых выглядывали все те же хорошо знакомые К. грязные лохмотья.

— Похоже, вы свое тряпье и не стирали ни разу, — заметил К. беззлобно, даже почти приветливо.

От девок это не укрылось, они как по команде раззявили свои толстогубые рты и беззвучно засмеялись, осклабив красивые, крепкие, почти звериные зубы.

— Ладно уж, заходите, — сказал К. — Устраивайтесь, это ведь ваша комната.{9}

Но поскольку они все еще мешкали — видно,

{9} Варианты: 2.9

— Ладно уж, заходите, — сказал К. — Устраивайтесь, это ведь ваша комната.

[*Однако они не осмеливались войти, настолько преобразилась их комната, и только вид новой скатерти заставил их переступить порог, теперь они ее ощупывали, сдвинув головы, перешептывались, обсуждая тонкую работу, но слов было не разобрать, только отдельные гортанные звуки…*]

Но поскольку они все еще мешкали…

им трудно было узнать свою прежнюю комнату, — К. взял одну из них за руку, чтобы ввести через порог. Но тут же выпустил — с таким изумлением обе, сперва переглянувшись, уставились на К. и больше уже глаз с него не спускали.

— Ну все, поглазели и довольно, — бросил К., стараясь заглушить в себе мутное неприятное чувство, взял свое платье и сапоги, которые только что, в сопровождении непривычно робких помощников, внесла Фрида, и стал одеваться. И прежде, и вот сейчас ему совершенно непонятной оставалась кротость, с которой Фрида обходилась с помощниками. Ведь поручив им вычистить во дворе платье, она после долгих поисков обнаружила обоих безмятежно обедающими в трактире, вещи К., так и не вычищенные, скомканы на коленях, в итоге ей пришлось чистить все самой, и тем не менее она, столь лихо управлявшаяся с любым сбродом у себя в буфетной, с ними совсем не ругалась, напротив, вот сейчас, в их же присутствии, рассказывала об их вопиющей нерадивости как о невинной детской шалости и даже поощрительно, почти заискивающе похлопала одного из них по щеке. К. решил про себя сделать ей потом за это внушение. Но сейчас и вправду было самое время трогаться в путь.

— Помощники остаются здесь, — распорядился К., — будут помогать тебе с переездом.

Они, впрочем, вовсе не расположены были с этим соглашаться: сытые, довольные, они не прочь были теперь размять ноги. И лишь когда Фрида сказала:

— Ясное дело, вы останетесь здесь, — они подчинились.

— Ты знаешь, куда я отправляюсь? — спросил К.

— Да, — отозвалась Фрида.

— И ты меня не удерживаешь? — спросил К.

— У тебя и так будет столько препятствий, — проговорила Фрида, — зачем тебе еще и меня слушать..

Она поцеловала К. на прощание, дала ему, поскольку он не успел пообедать, сверток с бутербродами, которые принесла снизу, напомнила, чтобы он возвращался уже не сюда, а прямо в школу, и, не снимая руки с его плеча, проводила вниз до самой двери.

8
В ожидании Кламма

Поначалу К. был даже рад уйти из душной, перетопленной комнаты, где в суматохе толклись служанки и помощники. На улице, кстати, подморозило, снег затвердел, идти стало легче. Правда, опять начинало смеркаться, поэтому он ускорил шаг.

Замок, чьи очертания уже стали расплываться, стоял вдали, как всегда, в полном безмолвии; ни разу еще К. не видел там ни единого признака жизни; впрочем, на таком расстоянии, наверно, и невозможно хоть что-то различить, но именно этого изо всех сил жаждали глаза, тамошние неподвижность и тишь были им что нож острый. Когда К. смотрел на замок, ему казалось, будто там, вдали, спокойно сидит некто и смотрит в пространство прямо перед собой, не то чтобы в раздумье и потому обо всем на свете позабыв, а просто так, свободно и безмятежно; словно он совершенно один и никто за ним не наблюдает; хотя ведь должен бы замечать, что за ним именно наблюдают, следят, однако его это нисколько

не трогает, покой его по-прежнему нерушим — там, вдали, взгляду наблюдателя и вправду не за что было уцепиться, он как бы соскальзывал, и неясно было, незыблемый покой Замка — то ли причина тому, то ли следствие. Сегодня впечатление это еще усиливалось из-за ранних сумерек, чем пристальней смотрел К. вдаль, тем меньше он различал, тем беспросветней и глубже погружались во тьму неприступные контуры.

К. только-только подошел к не освещенному еще постоялому двору, как во втором этаже распахнулось окошко, оттуда высунулся молодой, толстый, гладко выбритый господин в меховой тужурке да так и застыл в окне, даже легким кивком не ответив на его приветствие. К. никого не застал ни в прихожей, ни в буфетной, где прогорклая пивная вонь шибала в нос еще сильнее, чем прежде, в трактире «У моста» подобного безобразия все-таки не допускали. К. прямиком направился к двери, через глазок в которой в прошлый раз подглядывал за Кламмом, осторожно надавил ручку, но дверь оказалась заперта; он попытался на ощупь отыскать место, где прежде был глазок, но крышечка, судя по всему, была пригнана к отверстию так плотно, что найти глазок вслепую не удавалось, поэтому

К. чиркнул спичкой. И тут же вздрогнул от испуганного вскрика. В углу между стойкой и дверью, у самой печки, сжавшись в комочек, сидела молоденькая девушка и в зыбких бликах горящей спички, явно со сна, таращилась на К. ничего не понимающими глазами. Очевидно, это была преемница Фриды. Она, впрочем, быстро пришла в себя, включила электричество, и лицо ее ничего хорошего не сулило, но тут она узнала К.

— А-а, господин землемер, — сказала она с улыбкой, подала ему руку и представилась: — Меня Пепи зовут.

Девица оказалась низенькая, крепко сбитая, пышущая здоровьем, ее густые рыжие волосы, заплетенные в тугую косу, вокруг лба и ушей все равно курчавились непокорными кудряшками; длинное, из серой блестящей материи платье, по-детски неумело стянутое внизу шелковым шнуром с бантом, явно ей не шло. Она спросила о Фриде — не надумала ли та вернуться. Вопрос был задан почти зло, с подковыркой.

— Меня, — пояснила она, — сразу после ухода Фриды срочно вызвали, ведь кого попало сюда не поставишь, прежде-то я горничной была, а теперь вот сменила место, да только вряд ли к лучшему. Больно много вечерней и ночной работы, уста-

ешь сильно, сама не знаю, как я это выдерживаю, нет, я не удивляюсь, что Фрида ушла.

— Фрида была здесь очень довольна, — заметил К., желая поставить Пепи на место и напомнить ей, что она Фриде не чета.

— Да не верьте вы ей, — отмахнулась Пепи. — Просто Фрида умеет в руках себя держать, как мало кто. Чего она не захочет сказать, того не скажет, и по ней даже не заметишь, что есть что скрывать. Я ведь не первый год здесь, когда-то мы с ней в одной комнате спали, но доверия между нами не было, а сейчас она небось обо мне и вовсе думать забыла. У нее, наверно, только одна подруга и есть, старая хозяйка в трактире «У моста», это тоже кое о чем говорит.

— Фрида моя невеста, — сказал К., украдкой пытаясь нащупать глазок в двери.

— Я знаю, — откликнулась Пепи. — Потому и рассказываю. Иначе какой бы вам от этого прок.

— Понимаю, — протянул К. — Вы хотите сказать, что мне гордиться надо, раз я такую скрытную девушку сумел завоевать.

— Да, — радостно подтвердила Пепи и рассмеялась, как будто в отношении Фриды они с К. втайне уже о чем-то сговорились.

Однако не столько ее речи занимали К. и даже

отвлекали от поисков, сколько само ее присутствие здесь, ее новоявленная принадлежность к этому месту. Конечно, она гораздо моложе Фриды, почти девчонка, и платье у нее дурацкое, не иначе в ее представлении должность буфетчицы — страшно важное отличие, вот она и вырядилась. И, должно быть, представление это по-своему верное, ведь место, на которое она заведомо не подходила, досталось ей неожиданно, незаслуженно и явно временно, — даже кожаный кошелек, который Фрида неизменно носила на поясе, ей не доверили. Видно, и ее мнимое недовольство местом тоже не более чем напускное зазнайство. И все-таки, [*когда К. увидел, как она тут, в буфетной, сидит на Фридином стуле, подле комнаты, в стенах которой когда-то, а быть может, еще и сегодня, бывал Кламм, как ее маленькие толстые ножки попирают половицы, на которых он с Фридой лежал, здесь, в «Господском подворье», этой обители господ чиновников, он вынужден был признаться себе, что, встреть он здесь на месте Фриды Пепи и заподозри он в Пепи хоть какую-то причастность к Замку — а разве не вероятно такую причастность допустить? — он бы точно так же попытался заграбастать эту ее тайну в свои объятия, как*

поневоле вышло у него с Фридой…] невзирая на все свое детское недомыслие, она, эта пигалица, как-то связана с Замком, служила там горничной, если, конечно, не врет; да и здесь, сама не ведая своих выгод, имеет возможность не то что быть, но вон, как сурок, спать на работе целыми днями, и, обними он сейчас это крепкое, даже со спины слегка округлое тело, ему, конечно, ничего от самих этих выгод не перепадет, однако какое-то соприкосновение с ними, а может, и ободрение на его тяжком пути вдруг да и случится. Почему с ней не может быть так же, как с Фридой? Хотя нет, не может. Достаточно только взгляд Фриды вспомнить, чтобы в этом убедиться. Нет, никогда в жизни он к Пепи не притронулся бы. И тем не менее ему пришлось на миг смежить веки, столько лютого вожделения было сейчас в его глазах.

— Свет зря жечь нельзя, — заявила Пепи и повернула выключатель. — Я зажгла только потому, что вы меня перепугали. Что вам тут понадобилось? Или Фрида забыла что-нибудь?

— Да, — отозвался К. и ткнул на дверь. — Скатерть вот здесь, в соседней комнате, белая, вязаная.

— Ах да, ее скатерть, — не удивилась Пепи, — помню, тонкая работа, я еще ей помогала, только

в этой комнате она вряд ли осталась.

— Фрида сказала, что там. А кто там живет?

— Никто, — ответила Пепи. — Там господская общая гостиная, господа там выпивают и кушают, то есть считается так, вообще-то они все больше наверху в номерах своих остаются.

— Если бы наверняка знать, что там никого, я бы зашел поискал скатерку. Но в том-то и дело, что наверняка ничего не известно, вот Кламм, к примеру, часто там сидит.

— Кламма там сейчас точно нет, — возразила Пепи. — Он вот-вот уедет, сани во дворе уже поданы.

[*— Сани Кламма? — быстро переспросил К. — Должно быть, красивые, хотелось бы на них взглянуть. Говорят, на передке у них золотой орел.*

— Да нет, — заметила Пепи, — это вам кто-то приврал. Обычные сани, с черной закрытой кабинкой, как все сани из Замка.]

В тот же миг, ничего не объясняя, К. вышел из буфетной и направился по прихожей, но не к выходу, а в другую сторону, в глубь дома, и через несколько шагов очутился во дворе. Как же тихо, как красиво было тут! Четырехугольник двора с трех сторон был охвачен зданием, а с четвертой,

что выходила на улицу — соседнюю, которую К. не знал, — высокой белой стеной с широкими, тяжелыми, распахнутыми сейчас воротами. Здесь, со двора, здание гостиницы выглядело выше, чем с уличного фасада, по крайней мере второй этаж смотрелся стройней и как-то торжественней, а по всей длине его, повторяя очертания дома, тянулись ходы деревянной галереи, наглухо закрытой, за исключением узкой прорези на уровне глаз. Наискосок напротив К., еще в средней части здания, но ближе к углу, куда примыкало боковое крыло, был парадный подъезд, открытый, без дверей. Перед ним стоял просторный, темный, закрытый, парой лошадей запряженный возок. Кроме кучера, силуэт которого сейчас, в темноте и с отдаления, К. скорее угадывал, чем различал, возле саней никого не было.{10}

{10} Варианты: 2.10

Кроме кучера, силуэт которого сейчас, в темноте и с отдаления, К. скорее угадывал, чем различал, возле саней никого не было.

[*1. К. целиком отдался чувству покоя, который исходил от небольшого двора. Ему вдруг показалось, что в жизни все достаточно просто и достижимо; ведь вот же — ему запрещен, даже строжайше запрещен сюда доступ, а он стоит как ни в чем не бывало, вольный человек, и может пойти куда хочет.*

2. Покой, которым полнился двор, передался и К. Нет, он не побоится пойти дальше, хотя уже и сейчас наверняка находится в запретном для себя месте.]

Руки в карманах, то и дело озираясь и держась поближе к стене, К. обогнул…

Руки в карманах, то и дело озираясь и держась поближе к стене, К. обогнул две стороны двора, покуда не оказался возле саней. Кучер — мужик вроде тех, каких К. в прошлый раз видел в буфетной, — сгорбившись в тулупе, за приближением К. к саням наблюдал совершенно безучастно, ну примерно как если бы по двору проходила кошка. И даже когда К. совсем вплотную подошел, поздоровался и лошади забеспокоились, слегка вспугнутые вынырнувшим из темноты человеком, кучер не проявил к незнакомцу ни малейшего интереса. К. только того и нужно было. Прислонившись к стене, он развернул сверток с едой, с благодарностью вспомнив о Фриде, которая так предусмотрительно о нем позаботилась, а сам как бы невзначай поглядывал внутрь дома. Оттуда, переламываясь на повороте под прямым углом, сбегала к парадному лестница, в самом низу пересекаемая невысоким, но, как думалось, очень протяженным, далеко в глубину уходящим коридором; все было чистенькое, свежей побел-

ки, прямых и необычайно острых очертаний.{11}

Ждать, однако, пришлось дольше, чем К. рассчитывал. Он давно управился со своей едой, мороз полегоньку крепчал, сумерки сменились полной тьмой, а Кламм все не появлялся.

— Это еще долго может протянуться, — произнес чей-то сиплый голос совсем рядом и настолько неожиданно, что К. вздрогнул. Оказалось, это кучер: будто бы просыпаясь, он потянулся и громко зевнул.

— Что может протянуться долго? — спросил К., скорее обрадованный, что его оторвали от размышлений: нескончаемая тишина и напряженное ожидание начинали его угнетать.

— Ну, пока вы уйдете, — бросил кучер.

К. не понял, но переспрашивать не стал, рас-

{11} Варианты: 2.11

…все было чистенькое, свежей побелки, прямых и необычайно острых очертаний.

[*1. Теперь ему ничего не оставалось, как только ждать, рано или поздно Кламм должен здесь пройти, он, видимо, будет неприятно удивлен, повстречав К. в таком месте, но тем вернее согласится его выслушать, а быть может, даже ему ответить. Вот как далеко он, К., уже продвинулся. Ему дозволен вход не дальше буфетной, а он стоит здесь, посреди двора, всего лишь в шаге от саней Кламма, а вскоре и перед самим Кламмом предстанет — нет, никогда еще он с таким вкусом не ел!*

2. Внезапно повсюду зажегся свет, электричество вспыхнуло внутри, в коридоре и на лестнице, и на улице над всеми подъездами, ярко отразившись от ровного снежного наста. Для К. это оказалось неприятным сюрпризом — посреди двора, совсем недавно еще такого укромного и

тихого, он теперь торчал у всех на виду; с другой стороны, эта перемена, возможно, сулит скорое появление Кламма, предположить, что тот согласится спускаться по лестнице в темноте, на ощупь ~~в потом в темноте еще и садиться в сани, лишь бы облегчить К. исполнение его замысла~~, было трудно. К сожалению, первым на крыльце появился вовсе не Кламм, а трактирщик в сопровождении трактирщицы; слегка пригибаясь, они вышли из-под низких сводов коридора ~~который, по-видимому, вел в подвал, где, надо полагать, ради удобства гостей в крайней тесноте разместились все хозяйственные службы~~, впрочем, и этого можно было ожидать — как же хозяевам не проводить такого гостя. К., однако, их выход вынудил слегка отступить назад, в тень, а значит, утратить наблюдательный пункт, с которого хорошо просматривались подъезд и лестница.]

Ждать, однако, пришлось дольше, чем К. рассчитывал.

считывая, что таким образом вернее заставит обнаглевшего холопа разговориться. Ведь когда в такой темноте тебе еще и не отвечают — это почти неприкрытый вызов. Кучер и в самом деле немного погодя спросил:

— Коньяку хотите?

— Да, — не раздумывая ответил К., тем более прельщенный неожиданным предложением, что его помаленьку пробирал озноб.

— Тогда откройте кабинку, — распорядился кучер. — Там, в боковом отделении, несколько бутылок, возьмите любую, сами выпейте и мне передайте. А то мне из-за тулупа слезать тяжеловато.

К. досадно было выполнять подобные поручения, однако, раз уж он все равно теперь с кучером запанибрата, пришлось подчиниться, даже рискуя быть застигнутым в санях самим Кламмом. Он открыл широкую дверцу и мог бы сразу вытащить бутылку из кармана с внутренней стороны, но едва дверца распахнулась, его с такой неодолимой силой потянуло в темное нутро кабинки, что противиться он не смог — хоть минутку, а посидит! И он юркнул внутрь. Поразило его, что в кабинке так тепло, и тепло это не улетучивалось, несмотря на распахнутую настежь

дверцу, которую К. не решался захлопнуть. Невозможно было понять, на скамейке ли ты сидишь или на чем еще, настолько утопало все тело в пледах, подушках и мехах; как ни повернись, куда ни потянись — всюду тепло и мягко. Разбросав во всю ширь руки, откинув голову на подушки, что сами угодливо ластились к затылку, К. смотрел из возка на темный дом. Ну почему Кламм так тянет с выходом? Разомлев и слегка одурев в тепле после долгого стояния на морозе, К. очень хотел, чтобы Кламм наконец вышел. Мысль, что лучше бы ему — в такой-то позе и в таком месте — вовсе не попадаться Кламму на глаза, брезжила в голове лишь отдаленно и смутно, мелкой занозой в сознании. Укрепляло его в этой беспечной забывчивости поведение кучера, уж тот-то наверняка знает, что К. залез в сани, а вот ведь не гонит его и даже коньяк подать не требует. Это с его стороны очень любезно, но и он, К., готов ему услужить; лениво, с трудом, лишь бы не менять положение тела, К. потянулся к боковому карману в дверце, но не открытой, та была слишком далеко, а к закрытой, подумаешь, невелика разница, бутылки сыскались и тут. Он достал одну, отвинтил крышечку, понюхал и невольно расплылся в улыбке: до того сладкий, до того душистый, до

того вкрадчивый аромат дохнул из горлышка, словно кто-то очень дорогой и любимый хвалит тебя и говорит хорошие слова, а ты и не знаешь толком за что, да и не желаешь знать, а просто счастлив оттого, что тебе их говорят. «Неужто это коньяк такой?» — усомнился про себя К. и из любопытства отхлебнул. Да, это был коньяк, как ни удивительно: и горло обожгло, но и согрело тут же. Поразительно, как прямо во рту жидкость, только что источавшая нежнейшие ароматы, превращалась в простецкий напиток кучерской братии. «Как такое возможно?» — спросил себя К. вроде даже с каким-то недоверчивым упреком и отхлебнул снова.

Тут — только К. снова, на сей раз основательно, приложился к бутылке — вдруг стало светло, повсюду — внутри на лестнице, в коридоре, в прихожей, даже на улице над парадным — вспыхнуло электричество. Вниз по ступеням застучали дробные шаги, бутылка выпала у К. из рук, коньяк пролился на меховую полость, К. выскочил из возка и едва успел захлопнуть дверцу, произведя при этом оглушительный грохот, как из дома неспешно вышел некий господин. Утешало — а может, наоборот, достойно было сожаления — только одно: это был не Кламм. Это оказался тот

самый господин, которого К., подходя сегодня к трактиру, видел в окне второго этажа. Еще относительно молодой человек, внешне вполне собой пригожий, что называется, кровь с молоком, но вида очень строгого. К. тоже старался смотреть сурово, однако относил свой неодобрительный взгляд как бы самому себе. Лучше бы, право, он помощников сюда послал — вести себя, как он, им бы больше пристало. Остановившись прямо перед ним, господин по-прежнему молчал, словно даже в его широченной груди не хватало воздуха, чтобы дать волю распиравшему его возмущению.

— Это безобразие! — рявкнул он наконец и слегка сдвинул со лба шляпу.

То есть как? Этот господин, судя по всему, даже не зная, что К. успел побывать в санях, все равно что-то считает безобразием? Неужели безобразие уже одно то, что К. осмелился прорваться во двор?

— Как вы сюда попали? — спросил господин, но уже тише, уже на выдохе, уже смиряясь с неизбежным.

Ну что тут спрашивать? И что отвечать? Неужели вот этому господину К. обязан отчитываться в том, что его путь сюда, еще с утра исполненный

стольких надежд, оказался напрасным? Вместо ответа он повернулся к саням, отворил дверцу и достал из кабинки свою шапку, второпях там позабытую. При виде коньячных капель, мерно стекающих на подножку, ему стало совсем не по себе.

Потом он снова повернулся к господину, уже не боясь показать, что побывал в санях, раз это, как выясняется, отнюдь не самое страшное прегрешение, и если его спросят, — правда, только если спросят, — он не умолчит, что по меньшей мере открыть дверцу его подбил кучер. Самое же страшное было, что господин застал его врасплох: у К. не хватило времени от него укрыться, чтобы спокойно дождаться Кламма, и в санях остаться не хватило духу, захлопнуть дверцу и там, в тепле и мехах, дожидаться Кламма или по крайней мере отсидеться, пока господин, покрутившись во дворе, сам не уйдет. Правда, невозможно знать заранее — а вдруг бы тогда и сам Кламм вышел, в таком случае, конечно, куда приличнее было встретить его здесь, ожидая возле саней. Да, многое можно было обдумать и учесть заранее, а теперь-то уж что думать, когда всему конец.

— Пройдемте со мной, — распорядился господин не то чтобы приказным тоном, но приказ

был не в словах, а в коротком, нарочито равнодушном мановении руки, которым он свои слова сопроводил.

— Я тут жду кое-кого, — ответил К., впрочем, без всякой надежды на успех, скорее просто так, лишь бы что-то возразить.

— Пройдемте, — повторил господин все тем же невозмутимым тоном, словно желая показать: он и не сомневался ничуть, что К. ждет кого-то.

— Но тогда я пропущу того, кого жду, — сказал К., содрогаясь всем телом. Несмотря на все случившееся, у него было чувство, что он чего-то здесь добился, что-то добыл, и хотя добыча вот-вот ускользнет из рук, отдавать ее просто так, по приказу первого встречного, он не намерен.

— Останетесь ли вы ждать или пройдете со мной, вы пропустите его в любом случае, — сказал господин прежним решительным тоном, но странным образом поддаваясь логике рассуждений К.

— Тогда я предпочел бы пропустить его, дожидаясь здесь, — уже с неприкрытой строптивостью в голосе заявил К., твердо решив, что одними словами какого-то щелкопера прогнать себя не позволит.

Услышав такое, господин надменно откинул

голову и на миг прикрыл глаза, словно проделывая нелегкий мысленный путь от неразумия К. к собственному здравому рассудку, после чего, проведя кончиком языка по пухлым, чуть приоткрытым губам, бросил кучеру:

— Распрягайте!

Пришлось кучеру, тотчас повинуясь приказу господина, но злобно косясь на К., слезть-таки в своем тяжелом тулупе с козел и явно нехотя, ожидая не то чтобы от господина отмены приказа, но скорее от К., чтобы тот образумился, задом подавать лошадей и сани к боковому крылу здания, к большим воротам, за которыми, очевидно, располагались конюшня и каретная. К. увидел, что его оставляют одного: в одну сторону отползали сани, в другую, тем же путем, каким сам К. сюда добирался, уходил молодой господин; правда, и сани, и господин удалялись очень медленно, словно желая показать К., что вернуть их в любую

секунду пока в его власти.{12}

Что ж, может, у него и есть эта власть, да только какой от нее прок? Вернуть сани — значит самого себя отсюда выдворить. Так он и остался стоять, в гордом одиночестве господствуя над пространством двора, только не было в этой победе никакой радости. Попеременно он провожал глазами то господина, то кучера. Господин дошел наконец до двери, через которую и К. проник на двор, там еще раз оглянулся и, как показалось К., даже головой покачал при виде столь злостного упрямства, потом каким-то особенно решительным, коротким и окончательным движением повернулся и шагнул в подъезд, тотчас пропав в его темных недрах. Кучер оставался на дворе подольше, у него было много возни с санями,

---

{12} Варианты: 2.12

…правда, и сани, и господин удалялись очень медленно, словно желая показать К., что вернуть их в любую секунду пока в его власти.

[*1. К. не видел резонов никого возвращать; главное — лишь бы его не прогоняли, лишь бы оставили здесь, это, можно считать, почти равносильно новой надежде; конечно, что лошадей распрягают — знак неблагоприятный, однако остаются ведь еще ворота, распахнутые, незапертые, зияющие непрестанным обещанием и непрестанным соблазном. Тут он опять услышал на лестнице* чьи-то шаги, *осторожно и быстро, готовый в любую секунду отпрянуть назад, одной ногой переступил порог и глянул наверх. К его изумлению, это оказалась хозяйка из трактира «У моста». Медленно, задумчиво и спокойно сходила она вниз по лестнице, размеренно опуская руку на перила и так же размеренно ее от перил отрывая. Внизу ока приветливо с К. поздоровалась, видимо, здесь, на чужой территории, их давние раздоры*

были не в счет.

2. Да и какое К. дело до этого господина! И пусть себе удаляется, чем скорее, тем лучше. Это его, К., победа, от которой ему, правда, к сожалению, никакой пользы, потому что и сани теперь удаляются тоже, — он грустно смотрел им вслед.

— А если я, — воскликнул он, оборачиваясь в порыве внезапной решимости, — а если я сейчас же уйду, сани могут вернуться?

Произнося эти слова, К. совершенно не чувствовал, что его вынудили на уступку, иначе бы он промолчал, скорее ему казалось, это он делает снисхождение слабому и, значит, вправе даже слегка порадоваться своему благородству. Впрочем, по властному ответу господина он сразу понял, в каком смятении чувств находится, если полагает, будто действовал по своей воле, какая там своя воля, когда он первым же вопросом вызывает столь неприкрытый и жесткий диктат.

— Сани могут вернуться, — сказал господин, — только если вы немедленно пройдете со мной, без проволочек, без каких-либо условий и препирательств. Так вы идете? Я в последний раз спрашиваю. Поверьте, не мое это дело — здесь, во дворе, за порядком смотреть.

— Я пойду, — отвечал К., — но не с вами, а за ворота, на улицу.

— Хорошо, — отозвался господин все с той же странной, мучительно несуразной смесью уступчивости и суровости в голосе. — Тогда и я пойду с вами. Только быстро.

Господин вернулся к К., и они пошли бок о бок, напрямую пересекая двор по нетронутому снежку, господин, небрежно оглянувшись, махнул кучеру, который тотчас снова подал сани к подъезду и опять залез на козлы — его ожидание возобновилось. Однако, к немалой досаде господина, возобновилось и ожидание К., ибо едва они вышли за ворота, как он снова встал как вкопанный.

— Какой же вы невыносимый упрямец! — возмутился господин.

Однако К., который чем дальше уходил от саней, этой улики своего преступления, тем чувствовал себя непринужденней, увереннее в своей цели, все явственнее ощущал свое с господином равенство, в известном

смысле далее свое над ним превосходство, и именно поэтому, обернувшись к провожатому всем лицом, заметил:

~~а — А вы только и знаете, что приказывать да указывать. Вы, наверно, учитель.~~

~~б — Упрямство — мое лучшее качество.~~

~~в — Правда?~~

— Да неужели? Вы правда так думаете? Невыносимый упрямец? Что ж, ничего лучшего я бы себе и не пожелал.

В ту же секунду К. почувствовал, как что-то щекотнуло его по шее сзади. Желая устранить досадную помеху, он схватился за шею рукой, потом обернулся. Сани! К., по-видимому, и за ворота не успел выйти, как сани, странно бесшумные на глубоком снегу, тронулись с места, без бубенцов, без света, они пролетели теперь мимо К., и кучер, не иначе как в шутку, слегка тронул его кончиком кнута. Кони, эти мощные, породистые звери, чью стать и прыть, пока они томились в понуром ожидании, трудно было оценить, упругим, но легким и ладным напрягом всех своих мышц, не замедляя бега, играючи взяли поворот и во весь опор устремились к Замку, К. и оглянуться не успел, как всё — и кони, и сани — разом сгинуло в кромешной тьме.

Господин извлек карманные часы и с упреком заметил:

— Итак, Кламму пришлось прождать два часа.

— Из-за меня? — удивился К.

— Ну конечно, — ответил господин.

— Он не может вынести моего вида? — спросил К.

— Да, не может, — подтвердил господин. — Ну а теперь я снова отправляюсь домой, — добавил он. — Вы и представить себе не можете, сколько работы меня там ждет. Я ведь здешний секретарь Кламма, Момус моя фамилия. Кламм — человек труда, и всем, кто у него в подчинении, приходится по мере сил на него равняться.

Господин вдруг стал чрезвычайно разговорчив, было видно, что на любые вопросы К. он сейчас готов ответить с радостью, но К. упорно

хранил молчание и только пристально вглядывался в физиономию секретаря ~~изучал эти пухлые щеки, крепенькую пуговку носа, что, безнадежно утопая между щек, тем не менее снова и снова отважно порывалась вынырнуть, этот подбородок, студенисто подрагивающий от собственной полноты~~, словно пытаясь разгадать в ней закономерности формирования черт лица, вид коих Кламм способен вынести. Но, так ничего и не обнаружив, отвел глаза, даже на прощание господина не ответил и лишь сейчас решил посмотреть, как тот прокладывает себе путь обратно во двор, пробиваясь через толпу людей, вывалившихся вдруг из ворот, — очевидно, это были слуги Кламма. Выходили они в большинстве попарно, в остальном же без всякого порядка и строя, болтая друг с дружкой, а иные, проходя мимо К., сдвигали головы, принимаясь о чем-то шептаться. Ворота за ними уже медленно закрывались. К. вдруг так захотелось тепла, света, участливого слова, да в школе, наверно, его все это и ждет, но у него — даже если забыть, что очутился он на незнакомой улице, — все равно было чувство, что в нынешнем состоянии ему дорогу домой нипочем не найти. Да и не больно-то манила его такая цель, воображая себе, пусть и в самых радужных красках, все, что он застанет дома, он смутно ощущал, что сегодня ему этого недостаточно. Однако здесь оставаться тоже нельзя, вот он и тронулся в путь.]

Что ж, может, у него и есть эта власть, да только какой от нее прок?

пришлось открывать тяжеленные ворота конюшни, задом подавать на место сани, распрягать лошадей, разводить их по стойлам, все это кучер проделывал сосредоточенно, уйдя в какие-то свои думы и уже без всякой надежды на скорый выезд; и вот эта его молчаливая, без единого косого взгляда в сторону К. возня почему-то показалась тому куда более суровым упреком, чем укоризненное поведение господина. И когда, наконец завершив работу в конюшне, кучер своей неспешной, тяжелой, шаткой походкой пересек двор, затворил большие въездные ворота, а потом двинулся обратно, все так же медленно, буквально ни на что, кроме собственных следов в снегу, не глядя, и заперся в конюшне, после чего вдруг разом погасло все электричество, — а для кого бы еще ему светить? — и лишь вверху, на деревянных галереях, где проходила смотровая щель, змеилась тоненькая полоска света, притягивая к себе растерянно блуждающий взгляд, — тут только К. ощутил, что теперь уж с ним всякую связь оборвали окончательно, и он, хоть и волен сейчас располагать собой, как никогда, и может здесь, в этом прежде запретном для себя месте, ждать сколько душе угодно, и пусть свободу эту он завоевал, сражаясь за нее как никто, и теперь

ему здесь и слова сказать не посмеют, не то что пальцем тронуть или прогнать, — однако вместе с тем он чувствовал, и убежденность в этом была по крайней мере столь же несомненна, что нет ничего бессмысленнее и безысходнее этой свободы, этого ожидания, этой его неуязвимости.

9
Борьба против допроса

И он заставил себя сдвинуться с места и направился обратно в дом, на сей раз не вдоль по стенке, а напрямик, через двор, по снегу, в прихожей столкнулся с трактирщиком, который безмолвно его поприветствовал и указал на дверь буфетной, куда К. и проследовал, потому что продрог и хотел видеть людей, но и там его ждало разочарование: за маленьким столиком, очевидно специально по такому случаю выставленным, — обычно здесь довольствовались бочками, — сидел тот самый молодой господин, а напротив него, довершая неприятную для К. картину, стояла хозяйка трактира «У моста». Пепи, гордая, с откинутой назад головкой и победной улыбкой, в непререкаемом сознании новизны и особости своего положения, при каждом движении покачивая косой, деловито сновала от стойки к столику и обратно, принесла пиво, потом чернила и перо, ибо господин, разложив перед собой бумаги, деловито сопоставлял какие-то данные, отыскивая их на разных листках то на одном, то на другом

конце стола, и теперь вознамерился что-то записать. Хозяйка, чуть выпятив губы, молча и как бы отдыхая, с высоты своего роста смотрела на господина и бумаги с таким видом, будто все, что следует, она уже сообщила, и не без успеха.

— Господин землемер, наконец-то, — изрек господин при появлении К., мельком вскинув глаза и снова углубляясь в свои бумаги.

И хозяйка тоже лишь скользнула по К. ничуть не удивленным, скорее равнодушным взглядом. А Пепи и вовсе, казалось, заметила присутствие К., лишь когда он подошел к стойке и заказал рюмку коньяку.

Прислонясь к стойке, К. прикрыл ладонью глаза — ему ни до чего не было дела. Потом пригубил коньяк и тут же отставил — до того мерзкое оказалось пойло.

— А господа пьют, — только и бросила Пепи, вылила остатки, ополоснула рюмку и поставила обратно на полку.

— У господ есть коньяк и получше, — заметил К.

— Может быть, — отрезала Пепи, — у меня другого нету.

И, отделавшись таким образом от К., в услужливой готовности снова поспешила к господину,

но, поскольку тому вроде бы ничего не требовалось, принялась кругами расхаживать у него за спиной, время от времени с боязливой почтительностью пытаясь через его плечо заглянуть в бумаги; на самом деле ничего, кроме праздного любопытства и важничанья, в этом ее хождении не было, так что даже хозяйка, нахмурив брови, посматривала на нее неодобрительно.

Вдруг трактирщица встрепенулась и замерла, уставившись в пустоту и вся обратившись в слух. К. обернулся, однако ничего особенного не услышал, да и остальные, похоже, ничего не заметили, однако она хоть и на цыпочках, но широким шагом поспешила к двери в глубине буфетной, откуда был выход во двор, прильнула там к замочной скважине, потом — глаза огромные, лицо раскраснелось — обернулась к остальным и поманила пальцем, после чего уже все по очереди стали смотреть в скважину, причем трактирщице, конечно, доставалось больше других, хотя и про Пепи она не забывала, и только молодой господин поглядывал изредка, стараясь сохранять относительно безучастный вид. Пепи и господин вскоре вернулись на свои места, и только трактирщица все никак не отходила: низко наклонясь, чуть ли не на коленях,

она вперилась в скважину и, казалось, не столько смотрит — смотреть, судя по всему, было уже не на что, — сколько умоляет скважину пропустить ее внутрь. Когда она наконец поднялась, провела руками по лицу, поправила волосы, тяжело отдуваясь, часто моргая, словно глазам ее трудно снова привыкать и к этой комнате, и к людишкам здесь, а она вот поневоле вынуждена, — К. спросил, не столько желая утвердиться в своей догадке, сколько чтобы предотвратить новую атаку против себя, которой он почти боялся, до того уязвимым он теперь себя чувствовал:

— Что, Кламм уже уехал?

Хозяйка молча прошла мимо, не удостоив его ответом, но пухлощекий господин от своего столика изрек:

— Да, конечно. Вы же перестали там торчать, как часовой на посту, вот он наконец и уехал. Но это просто чудо какое-то, до чего он чувствительный. Вы заметили, госпожа трактирщица, как беспокойно Кламм озирался? — Та, похоже, ничего такого не заметила, однако молодой человек продолжал: — Ну, по счастью, углядеть-то он ничего не мог, кучер даже следы на снегу и те замел.

— А вот госпожа трактирщица ничего не за-

метила, — бросил К., не столько в намерении всерьез возразить, а просто в сердцах, раздраженный словами пухлощекого и особенно его тоном, уж больно непререкаемым и заведомо заносчивым.

— Может, я тогда как раз в скважину и не смотрела, — заметила хозяйка, первым делом беря пухлощекого под защиту, но затем, сочтя нужным и достоинство Кламма оберечь, добавила: — Впрочем, в такую уж чрезмерную чувствительность Кламма я не верю. Это мы вечно за него трясемся, пытаемся его оградить, вот нам и кажется, будто он ужас какой чувствительный. И это правильно, и наверняка такова же и воля Кламма. Но как оно на самом деле обстоит, мы не знаем. Разумеется, если Кламм с кем говорить не захочет, он и не станет ни в жизнь, сколько бы этот кто-то ни старался, как бы пронырливо к нему ни лез, однако самого этого обстоятельства — что Кламм никогда не соизволит с ним говорить, никогда не разрешит ему предстать пред свои очи — вполне достаточно, с какой стати ему еще опасаться, будто при встрече, если она в самом деле наяву произойдет, он не сможет выдержать вида этого наглеца. По крайней мере, доказать, что он не выдержит, невозможно, ведь до самого доказа-

тельства дело никогда не дойдет.

Щекастый ретиво закивал.

— В сущности, конечно, и я того же мнения, — сказал он, — а если и выразился несколько иначе, то лишь затем, чтобы господину землемеру понятнее было. Однако правда и то, что Кламм, выйдя из подъезда, несколько раз оглянулся по сторонам.

— А может, он меня искал, — заявил К.

— Может быть, — отозвался пухлощекий. — Мне это как-то в голову не приходило.

Все рассмеялись, причем Пепи, едва ли понимавшая суть, смеялась громче всех.

— Раз уж мы так весело коротаем время, — отсмеявшись, сказал господин, — я бы очень попросил вас, господин землемер, дополнить кое-какими сведениями мои документы.

— Много у вас тут писанины, — сказал К., издалека поглядывая на бумаги.

— Да, такая уж привычка дурацкая, — отозвался господин и снова усмехнулся. — Но вы, должно быть, даже не знаете, кто я такой. Я Момус, секретарь Кламма по делам общины.

После этих слов в буфетной вдруг все сделалось разом ужасно серьезно; хотя трактирщица и Пепи щекастого господина, разумеется, хорошо знали,

но прозвучавшая фамилия вкупе с должностью даже их как будто поразила. И сам господин, как будто сказанное не вполне умещалось в границы его понимания или как если бы он по меньшей мере желал укрыться от неминуемого громоподобного воздействия собственных слов, опять углубился в бумаги и принялся так рьяно строчить, что в комнате только скрип пера и был слышен.

— А что это за должность: секретарь по делам общины? — спросил К. немного погодя.

Вместо Момуса, который теперь, представившись, очевидно, полагал, что ему подобные пояснения давать не подобает, ответить взялась хозяйка.

— Господин Момус — секретарь Кламма, как любой другой из кламмовских секретарей, но место его службы, а также, если не ошибаюсь, круг должностных полномочий, — тут Момус, не прерывая писанины, ретиво затряс головой, и трактирщица тотчас поправилась, — нет, только место службы, но не круг полномочий, ограничен деревней. Господин Момус ведает всей исходящей служебной документацией Кламма относительно деревни, а также первым рассматривает поступающие из деревни на имя Кламма

прошения.

Заметив, что К., недостаточно потрясенный смыслом услышанного, по-прежнему смотрит на нее пустыми глазами, хозяйка, слегка смешавшись, добавила:

— Так уж заведено у нас, у каждого из господ свой секретарь по делам общины.

Момус, следивший за разговором куда внимательнее, чем К., от себя дополнил:

— Большинство секретарей по делам общины работают только на одного из господ, я же работаю на двоих, на Кламма и Валлабене.

— Да-да, — спохватилась со своей стороны трактирщица, обращаясь к К. — Господин Момус работает сразу на двух господ, на Кламма и на Валлабене, то есть он двукратный секретарь.

— Вон как, даже двукратный, — сказал К. и поощрительно кивнул Момусу, который, слегка подавшись вперед, смотрел на него во все глаза, кивнул, как кивают ребенку, которого в твоем присутствии похвалили взрослые.

Если и была тут с его стороны доля пренебрежения, то ее либо не заметили, либо, наоборот, с жадностью ждали услышать. Именно перед К., человеком, недостойным, как выяснилось, даже случайного взгляда Кламма, здесь подробно

расписывали заслуги чиновника из ближайшего окружения Кламма в неприкрытом стремлении вырвать у К. в ответ слова признания и похвалы. Но, видимо, К. недоставало верного чутья; он, всеми силами добивающийся одного только взгляда Кламма, ценил должность человека, которому дозволено пред очами Кламма жить, не очень высоко, не испытывая к тому ни тени восхищения, ни капли зависти, ибо не близость Кламма сама по себе была средоточием его помыслов, а чтобы он, К., только он, и никто другой, и только со своими, а не чьими-то еще надобностями, мог к Кламму подойти, а подойдя, на этом не успокоиться, а пройти мимо Кламма дальше, вперед, в Замок.

Так что он посмотрел на часы и сказал:

— А теперь мне пора домой.

Едва он это сказал, соотношение сил мгновенно переменилось в пользу Момуса.

— Ну как же, как же, — проговорил тот. — Долг школьного смотрителя зовет. Однако одну минуточку вам все-таки придется мне уделить. Лишь несколько пустяковых вопросов.

— Да неохота мне, — бросил К. и направился было к двери.

Но Момус пристукнул папкой по столу и встал:

— Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы!

— Именем Кламма? — переспросил К. — Разве ему есть до меня дело?

— Об этом, — отвечал Момус, — судить не мне и тем более не вам; вот и предоставим это ему самому. Что же до нас с вами, то властью вверенных мне Кламмом должностных полномочий я призываю вас остаться и отвечать.

— Господин землемер, — вмешалась хозяйка. — Я теперь остерегаюсь вам советовать, все прежние мои советы, притом самые доброжелательные, какие только можно дать, встретили у вас неслыханный по бесцеремонности отпор, да и сюда, к господину секретарю, я пришла — мне скрывать нечего — только затем, чтобы, как положено, уведомить власти о вашем поведении и намерениях ваших, а еще раз и навсегда оградить свой дом от того, чтобы вас снова ко мне поселили, вот как оно сейчас между нами обстоит, и тут теперь вряд ли что переменится, и если я сейчас говорю вам свое мнение, то не для того, чтобы вам помочь, а просто чтобы хоть немного облегчить господину секретарю такое тяжелое дело, как переговоры с человеком вроде вас. Но тем не менее как раз благодаря полной моей

откровенности — а иначе как откровенно, хоть и против воли, я общаться с вами не умею, — вы могли бы извлечь из моих слов кое-какой для себя прок, ежели захотели бы. Так вот, на этот случай зарубите себе на носу: единственный путь, который может привести вас к Кламму, проходит через протоколы господина секретаря. Не хочу, правда, преувеличивать, вряд ли эта дорожка до самого Кламма доведет, может, она гораздо раньше оборвется, тут все от благорасположения господина секретаря будет зависеть. Как бы там ни было, но это единственный для вас путь хотя бы по направлению к Кламму. И вот от этого пути вы хотите отвернуться, и единственно только из-за своего упрямства.

— Да ладно вам, госпожа трактирщица, — возразил К. — Вовсе это не единственный путь к Кламму, и ничуть он не важнее других путей. А вы, значит, господин секретарь, решаете, доводить до сведения Кламма то, что я скажу, или не доводить?

— Безусловно, — проронил Момус и, гордо потупив очи, посмотрел куда-то себе под ноги, сперва в одну сторону, потом в другую, хотя смотреть там было совершенно не на что. — Иначе для чего бы мне быть секретарем?

— Вот видите, госпожа трактирщица, — сказал К., — вовсе не к Кламму мне нужно пути искать, а сперва к господину секретарю.

— И я вам этот путь хотела открыть, — живо откликнулась трактирщица. — Разве не предлагала я вам нынче утром передать вашу просьбу Кламму? И сделать это можно было через господина секретаря. Но вы не захотели, а теперь у вас все равно другого пути нету. Хотя после сегодняшнего вашего фортеля, когда вы чуть ли не напасть на Кламма удумали, видов на успех у вас и того меньше. И все же эта последняя, крошечная, исчезающая, считайте что и не существующая вовсе надежда — единственное, что у вас остается.

— Интересно, однако, получается, госпожа трактирщица, — заметил К. — Поначалу вы меня всячески разубеждали к Кламму пробиваться, а теперь к моей просьбе вон как серьезно относитесь и даже считаете, что в случае неудачи я вообще пропащий человек? Как понимать, что сперва вы от чистого сердца пытаетесь отговорить меня к Кламму рваться, а теперь якобы столь же искренне чуть ли не толкаете меня на путь к Кламму, хотя путь этот, как вы сами признаете, до самого Кламма, вероятно, и не доведет?

— Это я-то вас толкаю? — изумилась трактир-

щица. — Да разве это называется «толкать», если я говорю, что попытки ваши безнадежны? Это уж совсем был бы лихой номер — таким манером ответственность с себя на меня перевалить, с больной головы на здоровую. Может, это присутствие господина секретаря вас на такие шутки подбивает? Нет уж, господин землемер, никуда я вас не толкаю. В одном только сознаюсь: я вас, когда впервые увидела, похоже, малость переоценила. Быстрота, с какой вы Фриду окрутили, меня испугала, я не знала, чего еще от вас ждать, и, не найдя других способов предотвратить новые несчастья, пыталась пронять вас просьбами и угрозами. Но теперь я обо всем спокойнее судить научилась. По мне, так делайте что хотите. От дел ваших разве что там, во дворе, в сугробах глубокие следы остаются, но больше-то нигде.

— По-моему, концы с концами тут не слишком вяжутся, — сказал К., — но я удовольствуюсь тем, что благодаря вам саму эту неувязку подметил. А теперь я просил бы вас, господин секретарь, сказать мне, верно ли утверждает госпожа трактирщица: а именно что показания мои, которые вы сейчас намерены запротоколировать, среди последствий своих имеют предполагать для меня возможность предстать перед Кламмом? Если

так, я тотчас же готов ответить на все вопросы. В этом отношении я вообще готов на все.

— Нет, — ответил Момус. — Тут одно с другим никак не связано. У меня пока одна забота: подать для регистратуры Кламма сводку о событиях в деревне по состоянию на сегодняшнюю вторую половину дня. Сводка уже готова, осталось только два-три пробела заполнить с вашей помощью, так, для порядка, никакой другой цели протокол не имеет и достигнуть не может.

К. молча посмотрел на хозяйку.

— Ну что вы на меня так смотрите? — возмутилась та. — Или, по-вашему, я что-то другое говорила? И вот так он всегда, господин секретарь, всегда вот так. Передергивает все, что ему ни скажи, а потом утверждает, будто бы ему все неверно сообщили. С самого начала я не переставала и не перестану ему твердить, что нет у него ни малейшей надежды попасть к Кламму на прием, а коли надежды нет, то и протокол ее не даст. Казалось бы, куда яснее? Далее я ему объясняю, что протокол — единственная действительная служебная связь с Кламмом, какую он может установить, и это ведь тоже достаточно ясно сказано и сомнению не подлежит. Но раз он все равно мне не верит и, не оставляя надежды,

постоянно — уж не знаю, ради чего и зачем, — стремится к Кламму проникнуть, то и тогда, даже если с его колокольни смотреть и его мыслями думать, помочь ему в силах только единственно возможная служебная связь с Кламмом, то бишь этот вот протокол. Одно это я и сказала, а кто утверждает другое, тот просто злонамеренно перевирает мои слова.

— Если так, госпожа трактирщица, — сказал К, — то прошу прощения, значит, я вас неправильно понял, мне-то показалось, совершенно ошибочно, как теперь выясняется, что совсем недавно, по вашим же словам, выходило, будто какая-никакая, пусть самая крошечная надежда у меня все-таки есть.

— Разумеется, — отвечала трактирщица, — именно так я и считаю, хоть вы опять мои слова передергиваете, пусть теперь в другую сторону. Вся ваша надежда, по моему рассуждению, связана с протоколом и только на нем и держится. Однако не настолько это просто, чтобы наскакивать на господина секретаря с вопросом: «А если я на вопросы отвечу, меня к Кламму допустят?» Когда дитя малое этак спрашивает, люди только посмеются, но коли взрослый человек так себя ведет, это уже оскорбление власти, просто господин

секретарь деликатностью своего ответа милостиво закрыл на вашу неучтивость глаза. Надежда, которую я имею в виду, в том лишь и состоит, что благодаря протоколу у вас, быть может, устанавливается связь, ну, или что-то вроде связи с Кламмом. Разве этого мало для надежды? А спроси вас, какие у вас заслуги, чтобы такой надежды сподобиться, разве вы хоть что-нибудь сможете назвать? Правда, ничего более определенного об этой надежде сказать нельзя, в особенности же господин секретарь с учетом его служебного положения и намеком не имеет права ни о чем подобном обмолвиться. У него, как он сам сказал, сейчас одна задача: подать сводку о событиях в деревне по состоянию на сегодняшнюю вторую половину дня, порядка ради, а больше он ничего и не скажет, даже если вы прямо сейчас, опираясь на мои слова, его спросите.

— Господин секретарь, — немедля спросил К., — а Кламм этот протокол будет читать?

— Нет, — ответил Момус, — с какой стати? Не может Кламм читать все протоколы, он их вообще не читает, не приставайте, говорит, ко мне с вашими протоколами.

— Господин землемер, — застонала трактирщица. — Ну просто мочи нет такие ваши вопросы

слушать! Да какая вам необходимость или хотя бы желательность, чтобы Кламм этот протокол прочел и все слово в слово узнал про подробности вашей ничтожной жизни? Почему вы вместо этого нижайше не попросите данный протокол от Кламма скрыть — просьба, кстати, столь же неразумная, как и предыдущая, ибо как можно от Кламма что-то скрыть, — но она по крайней мере выказала бы симпатичные стороны вашего характера? И какая тут надобность для того, что вы называете вашей надеждой? Разве сами вы не сказали, что были бы рады возможности предстать и говорить перед Кламмом, даже если бы он вас не видел и не слышал? И разве не достигается протоколом эта цель, а может, и нечто большее?

— Большее? — переспросил К. — Это каким же образом?

— Когда же, наконец, вы перестанете требовать, чтобы вам, как ребенку, все разжевывали да в рот клали! — воскликнула трактирщица. — Кто же даст вам ответы на такие вопросы? Протокол поступит в регистратуру Кламма, это вы слышали, а ничего больше с определенностью и сказать нельзя. Но разве известно вам в полной мере значение протокола, значение господина секретаря, значение регистратуры? Понимаете ли вы, что

это значит, когда господин секретарь вас допрашивает? Быть может — и очень даже вероятно — он и сам этого не понимает! Его дело спокойно тут сидеть, исполнять свой долг, порядка ради, как он сам говорит. Но вы только вникните: его назначил сам Кламм, он вершит дела именем Кламма, и всякое его дело, пусть оно до Кламма и не доходит, заранее отмечено согласием Кламма. А как на что-то может иметься согласие Кламма, если это не исполнено духа Кламма? Не подумайте, что я норовлю господину секретарю неуклюже польстить, у меня этого и в мыслях нет, да он бы и не позволил ничего подобного, я ведь не как о самостоятельной личности о нем говорю, а лишь о том, кто он таков, когда действует по согласию Кламма, как вот сейчас. Тогда он инструмент, орудие в руке у Кламма, и горе всякому, кто вздумает его ослушаться.

Угрозы хозяйки не слишком пугали К., а вот надежды, которыми она пыталась его заманить, утомили его. До Кламма далеко, однажды хозяйка даже сравнила его с орлом, тогда это показалось К. просто смешно, но сейчас он так не думал, он думал о страшной отдаленности Кламма, о горней неприступности его жилища, о его безмолвии, прошибаемом лишь криком, да таким,

какого К. никогда и не слыхивал, о надменном взоре с недосягаемых высот, взоре, который ни ощутить, ни перехватить, ни отразить невозможно, о кругах, которые Кламм по непостижимым законам там, вверху, описывает и вершит, кругах, из бездн обитания К. лишь мгновениями видимых и никакому здешнему, низинному усилию неподвластных, — о да, все это был Кламм, и все это действительно роднило его с орлом. Но разве может иметь какое-то отношение к этим высям жалкий протокол, над которым как раз сейчас, обсыпая бумаги крошками, Момус разламывал соленый крендель, собираясь закусить им пиво?{13}

— Спокойной ночи, — заявил К.— Любой допрос мне противен.

{13} Варианты: 2.13

Тогда он инструмент, орудие в руке у Кламма, и горе всякому, кто вздумает его ослушаться.

[*1. Угрозы хозяйки не страшили К., надежды, которыми она пыталась заманить его в ловушку, мало его трогали, но вот протокол — протокол начинал потихоньку его прельщать. Не из-за Кламма, до Кламма далеко, однажды хозяйка сравнила Кламма с орлом, К. это показалось тогда просто смешно, но сейчас он так не думал, он думал о безмолвии и страшной отдаленности Кламма, о горней неприступности его жилища, о его надменном взоре с недосягаемых высот, взоре, который ни ощутить, ни перехватить, ни отразить невозможно, о кругах, которые Кламм по непостижимым законам там, вверху, описывает и вершит, кругах, лишь мгновениями видимых, — о да, все это был Кламм, и все это действительно роднило его с орлом. Впрочем, протокол, над которым Момус сейчас разламывал соленый крендель,*

собираясь закусить им пиво и обильно посыпая все свои бумаги солью и крошками, ко всему этому никакого отношения не имел. И тем не менее вовсе никчемной писаниной протокол считать нельзя; пусть не со своей колокольни, но в общем смысле хозяйка, конечно, права, когда говорит, что К. ничем пренебрегать не должен. К. ведь и сам, когда не раскисал от разочарований, как сегодня после столь неудачного вечера, думал так же. Но сейчас он мало-помалу приходил в себя, наскоки хозяйки придавали ему новых сил, ибо если она и талдычит без конца про то, какой он невежа и насколько невозможно его вразумить, однако пыл, с каким она это утверждает, лишний раз доказывает, насколько важно ей именно его, К., вразумить, так что, если даже манерой своих ответов она и старается его унизить, слепой раж, с которым она этого добивается, лишь свидетельствует, какой властью обладают над ней его, К., якобы мелкие и ничтожные вопросы. Так почему бы этим влиянием не воспользоваться? А его влияние на Момуса, пожалуй, и того сильней, хоть этот Момус в основном отмалчивается, а когда говорит, все больше норовит брать глоткой, ну а если молчит он попросту из опаски, авторитет свой боится растерять, не потому ли он и хозяйку сюда притащил, которая, благо никакой служебной ответственностью не связана, применяясь только к причудам поведения К., то лаской, то таской пытается заманить его в силки протокола? И как вообще обстоит с этим протоколом? Разумеется, до Кламма он не дойдет, но разве еще до Кламма, на пути к Кламму у К. мало работы? Разве именно сегодняшний день и особенно вечер не доказывают, что тот, кто надеялся досягнуть до Кламма наугад, одним слепым прыжком в неизвестность, изрядно недооценил расстояние, которое ему предстоит преодолеть? Нет, если до Кламма вообще можно добраться, то только за шагом шаг, и среди вех на этом пути, безусловно, и трактирщица, и Момус. Сегодня, к примеру, по крайней мере по внешней видимости, если кто и не допустил К. до Кламма, то лишь эти двое. Сперва хозяйка, когда предупредила, куда К. направляется, потом Момус, который, углядев

К. из окна, немедленно отдал соответствующие распоряжения, ведь даже кучер был поставлен в известность — мол, до ухода К. отъезда не жди, — потому-то он с таким для К. тогда совершенно непонятным упреком в голосе и посетовал: дескать, этак еще долго ждать придется, покуда он, К., не уйдет. Вот как все было подстроено, невзирая на всю пресловутую чувствительность Кламма, о которой тут любят слагать легенды и которая тем не менее, как, проговорившись, почти признала хозяйка, сама по себе не могла стать препятствием, чтобы К. до Кламма допустили. Кто знает, как бы все сложилось, не окажись хозяйка и Момус врагами К., или, по крайней мере, побойся они свою враждебность открыто выказать. Возможно и даже очень вероятно, что К. и тогда не пробился бы к Кламму, перед ним встали бы другие препятствия, запас коих на этом пути, быть может, вообще неисчерпаем, однако совесть К. хотя бы в том отношении была чиста, что он все подготовил правильно, тогда как сегодня он, хоть и должен был предвидеть вмешательство трактирщицы, ничего не предпринял, чтобы от него защититься. Впрочем, даже зная, какие совершил ошибки, К. не знает, как можно было их избежать. Самое первое его намерение — устроиться в деревне неприметным рядовым работником, — судя по письму Кламма, оказалось весьма разумным. Однако потом он поневоле от этого замысла отступился, когда предательское явление горе-посланца Варнавы заставило его поверить, будто в Замок проникнуть легче легкого, все равно что воскресным днем за город на ближайший пригорок прогуляться, — больше того, весь вид посланца, его улыбка, его глаза прямо-таки подбивали немедленно так и сделать. А потом, не успел он одуматься, с мыслями собраться, возникла Фрида, а вместе с ней и по сей день до конца не отринутая им вера, будто благодаря ее посредничеству между ним и Кламмом установилась почти телесная, чуть ли не до интимного шепота близость, о которой поначалу, быть может, один только К. знал, но которой достаточно одного маленького толчка, одного слова или даже взгляда, чтобы открыться прежде всего Кламму, а потом

и всем остальным как нечто хотя и совершенно невероятное, но тем не менее — силою самой жизни, силою любовных объятий — да, само собой разумеющееся. Увы, все оказалось совсем не так просто, а К., вместо того чтобы скромно трудиться где-нибудь простым рабочим, уже сколько времени ищет Кламма, по-прежнему нетерпеливо, вслепую и безуспешно. Правда, тем временем подвернулись и другие возможности: дома его ждут нехитрые обязанности школьного смотрителя, может, если спросить о желаниях К., это место и не вполне ему по душе, слишком оно для нынешнего положения К. будто на заказ подобрано, слишком уж явно оно временное, от прихотей слишком уж многих начальников, прежде всего учителя, зависимое, но все-таки для начала это плацдарм надежный, вдобавок изъяны должности с лихвой перекрываются предстоящей свадьбой, которой К. в своих мыслях покамест почти не касался и которая теперь вдруг надвинулась на него во всей своей неотложной важности. Ну кто он такой без Фриды? Ничтожество, тупо влекущееся за любым мерцающим светляком — будь то шелковый отсвет Варнавиной куртки или серебристо-белое платье служанки из Замка. Правда, и с Фридиной любовью он не заполучил Кламма первым же мановением руки, только в полном безумии можно было в такое поверить, да что там поверить — почти предвкушать, и, хотя подобные чаяния все еще при нем, словно опровержение жизнью ничуть им не вредит, в планах своих он не намерен на них рассчитывать. Они, впрочем, и не нужны ему теперь, вместе со свадьбой у него появляются иные, вполне твердые виды на будущее: член общины, права и обязанности, уже не чужак, — пожалуй, ему придется только остерегаться самодовольства всех этих людей, но это легко, особенно когда Замок перед глазами. Гораздо трудней покориться обстоятельствам, справлять мелкую работу для мелких людишек — пожалуй, он начнет с того, что подчинится сейчас протоколу. Со смутным подозрением К. посмотрел на бумаги с ~~которых Момус теперь тщательно и тщетно сдувал крошки.~~ Потом решил повернуть разговор на другое. Может, зайдя с другой стороны,

он ближе подберется к истине? Словно между ними и не было никаких разногласий, он как ни в чем не бывало спросил:

— Это про сегодняшний вечер столько написано? Все бумаги только об этом?

— Все, — с радостной готовностью ответил Момус, словно только этого вопроса и ждал. — Это же моя работа.

~~Когда есть силы смотреть на вещи неотрывно и во все глаза, видишь многое, но стоит один раз расслабиться и смежить веки, все мгновенно растворяется во тьме.~~

— А нельзя ли мне оттуда что-нибудь прочесть? — спросил К.

Момус принялся перелистывать бумаги, словно решая, допустимо ли хоть что-то из них показать К., потом заявил:

— Нет, к сожалению, никак невозможно.

— Меня это наводит на мысль, — заметил К., — что там есть вещи, которые я мог бы опровергнуть.

— Которые вы попытались бы опровергнуть, — поправил его Момус. — Да, такие вещи там есть. — Тут он взял карандаш и словно в подтверждение, ухмыляясь, с нажимом подчеркнул несколько строк.

— А я не любопытен, — сказал К. — Можете и дальше подчеркивать в свое удовольствие, господин секретарь. Своя рука владыка, вы тут, в тиши да в покое, какие угодно гадости обо мне могли написать. Однако меня нисколько не волнует, что у вас там к делам подшито. Просто я подумал, вдруг там есть кое-что для меня поучительное, какие-то вещи, из которых я мог бы почерпнуть отдельные, пусть нелицеприятные, но честные суждения обо мне безусловно опытного, заслуженного чиновника. Вот что-то в таком духе я охотно бы прочел, люблю, когда меня поучают, не люблю делать промахи, не люблю причинять людям неприятности.

— И люблю разыгрывать святую простоту, — вставила трактирщица. — Вы слушайтесь лучше господина секретаря, глядишь, ваши желания отчасти и исполнятся. Из его вопросов вы хоть исподволь,

околичностями смогли бы вызнать, о чем в протоколе речь, а ответами своими вдруг бы и на суть протокола повлиять сумели.

— Я слишком господина секретаря уважаю, — заметил К., — чтобы предположить, будто он, если уж вознамерился о чем-то умолчать, способен в ходе допроса ненароком об этом проговориться. Да и нет у меня ни малейшего желания хотя бы косвенно, тем, что вообще соглашаюсь перемежать своими ответами неблагоприятные для меня писания, подкреплять, быть может, заведомо несправедливые, облыжные обвинения.

Момус в раздумье глянул на трактирщицу.

— Что ж, тогда будем сворачивать наши бумаги, — заявил он. — Мы и так достаточно долго с этим тянули, господин землемер не вправе сетовать на нетерпение с нашей стороны. Как сказал господин землемер: «Я слишком уважаю господина секретаря» — ну и так далее, имея в виду, очевидно, что слишком большое уважение, которое он ко мне питает, лишило его дара речи. Так что, будь я в силах его уважение уменьшить, я бы, возможно, все-таки получил ответы на свои вопросы. К сожалению, я вынужден это уважение только усугубить, поставив господина землемера в известность, что бумаги мои в его ответах вовсе не нуждаются, как не нуждаются они ни в дополнениях, ни в исправлениях, зато вот он-то весьма нуждается в протоколе, причем как в вопросах, так и в ответах ~~коих я добивался от него для его же пользы~~. Но как только я покину эту комнату, протокол уйдет от него навсегда и никогда более ему не откроется.

Медленно кивнув К., хозяйка сказала:

— Я-то, разумеется, это знала и, как могла, пыталась вам намекнуть, да вы меня не поняли. Там, во дворе, вы понапрасну ждали Кламма, а здесь, в протоколе, вы заставили Кламма ждать понапрасну. Непутевый, ну до чего же вы непутевый!

В глазах у нее стояли слезы.

— Однако пока что, — сказал К., пуще всех слов тронутый этими слезами, — господин секретарь еще здесь, да и протокол тоже.

— Я уже ухожу, — заявил Момус, собирая бумаги в папку и вставая.
— Ну хоть теперь-то вы согласны отвечать, господин землемер? — спросила хозяйка.
— Слишком поздно, — изрек секретарь. — Пепи пора отпирать, слуги заждались, уже давно их время.
И действительно, со двора в дверь давно стучали, Пепи стояла там, удерживая щеколду, и ждала только окончания переговоров с К., чтобы сразу отпереть.
— Открывайте, деточка, открывайте, — сказал секретарь, и в дверь тотчас же гуртом, толкая и не замечая друг друга, попер служивый люд уже знакомого К. обличья, все в той же землистого цвета форменной одежде. Лица у всех были злющие, слишком долго их заставили ждать, мимо К., хозяйки и секретаря они проталкивались, вовсе их не замечая, словно те им ровня, такие же посетители, как и все прочие; счастье еще, что секретарь успел собрать свои бумаги и крепко держал папку под мышкой, ибо столик их первым же напором толпы был опрокинут, да так и не поднят, все новые и новые мужики, ничтоже сумняшеся, будто так и надо, просто через него перешагивали. Правда, пивной кружке секретаря упасть не дали, кто-то из холопов с ликующим гортанным рыком ее цапнул и радостно устремился к Пепи, которую, впрочем, в столпище мужичья было и не разглядеть. Вокруг нее колыхался целый лес возмущенно вытянутых рук, указующих на стенные часы в яростном намерении довести до сознания девушки, сколь вероломно обходится она с людьми, задерживая открытие буфетной. И хотя вины Пепи в задержке не было, истинным виновником, пусть и невольно, по сути, был К., однако Пепи, похоже, оправдаться совсем не умела — да и трудно ей было, по молодости и неопытности, всю эту ораву хоть как-то образумить. Иное дело Фрида — она бы сейчас только вскинулась, и все мигом бы разбежались. А Пепи — та все еще не могла выбраться из толкучки, что опять-таки не устраивало толкущихся, ибо хотели они только одного — чтобы им налили пива. Но толпа сама с собой совладать не умела и сама же лишала себя

удовольствия, которого все так жаждали. Перекатываясь то в одну сторону, то в другую, колышущееся людское месиво мяло внутри себя маленькую девчушку, храбрость которой проявлялась лишь в том, что она не кричала, — саму ее было уже не видно и не слышно. Между тем со двора вваливались все новые и новые люди, в буфетной начиналась давка, выбраться из нее секретарь не мог, до дверей — что в прихожую, что во двор — было не пробиться, они, все трое, притиснутые друг к другу, старались держаться вместе, хозяйка, схватившись за секретаря, К. напротив и настолько к секретарю близко, что их лица почти соприкасались. Однако ни секретаря, ни трактирщицу подобная сумятица, похоже, не удивляла и даже не сердила, они воспринимали происходящее как рядовое явление природы, только старались уберечься от слишком сильных толчков, всецело вверив себя людскому потоку, и лишь опускали головы, когда надо было уклониться от чрезмерно близкого, жаркого дыхания все еще не дорвавшихся до пива мужиков, в остальном же вид имели вполне спокойный, разве что отрешенный слегка. В такой близи к секретарю и хозяйке, образуя с ними, хоть внешне, быть может, это никак не обнаруживалось, одну группу, явно противостоящую остальной толпе в буфетной, К. вдруг ощутил, как меняется его к ним отношение: все служебное, лично неприязненное, классово чуждое между ними, казалось, сейчас устранено или по крайней мере отложено на потом.

— А уйти вы все-таки не можете, — сказал он секретарю.

— Нет, сию секунду не могу, — согласился тот.

— А протокол? — спросил К.

— Протокол в папке, — ответил Момус.

— Я бы хотел хоть краем глаза на него взглянуть, — сказал К. и почти непроизвольно потянулся к папке, ухватив ее за угол.

— Нет-нет, — испугался Момус, пытаясь от него увернуться.

— Да что же вы это делаете? — всполошилась хозяйка и слегка шлепнула К. по руке. — Что по легкомыслию да высокомерию упустили, решили

теперь силой наверстать? Да вы просто изверг, жуткий человек! Разве имел бы этот протокол хоть какую-то ценность в ваших руках? Это все равно что цветок на лугу, который корова языком слизнула!

~~— А что, если бы я, — сказал К., — раз уж меня против моей воли теперь в протокол не допускают, вздумал его сейчас уничтожить. Меня так и подмывает это сделать.~~

— Но он по крайней мере был бы уничтожен, — сказал К. и в намерении завладеть папкой решительно потянул ее у секретаря из-под мышки. Секретарь, впрочем, с готовностью ему уступил, выпустив папку настолько быстро, что та неминуемо бы упала, не изловчись К. подхватить ее второй рукой.

— Почему только сейчас? — поинтересовался секретарь. — Силой-то вы бы сразу могли у меня ее забрать.

— Я только ответил силой на силу, — сказал К. — Без всякой причины вы отказываете мне в допросе, который сами же раньше предлагали, и я вправе заглянуть в эти листки. Чтобы вынудить у вас либо одно, либо другое, я и забрал папку.

— Значит, в качестве залога, — ухмыльнулся секретарь.

А хозяйка добавила:

— Силой вымогать — это он умеет. Недаром вы, господин секретарь, в бумагах это уже отразили. Может, показать ему хотя бы один тот лист?

— Разумеется, — отвечал Момус. — Теперь можно и показать.

К. протянул ей папку, хозяйка стала в ней рыться, но, судя по всему, нужный лист никак не находился. В конце концов, утомившись от бесплодности поисков, она их прекратила, заметив только, что это должен быть лист номер десять. Тогда за поиски взялся К. и сразу этот лист нашел; хозяйка немедленно его забрала, дабы удостовериться, точно ли это тот самый лист; да, лист оказался тот самый, она еще раз для собственного удовольствия пробежала его глазами, секретарь читал вместе с нею, заглядывая через плечо. Потом она протянула лист К., и тот прочел. «Виновность землемера К. доказать непросто.

Дело в том, что разгадать его уловки можно, лишь заставив себя, как бы тягостно это ни было, проникнуть и всецело вжиться в ход его мыслей. И главное на пути этого проникновения — не останавливаться в изумлении, когда достигаешь совсем уж невероятной, с точки зрения нормального человека, порочности, напротив, лишь зайдя так далеко, лишь достигнув крайней степени гнусности, можно быть уверенным, что ты не заблудился, а, наоборот, оказался у самой цели. Взять, к примеру, случай с Фридой. Совершенно ясно, что землемер Фриду не любит и жениться на ней хочет вовсе не по любви, он прекрасно видит, что это невзрачная ~~востроносенькая~~ девица вздорного нрава, вдобавок с весьма сомнительным прошлым, он и обходится с ней соответственно, шляется где хочет, нисколько о ней не заботясь. Такова фактическая сторона дела. Толковать ее, однако, можно по-разному, выставляя К. то человеком слабым или просто глупым, то последним бродягой либо, напротив, весьма благородным господином. Все это, однако, не будет соответствовать истине. До истины можно доискаться, только тщательно, след в след, как мы это и проделали, пройдя по стопам К. весь его путь от прибытия в деревню до вступления в связь с Фридой. ~~Сперва землемер К. поневоле пытался обосноваться в деревне. Это оказалось нелегко, ибо в услугах его никто не нуждался, никто — кроме хозяина трактира „У моста", которого он застиг своим появлением врасплох, — не давал ему приюта, никому, если не считать шуток нескольких господ чиновников, не было до К. никакого дела. Так он и слонялся без работы и без всякого проку, только нарушая своим никчемным присутствием покой местных жителей. Однако на самом деле он времени даром не терял, ждал подходящего случая и вскоре таковым воспользовался. Фрида, молодая буфетчица из „Господского подворья", поверила его посулам и уступила его домогательствам.~~ Но и установив эту ужасающую, чудовищную истину, нужно долго привыкать к ней, прежде чем окончательно в нее поверишь, однако тут уж ничего иного не остается.

К. спутался с Фридой исключительно и только по самому грязному

и подлому расчету и не оставит ее до тех пор, покуда будет питать хоть тень надежды, что расчет его оправдается. Он полагает, будто в лице Фриды покорил возлюбленную господина начальника и благодаря этому как бы взял ее в залог, за который ему причитается самый высокий выкуп. Поторговаться с господином начальником о размерах этого выкупа — и есть сейчас единственный предмет его устремлений. Поскольку Фрида не значит для него ничего, а выкуп — все, он в отношении Фриды готов на любые уступки, в отношении же цены наверняка будет стоять насмерть. Следовательно он — пока что, невзирая на всю омерзительность своих домыслов и поползновений, субъект совершенно безвредный — способен, как только осознает, насколько просчитался и сам себя выдал, стать субъектом очень даже злонамеренным и опасным, в границах своей ничтожности, разумеется».

Лист на этом кончался. Только сбоку, на полях, еще имелся беспомощный, будто детской рукой нацарапанный рисунок: мужчина держит в объятиях девушку, та прячет лицо у него на груди, а мужчина с высоты своего роста через ее голову заглядывает в некую бумагу, которую держит в руках, радостно занося в нее какие-то суммы.

Когда К. оторвал взгляд от листа, он обнаружил, что они с хозяйкой и секретарем стоят посреди буфетной совершенно одни. Очевидно, появившийся откуда ни возьмись трактирщик навел порядок. Успокаивающе вскинув руки, он своей вкрадчиво-вальяжной поступью прохаживался вдоль стен, где на бочках, а то и прямо на полу возле них устраивались со своим пивом мужики. Теперь, кстати, стало видно, что не так их несметно много, как сперва почудилось, это только когда они всем гуртом на Пепи навалились, возникло впечатление, будто их тут целые орды. И сейчас еще вокруг нее клубился, правда, уже небольшой, но нетерпеливый кружок жаждущих, которых пока что не обслужили; Пепи, судя по всему, в этих нечеловеческих условиях проявила поистине неимоверный героизм, и хотя по щекам у нее катились слезы, красивая коса растрепалась, даже платье было разорвано спереди, на груди, где из-под него выглядывала нижняя рубашка, однако

она, подстегиваемая, вероятно, еще и присутствием хозяина, не помня себя и не покладая рук, из последних сил управлялась с кружками и пивными кранами. Видя, каково ей приходится, К. в душе простил ей все неприятности, которые она ему причинила.

— Ах да, ваш лист, — молвил он затем и, положив лист в папку, вернул ее секретарю. — Прошу простить мне чрезмерную торопливость, с какой я забрал у вас папку. Всему виной эта жуткая сумятица и волнение, ну да вы, конечно, меня извините. Кроме того, признаюсь, вы и госпожа трактирщица обладаете удивительной способностью возбуждать мое любопытство. Однако сам лист меня разочаровал. Право слово, самый заурядный полевой цветок, как госпожа трактирщица изволила заметить. Разумеется, с точки зрения проделанной работы сей документ, возможно, и имеет какую-то служебную ценность, но в моих глазах это всего-навсего болтовня, напыщенная, пустая, а потому весьма прискорбная бабья болтовня, да-да, без женской помощи, без бабьих сплетен в этом пасквиле явно не обошлось. Смею полагать, не настолько уж напрочь не осталось здесь справедливости, чтобы не нашлось канцелярии, куда я мог бы на сей пасквиль пожаловаться, но не стану этого делать — и не потому, что нахожу его слишком жалким, а просто из чувства благодарности. Ибо поначалу вы сумели меня этим протоколом малость припугнуть, он казался мне жутковатым, теперь же ничего жутковатого я в нем не вижу. Одно только жутковато — что подобную ерунду можно сделать предметом допроса, злоупотребив ради этой цели даже именем Кламма.

— Будь я врагом вашим, — сказала хозяйка, — я бы ничего лучшего не желала, как вот этакое суждение от вас услышать.

— Ну что вы, — живо откликнулся К., — какой же вы мне враг! Ради меня вы вон даже Фриду оклеветать готовы.

— Уж не думаете ли вы, что там высказано мое мнение о Фриде? — воскликнула хозяйка. — Там ваше мнение, именно так, свысока, вы на бедную девочку и смотрите, только так, и никак иначе!

На это К. вообще не стал отвечать, это была уже просто ругань.

Секретарь всячески пытался скрыть свою радость по поводу новообретения папки, однако удавалось ему это плохо, он поминутно поглядывал на папку с блаженной улыбкой, словно папка вовсе не его, а какая-то новая, только что ему подаренная и он никак не нарадуется на подарок. Будто греясь ее благотворным, живительным теплом, он трепетно прижимал папку к груди. Даже извлек прочитанный К. лист — под предлогом, что надо уложить его поаккуратней, — и перечитал его еще раз. ~~Только после этого чтения, во время которого он каждому слову радовался как нечаянной встрече со старым добрым приятелем, он, видимо, окончательно уверился, что протокол снова у него в руках.~~ Казалось, он с превеликой радостью готов и хозяйке снова его вручить для прочтения. К. предоставил их друг другу, он уже и не глядел на них почти, слишком велика была разница между тем, какое значение он придавал им прежде, и их нынешней ничтожностью в его глазах. Как трогательно, парочкой, они стоят, неразлучные соратники-соглядатаи, присные стряпчие своих жалких тайн. ~~Это не К., это они подверглись допросу. Как они старались К. напугать, как тщательно все подготовили...~~

2. — Но как узнать, имеется согласие Кламма или нет? — спросил К.

— А никак, — отозвалась трактирщица. — Никак нельзя этого узнать. Уж не думаете ли вы, что в господине Момусе внешние перемены будут происходить, когда он от имени Кламма говорит? Да он и сам этого не знает, иной раз, возможно, именем Кламма и такое скажет, чего от имени Кламма никак говорить нельзя.

— Иными словами, надо просто всякий раз слепо его слушаться в надежде, что именно в этот раз он ненароком говорит и действует именем Кламма?

— Нет, — не согласилась трактирщица, — хотя с деловой, практической точки зрения такое поведение и было бы правильным, однако по отношению к Кламму оно было бы презренно и наказуемо, пробиться к Кламму оно бы тоже не помогло, а значит, и цели своей бы не достигло.

— *Но тогда выходит,* — *не унимался К.,* — *что согласие Кламма распознать нельзя, а не распознав его, нельзя ему и подчиняться, то есть подчиняться нельзя никогда. Следовательно, я имею полное право отказаться отвечать на вопросы.*

— *Нет,* — *возразила трактирщица,* — *вы ни при каких обстоятельствах не имеете права отказываться отвечать на вопросы, даже на вопросы господина секретаря. Кто вы такой, чтобы хоть в чем-то отказывать чиновнику? Конечно, отвечать на вопросы Кламма или на вопросы господина секретаря — это не одно и то же. Отвечать на них, и отвечать по правде, вы обязаны в любом случае, а вот предполагать и решать, кому вы отвечаете, Кламму или господину секретарю,* — *это уж ваше дело, хотя, разумеется, ваши предположения и решения на сей счет с необходимостью повлияют как на ваши ответы, так и на впечатление, которое они произведут.*

— *Может быть,* — *сказала хозяйка, как будто даже соглашаясь с К.* — *Ответственность, налагаемая ответами, столь велика и непредсказуема, что, возможно, и вправду лучше от всего отказаться, чем на себя такую ответственность взваливать.*]

— Спокойной ночи, — заявил К. — Любой допрос мне противен.

И он в самом деле направился к двери.

— Он и правда уходит, — почти со страхом сказал Момус хозяйке.

— Да не осмелится он, — отозвалась та, а больше К. ничего не услышал, потому что уже был в прихожей.

Из двери напротив тут же появился трактирщик, судя по всему, он наблюдал за прихожей через глазок. Ему пришлось поплотнее запахнуть полы своего сюртука, до того даже здесь, в прихожей, свирепствовал ветер.

— Что, уже уходите, господин землемер? — поинтересовался он.

— А вас это удивляет? — в тон ему откликнулся К.

— Да, — признался тот. — Разве вас не допрашивают?

— Нет, — ответил К. — Я не позволил себя допрашивать.

— Но почему? — изумился трактирщик.

— Потому что не знаю, с какой стати должен позволять себя допрашивать, подчиняясь не то розыгрышу, не то прихоти властей. Может, в другой раз, тоже из прихоти или желая поучаствовать в розыгрыше, я бы и согласился, но сегодня у меня охоты нет.

— Ну да, конечно, — кивнул трактирщик, но согласие было скорее вежливое, отнюдь не убежденное. — Надо впустить слуг в буфетную, — тут же спохватился он. — И так давно пора. Я только допросу не хотел мешать.

— Неужели, по-вашему, это настолько важно? — спросил К.

— О да! — подтвердил трактирщик.

— Выходит, не надо было мне отказываться? — спросил К.

— Нет, — отвечал трактирщик, — не стоило вам этого делать. — И поскольку К. выжидательно молчал, он, то ли в утешение, то ли просто чтобы поскорее уйти, добавил: — Ну-ну, из-за этого еще небеса не обрушатся…

— Да уж, — хмыкнул К. — По погоде вроде не похоже.

И они, посмеявшись, разошлись.

10
На дороге

К. вышел на открытое порывам лютого ветра крыльцо и глянул во тьму. А погода и впрямь нехорошая, дурная погода. В какой-то смутной связи с этим ему вспомнилось, как трактирщица уговаривала его подчиниться протоколу, а он устоял. Правда, она не слишком настырно уговаривала, исподтишка вроде даже наоборот, подбивала не подписывать, в конце концов он не знал, что лучше — стоять на своем или уступить. Такой, должно быть, у нее характер, интриганка она, к тому же и взбалмошная, как ветер, — разве поймешь, из какой дали и по чьей указке он дует?

Едва пройдя по дороге несколько шагов, он завидел вдали два покачивающихся огонька; эти приметы жизни воодушевили его, и он поспешил на свет, тем паче и огоньки вроде тоже двигались ему навстречу. Он и сам не знал, почему так огорчился, когда понял, что это помощники; как-никак они, очевидно посланные Фридой, все-таки вышли ему навстречу, и фонари, наконец-то

вырвавшие его из темноты и гудящей бури, судя по всему, были его собственные, однако он досадовал, ибо ждал встретить кого-нибудь чужого, а не этих старых знакомцев, что были для него обузой. Но оказалось, это не только помощники, из темноты между ними проступил и силуэт Варнавы.

— Варнава! — крикнул К. и протянул ему руку. — Ты ко мне?

Неожиданность встречи заставила его поначалу забыть обо всех неприятностях, которые Варнава успел ему причинить.

— К тебе, — отвечал Варнава с неизменной, как и прежде, приветливостью. — С письмом от Кламма.

— Письмо от Кламма! — повторил К., откидывая голову и поспешно выхватывая бумагу из рук Варнавы. — Посветите! — приказал он помощникам, которые уже и так облепили его с двух сторон, подняв каждый свой фонарь. Большой лист письма пришлось несколько раз сложить, чтобы защитить от ветра. Только после этого К. прочел:

«Землемеру в трактире „У моста”.

Произведенные вами доныне землемерные работы находят мое одобрение. Достойна по-

хвалы и работа помощников: вы хорошо умеете приставить их к делу. Ни в коем случае не ослабляйте усердия! Старайтесь успешно довести работы до конца! Перерывы в работе были бы для меня крайне огорчительны. Об остальном не тревожьтесь, вопрос жалованья будет решен в ближайшее время. По-прежнему не упускаю вас из виду».

К. поднял глаза от письма только после того, как помощники, читавшие куда медленнее, чем он, трижды прокричали «ура» и даже принялись размахивать фонарями в ознаменование хороших вестей.

— Угомонитесь! — бросил он им и обратился к Варнаве: — Это недоразумение.

Варнава не понял.

— Это недоразумение, — повторил К., и обычная здесь вечерняя усталость разом снова навалилась на него: путь до школы показался вдруг немыслимо далеким, а за спиной Варнавы незримо вставало все его семейство. Помощники по-прежнему висли на нем, да так, что пришлось оттолкнуть их локтями; и зачем только Фрида послала их ему навстречу, когда он ясно наказал ей держать их при себе! Дорогу домой он и один нашел бы, причем один куда проще, чем

в такой-то компании. Вдобавок ко всему на шее у одного из помощников болтался шарф, концы которого бились на ветру, уже несколько раз мазнув К. по физиономии, правда, второй помощник своими длинными, проворными, беспрестанно бегающими пальцами сразу же их отводил, но толку от этого было немного. Обоих, кстати, игра с концами шарфа, похоже, очень даже забавляла, как и вообще приводили в возбуждение буря, ночь, непогода.

— Прочь! — крикнул К. — Если уж вы вышли мне навстречу, почему палку мою не взяли? Чем мне теперь вас домой гнать?

Оба немедленно юркнули за спину Варнавы, вроде как испуганно, но не настолько, чтобы тотчас же не водрузить фонари на плечи своему защитнику, который, впрочем, немедленно их стряхнул.

— Варнава, — сказал К., и ему камнем легло на сердце чувство, что Варнава явно его не понимает; да, в спокойные времена его куртка красиво поблескивает, но, когда дело плохо, от него не исходит никакой подмоги, только безмолвное сопротивление, с которым толком и бороться нельзя, ибо как бороться с беззащитным, а улыбка у него хоть светлая, но свет этот греет ничуть не

больше, чем здесь, внизу, на студеном ветру, греет с неба мерцание звезд. — Смотри, что мне пишет господин начальник, — продолжил К., чуть ли не тыча письмом Варнаве в лицо. — Его же неверно осведомляют! Я ведь еще никаких землемерных работ не производил, а чего стоят помощники, ты и сам прекрасно видишь. Допускать перерывы в работе, которая не делается, невозможно, так что я даже огорчение начальника вызвать не могу, не то что снискать его одобрение. А не тревожиться не могу и подавно.

— Я так и передам, — сказал Варнава, все это время напряженно смотревший на К. поверх письма, которое, впрочем, он все равно прочесть бы не смог, слишком оно было близко, под самым его носом.

— Да ну! — досадливо отмахнулся К. — Ты лишь обещаешь, но можно ли тебе вправду верить? А мне до смерти нужен посыльный, на которого можно положиться, как раз сейчас, как никогда, нужен. К. даже губы кусал от нетерпения.

— Господин, — проговорил Варнава и с такой мягкой покорностью слегка склонил голову, что К. опять едва не поддался соблазну ему поверить, — разумеется, я все передам, и то, что ты мне в прошлый раз наказал, тоже передам в

точности.

— Как?! — вскричал К. — Да разве ты этого не передал еще? Разве не был ты в Замке на следующий же день?

— Нет, — отвечала Варнава, — батюшка мой совсем старый уже, ты сам видел, а тут работы много навалилось, пришлось помогать, но теперь-то я совсем вскорости как-нибудь снова в Замок пойду.

— Да что же ты творишь, голова садовая! — не унимался К. и даже по лбу себя пристукнул. — Разве дела Кламма для тебя не важнее всего на свете? У тебя такая важная, такая почетная должность посыльного, а ты так безобразно ее справляешь! Кому какое дело до работы твоего батюшки! Кламм ждет вестей, а ты, вместо того чтобы со всех ног в Замок к нему мчаться, остаешься дома навоз разгребать!

— Отец мой сапожник, — невозмутимо то ли возразил, то ли уточнил Варнава. — Он заказ от Брунсвика получил, а я ведь у отца подмастерье.

— Сапожник, заказ, Брунсвик!.. — с ожесточением выкрикнул К., словно изничтожая каждое из этих слов на веки вечные. — Да кому нужны сапоги на ваших клятых, вечно пустых дорогах?! И какое мне дело до вашего сапожничества, я тебе

доверил весть передать — и не для того, чтобы ты на сапожной скамеечке вмиг о ней позабыл, а чтобы сразу отнес ее господину начальнику!

К., впрочем, почти было успокоился, сообразив, что Кламм, вероятно, все это время отнюдь не в Замке находился, а в «Господском подворье», но тут Варнава сызнова его разозлил, начав слово в слово повторять первое послание К. в доказательство того, как хорошо он его запомнил.

— Все, хватит, знать больше ничего не желаю, — оборвал он Варнаву.

— Не гневайся, господин, — промолвил Варнава и, словно неосознанно наказывая К., хотя на самом деле, должно быть, просто опешив от его криков, потупил голову, пряча глаза.

— Да не гневаюсь я, — сказал К., и тревога, которую он старался выместить на Варнаве, разом обернулась против него самого. — Я не на тебя гневаюсь, просто, значит, так уж мне выпало, что для важных дел у меня только такой вот посыльный.

— Видишь ли, — с трудом вымолвил Варнава, и казалось, что он, защищая свою честь посыльного, говорит сейчас больше, чем дозволено, — Кламм ведь вестей не ждет, он, наоборот, сердится, когда я прихожу, однажды даже сказал: «опять новые

вести», а обычно, едва завидев меня издали, вообще встает, уходит в соседнюю комнату и меня не принимает. Кстати, и установления такого нет, чтобы мне каждое поручение сразу исполнять, будь такое установление, я бы, конечно, ходил немедленно, но установления такого нету, я если и вовсе никогда не приду, мне никто пенять не станет. Ведь если я какое поручение исполняю, так только добровольно.

— Хорошо, — сказал К., пристально глядя на Варнаву и в упор не замечая помощников, которые, прячась у того за спиной, поочередно, как из укрытия, медленно выглядывали то из-за одного плеча, то из-за другого, чтобы затем, будто бы страшно при виде К. перепугавшись, с легким, словно при порыве ветра, присвистом стремительно исчезнуть, — причем они давно вот этак забавлялись. — Как оно у Кламма обстоит, я не знаю и, что ты так уж верно способен оценить там обстановку, сомневаюсь, а даже если и способен, мы вряд ли в силах что-либо улучшить. Однако исполнить поручение и передать весть ты можешь, и вот об этом я тебя сейчас прошу. Совсем короткую весть. Сможешь ли ты передать ее завтра утром и тогда же, утром, принести мне ответ или по крайности рассказать, как тебя с этой ве-

стью приняли? Сможешь, захочешь ты для меня это сделать? Ты меня этим очень бы выручил. И быть может, у меня выпадет случай по заслугам тебя отблагодарить, или, может, у тебя сейчас есть желание, которое я мог бы исполнить?

— Разумеется, я выполню поручение, — сказал Варнава.

— И ты постараешься выполнить его как можно лучше, постараешься передать весть самому Кламму и от самого Кламма ответ получить, и все это завтра же утром, до обеда, ты постараешься?

— Сделаю все, что смогу, — ответил Варнава. — Но я всегда так все исполняю.

— Не будем больше спорить, — бросил К. — Вот что ты должен передать: «Землемер К. просит господина начальника о разрешении переговорить с ним лично, он заранее согласен на любые условия, с какими подобное разрешение может быть сопряжено. Просьба его вызвана тем, что все посредники между ним и господином начальником никуда не годятся, в доказательство он только сообщит, что никаких землемерных работ до сих пор даже не начинал и, если верить словам старосты, никогда и не начнет; вот почему последнее письмо господина начальника он читал со смесью отчаяния и стыда, и только

личная встреча способна теперь помочь делу. Землемер осознает, сколь многого он просит, но постарается сделать для господина начальника помеху своего присутствия как можно менее ощутимой, готов смириться с любым ограничением во времени, а в случае необходимости и с установлением определенного количества слов, которое будет отпущено ему для беседы, он полагает, что даже десяти слов ему бы хватило. С глубочайшим почтением и в крайнем нетерпении ожидает он вашего решения». — Забывшись, К. говорил с такой горячностью, будто стоит под дверью Кламма и обращается к привратнику. — Получилось куда длиннее, чем я думал, — сказал он затем, — но все равно ты должен передать это устно, письмо я сейчас писать не хочу, оно только проваландается в бесконечной бумажной волоките.

Так что К. по-быстрому, для одного Варнавы, нацарапал все, что надлежало сказать, на памятке, разложив листок на спине у одного из помощников, покуда другой светил, но писал, по сути, уже под диктовку Варнавы, который все слово в слово запомнил и теперь, как школяр, повторял наизусть, не давая помощникам сбить себя с толку заведомо неверными подсказками.

— Память у тебя и впрямь незаурядная, — сказал К., вручая Варнаве записку, — но теперь постарайся незаурядно проявить себя и в остальном. А что насчет желаний? Разве нет их у тебя? Скажу прямо: в свете судьбы моего поручения у меня было бы спокойнее на душе, если бы у тебя все же какие-то желания появились.

Варнава сперва помолчал, потом сказал:

— Сестры мои велели тебе кланяться.

— Сестры? — переспросил К. — Ах да, рослые такие, крепкие…

— Обе велят тебе кланяться, — продолжил Варнава, — но особенно Амалия, это она сегодня принесла мне для тебя письмо из Замка.

Ухватившись прежде остальных именно за эти слова, К. спросил:

— А с моим поручением она могла бы в Замок сходить? Или, может, вы вдвоем пойдете и каждый по очереди счастья попытает?

— Амалии в канцелярии заходить нельзя, — сказал Варнава, — иначе она с удовольствием бы все сделала.

— Я, наверное, завтра к вам зайду, — пообещал К., — но сперва ты придешь ко мне с ответом. Я буду ждать тебя в школе. Сестрам своим тоже привет от меня передай.

Казалось, обещание К. Варнаву прямо-таки окрылило: вдобавок к рукопожатию он на прощание в знак признательности даже слегка погладил К. по плечу. И все повторилось будто впервые, когда Варнава во всем своем блеске появился в трактире среди мужичья, и К. воспринял его прикосновение как некое отличие, правда, на сей раз уже с улыбкой. Смягчившись душой, он на обратном пути позволил помощникам вытворять все, что тем заблагорассудится.

11
В школе

Домой он пришел, продрогнув насквозь, повсюду была темень, свечи в фонарях догорели. Ведомый помощниками, которые успели здесь освоиться, он ощупью пробрался в классную комнату.

— Первое ваше похвальное деяние, — буркнул он помощникам, припомнив письмо Кламма, а из угла, со сна, уже кричала Фрида:

— Дайте К. выспаться! Не мешайте ему спать!

Вот, значит, насколько К. владеет всеми ее помыслами, хоть она, сморенная усталостью, и не смогла его дождаться. Тотчас зажгли свет, правда, фитилек сильно выкручивать не стали — керосин в лампе был на исходе. Вообще в молодом хозяйстве много чего недоставало. Печку протопили, и в большой классной комнате, служившей заодно и гимнастическим залом — повсюду стояли и свисали с потолка гимнастические снаряды, — после того как в топку ушли все приготовленные дрова, какое-то время, как уверяли К., было очень даже тепло, но, к сожалению, потом все снова

выстудилось. Правда, основательный запас дров имелся в сарае, однако сарай был заперт, а ключ забрал учитель, указав, что эти дрова только для отопления во время занятий. Впрочем, было бы терпимо и так, будь в помещении кровати, чтобы укрыться от холода. Однако и по этой части не нашлось ничего, кроме одного-единственного соломенного тюфяка, без перины, только с двумя жесткими грубошерстными одеялами, которые и не грели почти, — тюфяк, правда, Фрида с похвальной аккуратностью чистенько застелила своей шерстяной шалью. Но и на этот убогий тюк с соломой с вожделением зарились помощники, впрочем, без всякой надежды когда-либо действительно на него улечься. Фрида смотрела на К. с боязнью; конечно, в трактире «У моста» она успела доказать, что способна навести уют и в самой жалкой каморке, однако здесь, совсем без гроша, она мало что смогла сделать.

— Других украшений в доме нет, только гимнастические снаряды, — сказала она с вымученной, сквозь слезы улыбкой.

Однако по части главных бед, отсутствия спальных мест и топлива, она, попросив К. потерпеть немного, обещала к завтрашнему дню все устроить. Ни словом, ни намеком, ни жестом не дала

она понять, что затаила в сердце хоть малейшую горечь или обиду на К., хотя ведь только из-за него, как он сам поневоле себе признался, ей пришлось покинуть «Господское подворье», а теперь и трактир «У моста». Вот почему он старался все находить вполне сносным, что вообще-то и не трудно было, ибо мыслями он блуждал где-то вместе с Варнавой, слово в слово повторяя свою весть, но не так, как передал ее Варнаве, а так, как, по чаяниям его, весть прозвучит в ушах Кламма. Вдобавок он, уже вполне искренне, порадовался кофе, который Фрида сварила для него на спиртовке, и, теперь, прислонясь к остывающей печи, следил за многоопытными движениями ее ловких рук, когда она все той же своей неизменной белой скатеркой накрыла кафедральный, на небольшом возвышении расположенный учительский стол, поставила на него красивую, с цветастым узором чашку, а рядом — хлеб, сало и даже баночку сардин. Наконец все было готово, Фрида, оказывается, сама еще не ела, дожидалась К. Нашлось и два стула, К. с Фридой сели к столу, помощники устроились у них в ногах на подиуме, но покоя от них, как всегда, не было, вот и сейчас, за едой, они беспрестанно мешали; хотя их ничем не обделили и с тем, что им дали, они

еще далеко не управились, оба все равно то и дело привставали, заглядывая на стол и пытаясь углядеть, много ли осталось и не перепадет ли им что-нибудь еще. К., впрочем, не было до них никакого дела, и, если бы не смех Фриды, он бы и вовсе их не замечал. Но теперь, ласково накрыв ее руку своей, он тихо спросил, почему она все им спускает и даже на откровенные безобразия смотрит как на невинные шалости. Ведь этак от них в жизни не отделаться, тогда как надо бы, вполне в соответствии с их поведением, держать их в ежовых рукавицах и либо вышколить, либо, что гораздо вернее, да и лучше, сделать им службу до того невыносимой, чтобы они не выдержали и сбежали сами. Не похоже, чтобы жизнь в школе обещала быть раем, впрочем, она и продлится недолго, но все издержки показались бы сущей ерундой, не будь здесь помощников и останься они с Фридой в пустом доме одни. Разве не замечает она, как эти холопы день ото дня наглеют, словно именно ее, Фриды, присутствие придает им нахальства, а заодно и уверенности, что при ней К. не посмеет наказать их по заслугам. Кстати, ведь наверняка есть какое-нибудь совсем простое средство раз и навсегда без всяких церемоний от них избавиться, и, может, Фриде это

средство даже известно, ведь она хорошо знакома со здешней жизнью. Да и самим помощникам, если их как-нибудь выставить, это будет только на руку, как сыр в масле они тут не катаются, и даже привычку предаваться безделью им теперь, по крайней мере отчасти, придется забросить, да-да, им придется работать, а вот Фриде, после стольких переживаний последних дней, пора себя поберечь, и теперь он, К., сам займется поисками выхода из их нелегкого положения. Однако если помощники уйдут, для него это будет такое облегчение, что он готов с радостью справлять свои обязанности смотрителя сам, помимо всех прочих своих дел.

Фрида, слушавшая его очень внимательно, осторожно погладила его по плечу и сказала, что и она совершенно того же мнения, но проказы помощников он, наверно, принимает слишком близко к сердцу, они ребята молодые, веселые, ну да, простоватые, впервые в услужении у приезжего, после строгостей замка вырвались на волю, вот кровь и играет, они из-за этого все время малость дурные и шалые, вот иной раз и наделают глупостей, на которые, конечно, впору сердиться, но куда разумнее просто посмеяться. Она, к примеру, иногда ну никак не может удержать-

ся от смеха. Хотя она полностью согласна с К.: самое лучшее их спровадить и остаться вдвоем, наедине друг с другом. Тут она придвинулась к К. еще поближе и уткнулась лицом ему в плечо. И уже оттуда, словно из укрытия, бормоча столь неразборчиво, что К. пришлось склониться, лишь бы ее лепет разобрать, договорила: она не знает средства избавиться от помощников и боится, что все ухищрения К. тоже окажутся бесполезны. Сколько ей известно, К. ведь сам потребовал себе помощников, вот он их и получил и теперь обязан держать. А потому лучше всего относиться к ним полегче, помощники народец незлобивый, легкий, так их и надобно принимать.

К. такой ответ не устроил, полушутя-полусерьезно он заметил, что Фрида, не иначе с помощниками в сговоре или по крайней мере питает к ним большую слабость, что ж, парни они и впрямь смазливые, но нет такого существа, от которого при желании нельзя избавиться, и на примере помощников он ей это докажет.

Фрида на это сказала, что, если такое у него и впрямь получится, она будет очень ему благодарна. Кстати, смеяться над помощниками она впредь не станет и вообще без дела слова с ними не скажет. Да она уже и не находит в них ничего

смешного — и вправду приятного мало, когда двое мужиков постоянно за тобой наблюдают, она теперь научилась смотреть на это его, К., глазами. И действительно, она слегка вздрогнула, когда помощники, теперь оба разом, высунулись из-под стола, отчасти желая проверить запасы провизии, отчасти чтобы понять, о чем это хозяева беспрестанно шепчутся.{14}

К. не преминул этим воспользоваться, чтобы лишний раз показать Фриде всю бесцеремонность помощников; он привлек Фриду к себе, и так, в обнимку, они закончили ужин. Пора была ложиться спать, все очень устали, один из помощников уснул прямо за едой, второго это необычайно забавляло, он норовил обратить внимание хозяев на дурацкую физиономию спящего, но ему это не удавалось, с безучастным видом Фрида и К. сидели наверху за столом, напрочь не замечая его ужимок. Впрочем, и ложиться спать в холоде, который становился невыносимым, не

{14} Варианты: 2.14

…отчасти желая проверить запасы провизии, отчасти чтобы понять, о чем это хозяева беспрестанно шепчутся. [*К. не преминул этим воспользоваться, притянул Фриду к себе и шепнул, что он, мол, боится, как бы у него вскоре не появился повод выгнать помощников из дома палкой, но не столько из-за себя, сколько из-за Фриды.*]

К. не преминул этим воспользоваться, чтобы лишний раз показать Фриде всю бесцеремонность помощников…

хотелось, в конце концов К. заявил, что надо бы протопить еще, иначе им просто не уснуть. Он принялся искать топор, помощники успели где-то один приметить и тотчас услужливо принесли, после чего все направились к сараю. Хлипкая дверь почти сразу же с треском поддалась; в полном восторге, словно ничего прекраснее им в жизни делать не приходилось, помощники, толкаясь и погоняя друг дружку, принялись охапками таскать дрова в класс, вскоре там выросла целая груда поленьев, немедля и затопили, все разлеглись вокруг печки, одно одеяло, чтобы в него завернуться, получили помощники, его им вполне должно было хватить, ибо условились, что спать они будут по очереди, кто-то один должен следить за печкой и поддерживать огонь, а вскоре около печки сделалось так жарко, что и одеяла не понадобились, лампу погасили, и, блаженно растянувшись в тепле и покое, Фрида и К. погрузились в сон.

Когда ночью, разбуженный каким-то шорохом, К. проснулся и первым, еще сонным, неуверенным движением потянулся к Фриде, он вместо нее обнаружил рядом с собой одного из помощников. Это было, — очевидно, вследствие особой обостренности чувств, какая свойственна всяко-

му внезапно разбуженному человеку, — самое страшное потрясение из всех, пока что испытанных им в деревне. С криком он вскинулся и, не успев сообразить, что к чему, так врезал помощнику кулаком, что тот взвыл от боли и захныкал. Все, впрочем, тут же разъяснилось. Вроде бы Фриду разбудила — или, по крайней мере, ей так показалось — какая-то довольно крупная тварь, вероятно кошка: прыгнула на грудь и сразу убежала. Фрида встала, зажгла свечу, обыскала всю комнату. А один из помощников этим и воспользовался, очень ему хотелось хоть чуток понежиться на тюфяке, о чем теперь пришлось горько пожалеть. Фрида так никого и не обнаружила, может, ей вообще все только почудилось, и она вернулась к К., но мимоходом, словно напрочь позабыв о вечернем разговоре, ласково потрепала по голове скорчившегося от боли, жалобно скулящего помощника. К. ничего ей по этому поводу не сказал, только крикнул помощникам, чтобы прекратили топить, — они уже почти все дрова извели, и в комнате было не продохнуть.

Наутро все они проснулись, лишь когда в школу пришли первые дети и с любопытством обступили их общее ложе. Было это весьма неприятно,

ибо вследствие большой жары, которая, впрочем, к утру снова сменилась ощутимой прохладой, все они ночью разоблачились до белья, а едва начали поспешно одеваться, в дверях уже появилась Гиза, учительница, молодая, высокая, красивая блондинка, только вся будто слегка подмороженная. Она явно была предупреждена о новом смотрителе и, должно быть, получила от учителя указание быть с ним построже, ибо прямо с порога заявила:

— Этого я не потерплю! Ничего себе порядки! Да, вам разрешено ночевать в классной комнате, но я-то не обязана вести уроки в вашей спальне! Тоже мне, семейка школьного смотрителя, до полудня в кроватях нежатся!

Конечно, тут есть на что возразить, особенно в отношении семейки и кроватей, подумал К., спешно составляя в угол на пару с Фридой — ждать проку от помощников было бессмысленно, те, по-прежнему лежа на полу, только таращились на учительницу и детей — гимнастические брусья и коня, после чего, завесив получившееся сооружение одеялами, им удалось отгородить небольшое пространство, где можно было укрыться от взглядов детей и хотя бы одеться. Покоя, впрочем, им все равно не дали,

сперва Гиза вознегодовала, что нет свежей воды в умывальнике, — К., собравшийся было вообще перетащить умывальник к себе, чтобы им с Фридой помыться, от этого намерения, разумеется, спешно отказался, лишь бы не раздражать мегеру учительницу, но и эта жертва нисколько не помогла, ибо вскоре разразился скандал похуже: к несчастью, они позабыли убрать с учительского стола остатки ужина, которые теперь одним движением линейки были сметены на пол; госпожу учительницу нисколько не заботило, что масло из-под сардин и кофейная гуща лужей растекались по полу, что от кофейника остались одни черепки, на то и школьный смотритель, чтобы за порядком смотреть и все убирать. Полуодетые, облокотившись на брусья, К. и Фрида с грустью наблюдали за уничтожением их скудного имущества, тогда как помощники, даже и не думая одеваться, к вящей радости ребятни выглядывали снизу, просунув головы в прорехи между одеялами. Для Фриды горше всего, конечно, оказалась потеря кофейника, она была просто убита, и, лишь когда К., желая ее утешить, сказал, что пойдет к старосте и потребует замены, она вдруг настолько овладела собой, что как была, в одной ночной рубашке и нижней юбке, выбежала из-за

одеял, дабы подобрать и спасти от дальнейшего осквернения хотя бы скатерку. И ей это удалось, несмотря на то что Гиза, пытаясь ее отогнать и застращать, колотила по столу линейкой, как безумная. Когда К. и Фрида наконец оделись сами, им еще пришлось то понуканиями, а то и пинками заставлять одеваться помощников, которые от всего происходящего впали в полную оторопь, в конце концов пришлось частично их одевать. Когда наконец они сообща и с этим управились, К. распорядился первоочередными работами: помощникам велел натаскать дров и затопить, но сперва не в этой, а в другой классной комнате, откуда грозили еще худшие напасти, ибо там, вероятно, уже приступал к занятиям учитель; Фриде поручил срочно прибрать все с пола, а сам взялся принести воды и вообще присмотреть за порядком; о завтраке пока нечего было и думать. Но прежде всего надо было разведать, какое сейчас настроение у учительницы, поэтому К. решил выйти первым, остальные должны были последовать за ним лишь по его зову, он принял такое решение, с одной стороны, потому, что не хотел заведомыми глупостями помощников усугублять и без того каверзное положение, с другой же — решил по возможности поберечь Фриду: ее

гордость от этого страдала, его — ничуть, Фрида вообще очень ранимая, он — нисколько, она переживала из-за сиюминутных мелких пакостей, он же — только за Варнаву и неясное будущее. Фрида все его распоряжения исполняла неукоснительно, она вообще, можно сказать, в рот ему смотрела. Едва он вышел в класс, учительница под смех детей, который с этой минуты вообще почти не прекращался, поинтересовалась:

— Ну что, выспались?

А когда К., ничего на это не ответив, потому что в сущности это ведь был и не вопрос, молча направился к умывальнику, учительница спросила:

— Что вы сделали с моей киской?

Крупная, старая, донельзя раскормленная кошка, растянувшись во всю длину, лежала на столе, а учительница пристально изучала ее лапу, очевидно слегка поврежденную. Значит, Фрида права, именно эта кошка ночью если на нее и не спрыгнула, ибо прыгать ей давно уже не по годам, то, видимо, через нее переползла или перевалилась и, напуганная присутствием людей в обычно пустующем по ночам школьном здании, в панике куда-то забилась и, должно быть, как раз поэтому, давно разучившись шмыгать и

прятаться, с непривычки повредила себе лапу. К. попытался все это спокойно учительнице объяснить, но та из его объяснений извлекла лишь итог и заявила:

— Ну конечно, вы ее покалечили, хорошо же вы начинаете. Вот, взгляните! — подозвала она К. к столу и, прежде чем он успел опомниться, провела кошачьей лапой ему по руке; и, хотя когти у кошки давно уже затупились, учительница, на сей раз, видимо нисколько свою любимицу не щадя, надавила на лапу с такой силой, что на руке у К. тотчас выступили кровавые царапины. — А теперь идите и работайте, — раздраженно сказала она, снова склоняясь над кошкой.

Фрида, которая вместе с помощниками из-за брусьев наблюдала за происходящим, при виде крови вскрикнула. Но К. только показал детям свою окровавленную кисть и бросил:

— Смотрите, что натворила со мной эта хитрая, злобная бестия!

Разумеется, обращался он при этом вовсе не к детям, чьи крики и гогот заполнили класс безраздельно, не нуждаясь ни в новых поводах, ни в поощрении, ни тем более в попытках как-то воздействовать или повлиять на них осмысленным словом. Но поскольку и учительница, очевид-

но кровавым отмщением утолив свою первую ярость, ответила на адресованный ей выпад только коротким косым взглядом и снова склонилась над кошкой, К. позвал Фриду и помощников, и работа закипела.

Когда К., вынеся из-под умывальника ведро грязной воды и принеся чистой, принялся выметать классную комнату, из-за парты вдруг вышел мальчик лет двенадцати, тронул К. за руку и сказал что-то совсем уж неразборчивое, до того невообразимый шум царил в классе. И шум вдруг разом стих. К. обернулся. То, чего он опасался все утро, наконец свершилось. В дверях стоял учитель, этот хлипкий человечек, и обеими руками держал за шкирки помощников. Очевидно, он сцапал их в дровяном сарае, ибо сейчас он громовым голосом, с грозной паузой перед каждым словом вскричал:

— Кто посмел взломать дровяной сарай? Покажите мне этого мерзавца, я его в порошок сотру!

В эту секунду Фрида, спешившая замыть пол у учителя под ногами, поднялась, оглянулась на К., словно оглядка эта придавала ей сил, и сказала с неожиданной, чуть ли не прежней своей слегка надменной уверенностью во взоре и осанке:

— Это сделала я, господин учитель. Я не зна-

ла, как быть. Если с утра классы должны быть натоплены, значит, надо было открыть сарай, идти к вам ночью за ключом я не осмелилась, жених мой был в «Господском подворье», ему позволили там переночевать, вот и пришлось мне все решать самой. Если я что неправильно сделала, простите мне по моей неопытности, мне и так от жениха досталось, он как увидел, что стряслось, сильно ругался. Даже запретил мне с утра печки растапливать, сказал, дескать, раз вы сарай заперли, значит, раньше вашего прихода затапливать нельзя. Так что не топлено по его вине, а что сарай взломан — это уж по моей.

— Кто взломал дверь? — спросил учитель у помощников, все еще тщетно пытавшихся вырваться из его цепкой хватки.

— Хозяин, — сказали оба и для пущей ясности ткнули в К. пальцами.

Фрида только рассмеялась, и смех этот казался убедительнее всяких ее слов, после чего принялась выжимать в ведро тряпку, которой только что мыла пол, будто все недоразумения она уже разъяснила, а слова помощников — просто неудачная шутка напоследок, и, лишь снова опустившись с тряпкой на колени, добавила:

— Помощники наши — все равно что дети,

может, не по годам, но по уму-то им точно впору за этими партами сидеть. Я сама вчера вечером дверь топором взломала, дело нехитрое, помощники мне не понадобились, они бы только мешались зря. Но когда ночью жених мой вернулся и во двор вышел посмотреть, что я натворила, а может, и починить, помощники за ним увязались, должно быть, боялись тут одни оставаться, увидели, как он с открытой дверью возится, — вот теперь и говорят, ну дети же, что с них взять…

Помощники, слушая объяснения Фриды, то и дело качали головами, упорно указывали на К. и ужимками всячески пытались Фриду разубедить, однако, поняв, что им это не удастся, в конце концов смирились, расценили слова Фриды как приказ и потому на повторный вопрос учителя отвечать вообще не стали.

— Так, — протянул учитель. — Выходит, вы солгали? Или, по меньшей мере, по недомыслию оговорили господина смотрителя?

Помощники по-прежнему безмолвствовали, однако их дрожь и запуганный вид казались более чем недвусмысленным подтверждением их виновности.

— Тогда я вас сейчас проучу тростью, — объявил

учитель и немедля послал одного из мальчишек в соседний класс за своей камышовой тростью. Однако едва он занес трость над головой, Фрида выкрикнула:

— Да правду они сказали! — и, в отчаянии швырнув тряпку в ведро, так что вода выплеснулась, убежала в угол за брусья, где и спряталась.

— Ну что за народ, врун на вруне! — посетовала учительница, которая тем временем закончила перевязку кошачьей лапы и уложила кошку себе на колени, где та, впрочем, едва помещалась.

— Значит, остается только господин школьный смотритель, — проговорил учитель, отталкивая от себя помощников и обращая взор на К., который все это время следил за происходящим молча, опершись на швабру. — Тот самый господин смотритель, который из трусости спокойно готов позволить, чтобы за его хулиганские выходки безвинно расплачивались другие.

— Что ж, — отозвался К., успев про себя отметить, что вмешательством Фриды первая, самая грозная вспышка учительского гнева все же слегка погашена, — помощников мне не жаль, легкая взбучка им совсем не повредит, если их раз десять пожалели, когда по справедливости их полагалось поколотить, один-то разок могли бы

пострадать и безвинно. Но я и без того все равно бы промолчал, мне это больше по душе, лишь бы избежать прямого столкновения с вами, господин учитель, да и вам, быть может, так оно гораздо лучше. Но теперь, коли уж Фрида пожертвовала мною ради помощников, — тут К. сделал паузу, и в наступившей тишине из-за одеял донеслись громкие всхлипы Фриды, — то, конечно, придется с этим делом разбираться.

— Неслыханно! — возмутилась учительница.

— Я совершенно того же мнения, мадемуазель Гиза, — сказал учитель. — Вас, смотритель, за вопиющее нарушение служебных обязанностей я немедленно увольняю, наказание вам будет вынесено позднее, а сейчас убирайтесь отсюда сию секунду со всеми вашими пожитками. Для нас это будет большое облегчение, к тому же мы наконец-то сможем приступить к занятиям. Так что живо!

— Да я с места не сдвинусь, — сказал К. — Вы мой непосредственный начальник, но определили меня на эту должность не вы, а господин староста, и увольнение я приму только от него. Он же предоставил мне это место вовсе не для того, чтобы я тут со своими людьми замерзал, а — как вы сами изволили заметить — во избежание с

моей стороны необдуманных, отчаянных шагов. Уволить меня без предупреждения означало бы поступить совершенно против его намерений; и, пока я из его собственных уст не услышу уверений в обратном, никто меня разубедить не сможет. Кстати, и вам, вероятнее всего, будет только немалая выгода, если я вашему скоропалительному, необдуманному приказу не подчинюсь.

— Значит, не подчинитесь? — спросил учитель.

К. только головой покачал.

— Подумайте хорошенько, — сказал учитель. — Ваши решения не всегда удачны, вспомните хотя бы вчерашний день, когда вы отказались давать показания на допросе.

— С какой стати вы сейчас об этом упоминаете? — спросил К.

— Да захотелось, вот и упоминаю, — вымолвил учитель. — Итак, последний раз повторяю: вон!

Когда и эти слова на возымели действия, он подошел к учительскому столу и принялся тихо совещаться с учительницей; та что-то лепетала насчет полиции, но учитель только отмахнулся, в конце концов они договорились, учитель велел детям перейти в другую классную комнату, они, дескать, будут там заниматься вместе с его

классом, неожиданная перемена всех обрадовала, под шум, смех и крики комната мгновенно опустела,{15} учитель с учительницей покинули ее последними. Учительница несла классный журнал, а на нем всею тушей возлежала напрочь безучастная ко всему кошка. Вообще-то учитель был не прочь оставить кошку здесь, но его осторожные намеки в этом смысле учительница решительно отвергла, сославшись на жестокость К., выходило, что К. вдобавок ко всем своим злодеяниям теперь еще и этой кошкой учителю насолил. Наверное, и это тоже повлияло на суровую заключительную тираду, с которой учитель, уже от двери, обратился к К.:

— Не по своей воле, а только по необходимости барышня вынуждена вместе с детьми покинуть этот класс, так как вы самым злостным образом отказались подчиниться моему приказу об увольнении, и никто не вправе требовать от нее, молоденькой девушки, чтобы она давала уроки посреди вашей грязной семейной кухни.

{15} Варианты: 2.15

…под шум, смех и крики комната мгновенно опустела, [*последними задержались учитель, учительница и четверо оставленных ею детей; кошку, эту по-прежнему недвижимую, ко всему и вся безучастную тушу, водрузили на небольшие носилки, после чего четверо детей медленным шагом вынесли ее за дверь.*] учитель с учительницей покинули ее последними.

Следовательно, вы остаетесь в одиночестве и, не смущаясь более присутствием ни единого порядочного человека, можете располагаться здесь, как вам заблагорассудится. Только долго это не протянется, я вам ручаюсь. — И с этими словами он захлопнул дверь.

12
Помощники

Едва все вышли, К. сказал помощникам:

— Подите вон!

Обескураженные столь необычным приказом, они подчинились, но, как только К. запер за ними замок, немедленно запросились обратно и принялись, повизгивая и скуля, стучаться в дверь.

— Вы уволены! — крикнул им К. — Никогда впредь я не возьму вас на службу.

Слова эти пришлись им совсем не по нраву, и они забарабанили в дверь руками и ногами.

— Пусти нас назад, хозяин! — вопили они, как будто К. — спасительная суша, а они там, за дверью, гибнут в бурных волнах.

Но К. оставался неумолим и с нетерпением ждал, когда же несусветный шум заставит учителя вмешаться. Что вскорости и случилось.

— Да впустите вы ваших проклятых помощников! — заорал учитель.

— Я их уволил, — заорал в ответ К., понимая, что тем самым поневоле и чуть ли не в назидание учителю показывает, каково оно бывает, когда

у человека достает сил не только объявить об увольнении, но и добиться выполнения своего приказа.

Учитель принялся увещевать помощников добрым словом: пусть, мол, спокойно подождут, рано или поздно К. все равно вынужден будет их впустить. После чего ушел. Может, после этого они бы и в самом деле угомонились, если бы К. снова им не крикнул, что уволены они окончательно и ни малейшей надежды на то, что их возьмут обратно, нет и не будет. В ответ они подняли шум пуще прежнего. Снова явился учитель, на сей раз ни в какие переговоры вступать не стал, а попросту выгнал их на улицу, очевидно пригрозив им все той же камышовой тростью.

Вскоре они появились под окнами гимнастического класса, барабаня по стеклам и что-то крича, однако слов было не разобрать. Но и там они оставались недолго — в глубоких сугробах им тяжело было прыгать, как требовало того снедавшее их беспокойство. Поэтому они устремились к решетке школьной ограды, вскочили на ее каменный цоколь, откуда, кстати, им легче было, хоть и издали, заглядывать в класс, и то перебегали взад-вперед, хватаясь для опоры за прутья, то замирали, в немой мольбе простирая

к К. руки. За этим занятием, невзирая на всю его тщету, оба провели довольно много времени, они были словно в ослеплении и, должно быть, не прекратили своих усилий даже после того, как К. опустил шторы на окнах, лишь бы избавиться от зрелища их ужимок и прыжков.

В полумраке, разом окутавшем комнату, К. подошел к брусьям, чтобы взглянуть на Фриду. Под его взором та поднялась, привела в порядок волосы, вытерла мокрое от слез лицо и молча стала варить кофе. Хотя ей и так все было известно, К. официальным тоном уведомил ее, что помощников он уволил. Она только кивнула. Сидя за школьной партой, К. следил за ее усталыми движениями. Свежесть и решительность — вот что прежде неизменно сообщало красоту ее тщедушному телу, теперь же от этой красоты не осталось и следа. Нескольких дней совместной жизни с К. оказалось достаточно, чтобы свершить с ней такую разительную перемену. Видно, работа за стойкой — этот тяжкий труд — была ей куда больше по душе. Или все-таки отлучение от Кламма стало истинной причиной того, что она поникала на глазах? Не иначе именно близость Кламма окутывала весь ее облик дымкой шального и вздорного соблазна, вот К., поддавшись

соблазну, и рванул ее к себе, а теперь она увядала у него в руках.{16}

— Фрида! — позвал ее К.

Она тотчас же отставила кофейную мельницу и села рядом с К. за парту.

— Ты сердишься на меня? — спросила она.

— Нет, — ответил К., — мне кажется, ты не можешь иначе. Тебе хорошо жилось в «Господском подворье». Надо было оставить тебя там.

— Да, — проговорила Фрида, понуро уставясь прямо перед собой, — надо было меня там оставить. Я недостойна жить с тобой. Избавившись от меня, ты бы достиг всего, чего хочешь. А теперь ради меня ты вынужден подчиняться самодуру учителю, принял эту жалкую должность, столько сил тратишь, чтобы добиться разговора с

{16} Варианты: 2.16

…а теперь она увядала у него в руках.

[*— Я знаю, — сказала вдруг Фрида, — уйди я от тебя, тебе было бы только лучше. Но если вдруг мне придется уйти, это разобьет мне сердце. И все же, будь такое возможно, я бы так и сделала, однако оно невозможно ~~и я рада, что невозможно~~, по крайней мере здесь, в деревне, невозможно. Как невозможно и помощникам от тебя уйти. Напрасно ты надеешься, будто навсегда их выгнал!*

— Вот уж на это я, безусловно, надеюсь, — заметил К., сочтя за благо прочих рассуждений Фриды не касаться, какая-то неуверенность мешала ему, слишком грустно, с каждым днем все грустнее становилось ему смотреть на эти тщедушные плечи, на эти слабые руки, натужно вращавшие сейчас ручку кофейной мельницы, зажатой между острых, худых коленей. — Помощники больше не вернутся. Про какие это невозможности ты там толкуешь?

Фрида прекратила работу и смотрела на К. долгим, затуманенным от слез взглядом.

— Милый, — сказала она, — только пойми меня правильно. Не мною так установлено, я просто объясняю тебе все как есть, когда ты этого требуешь, а еще потому, что иногда мне так легче оправдать свое поведение, которое иначе покажется тебе непонятным да и с моей любовью к тебе несовместимым. Ты ведь чужак, поэтому ни на что здесь притязать не вправе, может, к чужакам у нас вообще чересчур строго и несправедливо относятся, не знаю, знаю только, что ты ни на что притязать не вправе, так уж заведено. У нас если ты здешний и тебе помощники нужны, ты их просто берешь, и все; а если ты уже взрослый и жениться надумал, то просто берешь женщину в жены. Власти и тут, конечно, имеют большое влияние, но в главных вещах все-таки каждый волен решать за себя сам. Ты же, как чужак, зависишь от их милостей, угодно власти дать тебе помощников — даст помощников, угодно дать жену — даст жену. И это, конечно, никакой не произвол, просто исключительно и только прихоть властей, а значит, причины тех или иных их решений навсегда остаются скрыты. Вероятно, ты можешь их милостям сопротивляться, хотя не знаю, да нет, наверно, даже наверняка можешь сопротивляться; но если ты какую милость принял, тогда и на ней, и, следовательно, на тебе лежит бремя вверенной властями ответственности, и снято с тебя это бремя может быть тоже лишь по воле властей, только так, и никак иначе. Это все мне хозяйка растолковала, так и сказала, мол, перед тем как ты замуж выйдешь, я обязана тебе кое на что глаза раскрыть. И особенно напирала, что все, кто в этом хоть что-то смыслит, всегда чужакам советуют с подобными милостями, если они их однажды приняли, смириться, потому как отделаться от них все равно не удастся, а единственное, чего такой строптивостью добиться можно, — это вместо дружески дарованной тебе милости нажить себе муку ~~врагов~~ и наказание на всю оставшуюся жизнь. Так хозяйка сказала, я только повторяю с ее слов, хозяйка, она все знает, и надо ей верить…]

— Фрида! — позвал ее К.

Кламмом. Все ради меня, и вот чем я тебе отплачиваю.

— Да нет, — сказал К. и в утешение даже обнял ее за плечи, — это все пустяки, они меня ничуть не задевают, и к Кламму я не только ради тебя рвусь. А сколько всего ты ради меня сделала! Ведь я, пока тебя не знал, блуждал тут, как в потемках. Меня никто знать не желал, и всяк, кому я ни навязывался, только спешил поскорее от меня отделаться. А когда случалось у кого найти приют и покой, так это оказывались люди, которых самому мне впору избегать, ну, люди вроде Варнавы и его родичей.

— Ты их избегаешь? Правда? Миленький! — с живостью перебила его Фрида, но, услышав, с какой нерешительностью К. произнес в ответ свое «да», вся поникла и снова погрузилась в усталую отрешенность. Но и у К. вдруг пропала решимость объяснять, сколько всего повернулось в его жизни к лучшему благодаря встрече с Фридой. Он осторожно убрал руку с ее плеч, и какое-то время они сидели молча, покуда Фрида, словно поняв, что без тепла его руки ей не жить, вдруг не сказала:

— Нет, мне такую жизнь не вынести. Если хочешь, чтобы я осталась с тобой, давай совсем

уедем куда-нибудь, все равно куда, в Южную Францию, в Испанию.

— Не могу я уехать, — проговорил К., — я сюда приехал, чтобы остаться. И останусь. — И вдруг наперекор сказанному, даже не затруднившись себе это противоречие объяснить, словно сам с собой рассуждая, тихо добавил: — Что еще могло заманить меня в такую глушь, как не желание остаться? — Потом, помолчав, сказал: — Но ведь и ты хочешь остаться, это же твоя родина. Тебе только Кламма недостает, от этого и все мрачные мысли.

— Это мне-то Кламма недостает? — переспросила Фрида. — Да тут кругом один Кламм, не продохнуть от Кламма; я потому и уехать хочу, чтобы от него избавиться. Нет, вовсе не Кламма мне недостает, а тебя. Ради тебя я и рвусь отсюда прочь, потому что здесь, где мне прохода не дают, где каждый меня к себе тянет, я тобой насытиться не могу. Пусть бы сдернули с меня эту смазливую личину, пусть бы изуродовали мое тело — лишь бы дали с тобой спокойно жить!

К., однако, расслышал и извлек из ее слов только одно:

— Кламм все еще поддерживает связь с тобой? — спросил он тотчас. — Он что, зовет тебя?

— Да знать я ничего не знаю о Кламме, — ответила Фрида. — Я совсем про других сейчас говорю, про помощников например.

— Ах вот как, помощники, — изумился К. — Они что, пристают к тебе?

— А ты будто не заметил? — спросила Фрида.

— Да нет, — отозвался К., тщетно пытаясь припомнить хоть какие-то мелочи, — то есть, конечно, они наглецы и похабники, но чтобы они на тебя осмелились посягнуть, нет, такого я не заметил.

— Нет? — снова переспросила Фрида. — Не заметил? И как из комнаты нашей в трактире их было не выставить, как ревниво они за нами и нашими отношениями следят, как один из них нынче ночью вместо меня к тебе в постель улегся, с какой готовностью они вот сейчас, только что показания против тебя давали, лишь бы тебя выжить, лишь бы тебя погубить, лишь бы со мной наедине остаться? И ты всего этого не заметил?

К. смотрел на Фриду, ничего не отвечая. Вероятно, ее обвинения против помощников и справедливы, однако при желании все то же самое можно истолковать ведь и куда безобиднее, списав все на несмышленую молодость, на смешную ребячливую необузданность, на дурацкое

ротозейство обоих. И разве не говорит против этих обвинений то обстоятельство, что помощники всегда и всюду норовили пойти вместе с К., отнюдь не стремясь остаться с Фридой. Что-то в этом духе К. Фриде и возразил.

— Подхалимство, — бросила в ответ Фрида. — Ты что, не раскусил? За что тогда ты их выгнал, как не за это?

И она, подойдя к окну, слегка отодвинула штору, взглянула на улицу и подозвала к себе К. Помощники торчали на прежнем месте, у решетки; сколь ни очевидна была их усталость, они время от времени из последних сил умоляюще простирали руки к школьным окнам. Один для удобства, чтобы не держаться рукой, даже нанизал ворот своей куртки на прут ограды.

— Бедняжки! Бедняжки! — только и сказала Фрида.

— За что я их выгнал? — повторил К. ее вопрос. — Ну непосредственным поводом послужила ты.

— Я? — переспросила Фрида, не отрывая глаз от окна.

— Ты и твое слишком любезное с ними обхождение, — пояснил К. — Это ты прощала им все их безобразия, только смеялась над ними, по голов-

ке гладила, вечно жалела, вот и сейчас они у тебя «бедняжки-бедняжки», и, наконец, последний случай, когда ты даже мной готова была поступиться, лишь бы их от порки спасти.

— То-то и оно, — откликнулась Фрида. — Так ведь и я — о том же, это и есть та самая беда, из-за которой я горюю, которая меня к тебе не пускает, хоть я и не знаю большего счастья, чем быть с тобой всегда и всюду, в любую минуту и на веки вечные, а самой то и дело грезится, будто на земле для нашей любви спокойного места нету, ни здесь, в деревне, ни еще где, вот мне и грезится могила, глубокая, тесная, где мы с тобой лежим в обнимку, как тисками стиснутые, лицами друг к дружке прижавшись, и где никто уже нам помешать не сможет. Ну а здесь — да ты посмотри на помощников! Они же не к тебе руки тянут, ко мне!

— Да, — сказал К., — и не я сейчас на них смотрю, а ты.

— Конечно, я, — согласилась Фрида почти со злостью. — Так и я все время о том же; иначе какая мне разница, что они мне прохода не дают, даже если это посланцы Кламма.

— Посланцы Кламма? — переспросил К., пораженный этими слова, ибо мгновенно осознал их

само собой разумеющуюся истинность.

— Ну конечно, посланцы Кламма, а кто же еще, — продолжала Фрида, — ну и что, что посланцы, все равно они только молодые балбесы, которых розгами еще учить и учить. А мерзкие какие — чернявые, смуглые, и лицом вроде взрослые, почти студенты, а повадки как у малолетних полудурков. Думаешь, я ничего не вижу? Да мне стыдно смотреть на них! Но в том-то и дело, что смотреть хотя и стыдно, а отвращения у меня к ним нету. Вот я и смотрю, не могу не смотреть. На них сердиться надо, а я смеюсь, не могу не смеяться. Их бить мало, я их по головке глажу. И когда ночью с тобой лежу, не могу спать, все время поверх тебя на них глазею, как один, в одеяло плотно завернувшись, спит, а другой возле печки на коленках стоит, топит, и так меня глазами к ним тянет, что я вся вперед подаюсь, чуть тебя не

бужу. И не кошки вовсе я боюсь{17} — что, я кошек не видала, что ли, да и в буфетной, за стойкой, всякого насмотрелась, привыкла вполглаза дремать — так что не кошки я боюсь, а самой себя. И не нужно мне ни кошки, ни крысы, никакой другой твари, я сама от малейшего шороха вскидываюсь. И то боюсь, как бы ты не проснулся, потому что тогда всему конец, а то сама вскакиваю, свечку зажигаю, лишь бы ты проснулся и меня защитил.

— Я ни о чем таком понятия не имел, — сказал К. — Только чувствовал неладное, потому их и прогнал, но теперь-то их нет, может, теперь все будет хорошо.

— Да, наконец-то их нет, — вздохнула Фрида, но в лице ее не было радости, одна мука. — Только вот не знаем мы, кто они такие. Посланцы Клам-

---

{17} Варианты: 2.17

И не кошки вовсе я боюсь — [*И не кошка меня пугает, а моя нечистая совесть. И когда эта кошка на меня упала, у меня такое чувство было, будто меня кто в грудь ткнул: ага, мол, попалась, вот мы тебя и раскусили! Фрида опустила занавеску, закрыла внутреннюю раму и с мольбой в глазах увлекла К. на соломенный тюфяк.*

И не кошку я тогда со свечой искала, а тебя хотела поскорей разбудить, потому как это помощнички, оба-два, меня напугали. Понимаешь, мне и этой дурной кошки не нужно, я и без нее от всякого шороха вздрагиваю. То боюсь, что ты вдруг проснешься, и тогда всему конец, а то сама вскакиваю, свечку зажигаю, чтобы ты поскорее проснулся и меня защитил.

— Так ведь они посланцы Кламма ~~выходит, он беспрестанно со мной говорит, а мне с ним и словечка сказать нельзя,~~ — заметил К. и, притянув к себе Фриду, поцеловал в затылок, в ответ она вздрогнула всем телом

и, поворачиваясь к нему, вскинулась так резко, что оба скатились на пол и там, задыхаясь от страсти, впились друг в друга в неистовом и пугливом соитии, словно каждый норовил в другого зарыться, словно истома, которой они упиваются, украдена у кого-то третьего, и кража уже раскрыта, и этот третий стоит тут же, рядом…

— Может, мне открыть дверь? — спросил К. — Побежишь к ним?

— Нет! — вскрикнула Фрида, вцепляясь ему в плечо. — Не хочу я к ним, я с тобой хочу остаться. Защити меня от них, удержи меня!

— Но если это и вправду посланцы Кламма, как ты их называешь, тогда тебе не помогут ни двери, ни моя защита, — сказал К. — А даже если и помогут, хорошо ли это?

— Не знаю я, кто они, — проговорила Фрида. — Я называю их посланцами, потому что Кламм как-никак твой начальник, а помощников тебе прислали по службе, больше я ничего не знаю, только вижу, что их глаза, вроде простецкие, но с искоркой, почему-то глаза Кламма мне напоминают, да, в этом все дело, из их глаз на меня иногда вроде как Кламм смотрит и всю меня взглядом будто пронзает. И неправда, когда я говорю, что мне на них смотреть стыдно. Это я только хочу, чтобы мне стыдно было. Хоть и понимаю, что где-то еще, ну, в других людях, подобное поведение показалось бы мне глупым, отвратительным, но только не у них, на их дурачества я смотрю с почтением и восторгом. Любимый, впусти их обратно, не бери грех на душу перед тем, кто, быть может, их послал.

К. высвободился из рук Фриды.

— Помощники останутся на улице, я их больше возле себя не потерплю. Как? Эти-то двое способны проложить мне путь к Кламму? Сомневаюсь. А даже если и способны, я не способен за ними следовать, меня одно их присутствие всяких способностей лишает и вообще сбивает с толку. Они мне на нервы действуют, и не одному мне, но, как я только что услышал, к сожалению, и тебе тоже. Я ~~предложил тебе выбор — или я, или они, ты выбрала меня, вот и предоставь мне все остальное. Еще сегодня я надеюсь получить важное, решающее известие.~~ Они сразу с этого и начали, когда пытались тебя против меня настроить, с умыслом или без, не знаю, мне все равно. Фрида, неужели ты и вправду подумала, будто я отопру двери и сам, по доброй воле, открою тебе к ним дорожку?] что, я кошек не видала, что ли, да и в буфетной, за стойкой, всякого насмотрелась…

ма, это я про себя, понарошку так их называю, но, может, они и в самом деле его посланцы. Глаза у них вроде простецкие, но с искоркой и почему-то напоминают мне глаза Кламма, да, в этом все дело, из их глаз на меня иногда вроде как Кламм смотрит и всю меня взглядом будто пронзает. И неправда, когда я говорю, что мне на них смотреть стыдно. Это я только хочу, чтобы мне стыдно было. Хоть и понимаю, что где-то еще, ну, в других людях, подобное поведение показалось бы мне глупым, отвратительным, но только не у них, на их дурачества я смотрю с почтением и восторгом. Но если это правда посланцы Кламма — кто волен нас от них освободить и хорошо ли вообще от них освобождаться? Может, наоборот, тебе надо срочно их обратно звать, да еще радоваться, если они согласятся вернуться?

— Ты хочешь, чтобы я их снова впустил? — спросил К.

— Да нет же, нет, — заверила Фрида, — меньше всего я хотела бы этого. Один только их вид, как они сюда ворвутся, как будут рады видеть меня снова, скакать вокруг меня как карапузы, а лапы тянуть как мужики, — да мне всего этого, наверно, просто не вынести. Но, с другой стороны, как подумаю, что ты, если по-прежнему суров с ними

будешь, тем самым, быть может, навсегда себе доступ к Кламму перекроешь, так сразу же хочу любой ценой тебя от таких последствий уберечь. И тогда хочу, чтобы ты их впустил. И как можно скорей. А на меня не обращай внимания, подумаешь, эка важность. Буду отбиваться, сколько могу, ну а не устою, значит, так тому и быть, но у меня хоть утешение будет, что это ради тебя.

— Насчет помощников ты только укрепила меня в правильности моего решения, — сказал К. — С моего согласия они никогда больше сюда не войдут. А что я сумел их выставить, лишний раз доказывает, что с ними при случае вполне можно справиться, и, следовательно, никакой особой связи между ними и Кламмом нет. Только вчера вечером я получил от Кламма письмо, из которого ясно видно, что относительно помощников он осведомлен в корне неверно, из чего опять-таки следует заключить, что они ему совершенно безразличны, а будь это не так, он бы позаботился, чтобы ему все о них докладывали в точности. С другой стороны, то, что ты видишь в них Кламма, не доказывает ровным счетом ничего, ибо ты, к сожалению, по-прежнему находишься под влиянием хозяйки-трактирщицы и видишь Кламма повсюду. Ты все еще возлюбленная Кламма, а

вовсе не моя жена. Иногда я из-за этого совсем падаю духом, и мне кажется, что я все, все потерял, такое чувство, будто я опять только-только в деревню пришел, но не исполненный надежд, как это было на самом деле, а в уверенности, что меня ждут одни разочарования, и разочарования эти я буду хлебать и хлебать, пока до самого донышка не расхлебаю. Но это только иногда, — добавил К. с улыбкой, увидев, как поникла Фрида от этих его слов, — и доказывает, в сущности, только хорошее, а именно как много ты для меня значишь. Так что если ты предлагаешь мне выбрать между тобою и помощниками, то считай, что помощников уже нет. Да и откуда такая блажь — выбирать между тобою и помощниками? Как бы там ни было, теперь я намерен окончательно от них избавиться. И вообще, кто знает, может, этот наш общий приступ минутной слабости только оттого, что мы еще не завтракали?

— Может быть, — с усталой улыбкой отозвалась Фрида, берясь за кофейную мельницу.

И К. снова взялся за швабру.

13
Ханс

Немного погодя раздался тихий стук в дверь.

— Варнава! — воскликнул К., отбросив швабру и подскакивая к двери.

Фрида, напуганная не столько самим криком, сколько выкрикнутым именем, смотрела на него с ужасом. Старый замок не поддавался — так дрожали у К. руки.

— Открываю, открываю, — приговаривал он, вместо того чтобы спросить, кто стучит.

И оторопел от изумления, когда в широко распахнутую дверь вместо Варнавы вошел маленький мальчик, тот самый, что совсем недавно в классе пытался с ним заговорить. Впрочем, у К. не было никакой охоты об этом вспоминать.

— Что тебе надо? — спросил он. — Уроки в соседнем классе.

— Так я оттуда, — проговорил мальчик, стоя по-военному, руки по швам, и спокойно глядя на К. большими карими глазами.

— Ну, так что тебе надо? Только живее! — поторопил К., слегка наклоняясь к мальчишке, потому

что говорил тот очень тихо.

— Могу я помочь тебе? — спросил мальчик.

— Он помочь нам хочет, — сообщил К. Фриде, потом снова повернулся к мальчонке: — Как хоть зовут-то тебя?

— Ханс Брунсвик, — отвечал тот, — ученик четвертого класса, сын Отто Брунсвика, сапожных дел мастера из переулка Мадленгассе.

— Вот как, ты, значит, Брунсвик, — произнес К., но уже приветливее.

Вскоре выяснилось, что кровавые царапины, оставленные учительницей на руке у К. при помощи кошачьей лапы, настолько разволновали Ханса, что он сразу же решил встать на его сторону. И теперь, не убоявшись сурового наказания, самовольно, как дезертир-перебежчик, прошмыгнул сюда из соседнего класса. Причиной всему, видимо, была возбужденная мальчишеская фантазия. Ею же объяснялась и убийственная серьезность, сквозившая в каждом его жесте и слове. Лишь поначалу его сковывала застенчивость, но вскоре, привыкнув к К. и Фриде, он перестал смущаться, а когда его угостили горячим кофе, и вовсе оживился и, окончательно проникнувшись к ним доверием, принялся торопливо и настойчиво их расспрашивать, словно

ему не терпится поскорее узнать самое важное, чтобы после уже самостоятельно за К. и Фриду все решить. Было что-то полководческое во всей его повадке, однако при этом настолько детское и невинное, что сама собой возникала охота — наполовину в шутку, наполовину всерьез и от души — ему повиноваться. Как бы там ни было, он сумел полностью сосредоточить на себе все их внимание, работа была позабыта, а завтрак весьма затянулся. Пусть он сидел за партой, а К. на возвышении за учительским столом, да и Фрида на стуле рядом с ним, выглядело все так, будто это он, Ханс, тут учитель, выслушивает и оценивает ответы, и хотя легкая улыбка, игравшая на его мягких губах, вроде бы показывала — да, он понимает, это всего лишь игра, — однако с тем большей серьезностью и даже беззаветностью отдавался он делу во всем прочем, так что, может, это вовсе и не улыбка оживляла его уста, а просто счастье детской увлеченности. Он, кстати, почему-то совсем не сразу признался, что уже видел К. раньше, когда тот заходил в дом к Лаземану. К. страшно этому обрадовался.

— Так это ты играл тогда у ног той женщины? [*— спросил К., слова подобрав очень тщательно, но выпалив их нарочито быстро.*]

— Да, — сказал Ханс, — это моя мама.

После чего ему пришлось рассказать о своей матери, но сделал он это не сразу, а лишь уступив настойчивым уговорам, тут-то и стало видно, что он все-таки еще маленький мальчик, в чьих устах, особенно в вопросах, хоть и чудится иной раз — быть может, предвестьем будущего, а быть может, просто вследствие обмана чувств завороженного и нервного слушателя — речь энергичного, умного и дальновидного мужа, но затем этот муж как-то сразу и без перехода опять превращается в мальчишку-школяра, иных вопросов не понимая вовсе, другие перетолковывая по-своему, говорит слишком тихо, в ребячливой беззаботности забывая о тех, кто его слушает, хотя на этот изъян его речи ему не раз указывали, а порой, в особенности в ответ на слишком настойчивые расспросы, из детского упрямства попросту умолкает, причем без малейшего смущения, как взрослый ни за что бы умолкнуть не смог. Вообще складывалось впечатление, будто он считает, что задавать вопросы дозволено лишь ему, тогда как вопросы других — это не по правилам и на них только зря расходуется время. Поэтому он и умолкал и мог довольно долго так сидеть, совершенно прямо, но опустив голову и

надув губы. Фриде эта его повадка до того нравилась, что она все чаще задавала вопросы, от которых ожидала именно такой обиженно-молчаливой реакции. И иногда добивалась своего, что очень сердило К. В целом, однако, вызнали они немного: мать Ханса постоянно прихварывала, но какая у нее болезнь, оставалось неясно; младенцем, которого госпожа Брунсвик держала тогда на руках, оказалась сестренка Ханса по имени Фрида (то, что и беседующую с ним женщину зовут так же, Хансу явно не понравилось); живут они все в деревне, но не у Лаземанa, у которого они тогда просто были в гостях, помыться пришли, уж больно лохань у него знатная, малыши, к коим Ханс себя не причислял, обожают в ней бултыхаться, для них это огромное удовольствие; об отце своем Ханс говорил со смесью почтения и страха, но только если одновременно речь не шла и о матери, рядом с матерью отец явно проигрывал и большого веса не имел, кстати, все вопросы об их семейной жизни, с какого бока К. и Фрида ни заходили, так и остались без ответа, зато о ремесле отца они узнали, что он самый знаменитый в округе сапожник, тягаться с ним никто не может, — Ханс не упускал случая упомянуть об этом и при ответе на другие вопросы, — он

даже других сапожников работой снабжает, например отца Варнавы, в этом последнем случае Брунсвик поступает так скорее из милости, по крайней мере, гордым поворотом головы Ханс на это намекнул, что в свою очередь побудило Фриду подскочить к нему и чмокнуть в щечку. На вопрос, бывал ли он в Замке, Ханс ответил лишь после того, как вопрос этот не однажды был повторен, причем ответил отрицательно, на тот же вопрос относительно матери не ответил вовсе. В конце концов К. устал, все расспросы и самому ему стали казаться бесполезными, тут он готов был признать правоту мальчишки, да и неловко, стыдно окольными путями выпытывать у невинного чада домашние секреты, впрочем, вдвойне стыдно, что даже и таким способом ничего разузнать не удалось. Так что, когда К. напоследок спросил у мальчика, чем же, собственно, он намеревался помочь, его нисколько не удивил ответ, что Ханс, оказывается, предлагает помочь ему тут, по работе, чтобы учитель с учительницей так не ругались. На это К. сказал Хансу, что такая помощь не требуется, а что до учителя и его ругани, то это, наверно, просто характер, такому брюзге даже безупречной работой не угодишь, все равно ругаться будет, да и работа сама по себе

вовсе не тяжелая, просто сегодня, по случайному стечению обстоятельств, накладки и упущения вышли, к тому же ругань учителя на К. нисколько не действует, как с гуся вода, он не школьник какой-нибудь, ему это почти безразлично, кроме того, он надеется, что вскорости ему и вовсе не придется иметь с учителем дело. Словом, если Ханс имел в виду только помощь против учителя, то он, К., премного благодарен, но в этом нужды нет, пусть спокойно возвращается в класс, надо надеяться, его там не накажут.

И хотя К. не особенно и скорее невольно напирал на то, что помощь ему не нужна только против учителя, Ханс очень ясно все оттенки расслышал и тотчас спросил, не нужна ли К. помощь в чем другом, он с радостью поможет, а если сам не в силах, попросит маму, она-то поможет наверняка{18}. Вот и отец, когда у него неприятности, всегда просит маму помочь. Кстати, мама уже как-то раз про К. спрашивала, сама

{18} Варианты: 2.18

…Ханс очень ясно все оттенки расслышал [*и спросил:*
— Может, тебе какая другая помощь нужна?
— Да кому же не нужна помощь, — заметил в ответ К. — Только чем ты можешь помочь?
— А я матери скажу, — ответил Ханс, прямо на глазах у К. снова превращаясь во взрослого, авторитетного советчика. — Может, моя мать сумеет тебе помочь.] и тотчас спросил, не нужна ли К. помощь в чем другом, он с радостью поможет…

она из дома почти не выходит, тогда, у Лаземанa, можно считать, исключительный случай был, однако он, Ханс, часто там бывает, к детям Лаземанa приходит поиграть, вот мама однажды его и спросила, а что, не заходил ли, часом, снова землемер. Правда, мама очень слабенькая и усталая, без дела, зря ее выспрашивать нельзя, поэтому он тогда только и сказал, что землемера у Лаземанов больше не видел, а с тех пор разговора об этом не было; зато теперь, когда Ханс его в школе встретил, он нарочно заговорил с К., теперь-то будет что матери рассказать. Мама больше всего любит, когда ее желания без всяких просьб угадывают и исполняют. На это К., после некоторого размышления, ответил, что помощь ему не нужна, он ни в чем не нуждается, однако со стороны Ханса очень мило, что он хочет помочь, и он, К., за доброе намерение весьма ему благодарен, вполне возможно, когда-нибудь ему что и понадобится, он тогда обязательно обратится, адрес у него теперь есть. Зато вот он, К., со своей стороны, мог бы, наверно, помочь уже сейчас, ему больно смотреть, что мать Ханса недомогает и, судя по всему, никто здесь в ее недуге не разобрался; а в таких запущенных случаях может наступить серьезное ухудшение вообще-то не слишком даже серьез-

ной болезни. Так вот, он располагает некоторыми познаниями во врачевании, и, что еще важнее, у него есть опыт в уходе за больными. Там, где иной раз оказывались бессильными врачи, ему сопутствовала удача. Дома его за целительские способности даже «горьким зельем» прозвали. Во всяком случае, он хотел бы взглянуть на мать Ханса и поговорить с ней. Быть может, он сумеет помочь дельным советом, хотя бы ради Ханса он сделает это с радостью. Услышав такое предложение, Ханс поначалу просиял, что подбило К. на еще большую настойчивость, однако итог вышел неблагоприятный, ибо с какой бы стороны К. ни заходил, Ханс, внешне даже без особого сожаления, на все вопросы отвечал, что чужим к маме никак нельзя, ее надобно беречь, ведь волноваться ей вредно; после прошлого раза, хотя К. и перемолвился-то с ней всего лишь парой слов, она несколько дней с постели не вставала, впрочем, такое с ней случается часто. А отец в тот раз очень на К. осерчал и ни за что не позволит, чтобы К. маму навестил, он тогда, наоборот, сам хотел к К. пойти и проучить его за такое поведение, только мама его и удержала. А главное, сама мама в общем-то ни с кем говорить не хочет, и ее вопрос насчет К. тут вовсе не исключение, напротив, раз

уж она о К. упомянула, то могла бы высказать и пожелание его увидеть, но она этого не сделала и тем самым ясно выразила свою волю. Значит, она хотела про К. только услышать, а говорить с ним не хотела. И вообще ее недомогание — не совсем болезнь, она прекрасно знает причины своего нездоровья, иногда даже намеком дает понять, что, вероятно, все дело в здешнем воздухе, она его плохо переносит, но и уезжать из этих мест не хочет, из-за отца и детей, да и чувствует себя уже получше, не то что прежде. Вот в общем-то и все, что К. удалось узнать; кстати, смышленость и даже изворотливость Ханса возрастали на глазах, ибо теперь он явно старался мать от К. оградить, от того самого К., которому совсем недавно якобы так хотел помочь; больше того, в своем благом намерении не подпускать К. к матушке он даже опровергал теперь кое-какие свои прежние утверждения, например относительно ее болезни. Тем не менее К. и сейчас ясно видел, что Ханс по-прежнему хорошо к нему настроен, просто когда дело касалось матери, он забывал про все на свете; кто бы и каким бы образом ни затевал что-нибудь неугодное матери, он вмиг оказывался нехорош, сейчас это был К., но ведь мог бы, к примеру, оказаться и отец. К. именно

это и решил испробовать, сказав, что со стороны отца, конечно, весьма благоразумно оберегать мать от малейшего беспокойства, предполагай он, К., нечто подобное, он бы, разумеется, никогда с мамой Ханса заговорить не осмелился, так что и сейчас, задним числом, просит передать домашним свои извинения. С другой стороны, он не вполне понимает, почему отец, если причины недуга установлены с такой очевидностью, как утверждает Ханс, удерживает мать от смены обстановки, не давая ей возможности подышать другим воздухом; именно удерживает, тут иначе не скажешь, ведь не уезжает она только из-за него и из-за детей, но детей она могла бы взять с собой, ей не обязательно уезжать надолго, да и далеко ездить не придется; совсем рядом, наверху, на замковой горе воздух наверняка совсем другой. Расходов на такую поездку отцу вряд ли пристало бояться, как-никак он знаменитый на всю округу сапожный мастер, вдобавок у него или у матери наверняка найдутся в Замке родные и знакомые, которые с радостью примут ее погостить. Почему в таком случае он ее не отпускает? С такой болезнью шутить не стоит, он, К., видел маму Ханса лишь мельком, но ее бледность и слабость настолько бросались в глаза, что просто выну-

дили К. заговорить с ней, он сразу удивился, как это больную оставляют в спертом, душном воздухе, посреди всеобщего мытья и стирки, да еще кричат и горланят при ней без зазрения совести. Отец, видимо, просто не знает, о каком заболевании идет речь, и, если даже в последнее время, быть может, наступило улучшение, болезнь эта капризная, с норовом, и в конце концов, если с ней не бороться, она наваливается всею силой, а тогда уж ничем не помочь. Так что, если К. нельзя с матерью Ханса поговорить, может, было бы неплохо хоть с отцом побеседовать, обратив его внимание на все эти вещи.

Ханс выслушал К. очень внимательно, почти все понял, да и в том, чего не понял, все равно явственно ощутил угрожающую серьезность положения. И тем не менее ответил, что К. поговорить с отцом никак нельзя, отец его невзлюбил и, наверно, будет обходиться с ним так же, как учитель. Он сказал все это, упомянув о К. с застенчивой улыбкой, а об отце — с ожесточением и горечью. Однако добавил, что, вероятно, К. все же мог бы поговорить с мамой, но только без ведома отца. Тут Ханс задумался, напряженно глядя в одну точку, ну совсем как женщина, намеревающаяся совершить нечто недозволенное

и практично прикидывающая, как бы провернуть это безнаказанно, после чего объявил, что послезавтра, наверно, можно попробовать, отец вечером идет в «Господское подворье», у него там с кем-то встреча, и тогда он, Ханс, вечером зайдет за К. и отведет того к маме, если, разумеется, мама согласится, что еще большой вопрос. Прежде всего потому, что она ни в чем отцу не перечит, во всем ему уступает, даже в затеях, вздорность которых и ему, малолетке, очевидна. По всему выходило, что Ханс, полагая, будто хочет помочь К., просто сам себя обманывает, на самом-то деле это он ищет у К. подмоги против отца и, раз уж не удалось найти помощи среди прежних знакомых, пытается выведать, не может ли этот откуда ни возьмись появившийся чужак, которого вон даже мама заприметила и в разговоре упомянула, ему пособить. Пусть неосознанно, но до чего скрытным и почти хитрым оказался этот мальчуган, хотя прежде ни в словах его, ни в повадке вроде бы и намека не было на лукавство, и только теперь, задним числом, из случайных оговорок или с умыслом выпытанных признаний оно так ясно вышло наружу. И вот уже он при К. пускается в долгие рассуждения о том, какие предстоит одолеть трудности, нет, при всем же-

лании Ханса трудности почти непреодолимы, не зная, как быть, он подолгу задумывался, то и дело с надеждой устремляя на К. взгляд своих недоуменных, беспокойно моргающих глаз. До ухода отца матери ничего говорить нельзя, иначе отец непременно узнает и все сорвется, значит, сказать можно лишь после, но и тогда, с учетом состояния матери, не сразу, а исподволь, улучив подходящий предлог, лишь тогда он сможет спросить у матери разрешения и только после этого пойти за К., да вот не будет ли слишком поздно, не грозит ли им уже возвращение отца? Нет, никак не получается, невозможно. К. в ответ стал доказывать, что, напротив, ничего невозможного тут нет. Напрасно Ханс думает, будто им не хватит времени, короткой встречи, короткого разговора вполне достаточно, да и ходить за ним Хансу не придется. К. спрячется где-нибудь около дома и подождет, а когда Ханс подаст знак, войдет. Нет, не согласился Ханс, опять проявляя особое радение о матери, ждать возле дома никак нельзя, без ведома матери К. вообще не должен к ним отправляться, в такой тайный от матери сговор с К. он, Ханс, вступать никак не может, он должен привести К. только из школы и не раньше, чем мама, обо всем уже

зная, даст на то свое согласие. Хорошо, сказал К., тогда оно и вправду рискованно, тогда и вправду не исключено, что отец застигнет его у них дома, и даже если этого не случится, мать, из одного только опасения, что такое может произойти, К. прийти не позволит, так или иначе, но во всех случаях выходит, что из-за отца все сорвется. Тут Ханс в свою очередь нашел что возразить, и так они препирались еще довольно долго. Давно уже К. подозвал Ханса с парты к своему учительскому столу и, поставив его перед собой между коленей, время от времени поощрительно поглаживал по головке. Наверно, именно эта его отеческая ласка, которой мальчик, впрочем, изредка противился, помогла им в конце концов прийти к согласию. Порешили вот на чем: сперва Ханс расскажет матери все как есть, однако, чтобы облегчить ей согласие на встречу, добавит, что К. и с самим Брунсвиком поговорить хочет, правда, не по поводу его жены, а о своих делах. Это, кстати, было и правильно, в ходе разговора К. вдруг вспомнил, что Брунсвик, каким бы опасным и злым смутьяном он ни казался, врагом его, в сущности, быть никак не может, ведь это он, по крайней мере, если верить словам старосты, выступил во главе тех, кто, пусть из политических соображений,

требовал вызова землемера. Выходит, прибытие К. в деревню Брунсвику явно на руку; тогда, правда, становилась почти непонятной негостеприимная встреча в первый день и неприязнь, о которой говорил Ханс, но, как знать, может, Брунсвик тем и обижен, что К. не к нему первому обратился за помощью, а может, всему виной еще какое-то недоразумение, которое потом мигом, в двух словах, разъяснится. И если они действительно поладят, тогда в лице Брунсвика К. получит подмогу и против учителя, и даже против самого старосты, тогда, быть может, удастся вскрыть все бюрократические махинации — а что же это еще, как не махинации? — с помощью которых эти двое, староста и учитель, не допускают его к замковому начальству, запихнув его на должность школьного смотрителя; если же между старостой и Брунсвиком возобновится борьба за землемера, то есть за К., Брунсвик непременно станет перетягивать К. на свою сторону, К., само собой, будет частым гостем в его доме, сумеет в пику старосте воспользоваться связями и возможностями Брунсвика, и вообще мало ли чего он таким образом сумеет добиться, а уж возле той женщины он наверняка часто сможет бывать, — вот так он играл своими мечтами, а мечты играли

им, в то время как Ханс, всецело поглощенный мыслями о матери, с тревогой и надеждой взирал на умолкшего К., как взирают на врача, что у постели тяжелобольного надолго задумался, решая, какое все-таки назначить лечение. С предложением К., что он якобы намерен поговорить с Брунсвиком по поводу вызова землемера, Ханс согласился, правда, только потому, что таким образом удавалось оградить мать от возможного отцовского гнева, да и то лишь в крайнем случае, до которого, бог даст, дело и не дойдет. Он только поинтересовался, как К. собирается объяснить отцу поздний час своего визита, и в конце концов, хотя и слегка помрачнев, удовлетворился довольно-таки странной придумкой К. в том смысле, что унизительная должность и невыносимое тиранство учителя довели его до крайности и он в порыве отчаяния явился в столь позднее время, позабыв о всякой вежливости.

Когда наконец все, что возможно предвидеть, было таким образом обдумано и удача предприятия по крайней мере перестала казаться чудом, Ханс, освободившись от тягот недетских дум, заметно повеселел и, снова уже вполне ребенок, принялся болтать о всякой всячине с К., а затем и с Фридой, которая, явно думая о чем-то своем,

долго сидела молча и лишь теперь включилась в общую беседу. Между делом она спросила у мальчика, кем тот хочет быть, в ответ на что он, недолго думая, сказал, что хотел бы стать человеком вроде К. Однако, когда его спросили, почему именно таким, как К., он ничего ответить не смог, а на вопрос, уж не хочет ли он стать школьным смотрителем, твердо и осознанно ответил «нет».{19} Лишь после долгих расспросов удалось выяснить, какими сложными окольными путями он пришел к этому своему желанию. Нынешнее положение К. — незавидное, да что там говорить, жалкое, даже презренное, это Ханс хорошо видит, и ему, чтобы это понять, даже на других людей оглядываться не надо, он сам больше всего на свете хотел бы уберечь свою мать от любого слова и взгляда К. И тем не менее пришел к К. и попросил помощи и счастлив, что К. ему не отказал, и в других людях, как ему кажется, он видит похожее отношение, а главное, вот и мать тоже сама о К. заговорила. Тут одно с другим не вяжется, и из этой неувязки у него возникло

{19} Варианты: 2.19

…твердо и осознанно ответил «нет»..[*Только когда его настойчивей стали расспрашивать, в ответах его мало-помалу начала проблескивать истина, о которой и сам Ханс раньше не догадывался.*] Лишь после долгих расспросов удалось выяснить…

что-то вроде веры, что хотя сейчас положение К. ниже некуда и он всем внушает отвращение и страх, но когда-то, правда в очень отдаленном будущем, он возвысится и всех превзойдет. И вот эта почти головокружительная даль и гордый взлет, в нее устремленный, Ханса и заворожили; ради такого будущего он с нынешним К. готов примириться. Особую потешность этим хотя и по-детски наивным, но со стариковской важностью высказанным соображениям придавало то, что Ханс, дитя малое, смотрел на К. снисходительно, как на младшего, чье будущее простирается гораздо дальше, чем его собственное. Снова и снова побуждаемый вопросами Фриды, он рассуждал об этом едва ли не с горькой старческой умудренностью. И только К. сумел снова его развеселить, заметив, что уж он-то знает, почему Ханс так ему завидует, все дело в его красивой резной палке, которая лежала на столе и с которой Ханс во время разговора то и дело рассеянно играл. Ну, вырезать такие палки К. большой мастер, так что, если план их удастся, он сделает Хансу палку получше этой. В итоге, когда они прощались, было даже не вполне ясно, чему Ханс радуется, то ли возможной удаче их плана, то ли, быть может, всего лишь резной палке, — как бы там ни было,

попрощался он весело, не преминув крепко пожать К. руку и сказать:

— Ну, тогда до послезавтра!

14
Упрек Фриды

Оказалось, Хансу было самое время уходить, ибо вскоре учитель в гневе распахнул дверь и, узрев К. и Фриду мирно сидящими за столом, с порога заорал:

— Уж простите великодушно, если помешал! Но скажите, вы когда-нибудь собираетесь начать уборку? У нас педагогический процесс нарушается, мы паримся в тесноте, пока вы тут рассиживаетесь и разлеживаетесь в гимнастическом зале, а чтобы совсем вольготно было, еще и помощников выставили. Извольте встать, да пошевеливайтесь! — Затем, обращаясь непосредственно к К., добавил: — А ты живо отправляйся в трактир «У моста» и принеси мне горячий завтрак.

Хотя выкрикнул он все это с яростью, слова сами по себе были скорее безобидные, даже грубое «ты» звучало, пожалуй, мирно. К. тотчас готов был подчиниться и, только чтобы дать учителю возможность разом уладить все недоразумения, заметил:

— Так ведь я же уволен.

— Уволен или не уволен, а завтрак мне принеси, — бросил учитель.

— Уволен или не уволен — это как раз то, что я и хотел бы знать, — не уступал К.

— Что ты там мелешь? — все больше раздражался учитель. — Ты ведь увольнение не принял.

— И этого достаточно, чтобы его отменить? — спросил К.

— Для меня-то нет, — сказал учитель, — это уж будь уверен, но вот господину старосте, как ни чудно, похоже, достаточно и этого. А теперь марш за завтраком, иначе и вправду вылетишь.

К. вполне таким ответом удовлетворился: значит, учитель тем временем успел переговорить со старостой, а может, и не говорил, просто прикинул, какое у старосты будет мнение, и понял, что оно склоняется в пользу К. Что ж, коли так, К. собрался бежать за завтраком, но уже из прихожей услышал, как учитель зовет его обратно — то ли он этим первым, необычным приказом хотел лишь проверить услужливость К., то ли на него опять нашла охота покуражиться да поглядеть, как К. по первому его слову, точно половой в трактире, очертя голову туда-сюда носиться будет. Со своей стороны К. понимал, что чрезмерной уступчивостью превратит себя в раба, в мальчи-

ка для битья, однако до поры до времени решил помыкания учителя потерпеть, ведь хотя и выяснилось, что официального права его уволить у учителя нет, однако устроить из его работы сущий ад он, конечно же, вполне в состоянии. А именно этой работой К. дорожил теперь куда больше прежнего. Разговор с Хансом внушил ему новые, надо признать, маловероятные, если не совершенно беспочвенные, но все равно никак не идущие из головы надежды, рядом с которыми даже его упования на Варнаву почти забылись. Если верить этим надеждам — а не верить он уже не мог, — то ему сейчас все силы надо было на них сосредоточить, ни о чем другом не думать, забыть о еде, жилье, деревенских властях, даже о Фриде позабыть, хотя по сути все только ради Фриды и делалось, ибо в конечном счете все заботы, все радения его были о ней одной или в связи с нею. Вот почему надо попытаться сохранить за собой это место, дававшее Фриде некоторую уверенность, и ввиду такой цели несомненно и без сожалений стоило потерпеть от учителя чуть больше, чем было бы выносимо при иных обстоятельствах. Да и вообще не так уж все страшно, обычная череда мелких и неизбежных житейских неурядиц, ничто в сравнении с целью, к

которой К. стремится, — в конце концов, он не за спокойной жизнью, не почета и довольства ради сюда добирался.

С той же готовностью, с какой он только что собирался бежать в трактир, он теперь, подчиняясь новому приказу, кинулся сперва приводить в порядок классную комнату, чтобы сюда могла перебраться учительница со своими учениками. Но сделать все надо было очень быстро, ведь после еще предстояло принести горячий завтрак учителю, который, если верить его словам, изнемогал от голода и жажды. К. заверил, что все будет наилучшим образом исполнено, какое-то время учитель наблюдал, как К., торопясь изо всех сил, убирает постели, расставляет по местам гимнастические снаряды, опрометью подметает пол, а Фрида тем временем моет и отдраивает до блеска учительский стол и подиум. В конце концов усердие обоих, похоже, учителя вполне удовлетворило, и он, бросив напоследок, что дрова для топки сложены за дверью, — очевидно, к сараю он решил К. впредь не подпускать, — ушел к себе в класс, посулив вскоре вернуться и все проверить.

Некоторое время они работали молча, потом Фрида спросила, с чего вдруг К. стал так учителю

угождать. Вопрос был скорее участливый и чуть ли не жалостливый, однако при мысли, сколь ничтожно мало достигла Фрида в исполнении своего обещания оградить К. от самодурства и нападок учителя, он в ответ только бросил, что раз взялся за работу школьного смотрителя, то значит, надо ее исполнять. И опять наступило молчание, покуда К., именно благодаря предыдущему разговору, не обратил внимание, что Фрида уже давно — особенно во время всей их беседы с Хансом — погружена в какие-то свои тревожные мысли, и, внеся в класс дрова, напрямик не спросил, что ее так опечалило. Она, медленно подняв глаза, сказала, что вообще-то ничего особенного, просто она все время думает о трактирщице и правоте некоторых ее слов. И лишь когда К. потребовал разъяснений, она после долгих отпирательств ответила подробнее, не отрываясь при этом от работы, но вовсе не от избытка усердия, ибо работа почти не двигалась, а просто чтобы не смотреть К. в глаза. Так вот, она рассказала, как во время беседы К. с Хансом сперва слушала спокойно, но потом некоторые слова К. ее насторожили и она стала прислушиваться к разговору внимательнее, непрестанно находя в словах К. подтверждение кое-каких опасений, которыми

она обязана трактирщице, хотя в справедливость ее предостережений прежде никогда поверить бы не посмела. К., рассерженный этими туманными рассуждениями, ничуть не растроганный, а скорее раздраженный слезливым голосом Фриды — прежде всего потому, что в его жизнь опять лезла трактирщица, если не лично, то напоминаниями о себе, собственной-то персоной она пока мало чего сумела добиться, — в сердцах шваркнул на пол охапку дров, которую держал в руках, уселся на поленья и строгим голосом потребовал все разъяснить без околичностей.

— Уже не раз, — начала Фрида, — с самых первых дней трактирщица пыталась заставить меня в тебе усомниться, она, правда, вовсе не утверждала, будто ты врун, напротив, говорила, что ты открыт как ребенок, но натура у тебя настолько отличается от нашей, что, даже когда ты говоришь откровенно, нам приходится себя преодолевать, чтобы тебе поверить, и привычка верить тебе дается нашей сестре только ценой горького опыта, если, конечно, добрая подруга ее вовремя не остережет. Даже она, трактирщица, хотя она-то людей насквозь видит, и то поначалу обмишурилась. Но после последнего разговора с тобой у себя в трактире она — я лишь повторяю

ее недобрые слова — все твои фокусы раскусила, ее-то ты больше не проведешь, как ты там ни старайся скрыть, что у тебя на уме. «Да он же и не скрывает ничего!» — это я ей все время твердила, а она мне на это: «Ты попробуй при первом удобном случае просто послушать, что он говорит, только не хлопай ушами, а по-настоящему вслушайся». Она сама только и сделала, что вот этак вслушалась, и насчет меня тотчас уловила примерно следующее: ты со мной затем лишь спутался — она употребила именно это нехорошее, стыдное слово, — что я у тебя на дороге оказалась, ну и приглянулась, конечно, ведь я из себя вроде не страхолюдина, а еще потому, что ты, — сильно, кстати, тут ошибаясь, — всякую буфетчицу за стойкой заранее считаешь легкой добычей любого гостя, которому не лень лапы к ней протянуть. Кроме того, от хозяина «Господского подворья» трактирщица узнала, что тебе в тот вечер неведомо почему приспичило там переночевать, а добиться этого ты, кроме как с моей помощью, не мог. Всего этого мне, дурехе, за глаза хватило, чтобы в ту же ночь сделать тебя своим любовником, однако зачем довольствоваться малым, когда подворачивается нечто большее, и это большее нашлось: оно называется Кламм.

Трактирщица и не утверждает, будто ей известно, что именно тебе от Кламма нужно, она утверждает только, что ты к Кламму и прежде, еще до того, как меня встретил, ничуть не менее ретиво рвался. Разница лишь в том, что если прежде ты рвался к нему совершенно безнадежно, то теперь полагаешь, будто нашел во мне верное средство проникнуть к Кламму наверняка, быстро и даже как бы с чувством превосходства. Я прямо от страха обмерла — правда, лишь в первый миг, потом-то вроде бы оказалось, что без причины, — когда ты сегодня вдруг признался: мол, пока меня не знал, ты блуждал тут, как в потемках. Это почти такие же слова, что и трактирщица говорит, она вот тоже сказала, что ты, лишь когда меня встретил, цель свою углядел. А все потому, что ты решил, будто, завоевав меня, возлюбленную Кламма, ты вроде как большую ценность в залог заполучил, за которую тебе теперь причитается крупный выкуп. Вот это единственное и есть, о чем ты с Кламмом переговорить хочешь, а вернее, поторговаться.

Поскольку я для тебя ничто, а выкуп — все, то в отношении меня ты на любые уступки пойти готов, зато насчет цены будешь стоять насмерть. Поэтому тебе безразлично, что я потеряла место в

«Господском подворье», безразлично, что мне из трактира «У моста» пришлось съехать, безразлично, что я тут в школе на черной работе убиваться буду, у тебя нет ко мне нежности, у тебя даже времени на меня нет, ты спокойно оставляешь меня помощникам, на ревность вообще не способен, единственное мое достоинство в твоих глазах — это что я была возлюбленной Кламма, вот ты, недолго думая, и стараешься, чтобы я Кламма не забывала и, значит, потом, когда до дела дойдет, не слишком сопротивлялась, а еще ты, конечно, против трактирщицы ополчился, считая, что только она одна и способна меня у тебя отбить, потому и старался вконец с ней рассориться, чтобы нас с тобой из трактира «У моста» выставили; а уж в том, что я по своей воле и в любом случае теперь твоя собственность — в этом ты ни секунды не сомневаешься. Переговоры с Кламмом ты себе представляешь просто как сделку, баш на баш. Ты все возможности просчитал и, чтобы свою цену заполучить, готов на все: захочет Кламм меня взять — ты меня отдашь, захочет, чтобы ты со мной остался, — ты останешься, захочет, чтобы ты меня вышвырнул, — вышвырнешь, но ты готов и комедию ломать, лишь бы к выгоде, так что, если понадобится, ты Кламму изобразишь,

будто любишь меня до безумия, да еще всячески свое ничтожество подчеркивать будешь, — полюбуйся, мол, на кого тебя променяли, — лишь бы уязвить его самолюбие и хотя бы таким образом его полное ко мне равнодушие прошибить; или перескажешь ему мои любовные признания — а я ведь и вправду тебе о своей любви к нему говорила — и попросишь взять меня обратно, но не даром, разумеется, а за выкуп; а если и это все не поможет, ты просто клянчить начнешь — от имени супругов К. А уж когда потом, так трактирщица под конец сказала, ты увидишь, что во всем обманулся — и в предположениях своих, и в надеждах, и в своих видах на Кламма и на его ко мне отношение, — вот тогда для меня и начнется сущий ад, ведь лишь после этого я и стану твоей по-настоящему единственной собственностью, только обесцененной, от которой не отделаешься, и обращаться ты со мной будешь соответственно, ибо другого чувства, кроме чувства собственника, у тебя ко мне нету.

Не сводя с нее глаз, с сомкнутым ртом, К. слушал как завороженный, поленья под ним разъезжались, в конце концов он, сам того не замечая, чуть ли не на полу оказался, но лишь теперь встал, перешел к подиуму, сел там, взял Фриду, хоть та

и слабо противилась, за руку и сказал:

— Что-то я в твоей речи не смог вполне различить, где твое мнение, а где мнение трактирщицы.

— Это только ее мнение, — ответила Фрида, — я лишь выслушала все, потому как привыкла ее почитать, но впервые в жизни я ее мнение полностью отвергла и отмела. До того жалким показалось мне все, что она говорит, до того невпопад, без всякого понятия о нас обоих и о том, что между нами на самом деле. Скорее уж мне казалось, переиначь ее слова наоборот — вот тогда будет правильно. Я вспомнила хмурое утро после нашей первой ночи. Как ты около меня на коленях стоял и глаза у тебя были такие, будто все, все пропало. И как потом и вправду все так пошло, что я, как ни старалась, не помогала тебе, а мешала только. Из-за меня тебе трактирщица стала врагом, а она враг нешуточный, просто ты по-прежнему ее недооцениваешь; из-за меня, потому что тебе надо обо мне печься, ты вынужден был в положении просителя отстаивать свое место у старосты, из-за меня тебе приходится теперь учителю подчиняться, с помощниками маяться, но самое скверное — из-за меня, быть может, ты провинился перед Кламмом. И что ты

теперь все время к Кламму попасть хочешь — это же только от бессильного стремления хоть как-то его ублажить и утихомирить. И я себе внушала, что трактирщица, которая все это, разумеется, лучше меня понимает, своими нашептываниями хочет избавить меня от слишком сильных угрызений совести. Желание, конечно, благое, да только напрасный это труд. Моя любовь к тебе помогла бы мне все преодолеть, она и тебе в конце концов помогла бы продвинуться, если не здесь, в деревне, то еще где-нибудь, она ведь свою силу уже доказала — вон, от семейки Варнавы тебя упасла.

— Выходит, тогда ты с мнением трактирщицы не согласна была, — сказал К. — Что же с тех пор изменилось?

— Не знаю, — ответила Фрида, не отрывая взгляда от руки К., что держала ее руку, — может, ничего и не изменилось; когда ты вот тут, совсем рядом и так спокойно спрашиваешь, мне кажется, что и не изменилось ничего. Но на самом деле, — и тут она отняла у К. свою руку, посмотрела ему прямо в глаза и расплакалась, даже не пытаясь спрятать лицо, нет, она, не таясь, подставляла свое залитое слезами лицо его взгляду, дескать, не из-за себя она плачет, потому и скрывать ей

нечего, она плачет из-за К. и его предательства, а коли так, кому, как не К., видеть ее горе и слезы, — на самом деле, с тех пор, как я услыхала, как ты с мальчиком этим говоришь, все изменилось, все. Как мило, как безобидно ты с ним заговорил, как о том о сем расспрашивал, про семью да про родню, мне казалось, я прямо вижу, как ты ко мне в буфетную входишь, такой же пригожий, милый, открытый и так же по-детски доверчиво каждый мой взгляд ловишь. Ну никакой разницы не было, что тогда, что сейчас, и мне так захотелось чтобы трактирщица вот сейчас тебя послушала и попробовала бы от слов своих не отречься. А потом, даже не знаю, как случилось, [*я заметила, что, хоть ты и говоришь с мальчишкой прежним тоном, смысл твоих слов совсем другой, и, пока Ханс, несмышленыш, все еще голос твой слушал, я уже вникала в смысл.*] но я вдруг поняла, ради какого интереса ты с мальчишкой разговор свой ведешь. Участливыми словами ты к нему, недоверчивому, в доверие вкрадывался, чтобы потом без помех на свою цель вывернуть, которую я все яснее различала. Та женщина — вот какая у тебя была цель. На словах ты вроде только о ней и тревожился, а на самом деле за словами у тебя одна корысть была — о каких-то своих делах. Еще даже

не завоевав, ты эту женщину уже обманывал. Не только свое прошлое, но и будущее свое я в твоих речах сразу услыхала, казалось, сама трактирщица рядом со мной сидит и все мне разъясняет, а я изо всех сил пытаюсь голос ее заглушить, да только ясно вижу тщету своих усилий, и притом ведь это даже не меня обманывают — меня-то теперь и обманывать незачем, — а совсем чужую женщину. А когда я потом вдобавок, понемногу придя в себя, спросила Ханса, кем он хочет быть, и он ответил, что хочет стать человеком вроде тебя, то есть, значит, уже до такой степени весь, с потрохами, тебе вверился, тут я себя и спросила, а велика ли разница между ним, милым, добрым мальчиком, которым ты попросту попользовался, и мной тогда там, под стойкой?

— Все, — сказал К., который, успев попривыкнуть к тяжести упрека, снова овладел собой, — все, что ты говоришь, в известном смысле даже верно, прямой неправды тут нет, одна враждебность. Это мысли трактирщицы, врагини моей, пусть ты и думаешь, будто они твои собственные, что меня немного утешает. Но они и поучительны, да, у трактирщицы есть чему поучиться. Сама она мне ничего такого не сказала, хотя вообще-то не очень старалась меня щадить, очевидно,

это оружие она вручила тебе в надежде, что ты обратишь его против меня в особенно тяжкий, роковой для меня час; так что если я тобой попользовался, то и она попользовалась не хуже. А теперь, Фрида, сама подумай: даже будь все в точности, как говорит трактирщица, это было бы скверно лишь в одном случае — а именно если бы ты меня не любила. Тогда, только тогда, действительно можно было бы сказать, что я заполучил тебя хитростью и расчетом, надеясь на своей добыче нажиться. Скажи еще, что я нарочно, лишь бы тебя разжалобить, под ручку с Ольгой к тебе заявился, или трактирщица забыла это лыко в строку мне поставить? Если же это не просто злая игра случая, если не коварный хищник тебя тогда закогтил, а ты сама шагнула мне навстречу, как и я шагнул навстречу тебе, и мы, обретя друг друга, оба потеряли голову до беспамятства, скажи, Фрида, как тогда обстоит дело? Тогда я преследую не только свой, но и твой интерес, тут нет различия, и отделять одно от другого может только наша врагиня. Это ко всему относится, и к Хансу в том числе. Кстати, насчет разговора с Хансом ты, со свойственной тебе чувствительностью, весьма преувеличиваешь: пусть намерения мои и Ханса совпадают не во всем, но

расходятся они не сильно, не настолько сильно, чтобы противоречить друг другу, кроме того, от Ханса эти расхождения не укрылись, и если ты полагаешь иначе, значит, ты этого маленького осторожного человечка весьма недооцениваешь, впрочем, даже если они от него и укрылись, от этого, надеюсь, никому никакой беды не будет.

— Ах, К., — вздохнула Фрида, — так трудно во всем разобраться! Конечно, никакого недоверия у меня к тебе нет, а если что от трактирщицы на меня перешло, я с легким сердцем эту порчу с себя сброшу и на коленях буду молить тебя о прощении, хоть я и так мысленно все время перед тобой на коленях стою, пускай и говорю иной раз жуткие вещи. Но что правда, то правда: ты очень многое держишь от меня в тайне; ты приходишь и уходишь, а я не знаю, откуда и куда. Давеча, когда Ханс постучал, ты даже имя Варнавы выкрикнул. Хоть бы раз ты с такой же любовью меня позвал, с какой — по совершенно непостижимой для меня причине — это ненавистное имя выкрикнул! Но если ты мне не доверяешь, как же мне душу от недоверия уберечь, я ведь тогда полностью у трактирщицы в руках, послушаю ее — и по всему выходит, что ты своим поведением только подтверждаешь ее слова. Подтверждаешь

не во всем, врать не буду, вон, ради меня даже помощников выгнал. Если б ты знал, с какой жадностью я во всех твоих словах и поступках, сколь бы мучительны они для меня ни были, доброе зерно стараюсь выискать!

— Первым делом, Фрида, — возразил К., — я ровным счетом ничего от тебя не утаиваю. Однако же как ненавидит меня трактирщица, как старается тебя у меня отбить, какими гнусными средствами пользуется и как ты ей поддаешься, Фрида, как ты ей поддаешься! Ну скажи, в чем я скрытничаю? Что я к Кламму хочу попасть, ты знаешь, что ты мне в этом помочь бессильна и, значит, я вынужден действовать на свой страх и риск, тебе тоже известно, а что мне до сих пор это не удалось, ты и так видишь. Или я должен рассказами о своих бесполезных попытках, и так достаточно унизительных, вдвойне усугублять свои унижения? Что, прикажешь мне хвастаться, как я до позднего вечера, замерзая, проторчал понапрасну у кламмовских саней? Счастливый хотя бы тем, что могу наконец позабыть обо всем этом кошмаре, я мчусь к тебе, а кошмар тут как тут, из твоих уст опять на меня наваливается. А Варнава? Ну, ясное дело, я его жду! Он же посыльный Кламма, не я его на эту должность поставил.

— Опять Варнава! — воскликнула Фрида. — Ни за что не поверю, будто он хороший посыльный!

— Может, ты и права, — заметил К., — но это единственный посыльный, которого мне отрядили.

— Тем хуже, — сказала Фрида, — и тем больше тебе следует его остерегаться.

— Он, к сожалению, пока что не дал мне повода даже к этому, — возразил К. с улыбкой. — Он является редко и приносит сущую чепуху, ценность которой разве лишь в том, что исходит она вроде бы непосредственно от Кламма.

— Но сам посуди, — не унималась Фрида, — твоя цель давно уже вовсе не Кламм, это, пожалуй, больше всего меня и беспокоит; что ты через мою голову к Кламму рвался, было достаточно скверно, но что ты, похоже, теперь и от Кламма отвернулся, это куда сквернее, такого даже трактирщица не могла предвидеть. По ее словам, счастью моему — сомнительному, хотя и вполне взаправдашнему, — в тот день конец придет, когда ты бесповоротно осознаешь, что все твои надежды на Кламма напрасны. А теперь, оказывается, ты и этого дня дожидаться не хочешь, откуда ни возьмись, является какой-то мальчуган, и ты начинаешь с ним за его мать сражаться — да так,

словно за последний глоток воздуха бьешься.

— А ты мой разговор с Хансом правильно поняла, — сказал К. — Так оно и было. Но неужто вся твоя прошлая жизнь настолько канула для тебя в забвение (за исключением трактирщицы, разумеется, куда от нее денешься), что ты запамятовала, как за каждый вершок приходится бороться, когда с самого низу наверх выбираешься? Как за все цепляешься, что хоть какую-то надежду подает? А эта женщина — она из Замка, она сама мне сказала в первый же день, когда я заблудился и к Лаземану забрел. У кого еще, как не у нее, просить совета да и помощи? Если трактирщица дотошно знает все преграды, что стоят на пути к Кламму, то эта женщина, вероятно, знает, как их обойти, она сама этой дорожкой прошла, по крайней мере, обратно этой дорожкой сюда спустилась.

— Дорожку к Кламму? — переспросила Фрида.

— Ну конечно, к Кламму, к кому же еще, — бросил К. И тут же вскочил. — А теперь самое время нести учителю завтрак.

Настойчиво, куда настойчивей, чем по такому пустячному поводу можно было ожидать, Фрида умоляла его остаться, словно от того, останется он или нет, зависело подтверждение всех утешительных слов, ею от него услышанных. Но,

помня об учителе, К. показал ей на дверь, которая в любую секунду может с грохотом распахнуться, обещал, однако, тотчас вернуться, даже печку просил не растапливать, он, мол, сам растопит. В конце концов Фрида молча покорилась. Когда К., утопая в сугробах, — давно пора было расчистить дорожку, поразительно, как медленно идет здесь работа! — брел через двор, он узрел одного из помощников: полуживой от усталости, тот все еще цеплялся за решетку ограды. Только один? А второй где? Неужто терпение хоть одного удалось сломить? Впрочем, оставшийся сохранил достаточно рвения, чтобы при виде К. немедленно оживиться и снова начать тянуть к нему руки, умоляюще закатывая глаза. «Поистине образцовая стойкость, — сказал себе К. и тут же невольно добавил: — Этак недолго насмерть к решетке примерзнуть». Однако внешне не нашел для помощника иного жеста, кроме как погрозить кулаком, исключив тем самым всякую попытку сближения с его стороны, — бедняга, напротив, испуганно шарахнулся прочь, отбежав подальше. В эту секунду Фрида распахнула окно, чтобы, как они и договорились, перед топкой проветрить. Помощник, немедленно забыв про К., повлекся к окну, словно притянутый магни-

том. С опрокинутым лицом, в котором нежность к помощнику перемежалась с беспомощной мольбой, обращенной к К., Фрида слабо махала из окна рукой, и было не вполне ясно, гонит она помощника или, наоборот, зовет, — во всяком случае, продвижение того к окну этот жест ни в малой мере не остановил. Тогда Фрида поспешно закрыла наружную раму, но так и замерла в окне, рука словно приклеилась к ручке, голова чуть набок, глаза широко распахнуты, на лице нелепая застывшая улыбка. Понимает ли она, что тем самым не столько отваживает помощника, сколько прельщает? К. решил больше не оборачиваться: чем скорее он сделает дело, тем скорее вернется.

15
У Амалии

Наконец — уже стемнело, день клонился к вечеру — К. расчистил в школьном дворе дорожку, уложив по обе ее стороны ровные, аккуратно прихлопнутые лопатой снежные валы, после чего труды дня можно было считать завершенными. Один, вокруг ни души, стоял он у школьных ворот. Помощника он давным-давно выставил, долго гнал его по улице, покуда тот, юркнув куда-то между домами и палисадниками, не исчез с глаз долой и больше не показывался. Фрида была дома и то ли уже принялась за стирку, то ли все еще мыла кошку Гизы; со стороны Гизы это был знак большого расположения — доверить Фриде столь ответственное дело, крайне, надо сказать, неаппетитное и хлопотное, К. ни за что бы ничего подобного не потерпел, не будь сейчас, после стольких служебных упущений, весьма желательно использовать любую возможность заручиться Гизиной признательностью. [*Со стороны, впрочем, казалось, что Фрида этой работе даже рада, словно она всякой, самой*

грязной и черной работе рада, лишь бы та поглощала ее целиком и отвлекала от мыслей и ~~грез~~.]
Пристальным, но благосклонным взором Гиза наблюдала, как К. притащил с чердака детскую ванну, как согрели воду и наконец бережно водрузили в ванну кошку. После чего Гиза даже соизволила полностью препоручить свою любимицу заботам Фриды, ибо пришел Шварцер, знакомец К. еще с первого вечера, поздоровался с К. со смесью страха, с того вечера в нем засевшего, и невероятного презрения, которого, на его взгляд, заслуживает должность школьного смотрителя, дабы затем вместе с Гизой удалиться в соседний класс. Там оба они до сих пор и сидели. Как рассказали К. в трактире «У моста», Шварцер, даром что сын кастеляна, из любви к Гизе давно жил в деревне, добился от общины, используя свои связи и знакомства, назначения на должность помощника учителя, исполнение обязанностей которого видел главным образом в том, чтобы не пропускать почти ни единого урока Гизы, сидя либо за партой среди детворы, либо, что нравилось ему куда больше, на подиуме у ног Гизы. Он никому не мешал, дети давным-давно к нему привыкли и почти не замечали, тем более что сам он детей не любил и не понимал, почти

не говорил с ними, Гизу подменял только на уроках гимнастики, в остальном же совершенно довольствовался тем, что живет подле Гизы, дышит одним с ней воздухом, греется ее теплом. Величайшей его радостью было сидеть бок о бок с Гизой и проверять школьные тетради. Они и сегодня этим занимались, Шварцер пришел с толстой стопкой, ибо учитель неизменно отдавал им и свои тетради, и, пока было светло, К. видел, как они, голова к голове, оба совершенно неподвижные, трудятся за столиком у окна, теперь же там лишь трепетно мерцали две свечки. Серьезное, молчаливое чувство накрепко связало эту пару, причем главенствовала Гиза, чей тяжелый нрав в минуты вспыльчивости сметал все и вся, сама же она ничего подобного ни от кого бы не потерпела, так что живой, общительный Шварцер вынужден был покорно к ней применяться, ходить медленнее, говорить тише, подолгу молчать, но за все это — о чем его вид говорил красноречивее всяких слов — он был сторицей вознагражден одним только обществом Гизы, одним только тихим присутствием подле нее. При этом Гиза, быть может, вовсе и не любила его, во всяком случае, ее круглые, серые, казалось, вообще не мигающие, лишь изредка поводящие зрачками

глаза на подобные вопросы ответа не давали, видно было, что она без особых возражений терпит Шварцера рядом с собой, но оказанную ей честь быть избранницей сына кастеляна по достоинству ценить не желает и одинаково безмятежно несет свое полное, пышное тело независимо от того, провожает ее Шварцер глазами или нет. Шварцер, напротив, ради нее жертвовал собой постоянно, ибо вынужден был жить в деревне, однако посыльных от отца, которые частенько за ним приходили, гнал с таким возмущением, будто причиненное их приходом беглое напоминание о Замке и сыновнем долге уже само по себе чувствительная помеха и невосполнимый урон его счастью. Вообще-то свободного времени у него было в избытке, ведь Гиза, как правило, позволяла ему себя лицезреть лишь во время уроков и совместной проверки тетрадей, причем вовсе не из расчетливости, а просто потому, что уют, а значит, и одиночество она любила пуще всего на свете и, вероятно, счастливей всего чувствовала себя дома, растянувшись на кушетке рядом с кошкой, благо та ничуть ей не мешала, ведь по своей охоте эта животина почти не двигалась. Шварцер большую часть дня околачивался без дела, но ему и это было по душе, ибо всегда давало

возможность, которой он, кстати, очень часто пользовался, завернуть в Львиный переулок, где жила Гиза, тихо подняться по лестнице до дверей ее мансарды, постоять, прислушиваясь, возле неизменно запертой двери, чтобы затем столь же бесшумно удалиться, удостоверившись, что там, за дверью, как и всегда без исключения, царит полная, уму непостижимая тишина. Разумеется, последствия подобного образа жизни сказывались иногда — но только не в присутствии Гизы — и на нем, проявляясь во внезапных приступах чиновничьего чванства, совершенно неуместных и потому до смешного нелепых как раз в нынешнем его положении; для него самого эти выходки, как правило, добром не кончались, в чем и К. в первый же вечер имел случай убедиться.

[*Гиза показалась на пороге, едва внутри погасли свечи; очевидно, она вышла из комнаты еще при свете, ибо придавала большое значение соблюдению приличий. Вслед за ней вскоре появился и Шварцер, и они вместе двинулись по расчищенной — к немалому и приятному их удивлению — от снега школьной дорожке. Когда они поравнялись с К., Шварцер даже хлопнул его по плечу.*

— Будешь дом в порядке содержать, — сказал он, — всегда можешь на меня рассчитывать.

А то мне тут изрядно на тебя жаловались по поводу твоего утреннего поведения.

— Он уже исправляется, — бросила Гиза на ходу, даже не удостоив К. взглядом.

— Давно пора, он в этом срочно нуждается, — сказал Шварцер и поспешил вдогонку, явно не желая отставать.]

Удивительно только, что, по меньшей мере, в трактире «У моста» о Шварцере, даже когда речь шла о совсем уж смешных и жалких его поступках, все равно говорили не без уважительности, причем почтение каким-то краем распространялось и на Гизу. Но все равно со стороны Шварцера глупо было мнить, будто он, помощник учителя, стоит неизмеримо выше школьного смотрителя, не было у него такого превосходства, наоборот, школьный смотритель для учителей, а для мелкой сошки вроде Шварцера и подавно, человек очень важный, пренебрежение к смотрителю даром не проходит, к тому же, пусть тебе по ранжиру даже полагается нос задирать, ты изволь сначала человека мелочью какой-нибудь задобрить, а потом пренебрегай. К. решил как-нибудь на досуге поразмыслить о поведении Шварцера, ведь Шварцер с самого первого вечера перед ним в долгу, это по его вине К. столь нелюбезно здесь

приняли, и вина эта ничуть не уменьшалась оттого, что развитием событий в последующие дни правота такого приема, по сути, подтвердилась. Быть может, как раз этот немилостивый прием и задал тон всему последующему, вот о чем не стоит забывать. Ведь именно из-за Шварцера на К. с первого часа и самым несуразным образом было обращено сугубое внимание властей, когда он, еще всем в деревне чужой, без знакомых, без пристанища, едва живой после долгих странствий, в совершенной беспомощности валялся на соломенном тюфяке — легкая, лакомая добыча для любой власть имущей лапы. Одну бы ночь ему перекантоваться — и все могло бы пойти иначе, спокойнее, незаметнее, почти тишком. Во всяком случае, сразу о нем никто бы ничего не узнал, не имел бы на его счет подозрений, значит, любой без колебаний приютил бы его у себя на денек-другой, явись К. к нему обычным путником; а там, глядишь, он показал бы себя дельным и надежным человеком, молва о нем разнеслась бы по округе, и вскорости он бы где-нибудь устроился, пускай хоть батраком. Разумеется, от властей его появление и тогда бы не укрылось. Однако это большая разница: одно дело, когда ради тебя среди ночи переполошат кого-то в

главной канцелярии или еще где, — откуда знать, кто тогда подходил к телефону? — потребуют немедленного решения, потребуют хотя и с притворным подобострастием, но на самом-то деле с назойливой неумолимостью, да и потребует не кто иной, как Шварцер, которого там, наверху, вероятно, не больно жалуют, — и совсем другое, когда вместо всей этой кутерьмы К. на следующее утро в приемные часы чин чином постучится в дверь к старосте и, как полагается, доложит о себе, представившись обычным пришлым путником, который вдобавок уже нашел себе ночлег у одного из членов общины и, по-видимому, завтра тронется в путь дальше, если, конечно, не подвернется совсем уж невероятная оказия и он не найдет здесь работу, разумеется, всего на несколько дней, ибо дольше он ни в коем случае оставаться не намерен.

Вот так или примерно так оно бы все и было, если бы не Шварцер. Власти, разумеется, и дальше бы занимались этим делом, но без спешки, обычным служебным чередом, без назойливого и для них, властей, столь ненавистного вмешательства заинтересованных сторон. Словом, К. во всем этом переполохе нисколько не виноват, виной всему только Шварцер, но Шварцер

как-никак сын кастеляна, к тому же формально все сделал как положено, вот и получалось, что козлом отпущения волей-неволей оказывался опять-таки К., и больше никто. А с какой ерунды, с какой смехотворной безделицы, быть может, все началось? Возможно, Гиза просто была в тот день не в духе, бросила Шварцеру неласковое слово, из-за которого тот потом болтался ночью без сна, чтобы в конце концов выместить свою злость на К. Правда, если с другой стороны взглянуть, выходит, что Шварцеру за такое его поведение К. очень даже обязан. Лишь благодаря Шварцеру оказалось возможным то, чего К. в одиночку никогда бы не добился и не чаял добиться и что власти, со своей стороны, вряд ли допустили бы, — а именно что он с самого начала без всяких ухищрений, открыто, лицом к лицу предстал перед властями, — насколько подобное предстояние вообще возможно. Сказать по правде, это подарок сомнительный, он, конечно, избавил К. от бесконечного вранья и конспирации, однако и почти обезоружил его, во всяком случае, ввиду предстоящей схватки поставил в чрезвычайно невыгодное положение, из-за чего впору было отчаяться, если бы он сразу не сказал себе, что соотношение сил между ним и властями из-

начально столь чудовищно несоразмерно, что любые уловки и хитрости, на которые он горазд, не смогут сколько-нибудь существенно изменить это соотношение в его пользу, да что там, он этого изменения, скорей всего, даже не заметит. Однако К. только самого себя так утешал, вины же Шварцера перед ним это утешение никак не отменяло; и коли Шварцер чувствует угрызения совести оттого, что тогда ему навредил, то, может, впоследствии захочет помочь, а помощь К. по-прежнему очень нужна в любой мелочи, в любых, даже самых первых приготовлениях, вон, похоже, Варнава опять его подвел.

Из-за Фриды К. целый день не решался пойти в дом Варнавы и узнать, что к чему; он и работал-то на улице до вечера нарочно, чтобы не принимать Варнаву при Фриде, и сейчас, после работы, все еще во дворе торчал, Варнаву дожидаясь, но тот не шел. Теперь ничего другого не оставалось, как самому пойти к его сестрам, он лишь на секунду забежит, только с порога спросит — и сразу назад. И, вонзив лопату в снег, он побежал. Запыхавшись, примчался к дому Варнавы, дверь рванул, едва постучав, и гаркнул, толком внутри не оглядевшись:

— А Варнава еще не приходил?

Только тут он заметил, что Ольги в горнице нет, старики родители, как и в прошлый раз, тихо клюют носами за дальним столом и сейчас, внезапно разбуженные, не поняв толком, кто там шумит в дверях, медленно поворачивают к нему растерянные лица, что, наконец, Амалия, прикорнувшая на лежанке у печи под одеялами и при появлении К. испуганно вскинувшаяся, теперь, схватившись за лоб, пытается прийти в себя от испуга. Будь здесь Ольга, она бы сразу ему ответила и К. сразу смог бы уйти, а так ему пришлось из вежливости сделать несколько шагов в сторону Амалии, протянуть ей руку, которую та молча пожала, попросить ее удержать родителей от дальних странствий по горнице, что она в двух словах тотчас и сделала. К. узнал, что Ольга во дворе колет дрова, сама же Амалия до того устала — по какой причине, она не сказала, — что недавно вынуждена была прилечь, Варнава пока не вернулся, но скоро должен прийти, на ночь он в Замке никогда не остается. К., поблагодарив за все сообщения, собрался было откланяться, однако Амалия спросила, не хочет ли он дождаться Ольгу, но на это у него, к сожалению, совершенно не было времени, тогда Амалия поинтересовалась, а говорил ли он вообще сегодня с Ольгой, он с удив-

лением ответил, что нет, не говорил, и спросил, а что такого особенного Ольга имеет ему сообщить, на что Амалия только с легкой досадой скривила губы, молча, явно в знак прощания, кивнула К. и снова улеглась. И теперь, лежа, спокойно и тяжело его разглядывала, словно удивляясь, с какой стати он все еще тут. Взгляд ее, холодный и ясный, как всегда, казался неподвижным, ибо направлен был не в глаза собеседнику, а шел — и это очень мешало разговору с ней — хотя и чуточку, но несомненно в сторону, и причиной тут была не уклончивость, не смущение, не обман, а неизбывная, всякое другое чувство перевешивающая жажда одиночества, жажда, которую сама Амалия, возможно, не вполне осознавала, — вот она-то и проявлялась в повадке глаз. К. смутно припомнил, что этот ее взгляд неприятно поразил его еще в первый вечер, больше того — возможно, отталкивающее впечатление, которое произвело на него семейство Варнавы в целом, только этим взглядом и обусловлено, хотя сам по себе он отнюдь не отталкивающий, просто гордый и в своей замкнутости даже откровенный.

— Ты всегда такая печальная, Амалия, — сказал К. — Тебя что-то мучит? И ты не можешь об этом сказать? Таких, как ты, я среди деревенских

девушек в жизни не встречал. Мне лишь сегодня, лишь сейчас это в голову пришло. Или ты не отсюда? Ты здесь родилась?

Амалия ответила просто «да», словно К. задал ей всего один вопрос, последний, а потом спросила:

— Так ты подождешь Ольгу?

— Не пойму, отчего ты все время одно и то же спрашиваешь? — ответил К. — Не могу я дольше оставаться, меня дома невеста ждет.

Амалия даже приподнялась на локте — ни о какой невесте она слыхом не слыхивала. К. назвал имя, Амалии и оно оказалось незнакомо. Она спросила, известно ли Ольге о помолвке, К. полагал, что, наверно, да, ведь Ольга видела его вместе с Фридой, и вообще, в деревне такие новости разлетаются быстро. Однако Амалия заверила его, что Ольга ничего не знает и наверняка очень огорчится, ведь она, похоже, влюблена в К. Правда, открыто она об этом не скажет, она вообще очень сдержанная, но любовь выдает себя помимо нашей воли. К. был убежден, что Амалия ошибается. Амалия в ответ только улыбнулась, и эта, хоть и печальная, улыбка вдруг осветила все ее мрачно нахмуренное лицо, заставив немоту заговорить, отчужденность превратив в приветливость, выдавая за душой некую тайну, которую,

разумеется, тотчас можно было припрятать обратно, но уже не до конца. Амалия возразила: нет, нисколько она не ошибается, больше того, ей известно, что и К. питает к Ольге склонность и что его приходы к ним, хоть и имеют предлогом какие-то вести от Варнавы, на самом деле связаны только с Ольгой. Так что теперь, раз уж он знает, что ей, Амалии, все известно, пусть он не стесняется и приходит почаще. Только это она и хотела ему сказать. К. покачал головой, снова напомнив о своей помолвке. Амалию мысли о помолвке как будто особо не занимали и смущали мало, непосредственное впечатление, самый вид К., который ведь и сейчас пришел один, — вот что для нее все решает, она спросила только, когда К. успел с той девушкой познакомиться, он же в деревне всего несколько дней. К. рассказал о вечере в «Господском подворье», на что Амалия лишь сухо заметила, что она как раз очень возражала, когда его туда согласились отпустить. В подтверждение своих слов она призвала в свидетельницы саму Ольгу — та как раз вошла с охапкой дров: щеки прихвачены морозцем, свежая, бодрая, сильная, — ее было просто не узнать, до того преобразила работа всю ее обычно понурую, уныло застывшую посреди комнаты

фигуру. Она свалила на пол дрова, непринужденно поздоровалась с К. и тотчас спросила о Фриде. К. выразительно глянул на Амалию, но ту его взгляд, похоже, нисколько не убедил. Слегка этим задетый, К. принялся рассказывать о Фриде подробнее, чем вообще-то намеревался, расписал, в каких тяжких условиях она исхитряется вести в школе нечто вроде домашнего хозяйства, и в раже повествования настолько увлекся — а ведь он давно собирался уйти, — что на прощание вдруг пригласил сестер как-нибудь его навестить. Он, правда, тут же спохватился и испуганно осекся, но Амалия, не дав ему и слова сказать, заявила, что они с радостью принимают приглашение, Ольге ничего не оставалось, как вежливо поддакнуть, что она и сделала. Все еще подстегиваемый мыслями о необходимости как можно скорее откланяться, чувствуя постоянную неловкость под пристальным взглядом Амалии, К., однако, нашел в себе мужество напрямик, без экивоков заявить, что пригласил их совершенно необдуманно, дав волю душевному порыву, но приглашение свое он, к сожалению, вынужден взять назад ввиду вражды между Фридой и всем семейством Варнавы, вражды, кстати, совершенно ему непонятной.

— Это не вражда, — изрекла Амалия, вставая с лежанки и небрежно отбрасывая на нее одеяло, — вражда слишком сильное слово, это просто отголоски общей молвы. А теперь ступай, беги к своей невесте, я ведь вижу, ты вон извелся весь. И не бойся, мы не придем, это я просто так, по злобе, пошутила. Но ты к нам приходи, можешь и почаще, к этому-то, надеюсь, препятствий нету, ты ведь всегда можешь сослаться на Варнаву, от которого ждешь известий. Я, кстати, облегчу тебе эту повинность, сказав, что Варнава, даже если и принесет для тебя из Замка весточку, до школы дойти, чтобы тебе ее передать, все равно не в состоянии. Он не в силах столько бегать, бедный мальчик, он просто убивается на этой службе, вот и придется тебе самому к нам за вестями приходить.

К. еще ни разу не слышал, чтобы Амалия говорила так много, вдобавок по одному поводу, да и речь ее звучала не буднично, была в ней особая торжественность, которую не только К. расслышал, но, судя по всему, и Ольга, как-никак родная сестра, хорошо ее знавшая, — теперь она стояла чуть в стороне, сцепив руки перед собой и слегка расставив ноги, в обычной своей чуть неуклюжей и сутулой позе, не спуская глаз с Амалии, которая,

в свою очередь, смотрела только на К.

— Ты заблуждаешься, — сказал К., — ты сильно заблуждаешься, если думаешь, будто я жду Варнаву не всерьез, только для вида; уладить мои отношения с властями — самое главное, по сути единственное сокровенное мое желание. И Варнава должен мне в этом помочь, на него почти вся моя надежда. Однажды, правда, он меня весьма разочаровал, но это больше моя вина, чем его, просто в суматохе первых часов я не сразу во всем разобрался, решил, что все можно утрясти одной вечерней прогулкой, а когда невозможное выказало свою невозможность, я посчитал, что это из-за него. Потом это даже повлияло на мое суждение о вашей семье, обо всех вас. Но это в прошлом, мне кажется, я теперь лучше вас понимаю, вы… — тут К. запнулся, подыскивая нужное слово, но сразу не нашел и в итоге решил довольствоваться приблизительным: — Вы, по-моему, даже добросердечнее, чем кто-либо из людей в деревне, насколько я смог их узнать. Но ты, Амалия, опять-таки сбиваешь меня с толку, когда принижаешь если не саму службу брата, то ее значение для меня. Может, ты не особенно посвящена в дела Варнавы, тогда это не страшно, тогда и говорить не о чем, но если ты, чего доб-

рого, посвящена — а у меня скорее складывается именно такое впечатление, — тогда это скверно, ибо означало бы, что твой брат меня морочит.

— Успокойся, — обронила Амалия, — ни во что такое я не посвящена, и нет силы, которая заставила бы меня согласиться быть посвященной, ничто не может меня заставить к этому стремиться, даже из расположения к тебе, ради кого мне не жалко доброе дело сделать, ведь, как ты сам сказал, мы люди добросердечные. Однако дела моего братца — только его дела, я о них знать не знаю, разве что иной раз ненароком, сама того не желая, что-нибудь услышу. Зато вот Ольга сможет дать тебе полный отчет, она у него главная конфидентка.

С этими словами Амалия отошла сперва к родителям, с которыми о чем-то пошушукалась, а потом и вовсе удалилась на кухню, не попрощавшись с К., словно заранее зная, что останется он тут надолго и прощаться им ни к чему.

16

И К., с растерянным лицом, остался, Ольга, посмеиваясь над ним, потянула его к лежанке, казалось, она и вправду счастлива, что можно посидеть с ним наедине у печки, но это было тихое, мирное счастье, без тени ревности. И как раз удаленность от всякой ревности, а значит, и от строгого спроса была необычайно приятна К., он с радостью смотрел в эти голубые, не заманивающие и не властные, скорее застенчиво неотрывные, застенчиво сияющие глаза. Такое чувство, будто предостережения Фриды и трактирщицы его не то чтобы насторожили, но сделали зорче, ловчее, находчивее. И он посмеялся вместе с Ольгой, когда та высказала удивление, с чего это вдруг он именно Амалию назвал добросердечной, про Амалию много чего можно сказать, но только не это. К. в ответ заявил, что похвала вообще-то предназначалась, конечно же, ей, Ольге, но Амалия такая властная, что не только сама присваивает себе все, что говорится в ее присутствии, но и других заставляет все сказанное невольно адресовать только ей.

— Ты прав, — согласилась Ольга, мгновенно

посерьезнев, — ты даже не представляешь, насколько ты прав. Амалия моложе меня, моложе и Варнавы, но именно она у нас в семье все решает и в горе, и в радости, правда, ей и достается больше всех и радости, и горя.

К. посчитал, что тут она преувеличивает, ведь Амалия сама только что сказала, что дела брата ее нисколько не волнуют, зато Ольга все о них знает.

— Даже не знаю, как тебе объяснить, — сказала Ольга. — Амалия вроде и не заботится ни обо мне, ни о Варнаве, да, в сущности, вообще ни о ком, кроме родителей, за ними-то она ухаживает денно и нощно, и сейчас спросила, не нужно ли им чего, и пошла на кухню для них готовить, ради них себя пересилила, поднялась, а ведь ей с обеда нездоровится, вот она и лежит. Но хотя она вроде бы о нас и не заботится, а мы все равно от нее зависим, словно она в доме старшая, и, если бы она в наших делах нам советовать стала, мы бы обязательно ее послушались, но она не советует, мы ей словно чужие. Ты наверняка в людях разбираешься и приехал издалека, скажи: разве не кажется тебе, что она какая-то особенно умная?

— Мне кажется, что она какая-то особенно несчастная, — ответил К. — Но как увязывается

ваше перед ней уважение с тем, к примеру, что Варнава бегает посыльным, хотя Амалия его службу не одобряет, чтобы не сказать презирает?

— Если б он знал, чем ему еще заняться, он бы службу посыльного сразу оставил, ему эта служба вовсе не по душе.

— Так разве он не обучен на сапожника? — спросил К.

— Конечно обучен, — ответила Ольга. — Он и подрабатывает у Брунсвика и, если б захотел, круглые сутки мог бы работать и зарабатывать вдоволь.

— Ну так? — все еще не понимал К. — Вот и была бы ему работа вместо службы посыльного.

— Вместе службы посыльного? — изумилась Ольга. — Да разве он ради заработка за нее взялся?

— Кто ж его знает, — отозвался К. — Но ты ведь сама сказала, что ему эта служба не по душе.

— Конечно не по душе, и по очень многим причинам, — сказала Ольга, — но все-таки это служба при Замке, какая-никакая, а все же при Замке, по крайней мере, оно вроде так выглядит.

— Как? — не понял К. — У вас даже на сей счет сомнения?

— Ну, — замялась Ольга, — вообще-то нет,

Варнава ходит по канцеляриям, общается там со слугами как равный, издалека видит иногда кое-кого из чиновников, более или менее важные письма ему поручают отнести, сообщения на словах передать доверяют, все это немало, и мы вправе гордиться, что он в такие молодые годы уже столь многого достиг.

К. кивнул, о том, что ему нужно домой, он и думать забыл.

— У него и ливрея есть? — спросил он.

— Это ты про куртку? — догадалась Ольга. — Нет, куртку ему Амалия сшила еще до того, как он посыльным стал. Но ты нащупал больное место. Ему давно бы полагалось получить, нет, не ливрею, ливрей в Замке нету, но служебный форменный костюм ему твердо обещали, только по этой части в Замке все делается страшно медленно, а самое скверное, никогда нельзя знать, что эта медлительность означает: она может означать, что вопрос решается обычным служебным порядком, или что его даже не начинали решать, то есть что у Варнавы все еще испытательный срок не кончился, или, наоборот, что вопрос решен, но по каким-то причинам решение принято отрицательное и Варнава костюма не получит никогда. А поточнее ничего и узнать

нельзя, разве только много времени спустя. У нас здесь даже поговорка такая есть, может, и ты ее слыхал: «Решения властей пугливы, как молоденькие девушки».

— Удачно подмечено, — сказал К., отнесясь к поговорке даже серьезней, чем Ольга. — Очень удачно, между решениями властей и девушками, похоже, и иные сходства имеются.

— Может быть, — откликнулась Ольга, — я, правда, не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Может быть, ты это даже в похвальном смысле сказал. Только что до служебного костюма, понимаешь, Варнава очень из-за этого переживает, а поскольку я переживаю за него, то переживаем мы оба. Мы себя только без конца понапрасну изводим: ну отчего ему этот форменный костюм не выдают? Но с этим делом все не так просто. У чиновников, например, вроде бы вообще никакой казенной одежды нету; чиновники, насколько нам известно, — да и Варнава рассказывал, — в Замке расхаживают в обычной одежде, правда, в очень красивой. Впрочем, ты и сам Кламма видел. Однако Варнава ведь не чиновник даже самой низшей категории, он и не помышляет, куда уж ему. Но и высшие слуги, которые, правда, тут в деревне почти не бывают, по рассказам

Варнавы, тоже форменных костюмов не носят; не разобравшись, можно подумать, будто для нас это благоприятный знак, только пустое это, разве Варнава из высших слуг? Нет, при всем желании о нем такого сказать нельзя, он не из высших слуг, одно то, что он в деревне бывает, да что там бывает — живет, свидетельствует против этого, а высшие слуги держатся еще надменнее чиновников, может, и по праву, может, они и в самом деле поважнее иных чиновников будут, кое-что позволяет так думать, они и работают меньше, по рассказам Варнавы, одно удовольствие смотреть, как эти молодцы, все как на подбор рослые, сильные, статные, неспешным шагом по коридорам прохаживаются, Варнава-то все время мимо них шастает. Словом, о том, чтобы Варнава тоже был из высших слуг, и речи быть не может. Тогда, значит, он мог бы считаться одним из низших слуг, но они-то как раз все носят форму, по крайней мере когда сюда, в деревню, спускаются, это, правда, не то чтобы настоящие ливреи, да и различий между ними много, однако по одежде слугу из Замка сразу узнать можно, впрочем, ты сам их в «Господском подворье» видал. Перво-наперво в этой одежде бросается в глаза, что она такая облегающая, крестьянину или ремесленнику та-

кое платье ни к чему. Так вот, такой форменной одежды у Варнавы нету, и не то чтобы это постыдно или унизительно, само по себе это вполне можно пережить, но мы из-за этого — особенно когда на душе тошно, а с нами такое бывает, и нередко, — во всем остальном сомневаться начинаем. Да состоит ли Варнава действительно на службе при Замке? — спрашиваем мы себя. — Разумеется, он ходит по канцеляриям, но точно ли, что канцелярии — это уже сам Замок? И пусть даже при Замке есть канцелярии, точно ли это те самые, куда Варнаве дозволено входить? Да, он бывает в канцеляриях, но это только малая часть от общего их числа, а дальше идут барьеры, а за барьерами новые канцелярии. И ему не то чтобы прямо запрещено дальше заходить, только как он зайдет, если всех своих начальников он уже разыскал, они с ним все дела закончили и его отсылают? Вдобавок там за тобой постоянно наблюдают, или, по крайней мере, кажется, что наблюдают. Да и зайди он за эти барьеры — что толку, если у него там никаких служебных дел нету и он будет там просто как посторонний околачиваться? Кстати, эти барьеры — Варнава беспрестанно мне об этом твердит — ты не должен представлять себе как нечто вроде кордона.

Ведь в тех канцеляриях, куда он ходит, тоже свои барьеры имеются, иными словами, есть барьеры, за которые ему можно заходить, и выглядят они ничуть не иначе, чем те, за которыми он еще не был, поэтому вроде бы и нет оснований предполагать, будто за ними какие-то совсем другие канцелярии находятся, чем те, в какие Варнава вхож. Только когда на душе тошно, так думать начинаешь. И тогда сомнениям конца нет, до того они тебя одолевают. Да, Варнава говорит с чиновниками, да, они дают ему поручения. Только что это за чиновники, что за поручения? Теперь вот он, как он сам говорит, придан Кламму и поручения получает лично от него. Было бы прекрасно, если б так, высшие слуги и те не сподобляются такого, это, пожалуй, слишком высокое отличие, вот что самое страшное. Вообрази только — ты приставлен к самому Кламму, он лично изустно тебе распоряжения отдает. Только вправду ли оно так? Ну да, вроде бы все именно так и есть, но почему тогда Варнава сомневается, действительно ли чиновник, которого там Кламмом величают, на самом деле и есть Кламм? [*…почему в таком случае Варнава описывает Кламма иначе, нежели его обычно описывают другие, — может, он сомневается, что человек ~~чиновник~~, которого*

там все Кламмом называют, на самом деле и есть Кламм?]

— Ольга, — перебил ее К. — Ты, надеюсь, не шутишь? Как можно во внешности Кламма сомневаться, когда известно, как он выглядит, я сам его видел?

— Да нет же, К., — ответила Ольга. — Какие тут шутки, когда это самые горькие мои заботы. [*Это тебе я забот причинять не хочу, напротив, если б могла хоть часть забот с тебя снять, то с радостью взяла бы их на себя, по сравнению с той заботой, что на мне лежит, особенно по сравнению с тревогами о Варнаве, это был бы совсем незаметный груз.*] Только не затем я о них рассказываю, чтобы себе сердце облегчить, а тебе, наоборот, кручины добавить, а только потому, что ты про Варнаву спрашивал, вот Амалия и поручила мне все тебе рассказать, а еще потому, что тебе все эти подробности, надеюсь, не без пользы будут. Да и ради Варнавы я это делаю, чтобы ты на него слишком больших надежд не возлагал, во избежание разочарований, а то он из-за твоих разочарований сам переживает. Он ведь такой ранимый, из-за всего переживает, сегодня, например, всю ночь глаз не сомкнул, потому что ты вчера вечером был им недоволен, даже вроде

сказал, дескать, такая уж тебе судьба, что у тебя «только такой посыльный», как Варнава. Он из-за этих слов сна лишился, хотя ты-то, наверно, и не заметил, до чего он взволнован, замковому посыльному положено владеть собой и волнения не показывать. Ему очень нелегко приходится, даже с тобой. Ты наверняка полагаешь, что не слишком много от него требуешь, ты ведь со своими представлениями о службе посыльного сюда приехал, из них и исходишь. Но в Замке совсем другие представления, они с твоими не совпадают, и, вздумай Варнава вконец на службе убиваться — а он, увы, иногда готов убиваться, — совместить эти разные представления невозможно. Впрочем, ведь это и обязанность его — радеть о службе и подчиняться, тут возражать не приходится, если бы только не вечные сомнения — а вправду ли, точно ли он состоит на службе посыльного? По отношению к тебе он, разумеется, таких сомнений высказывать не смеет, для него это означало бы самое собственное существование подорвать и грубо нарушить законы, которые он все-таки полагает для себя непреложными, он даже со мной откровенно об этом не говорит, поцелуями, ласками я выманиваю у него признания в его сомнениях, но и тогда он не решается эти сомне-

ния настоящими сомнениями назвать. В этом смысле он очень на Амалию похож, родная кровь как-никак. И всего он мне, конечно, никогда не скажет, хоть я и единственная поверенная у него. Но о Кламме мы иногда говорим, я-то Кламма не видела, ты ведь знаешь, Фрида меня не жалует и никогда бы меня не допустила на него поглядеть, но, разумеется, внешность его в деревне знают, кое-кто его видал, а слыхать все слыхали, вот из этих немногих поглядов да из слухов, а еще из иных заведомо искажающих правду мелких сплетен создался образ Кламма, который, наверно, в общих чертах вполне правдив. Но только в общих чертах. В остальном же он переменчив, хотя, наверно, все-таки не так, как переменчива сама внешность Кламма. Вроде бы, когда в деревню приезжает, он один, а когда уезжает — совсем другой, один — перед тем, как пива выпить, и другой после того, один — когда бодрствует, другой — когда спит, один — когда с кем-то беседует, и другой — когда в одиночестве, ну и уж почти совершенно неузнаваем, что и понятно, когда он там, наверху, в Замке. Хотя и здесь, в деревне, по рассказам, довольно большие различия получаются и в росте, и в осанке, и в плотности сложения, в форме и размере бороды, слава богу,

хотя бы в отношении одежды все слухи сходятся, одет он всегда одинаково, в черный сюртук с длинными фалдами. Все эти разные его личины, конечно, никакое не колдовство, а очень понятно объясняются разными настроениями людей, которые его видят — да и видят в большинстве случаев лишь мельком, — мерой их возбуждения, неисчислимыми оттенками и полутонами их надежды и отчаяния; я тебе со слов Варнавы пересказываю, как он мне часто это объяснял, и таким объяснением, в общем, вполне можно удовлетвориться, покуда тебя лично это не коснется. Но для нас, для Варнавы это вопрос жизни — с самим Кламмом он говорит или с кем-то еще?

— Для меня этот вопрос важен ничуть не меньше, — проговорил К., и они еще теснее придвинулись друг к другу на лежанке у печи.

К., хотя и неприятно пораженный рассказом Ольги, усмотрел в нем, однако, хотя бы тот для себя выигрыш, что нашел здесь, в деревне, людей, удел которых, по крайней мере внешне, весьма напоминает его собственный, людей, к которым, следовательно, можно примкнуть, с которыми во многих вещах — а не только в отдельных, как с Фридой, — можно найти взаимопонимание. И хотя он мало-помалу терял веру в успех своего

отправленного с Варнавой послания, но чем хуже складывались дела у Варнавы там, наверху, тем по-человечески ближе он становился ему здесь, внизу; К. и вообразить не мог, чтобы отсюда, из самой деревни, в сторону Замка могла быть устремлена столь горестная тоска, какая снедала Варнаву и его сестру. Хотя, разумеется, тут все отнюдь не до конца ясно и при ближайшем рассмотрении вполне может обернуться своей противоположностью, нельзя с ходу обольщаться наивной цельностью Ольгиной натуры, да и откровенности Варнавы безоглядно верить тоже не стоит.

— А рассказы о внешности Кламма Варнава очень хорошо знает, — продолжала Ольга, — он их много собрал и сопоставил, пожалуй, чересчур много, однажды и самого Кламма мельком в окошко видел, когда тот мимо проезжал, или ему почудилось, будто видел, словом, Варнава достаточно был подготовлен, чтобы при встрече его узнать, и тем не менее — вот попробуй, объясни такое: когда в Замок в какую-то из канцелярий явился и ему среди многих чиновников одного показали, мол, вот он, Кламм, он его не признал и после долго еще не мог привыкнуть к мысли, что это будто бы Кламм и есть. Но когда спрашиваешь

Варнаву, чем тот человек от нашего обычного представления о Кламме отличается, он толком не отвечает, то есть вообще-то отвечает и даже описывает того чиновника из Замка, да только описание в точности совпадает с описаниями Кламма, какие мы знаем. «Так в чем же дело, Варнава? — спрашиваю я его. — Отчего ты сомневаешься, зачем так изводишь себя?» А он, с видимым смущением, в ответ начинает перечислять какие-то особые приметы того чиновника из Замка, причем, похоже, не столько по памяти их описывает, сколько сочиняет, к тому же приметы до того пустяковые, никчемные — к примеру, как он по-особому головой кивнул, или, совсем уж ерунда, что у него, мол, жилетка расстегнута, — их всерьез и приметами-то назвать нельзя. Куда важнее для меня, как Кламм с Варнавой общается. Варнава часто мне это описывал, иной раз даже с рисунками. Обычно Варнаву проводят в большое канцелярское помещение, но это не кабинет Кламма и вообще не кабинет для одного человека. По всей длине — от одного торца до другого — помещение сплошной длинной конторкой разделено на две части, узкую, где двоим едва-едва разминуться можно, это для чиновников, и широкую, это место для посетителей, слуг,

посыльных и просто зевак. На пульте конторки, вплотную одна к другой, разложены раскрытые книги, и почти над каждой книгой стоит чиновник и что-то в ней вычитывает. Правда, они не постоянно каждый при своей книге остаются, а меняются, только не книгами, а местами, Варнаву больше всего поражает, как они при смене мест буквально протискиваться должны мимо друг дружки, такая у них за конторкой теснота. Спереди, вплотную к конторке, низкие столики приставлены, за которыми писари сидят, всегда наготове по желанию чиновника тотчас под его диктовку записывать. Варнаву всякий раз сызнова изумляет, как эта диктовка происходит. Начинается она без всякого отчетливого приказа чиновника, да и диктует он не громче обычного, со стороны вообще незаметно, что он диктует, скорее кажется, что он продолжает читать, как и раньше, только при этом что-то шепчет, а писарь его шепот слушает. Иной раз чиновник диктует настолько тихо, что, сидя, писарь просто не в состоянии его расслышать, тогда ему приходится то и дело вскакивать, подхватывая диктуемое буквально на лету, снова садиться, мигом записывать услышанное, потом снова вскакивать, и так без конца. Вот уж действительно чудно! Со

стороны почти уму непостижимо. У Варнавы, правда, времени достаточно, чтобы за всем этим наблюдать, ведь он там, на половине для посетителей, часами, а то и целыми днями простаивает, прежде чем Кламм на него взглянуть соизволит. Но даже когда Кламм его заметит, а Варнава, весь внимание, по стойке смирно вытянется, это ничего не значит, Кламм может снова в свою книгу углубиться, а о нем напрочь забыть, и так оно нередко и бывает. Что это за посыльная служба такая, если у нее никакой важности нет? У меня просто сердце сжимается, когда Варнава с утра говорит, что ему нынче снова в Замок идти. Весь этот путь, вероятно, совершенно бесполезный, весь этот день, вероятно, напрочь потерянный, все эти надежды, видимо, пустые и напрасные! К чему все это? А тут тем временем сапожная работа горой накапливается, и Брунсвик торопит, сердится.

— Ну хорошо, — сказал К., — Варнаве приходится долго ждать, прежде чем ему дадут поручение. Это понятно, служащих тут, видно, в избытке, не каждому выпадает по заданию в день, вряд ли стоит на это сетовать, здесь, надо думать, с каждым так. Но в конце-то концов и Варнава все-таки получает поручения, вон мне лично уже

два письма доставил.

— Вполне допускаю, — отвечала Ольга, — что нам и негоже сетовать, в особенности мне, простой девушке, которая знает обо всем лишь понаслышке и которой куда труднее во всем разобраться, чем Варнаве, тем более что он и умалчивает о многом. Но вот сам послушай, как с письмами обстоит, в частности, например, с письмами тебе. Письма эти он не от Кламма лично получает, а от писаря. В любой день, в любой час — вот почему эта служба, хоть кажется легкой, так утомительна, ведь Варнаве нужно постоянно быть начеку — писарь, вспомнив о нем, может подозвать его к себе. Сам Кламм вроде и распоряжений никаких не отдавал, он, как ни в чем не бывало, читает свою книгу, иногда, правда, — и частенько, как раз когда Варнава приходит, — протирает пенсне и как будто даже на Варнаву смотрит, если, конечно, он без пенсне вообще хоть что-то видит, в чем Варнава сомневается, ведь глаза у Кламма крепко зажмурены, и кажется, он вообще спит и так, во сне, пенсне протирает. Тем временем писарь, порывшись в груде папок и бумаг, что свалены у него под столом, извлекает письмо для тебя — иными словами, письмо это не сию минуту написано, со-

всем напротив, судя по виду конверта, оно очень старое и давным-давно там, под столом, валяется. Но если письмо старое, почему Варнаву так долго заставляли ждать? А значит, наверно, и тебя? Да, в конце концов, и само письмо зачем заставляли ждать, оно же, наверное, устарело? А Варнава из-за этого приобретает дурную славу нерадивого, медлительного посыльного. Писарю, впрочем, до всего этого дела мало, он вручает Варнаве письмо, говорит: «От Кламма — для К.», — и отпускает Варнаву на все четыре стороны. И вот Варнава, едва дыша, возвращается домой с заветным, выклянченным письмом под рубашкой, прямо на голой груди, и мы оба, как вот сейчас с тобой, садимся сюда, на лежанку, и он рассказывает, и мы все до последней мелочи с ним обсуждаем, и прикидываем, многого ли он достиг, и приходим в конце концов к выводу, что достиг он очень немногого и даже это немногое сомнительно, и Варнава откладывает письмо, у него всякая охота пропадает его доставлять, но и спать ложиться ему неохота, он берется сапожничать и иной раз просиживает на своей сапожной скамеечке до самого утра. Вот оно как на самом-то деле, К., вот и все мои тайны, чтобы ты не удивлялся, отчего Амалия о них и слышать не хочет.

— Ну а письмо? — спросил К.

— Письмо? — переспросила Ольга. — Ну через какое-то время, после многих понуканий с моей стороны — этак дни, а иной раз и недели проходят, — он все же берет письмо и отправляется доставить по назначению. Понимаешь, во всех таких формальностях он очень от меня зависит. Я, когда первое впечатление от его рассказа переживу, еще как-то умею с духом собраться, а он, вероятно, потому что больше моего знает, совсем не в силах. Вот я тогда и твержу ему поминутно: «Чего ты, в сущности, хочешь, Варнава? О каком пути в жизни, о какой цели мечтаешь? Или ты хочешь так далеко залететь, чтобы всех нас, и меня тоже, раз и навсегда покинуть? Ты к этому стремишься? По-другому ведь и подумать нельзя, ведь тогда непонятно, отчего ты так ожесточенно недоволен достигнутым? Ты оглянись вокруг, разве кто-нибудь из соседей наших хоть чего-то подобного добился? Конечно, положение у них не чета нашему, у них нет причин к чему-то иному, выше своего шестка стремиться, но, даже и не сравниваясь с ними, нельзя не увидеть, что дела твои идут наилучшим образом. Конечно, немало и препон, и разочарований, и неясностей, но ведь это означает только одно — а мы про это и

заранее знали: тебе ничто не достанется даром, ты за любую мелочь должен бороться, — так это только лишний повод гордиться собой, а не в уныние впадать. И потом, ты ведь не за себя только, ты и за нас борешься! Разве для тебя это звук пустой? Разве не придает тебе новых сил? И что я счастлива и даже чуть ли не гордячкой стала из-за того, что у меня такой брат, — разве не придает тебе это уверенности? Нет, ты в самом деле меня разочаровываешь, но не в том, чего ты в Замке добился, а в том, как мало мне тебя удается убедить. Ты вхож в Замок, ты завсегдатай стольких канцелярий, ты целые дни проводишь с Кламмом в одних стенах, всеми признан как посыльный, имеешь право на форменный служебный костюм, тебе поручают доставку важных депеш и писем, — и все это ты, все это тебе дозволено и поручено, а ты приходишь оттуда, сверху, и, вместо того чтобы нам обоим, рыдая от счастья, кидаться друг другу в объятия, ты при виде меня вконец падаешь духом, сомневаешься во всем, радуешься только своему сапожному ремеслу, а письмо, эту поруку нашего будущего, откладываешь в сторону и не желаешь доставлять». Вот так я с ним беседую, и, после того как я сутками этак его уговариваю, он в один прекрасный день со

вздохом берет письмо и уходит. Только, наверно, дело тут вовсе не в моих речах, просто его опять в Замок тянет, а явиться туда, не исполнив поручения, он не смеет.

— Но ведь все, что ты ему говоришь, чистая правда! — воскликнул К. — Просто изумительно, до чего ясно ты мыслишь, насколько верно самую суть схватываешь!

— Да нет, — бросила Ольга. — Ты обманываешься, да и я его, наверно, тоже обманываю. Чего такого он достиг? Да, в какую-то канцелярию он имеет доступ, только, похоже, это и не канцелярия вовсе, а всего лишь приемная при канцеляриях, может, не приемная даже, просто комната, где задерживают и мурыжат всех, кому в настоящие канцелярии вход воспрещен. Да, он говорит с Кламмом, только Кламм ли это? Или, скорее, кто-то, кто всего лишь похож на Кламма? В лучшем случае, может, какой-нибудь секретарь, который слегка на Кламма походит, вот и важничает, вот и прикидывается Кламмом, подражая его вечно заспанному, отрешенному виду. Этим чертам его характера подражать легче всего, тут многие изощряются, правда, что до других его свойств, то их показывать они не больно-то смельчаки. А человек вроде Кламма,

столь всеми осаждаемый и столь недоступный, понятное дело, приобретает в представлении людей самые разные обличья. У Кламма, например, есть секретарь по делам общины, Момус его фамилия. Как? Ты его знаешь? Он тоже мало кого к себе подпускает, но я его несколько раз видела. Молодой еще человек, довольно крепкий, верно? Так что внешне, очевидно, на Кламма вовсе не похож. И тем не менее ты наверняка встретишь в деревне людей, которые поклясться готовы, что Момус — это Кламм, и никто другой. Вот так люди сами себя морочат. А почему, спрашивается, в Замке должно быть по-иному? Кто-то Варнаве сказал, мол, вон тот чиновник и есть Кламм, между ними, возможно, в самом деле есть некоторое сходство, только Варнава в этом сходстве постоянно сомневается. И все говорит за то, что сомневается он по праву. Это Кламм-то будет толкаться в общей канцелярии, среди кучи других чиновников, с карандашом за ухом? Все это крайне маловероятно. Варнава любит иногда повторять, немного ребячливо, конечно, — но это когда он в хорошем настроении: «Этот чиновник вправду очень похож на Кламма, будь у него отдельный кабинет, с собственным письменным столом, с табличкой на двери, чтобы фамилия

была написана, — я бы и сомневаться перестал». Ребячливо, конечно, но ведь так понятно. Правда, еще понятнее было бы со стороны Варнавы, когда он там, наверху, бывает, побольше разных людей расспросить, как на самом-то деле обстоит, народу в приемной, по его же словам, вполне достаточно. И даже если сведения окажутся ненамного надежнее слов того человека, кто сам — ведь никто его не просил! — Варнаве Кламма показал, то хотя бы само их множество, само разнообразие ответов хоть какую-то зацепку дало бы, возможность сравнить и сопоставить. Это не моя придумка, это мысль Варнавы, только исполнить ее он не отваживается, даже ни с кем заговорить не решается из опасения невольно нарушить какие-нибудь неизвестные ему правила и потерять место, вот до чего он там робеет, и именно эта в сущности жалкая робость показывает мне его истинное там положение, показывает куда яснее и отчетливее всех его рассказов. До чего же, должно быть, угрожающим и зыбким все ему там видится, если он для самого безобидного вопроса и то рта раскрыть не смеет. Как подумаю об этом, так себя корить начинаю — зачем пускаю его одного в эти неведомые приемные, где такое творится, что даже он, парень скорее удалой, чем

трусоватый, от страха трепещет.

— Вот тут, по-моему, ты к самому главному и подошла, — сказал К. — В этом все дело. После всего, что ты рассказала, я, по-моему, теперь очень ясно все вижу. Варнава слишком молод для такой работы. Ничего из его рассказов нельзя принимать на веру просто так. Коли он там, наверху, от страха обмирает, то и подмечать ничего не в состоянии, ну а когда его принуждают здесь к рассказам, он плетет всякие путаные небылицы. И я ничуть этому не удивляюсь. Благоговение перед властями у всех у вас в крови, от самого рождения и всю жизнь вам его тут со всех сторон и на все лады внушают, чему и сами вы способствуете, каждый по мере сил. По сути-то я ничего против не имею: если власть хороша, почему перед ней и не благоговеть? Только нельзя совершенно неискушенного юношу вроде Варнавы, который дальше своей деревни и не видел ничего, сразу посылать в Замок, а потом ждать и даже требовать от него правдивых рассказов, всякое слово толкуя как слово откровения да еще стараясь из толкований этих собственную судьбу вызнать. Ничего нет ошибочнее и порочней! Правда, и я поначалу позволил ему вот этак сбить себя с толку, возлагая на него надежды и претерпев из-

за него разочарования, и то и другое основывая только на его словах, то бишь, по сути, ни на чем не основывая.{20}

Ольга промолчала.

— Нелегко мне, — продолжал К., — подрывать в тебе доверие к брату, я ведь вижу, как ты его любишь, какие надежды на него возлагаешь. [*Кстати, мне эти твои ожидания вообще не вполне понятны, исполнить их, по-моему, не только твоему брату, но и вообще никому не по силам. Но это мы еще после обсудим, если ты не возражаешь. Я же первым делом хотел бы сказать вот что: мое суждение о твоем брате не должно приводить тебя в отчаяние, будь у тебя и правда причина из-за него отчаиваться, думаю, я бы тогда промолчал.*] Однако придется

{20} Варианты: 2.20

...даже он, парень скорее уж удалой, чем трусоватый, от страха трепещет. [*Разве и тебе так не кажется?*

~~— По моему впечатлению, — отвечал К., — ты со мной совершенно откровенна, поэтому и я буду с тобой откровенен, это удовольствие, которое здесь, в деревне, не часто можно испытать.~~

— Не знаю, — отвечал К. — ~~Тут я тебя, Ольга, не понимаю, — сказал К.~~ Я только знаю, что уделу Варнавы, который представляется тебе таким ужасным, я лично завидую. Конечно, было бы прекрасно, если бы все, чего он добился, не подлежало никакому сомнению, но подумай сама, Ольга ~~сколько людей слоняются по деревне вовсе без дела~~, пусть даже он бывает в самых никчемных прихожих самых незначительных канцелярий ~~и все-таки он там, в приемной~~, как же далеко внизу он оставляет при этом злосчастную лавку у печи, на которой мы сейчас с тобой сидим. Я удивляюсь, что ты ценишь это лишь для вида, Варнаве

в утешение, на самом же деле значения его успехов, видно, вовсе не понимаешь. А ведь при том — и это мне совсем непонятно, — похоже, именно ты ободряешь и подстегиваешь Варнаву во всех его усилиях, чего я, кстати говоря, после первого вечера нашего знакомства и отдаленно предположить бы не мог.

— Ты меня совсем не знаешь, — сказала Ольга. — Никого я не подстегиваю, вовсе нет. Не будь все, что Варнава делает в Замке, так нам необходимо, я бы первая удержала его дома и в жизни туда не отпустила. Разве не пора ему жениться, завести дом и семью? Вместо этого он попусту растрачивает силы, разрываясь между сапожным ремеслом и побегушками посыльного, торчит там, наверху, перед конторкой, ловя каждый взгляд чиновника, что внешне похож на Кламма, дабы в конце концов получить для передачи старое, запыленное, никому не нужное письмо, от которого никакого проку, одни только недоразумения.

— А вот это опять-таки уже совсем другой вопрос, — сказал К. — Что Варнаве приходится разносить бесполезные, а то и вредные письма, может послужить основанием для обвинения против властей, может далее обернуться скверными последствиями для адресата, то бишь для меня, однако для самого Варнавы тут никакого вреда нет, он лишь в соответствии с поручением разносит по адресам письма, содержания которых часто даже не знает, никакой его вины тут нет, он посыльный и справляет службу посыльного, в точности как вы того и хотели.

— Ну да, — отозвалась Ольга. — Может быть, и так. Иной раз, когда я одна тут сижу, Варнава в Замке, Амалия на кухне, отец с матерью, бедняги, за столом носами клюют, я попробую, бывало, вместо Варнавы сапожничать, да у меня руки-крюки, бросаю и начинаю изо всех сил думать, только ума у меня на эти вещи совсем не хватает, и все как-то в голове путается, даже страхи и заботы уже не особняком стоят, а вроде как расплываются, пропадают куда-то.

— Вот тут, по-моему, ты к самому главному и подошла, — сказал К. — В этом все дело. Варнава слишком молод для такой работы.

Ничего из его рассказов нельзя принимать всерьез, и не потому, что он, допустим, рассказывает неправду, а потому именно, что он там обмирает от страха. И я ничуть этому не удивляюсь. Благоговение перед властями у всех у вас в крови, от самого рождения и всю жизнь вам его тут со всех сторон и на все лады внушают, чему и сами вы способствуете, каждый по мере сил. По сути, я ничего и не имею против: если власть хороша, почему бы перед ней и не благоговеть. Только вот нельзя совершенно неискушенного юношу вроде Варнавы, который дальше своей деревни и не видел ничего, так сразу посылать в Замок, а потом ждать и требовать от него правдивых рассказов, каждое слово толкуя как слово откровения да еще стараясь из толкований этих собственную судьбу вызнать. Ничего нет ошибочнее и порочней! Правда, и я поначалу позволил ему вот этак сбить себя с толку, возлагая на него надежды и претерпев из-за него разочарования, и то и другое основывая только на его словах, то бишь, по сути, ни на чем не основывая. Он твой брат, ты возлагаешь на него большие надежды, и то, чего он уже достиг, похоже, дает тебе на это право.

— Может, так оно и есть, — проговорила Ольга. — Я тебе верю, ты ведь человек независимый, судишь беспристрастно, так что тебе, наверно, видней, но мы-то после пережитого вечно в страхе и не в силах этому страху сопротивляться — нас любой скрип половицы пугает, да и вообще любой посторонний шорох, а мы толком и не уразумеем почему.

— Вот уж не думал, что ты такая, — сказал К.

— А я такой и не была, я такой стала. Разве Фрида ничего тебе про нас не рассказывала?

— Только намеками, — ответил К., — а так ничего определенного, но при одном упоминании о вас она выходит из себя.

— И трактирщица ничего не рассказывала?

— Да нет, ничего.

— И больше никто?

— Никто.

— И не удивительно, — заметила Ольга. — Ни от кого в деревне ты ничего определенного про нас не узнаешь, зато каждый, неважно, знает он, о чем вообще речь, или не знает, а только верит в прослышанные где-то, большей частью ими же самими выдуманные сплетни, — каждый найдет способ показать тебе, насколько он нас презирает вообще и в частности, очевидно, он просто не может иначе, в противном случае он сам себя презирать начнет. Из-за этого, конечно, иной раз совсем несуразные вещи творятся. Ты знаешь преемницу Фриды? Пепи ее зовут. Я только позавчера вечером с ней познакомилась, она раньше горничной работала. Так вот, она в своем ко мне презрении наверняка Фриду переплюнула. Она, как увидела меня из окна — я за пивом пришла, — подбежала к двери и нарочно ее заперла, мне пришлось долго ее упрашивать и даже посулить ленту, что у меня в волосах была, прежде чем она открыть соизволила. А когда я ей ленту отдала, она не глядя швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает, как-никак я от нее завишу, она теперь буфетчица в «Господском подворье», правда, только временно и надолго не задержится, нет у нее нужных качеств, чтобы на таком месте постоянно работать. Стоит только послушать, как хозяин с этой Пепи разговаривает, и сравнить, как он с Фридой обращался. Но Пепи это ничуть не мешает презирать не только меня, но и Амалию, Амалию, одного взгляда которой было бы достаточно, чтобы эту пигалицу Пепи со всеми ее косичками и рюшами из комнаты так и вынесло, пулей бы вылетела, как ей на своих толстеньких ножках в жизни не поспеть. А какую возмутительную болтовню про Амалию пришлось мне вчера от нее выслушивать, покуда гости за меня не взялись, к сожалению, на тот же манер, как ты однажды имел возможность видеть.

— Но за что они вас презирают? — спросил К. и тотчас вспомнил омерзение, какое испытал в первый вечер при виде всей этой семейки, сгрудившейся за столом в тусклых бликах крохотной керосиновой лампы, при виде этих широких, тесно, одна к одной, сплотившихся

спин, при виде стариков, почти уронивших седые, сморщенные головы в тарелки с супом, в тупом ожидании, когда их наконец накормят. До чего же это было отвратительно, а еще отвратительнее, что общее впечатление нельзя объяснить никакими частностями, то есть частности вообще-то можно даже перечислить, чтобы хоть за что-то ухватиться, но беда не в них, а в чем-то ином, чему и название не подберешь. Лишь позже, присмотревшись к жизни в деревне и научившись не очень доверяться первым впечатлениям, да и не только первым, но и вторым и всем последующим, и лишь после того, как это сбившееся в неаппетитную кучку семейство разделилось в его глазах на отдельных людей, которых он отчасти понимал и которым, главное, мог сочувствовать почти как друзьям, ближе которых у него в деревне до сих пор так никого и нет, — лишь тогда та давняя, самая первая неприязнь стала помаленьку улетучиваться, но все еще ушла не до конца, родители в углу, маленькая лампа, сама изба, — нет, спокойно выносить все это по-прежнему нелегко, и только некий особый, как бы в возмещение преподнесенный подарок, вроде вот сегодняшнего рассказа Ольги, помогал хоть как-то, да и то скорее для вида и лишь на время, со всем этим убожеством мириться. Погруженный в свои мысли, он добавил:

— Я убежден, с вами поступают несправедливо, это я перво-наперво хочу сказать. Но людям, должно быть, тяжело — я, правда, не знаю, по какой причине, — обходиться с вами иначе. Надо быть совсем чужаком на моем особом положении, чтобы этому предубеждению не поддаться. Но и на меня оно долго действовало, и настолько сильно, что эта настроенность людей против вас — а тут не только презрение, но еще и страх — мне казалась само собой разумеющейся, я как-то и не думал о ней, не расспрашивал о причинах, не пытался за вас вступиться, правда, еще и потому, что все это было от меня далеко или казалось далеким. Зато теперь мне все совершенно по-другому видится. ~~Теперь я думаю, что люди, которые вас презирают, о причинах своего презрения не просто молчат — они этих причин и вправду не ведают. Надо~~

~~лучше вас узнать, особенно тебя, Ольга, чтобы от этого наваждения избавиться.~~ Не иначе вам ставят в вину, что вы выше других подняться норовите, что Варнава посыльным при Замке стал или стремится стать, — вот за что все на вас в обиде; им бы восхищаться вами, а они вместо этого вас презирают, да притом с такой злостью, что вы не в силах их презрению противостоять, — ибо что еще все ваши заботы, сомнения и страхи, как не следствие этого всеобщего презрения? Ольга улыбнулась и вдруг глянула на К. таким умным, таким светлым, таким проницательным взглядом, что ему стало не по себе, будто он что-то совсем несуразное сказал, а Ольга теперь считает своим долгом прочистить ему мозги и все несуразности исправить, причем донельзя счастлива, что ей выпала такая задача. И вопрос, почему все против их семьи так ополчились, вновь показался К. неразрешимой загадкой, безотлагательно требующей самого ясного ответа.

— Нет, — молвила Ольга, — это не так, отнюдь не такое благоприятное у нас положение, это просто ты от Фриды нас не защищал и теперь пытаешься наверстать упущенное, защищая нас сверх меры. Вовсе мы не стремимся выше других подняться. И разве такое уж высокое это стремление — мечтать стать посыльным при Замке? Да всякий, кто на ногу скор и несколько слов поручения в памяти удержать способен, вполне может стать при Замке посыльным. Это ведь к тому же и должность-то неоплачиваемая. Похоже, просьбу принять человека на должность посыльного в Замке воспринимают примерно так же, как приставание маленьких, томящихся от безделья детей, когда те клянчат что-то вместо взрослых сделать, допустим, сбегать куда-нибудь не за плату, а только похвалы и интереса ради. Так вот и здесь, с той лишь разницей, что желающих совсем не так много, и тех, кого принимают, — неважно, на самом деле принимают или только для вида, — по головке, как детей, не гладят, а только мучают. Нет, завидовать тут совершенно нечему, нам и не завидуют, скорее уж сочувствуют, при всей враждебности все-таки и проблеск сострадания иной раз в людях встретишь. Может, вот и в твоем сердце тоже,

иначе что еще могло тебя к нам привлечь? Одни только послания Варнавы? Ни за что не поверю. Им-то ты, наверно, никогда особого веса не придавал, это лишь из сострадания к Варнаве — или, скажем так, в основном из сострадания — ты настаивал на их доставке. И, надо сказать, тут ты не ошибся. Потому что Варнава, хоть и страдает от твоих чрезмерных, неисполнимых требований, но в то же время у него вроде как и гордости прибавляется, и уверенности в себе: беспрестанные сомнения, от которых он там, наверху, в Замке, не может избавиться, благодаря твоему доверию, твоему настойчивому участию все-таки хоть на время отступают. С тех пор как ты в деревне, он явно лучше стал. Да и нам, остальным, кое-что от такого твоего доверия тоже перепадает, и перепадало бы еще больше, приходи ты к нам почаще. Но ты вынужден себя сдерживать из-за Фриды, я понимаю, я и Амалии так пыталась объяснять. Но она такая нервная, я в последнее время, даже когда очень нужно, и то боюсь с ней заговоривать. Когда с ней говорят, она, похоже, и не слушает даже, а если слушает, то сказанного как-будто не понимает, а если понимает, то вроде как презирает говорящего. Только у нее все это выходит не нарочно, так что на нее и сердиться нельзя; чем она отрешеннее, тем ласковей надо с ней обходиться. Насколько она кажется сильной — настолько же она слабая. Вчера, к примеру, Варнава сказал, что ты сегодня придешь; правда, поскольку уж он-то Амалию знает, он на всякий случай тут же добавил, что ты только, может быть, придешь, это, мол, еще не наверняка. И все равно Амалия извелась вся, ничего делать не могла, целый день тебя прождала и только к вечеру, когда уже с ног валилась от усталости, вынуждена была прилечь.

— Теперь я понимаю, — проговорил К., — почему я что-то для вас значу, хоть никакой моей заслуги в том и нет. Мы связаны друг с другом именно что как посыльный с адресатом, но не более того, так что не преувеличивайте, мне слишком важна ваша дружба, особенно твоя дружба, Ольга, и я не могу допустить, чтобы преувеличенные ожидания ей повредили. Точно так же и вы едва не стали мне почти

чужими оттого, что я слишком большие надежды с вами связывал. Со мной ведь играют ничуть не меньше, чем с вами, выходит, это вообще очень большая, хитрая и поразительно слаженная игра. Верное ли у меня по твоим рассказам сложилось впечатление, что два послания, которые Варнава мне доставил, вообще пока что единственные, которые ему доверили?

Ольга кивнула.

— Я стыдилась в этом признаться, — ответила она, потупив глаза. — А вернее, боялась, что тогда эти письма покажутся тебе еще никчемнее.

— Но ведь вы обе, и ты, и Амалия, наоборот, всегда старались преуменьшить в моих глазах значение этих писем.

— Да, — согласилась Ольга. — Это Амалия так считает, ну и я вслед за ней. Понимаешь, это все от безнадежности, которая совсем нас одолела. Нам кажется, никчемность этих посланий настолько очевидна, что, если мы на эту очевидность лишний раз укажем, большой беды не будет, что мы, наоборот, тем самым только завоюем у тебя больше доверия и сочувствия, потому что это единственное, на что мы, по сути, уповаем. Ты меня понимаешь? То есть мы рассуждаем примерно вот как: послания сами по себе ничтожны, непосредственно из них ничего дельного не почерпнешь, да и ты слишком умен, чтобы в этом отношении позволить себе обмануться, а даже сумей мы тебя обмануть, тогда получилось бы, что уже Варнава лжепосланник и от лжи вообще спасу нет.

— Значит, и ты неискренна со мной, — сказал К. — Даже ты со мною не искренна.

— Ты не понимаешь, в какой мы беде, — проронила Ольга, боязливо глянув на К. — Мы, наверно, сами виноваты, от людей напрочь отвыкли и своими отчаянными попытками тебя привлечь только все больше тебя отталкиваем. Это я-то с тобой не искренна? Да искреннее, чем я с тобой, просто и быть нельзя. А если я и умалчиваю о чем, то только из страха перед тобой же, но видишь, я ведь и о страхе своем

не умалчиваю, показываю его открыто, избавь меня от этого страха — и я вот она, вся тут.

— И что же это за страх? — спросил К.

— Страх тебя потерять, — ответила Ольга. — Сам подумай, вот уже три года Варнава бьется за место посыльного, три года мы, затаив дыхание, ждем хоть какого-то успеха, и все тщетно, несмотря на все усилия, — ни тени успеха, только позор и напрасные муки, только зря потерянное время и мрак угроз вместо будущего, и вдруг однажды вечером он приходит с письмом, письмом для тебя. Прибыл какой-то землемер, как будто сама судьба его нам послала. «Мне поручается обеспечивать все сообщение между ним и Замком, — говорит Варнава. — Похоже, важное дело затевается», — говорит он. «Еще бы, — отвечаю, — это ж землемер! Он будет производить работы, значит, у него будет большая деловая переписка. Наконец-то ты стал настоящим посыльным, совсем скоро тебе и форму выдадут». — «Может быть», — ответил Варнава, даже этот изверившийся, замучивший себя сомнениями мальчик сказал «может быть»! В тот вечер мы были счастливы, даже Амалия, пусть и на свой лад, радовалась вместе с нами, она, правда, нас не слушала, но лавку, на которой прилегла, передвинула к нам поближе и изредка поглядывала, как мы с братом смеемся и шушукаемся. Только счастье недолго длилось, оно, проще сказать, в тот же вечер и кончилось. Хотя внешне-то сперва показалось, что оно, счастье, еще сильнее должно стать, когда Варнава вдруг вместе с тобой домой явился. Но тут же сразу и сомнения начались, для нас, конечно, это очень почетно было, что ты к нам пришел, но в то же время что-то тут было не так. Чего тебе надо? — спрашивали мы себя. — Зачем ты пришел? Вправду ли ты большой человек, за которого мы тебя принимаем, если тебе так приспичило в нашу бедную хижину пожаловать? Почему ты не остался у себя, где тебя разместили, почему не вызвал, как подобало бы твоему достоинству, посыльного к себе, чтобы немедленно отправить его с поручением? Разве тем, что ты явился к нам, ты хотя бы отчасти не принижаешь службу

посыльного, не лишаешь важности саму должность Варнавы? К тому же ты и одет был хотя и не по-нашему, но все равно бедно, твое пальто, насквозь промокшее, которое я с тебя сняла, я потом еще долго с грустью в руках вертела. Неужто с первым, таким долгожданным адресатом нам опять только несчастье выпало? Потом, впрочем, мы заметили, что ты не очень-то склонен с нами знаться, к окну словно прирос и никакими силами тебя с нами за стол не усадить. Ну мы на тебя и не оборачивались, хотя ни о ком другом уже и думать не могли. Или ты для того только пришел, чтобы нас проверить? Посмотреть, из какой семьи приставленный к тебе посыльный? Значит, еще и двух дней здесь не пробыл, а у тебя уже против нас подозрения? И выходит, проверка для нас добром не кончилась, коли ты такой надменный да неприступный стоишь, слова доброго не скажешь и уже уйти торопишься? А уход твой стал для нас доказательством, что ты не только нас не уважаешь, но и, что куда страшней, и доставленные Варнавой послания. Мы-то сами и неспособны были истинное их значение оценить, это только ты мог, кого они непосредственно, по твоей работе, касались. Собственно, это ты сам же и научил нас в них сомневаться, плачевные наблюдения Варнавы там, наверху, в канцелярии, только с того вечера и начались. А все вопросы, которые еще после того вечера оставались, следующим же утром разъяснились окончательно. Когда я, выйдя вместе с челядью из конюшни, увидела, как ты с Фридой да с помощниками из «Господского подворья» уходишь, у меня никаких сомнений не осталось: значит, ты никаких надежд на нас не возлагаешь, значит, ты нас бросил. Варнаве я, правда, ничего об этом не сказала, у него и так тяжких забот хватает.

— Но разве я снова не здесь, не с вами? — спросил К. — Разве не заставляю ждать Фриду, разве не слушаю рассказы о вашей беде все равно как о своей собственной?

— Да, ты здесь, — согласилась Ольга, — и мы счастливы, что ты здесь. А то надежда, которую ты нам принес, стала ослабевать, и нам уже очень нужно было, чтобы ты пришел.

— Так и мне очень нужно было прийти, — сказал К., — я теперь вижу.]

Ольга промолчала.

это сделать в немалой мере как раз ради твоей любви и твоих надежд. Видишь ли, тебе все время что-то мешает — только не пойму что — до конца осознать, как важно то, что Варнаве даровано, даже если он, допустим, не сам этого добился. Он вхож в канцелярии — ну хорошо, если тебе угодно, назовем это приемной, — значит, он вхож в приемную, но там же есть двери, которые ведут дальше, барьеры, за которые, если иметь достаточно сноровки, можно проникнуть. Мне вот, к примеру, эта приемная, по крайней мере пока, совершенно недоступна. С кем Варнава там говорит, я не знаю, может, тот писарь самый ничтожный из слуг, но будь он даже самый ничтожный, он может отвести к следующему по старшинству, а если не отвести, то хотя бы его назвать, а если не назвать, то хотя бы указать кого-то другого, кто уполномочен это сделать. Предположим, мнимый Кламм с настоящим Кламмом ничего общего не имеет и сходство между ними видит один только ослепленный волнением Варнава, пусть это ничтожнейший из чиновников, пусть и не чиновник вовсе, но какие-то обязанности там, за конторкой, он все-таки исполняет, что-то из своей толстенной книги вычитывает, что-то писарю нашептывает, о чем-то все-таки думает,

когда его взгляд, пусть изредка, пусть с большими перерывами, на Варнаву падает, но даже если это совсем не так и сам он, и действия его ровным счетом ничего не значат, все равно — кто-то же его к этому месту приставил и, наверно, какие-то помыслы на его счет имел. Словом, я только одно хочу сказать: что-то во всем этом есть, что-то тут Варнаве предлагается, пусть сущая малость, и только сам Варнава виноват, что ничего иного из этой малости извлечь не может, кроме сомнений, безнадежности и страха. И притом я ведь исхожу из самого неблагоприятного предположения, вероятность которого весьма мала. Как-никак у нас письма в руках, которым, правда, я не слишком доверяю, однако доверяю все же гораздо больше, чем словам Варнавы. Пусть это старые, никчемные письма, наугад выхваченные из кучи таких же старых и бесполезных бумаг, и пусть в этом выборе не больше смысла, чем в бездумном клевке канарейки на ярмарке, когда она вытаскивает из россыпи билетиков один-единственный с предсказанием чьей-то судьбы, пусть так — но все же эти письма по крайней мере имеют касательство к моей работе, предназначены явно мне, хотя, быть может, и не к моей пользе, они, как подтверждают староста и его жена, собственно-

ручно подписаны Кламмом и имеют, опять-таки со слов старосты, хотя и частное, к тому же не вполне ясное, однако большое значение.

— Это староста так сказал? — оживилась Ольга.

— Да, он так сказал, — подтвердил К.

— Обязательно Варнаве расскажу, — выпалила Ольга. — Его это ободрит.

— Да не нужно ему ободрение, — возразил К. — Его ободрять — значит внушать ему, что он на верном пути, пусть, мол, и дальше действует в том же духе, хотя на этом пути он никогда ничего не достигнет, с тем же успехом ты можешь ободрять человека с завязанными глазами, призывая его хоть что-то разглядеть, он сколько ни будет таращиться, через платок не увидит ничего, а сними повязку с его глаз — и он прозреет. Помощь Варнаве нужна, а не ободрение. Ты только вообрази: там, наверху, власть во всей своей непостижимой мощи — а я-то до приезда сюда полагал, будто имею о ней хотя бы приблизительное представление, какое ребячество! — так вот, там власть, и Варнава выходит к ней один на один, рядом никого, только он, в своем одиночестве настолько до умопомрачения беззащитный, что если не сгинет в какой-нибудь канцелярии

в темном закуте, значит, уже выйдет из этого испытания с честью.

— Ты не подумай, К., — сказала Ольга, — будто мы недооцениваем тяжесть работы, которую Варнава на себя взвалил. В благоговении перед властями у нас нет недостатка, ты сам сказал.

— Да не туда оно направлено, благоговение ваше, — отмахнулся К. — Не в том месте и мимо цели благоговеете, такое благоговение только оскорбляет свой предмет. Разве это благоговение, когда Варнава дарованное ему право доступа в канцелярии кощунственно употребляет на то, чтобы целыми днями пребывать там, наверху, в полном безделье, или когда он, спустившись сюда, вниз, подозрением и уничижением порочит тех, перед кем только что трепетал, или когда он, то ли от тоски, то ли от усталости, не сразу разносит доверенные ему письма и мешкает с исполнением порученных ему заданий? Да нет, какое уж тут благоговение! Однако упрек мой идет еще дальше, он направлен и против тебя, Ольга, я и тебя не могу не укорить, ибо это ты, хоть и полагаешь, будто благоговеешь перед властями, послала Варнаву, во всей его юной слабости и беззащитности, в Замок или по крайней

мере не удержала его.{21}

— Твои упреки для меня не новость, — сказала Ольга, — я и сама себя давным-давно укоряю. Правда, в том, что я Варнаву в Замок послала, меня упрекнуть нельзя, не посылала я его, он сам пошел, но мне надо было всеми правдами и неправдами, уговорами и лестью, силой или хитростью его удержать. Да, надо было удержать, но настань сегодня снова тот день, тот роковой день, и чувствуй я горе Варнавы, горе всей нашей семьи так же, как чувствовала тогда и чувствую поныне, и попытайся Варнава снова, ясно осознавая все опасности и всю ответственность своего шага, с мягкой улыбкой высвободиться из моих рук, чтобы уйти, — я бы и сегодня не стала его удерживать, несмотря на весь горький опыт

{21} Варианты: 2.21

…послала Варнаву, во всей его юной слабости и беззащитности, в Замок или по крайней мере не удержала его. [*И Амалия, кстати, тоже не стала вмешиваться, хотя, по твоим намекам, гораздо больше тебя о Замке знает, может, впрочем, она тут больше всех и виновата.*

— Поразительно, как ты все видишь, — сказала Ольга. — Иногда одно твое слово мне сразу помогает все понять, наверно, это потому, что ты совсем не из наших мест. Тогда как мы тут, наученные горьким опытом и вечными страхами, любого скрипа половицы пугаемся и не умеем со своей трусостью бороться, стоит одному испугаться — и вслед за ним, даже и причины толком не зная, пугаются все. Да при такой пугливости ни одна здравая мысль в голову не придет. Даже и будь у меня способность все до конца продумывать — а у нас женщин, ее отродясь не было, — при такой жизни ее обязательно растеряешь. Какое же это счастье для нас, что ты тут появился.

Здесь, в деревне, К. впервые слышал, чтобы его приход так безоговорочно приветствовали, но сколь бы ни хотелось ему этого прежде и сколь бы искренне, на его слух, ни прозвучали Ольгины слова, услышать их он был вовсе не рад. Не для того он сюда пришел, чтобы кому-то счастье приносить, конечно, между делом, попутно он волен и помогать, но не стоит приветствовать его как избавителя, несущего людям счастье; всякий, кто так на него смотрит, только сбивает его с пути, пытаясь вовлечь в дела, за которые вот так, вынужденно, он, К., никогда не брался и браться не станет, при всем желании не может он себе этого позволить. Впрочем, Ольга, продолжив, тут же загладила свою промашку:

— Правда, едва я подумаю, что наконец-то могу ни о чем не тревожиться, ибо ты теперь все сумеешь объяснить и всегда найдешь выход, как ты вдруг что-нибудь такое скажешь, ну совсем неправильное, даже слушать больно, как вот сейчас про Амалию: она, дескать, больше всех знает, ни во что не вмешивается и больше всех виновата. Нет, К., до Амалии нам далеко, не нам ее судить, а уж тем более упрекать. Все, что в рассуждении о других вещах тебе помогает — твоя зоркость чужака, твоя смелость, — все это же мешает тебе судить об Амалии. Чтобы осмелиться в чем-то ее упрекать, надо сперва иметь хотя бы смутное представление о ее страданиях. Она как раз в последнее время такая беспокойная стала, столько всего в себе прячет, — а прячет она, в сущности, не что иное, как все то же свое страдание, — я даже о самых простых и насущных вещах с ней говорить не отваживаюсь. Когда я сегодня в дом вошла и увидела, как ты мирно с ней беседуешь, я просто обмерла от страха, потому что на самом-то деле с ней ведь сейчас говорить невозможно, правда, через какое-то время она успокоится или, может, не столько даже успокоится, сколько просто нервничать устанет, но сейчас у нее опять самая скверная полоса. Когда с ней говорят, она, похоже, и не слушает даже, а если слушает, то сказанного как будто не понимает, а если понимает, то вроде как презирает говорящего. Только у нее все это выходит не нарочно, так

что на нее и сердиться нельзя; чем она отрешеннее, тем ласковей надо с ней обращаться. Насколько она кажется сильной — настолько же она слабая. Вчера, к примеру, Варнава сказал, что ты сегодня придешь; правда, поскольку уж он-то Амалию знает, он на всякий случай тут же добавил, что ты только, может быть, придешь, это, мол, еще не наверняка. И все равно Амалия извелась вся, ничего делать не могла, целый день тебя прождала и только к вечеру, когда уже с ног валилась от усталости, вынуждена была прилечь.

И снова К. послышались в этих словах некие притязания, заявляемые на него семейством; да в этой семейке, как в лесу, по неосторожности и заблудиться недолго. Было ужасно жаль, что подобные мысли, которые и высказать-то нельзя, занимают его как раз в разговоре с Ольгой, подрывая то теплое, благотворное чувство доверия, которое Ольга первая же, и больше других, вызывает в его душе, — с той самой Ольгой, из-за которой он сейчас здесь засиделся и даже саму мысль об уходе от себя гонит, откладывая ее на неясное потом.

— Я уже вижу — сказал К., — нам трудно будет прийти к общему мнению. Мы и до сути еще толком не добрались, а у нас то и дело возникают разногласия. Будь мы только вдвоем, все было бы куда проще, с тобой одной, думаю, я быстрее бы сошелся во взглядах, ты самоотверженная и умная, но мы, увы, не одни, и главное не в нас, а в твоей семье, насчет которой мы вряд ли придем к согласию, а уж насчет Амали и подавно.

— И ты вот так, напрочь, осуждаешь Амалию? — изумилась Ольга. — Осуждаешь, совсем ее не зная?

— Я ее не осуждаю, — возразил К., — и не закрываю глаза на ее достоинства, я даже готов признать, что, возможно, несправедлив к ней, но очень трудно быть к ней справедливым, когда она так высокомерна, замкнута, а вдобавок еще и властолюбива донельзя, не будь она при этом так печальна и столь очевидно несчастлива, ее и вовсе невозможно было бы выносить.

— И это все, что тебя в ней не устраивает? — спросила Ольга, уже

сама грустнея на глазах.

— Да разве этого мало? — отозвался К. и только тут заметил, что Амалия [далее по тексту]. *— Так вон она где, — добавил он, и против воли в словах его прозвучало безмерное отвращение и к самой этой трапезе, и ко всем ее участникам.*

— Ты настроен против Амалии, — сказала Ольга.

— Да, настроен, — согласился К., — вот только почему я против нее настроен? Скажи ты, если знаешь. Ты откровенна со мной, и я весьма это ценю, но ты откровенна только в том, что касается тебя лично, а брата и сестру почему-то считаешь нужным защищать стеной молчания. Это неправильно, не могу я оказывать поддержку Варнаве, если не знаю всего, что касается его и Амалии тоже, раз уж Амалия у вас во все замешана. Ты же не хочешь, чтобы я, предприняв что-то на свой страх и риск, все испортил только по причине недостаточного знания некой подноготной, нанеся тем самым непоправимый вред и вам, и себе.

— Нет, К., — помолчав, вымолвила Ольга. — Этого я не хочу, а потому, наверно, лучше будет все оставить по-старому.

— Я не думаю, — возразил К., — что так будет лучше, я отнюдь не думаю, что будет лучше, если Варнава и дальше будет влачить это призрачное существование мнимого посыльного, а вы, взрослые люди, живущие детскими бреднями, будете разделять с ним его участь, не думаю, что это будет лучше, чем если бы Варнава, вступив в союз со мной, предоставил мне здесь, в тишине и покое, разрабатывать план действий, а сам, с куда большей уверенностью в себе, ибо он будет уже не один, под непрестанным моим контролем начнет неукоснительно этот план исполнять, к своей и моей пользе проникая все дальше в глубь канцелярий, а даже если ему не удастся проникнуть глубже, основательно и со смыслом освоит все хотя бы в том помещении, куда у него уже имеется доступ, и научится приобретенными знаниями с толком пользоваться. Не думаю, чтобы это было плохо и не стоило известных жертв. Возможно, впрочем, что я и тут не прав, и как

раз то, о чем ты умалчиваешь, доказывает твою правоту. Что ж, тогда, несмотря ни на что, мы останемся добрыми друзьями, мне-то, по крайней мере, здесь без твоей дружбы уже никак не обойтись, но сидеть тут целый вечер, понапрасну заставляя ждать Фриду, мне ни к чему, только важное, неотложное участие в делах Варнавы могло бы мое присутствие здесь оправдать. К. хотел было встать, Ольга его удержала.

— Тебе Фрида ничего про нас не рассказывала? — спросила она.

— Ничего определенного.

— И хозяйка не рассказывала?

— Да нет же.

— Так я и думала, — проронила Ольга. — Ни от кого в деревне ты ничего определенного про нас не услышишь, зато всякий, неважно, знает он, в чем дело, или не знает, а только верит в распущенные кем-то слухи, если сам же их не придумывает, каждый на свой манер постарается тебе показать, как он нас презирает — и не за что-то определенное, а вообще, очевидно, он просто не может иначе и себя начнет презирать, если вдруг нас презирать перестанет. И Фрида так же, да и все. Однако презрение это только внешне направлено на всю нашу семью без разбору, на самом же деле острие его целит только в Амалию. Оттого, К., я тебе так и признательна, что ты, хотя всеобщего влияния не избежал, однако нас и даже Амалию все-таки не презираешь. Только некоторое предубеждение против Варнавы и Амалии у тебя есть, видимо, полностью избежать воздействия людской молвы все-таки никому не дано, но что ты оказался в этом смысле настолько неподатлив — это очень много для меня значит, на этом, главным образом, только и основываются мои надежды.

— Мнение остальных меня не волнует, — заметил К., — да я и не любопытен насчет того, откуда эти мнения пошли. Быть может, — это было бы скверно, но исключать ничего нельзя, — в этом отношении для меня что-то изменится, когда я женюсь и обживусь здесь, но пока что я сам себе хозяин, конечно, мне нелегко будет скрыть от Фриды

свой визит к вам или хотя бы оправдать его, но я пока что хозяин сам себе и, значит, могу, если что-то кажется мне таким же важным, как дела Варнавы, без долгих сомнений и раздумий ими заниматься ровно столько, сколько сочту нужным. Но и ты должна понять, почему я так тороплю тебя с решением, да, я пока что здесь, у вас, но все равно как до востребования: в любой миг за мной могут прийти, позвать, и, когда я в следующий раз сумею к вам выбраться, никому не известно.

— Но Варнавы-то пока что нет, — не поняла Ольга. — Без него что можно решать?

— А мне он пока что и не нужен, — сказал К., — мне пока что другое нужно, только прежде, чем я все это перечислю, прошу тебя, если слова мои вдруг покажутся тебе слишком властными, ты себе не верь — властолюбия во мне нет, как нет и любопытства, я не хочу ни подчинить вас, ни выведать ваши тайны, я хочу обходиться с вами только так, как хотел бы, чтобы и со мной обходились.

— Как чудно ты сейчас говоришь, — заметила Ольга. — Ты ведь уже стал нам гораздо ближе других, все твои оговорки ни к чему, я никогда в тебе не сомневалась и не усомнюсь, но и ты тоже будь во мне уверен.

— Если я говорю иначе, чем прежде, — пояснил К., — то лишь потому, что хочу стать вам еще ближе, чем прежде, хочу быть у вас как дома, я либо так буду с вами связан, либо никак, либо мы полностью заодно, делаем в отношении Варнавы одно общее дело, либо отныне и в дальнейшем стараемся избегать всяческих, даже мимолетных, но компрометирующих меня, а возможно, и вас, совершенно не нужных с точки зрения дела соприкосновений. На пути к союзу между нами, каким я хочу его видеть, на пути к этому нацеленному против Замка союзу есть только одно, но, правда, тяжелое препятствие — это Амалия. Вот почему я первым делом спрашиваю: чувствуешь ли ты себя вправе говорить за Амалию, отвечать за Амалию, поручиться за Амалию.

— В какой-то мере я могу за нее говорить и вместо нее отвечать, но поручиться за нее я не могу.

— А позвать ее к нам не хочешь?

— Ой, тогда считай сразу всему конец. От нее ты еще меньше узнаешь, чем от меня. Она любой союз отринет и никаких обязательств не потерпит, она даже мне запретит отвечать на твои вопросы, с ловкостью и неуступчивостью, каких ты за ней не знаешь, она вынудит тебя прервать все обсуждения и уйти, а уж потом, но только после того, как ты уже будешь на улице, упадет без чувств. Вот такая она.

— Однако без нее все совершенно безнадежно, — сказал К. — Без нее мы уже на полпути начнем плутать в потемках.

— Зато, может быть, — заметила Ольга, — теперь ты сумеешь лучше оценить усилия Варнавы, ведь мы двое, он и я, действуем одни, на свой страх и риск, без Амалии это все равно что строить дом без…]

— Твои упреки для меня не новость, — сказала Ольга…

истекших лет, да и ты бы на моем месте, наверно, тоже не стал. Ты не знаешь нашей беды, оттого и несправедлив к нам, а прежде всего к Варнаве. У нас тогда было побольше надежды, чем нынче, хотя и тогда надежды было немного, много было только горя, так оно до сих пор и осталось. Разве Фрида ничего тебе про нас не рассказывала?

— Только намеками, — ответил К., — а так ничего определенного, но при одном упоминании о вас она выходит из себя.

— И трактирщица ничего не рассказывала?

— Да нет, ничего.

— И больше никто?

— Никто.

— Ну разумеется, кто же станет про нас рассказывать! Хотя каждый что-то про нас знает, либо правду, насколько она вообще людям доступна, либо, на худой конец, прослышанные где-то, а по большей части ими же самими выдуманные сплетни, мы занимаем их мысли куда больше, чем хотелось бы, но вот рассказывать напрямик никто не станет, про такие вещи они говорить боятся. И они правы. Тяжело такое вымолвить даже перед тобой, К., ведь вполне возможно, что ты, выслушав все, уйдешь и знать нас больше не захочешь, как бы мало на первый взгляд тебя это

ни касалось. И тогда мы потеряем тебя, того, кто для меня теперь, не побоюсь признаться, значит едва ли не больше, чем вся прежняя служба Варнавы в Замке. И все-таки — меня эта мука весь вечер надвое раздирает — ты должен об этом узнать, иначе тебе нашего положения никак не понять, иначе ты, и для меня это особенно горько, по-прежнему будешь несправедлив к Варнаве, иначе не будет между нами полного единодушия, а оно тут необходимо, и ты ни сам не сумеешь нам помочь, ни от нас помощь, помимо той, которая по Варнавиной службе полагается, принять не сможешь. Один вопрос только остается: хочешь ли ты вообще об этом узнавать?

— Почему ты спрашиваешь? — вымолвил К. — Если это необходимо, я хочу это знать, но почему ты так спрашиваешь?

— Из суеверия, — ответила Ольга. — Ты, хоть и без вины, будешь втянут в наши дела. Безвинно втянут, почти так же безвинно, как Варнава.

— Да рассказывай же скорей, — не утерпел К. — Я не боюсь. Это у женских страхов глаза велики, на деле все наверняка вовсе не так ужасно.

17
Тайна Амалии

— Что ж, суди сам, — сказала Ольга. — Вообще-то звучит все очень просто, сразу и не поймешь, как можно придавать столь большое значение подобным вещам. Есть в Замке один чиновник, фамилия его Сортини.

— Я уже о нем слыхал, — перебил ее К., — это он приложил руку к моему сюда вызову.

— Вряд ли, — возразила Ольга. — Сортини почти не показывается на людях. Ты случайно не путаешь его с Сордини, который через «д»?

— Ты права, — согласился К. — Тот был Сордини.

— Да, — продолжала Ольга, — Сордини-то очень известен, это один из самых ревностных чиновников, о нем много говорят, а вот Сортини, напротив, держится в тени и большинству вовсе незнаком. Три с лишним года тому назад я в первый и последний раз его видела. Было это третьего июля на празднике нашей пожарной дружины, Замок тоже принял участие — оттуда прислали в подарок новую пожарную помпу.

Сортини, в обязанности которого вроде бы и пожарная безопасность отчасти входит, а может, он просто кого-то заменял — чиновники часто вот этак подменяют друг друга, оттого и понять трудно, кто из них за что отвечает, — короче, он участвовал в торжественной передаче помпы, не один, конечно, от Замка и другие пришли чиновники, да и слуги, а Сортини, как и подобает человеку с его характером, скромненько так среди них затерялся. Это низенький, тщедушный, задумчивого вида господин, единственное, что всем, кто вообще его заметил, бросилось в глаза, — это его манера хмурить лоб, когда все морщины, а их у него очень много, хотя ему лет сорок, не больше, прямо-таки веером от переносицы расходятся, я лично ничего подобного в жизни не видывала. Так вот, значит, наступил тот праздник. Мы с Амалией уж как ему радовались, за несколько недель готовиться начали, воскресные наряды слегка переделали, особенно красиво Амалия — белая блузка спереди вся пышная, кружева в несколько рядов, мама для такого случая все свои кружева ей одолжила, я завидовала ужасно, накануне праздника полночи проревела. И только наутро, когда хозяйка трактира «У моста» взглянуть на нас пришла…

— «У моста»? Трактирщица? — переспросил К.

— Ну да, — подтвердила Ольга. — Она очень с нами дружила, так вот, она пришла, поневоле признала, что Амалия наряднее выглядит, и, чтобы как-то меня утешить, одолжила мне свои бусы из богемских гранатов. Но когда мы уже собирались выходить и Амалия стояла, а все ею любовались и отец сказал: «Сегодня, вот помяните мое слово, Амалия найдет себе жениха», — я вдруг, сама не знаю почему, сняла с себя бусы, гордость мою, и надела на шею Амалии и не завидовала ей больше ни чуточки. Я просто склонилась перед ней, признавая ее превосходство, и, сдается мне, каждый бы склонился; а может, нас просто поразило, что выглядит она совсем иначе, чем всегда, не сказать, чтобы она была красивой, но ее темный, сумрачный взгляд, который с тех пор так у нее и остался, смотрел куда-то поверх нас, так что перед ней невольно и в самом деле чуть ли не склониться хотелось. Это все заметили, даже Лаземан с женой, когда за нами зашли.

— Лаземан? — опять переспросил К.

— Ну да, — подтвердила Ольга, — мы ведь уважаемые люди были, без нас, к примеру, и праздник начать было нельзя, отец как-никак был вторым заместителем командира дружины.

— Такой крепкий еще был? — спросил К.

— Отец? — не сразу поняла Ольга. — Да три года назад он был, можно считать, почти молодым человеком, к примеру, во время пожара в «Господском подворье» одного чиновника, тяжеленного Галатера, на спине бегом вынес. Я сама видела, настоящим пожаром там и не пахло, просто сухие дрова возле печки лежали, ну и задымились, а Галатер перепугался, стал из окна на помощь звать, пожарные примчались, и отцу пришлось его выносить, хотя огонь-то вмиг затушили. Но Галатер тучный очень, двигается с трудом, вот и должен в таких случаях особенно себя беречь. Я это только из-за отца рассказываю, с тех пор всего три года с небольшим прошло, а посмотри, во что он превратился.

Только тут К. заметил, что Амалия снова вернулась в горницу, но она была далеко, за столом вместе с родителями, кормила разбитую ревматизмом мать, у которой руки совсем не двигались, и одновременно упрашивала отца немного потерпеть, сейчас и его покормит. Однако увещевания ее успеха не имели, жаждущий дорваться до супа отец, превозмогая хвори и немочи, то пытался зачерпнуть варево ложкой, то норовил выхлебать его прямо из тарелки и только сердито рычал,

когда ему не удавалось ни то ни другое, ложка по пути в рот задолго до цели успевала расплескаться, а вместо губ до тарелки дотягивались лишь обвислые усы, с которых суп стекал и капал куда угодно, но опять же только не в рот.

— И вот в такое человек превратился всего за три года? — изумился К., по-прежнему не испытывая ко всему углу за семейным столом ни капли сострадания, одно отвращение.

— За три года, — повторила Ольга задумчиво, — а вернее, за несколько часов праздника. Праздник устроили на лугу близ деревни, у речушки, когда мы пришли, там уже целая толпа была, из соседних деревень тоже много народу набежало, гвалт стоял — просто голова кругом. Отец, конечно, первым делом нас к помпе потащил, когда увидел ее, от счастья смеялся как ребенок, принялся со всех сторон насос этот ощупывать да нам растолковывать, что там и как, ни от кого не терпя ни возражений, ни равнодушия, если надо было что-то снизу посмотреть, требовал, чтобы все мы нагибались и чуть ли не ползком под эту помпу лезли, Варнава, который однажды попробовал было ослушаться, получил от него затрещину. Только Амалия никакого внимания на насос не обращала, стояла рядом, прямая

и гордая в своем красивом наряде, и никто ей даже слова сказать не посмел, одна я иногда к ней подбегала, под руку брала, но она все равно молчала. Я и сегодня не могу объяснить, как случилось, что мы, столько времени проведя возле помпы, лишь когда отец от нее оторвался, Сортини заметили, который, очевидно, уже давно напротив нас, по другую сторону насоса, стоял, облокотившись на рычаг. Правда, гвалт вокруг был невообразимый, куда громче, чем обычно на праздниках, Замок ведь еще и несколько труб в подарок пожарной дружине прислал, каких-то совсем диковинных, в которые любой ребенок без малейших усилий дуть может, производя самые дикие звуки, услышишь такое — можно подумать, небо разверзлось, привыкнуть к этому реву немыслимо, они как грянут, так всякий раз сызнова и вздрагиваешь. Ну а поскольку трубы новехонькие были, каждый рвался хоть разок в них дунуть, праздник-то народный считается, вот каждому и позволяли. И именно вокруг нас — должно быть, это Амалия их приманила — несколько таких трубачей собралось, при подобном шуме и вообще сосредоточиться трудно, а если еще по настоянию отца на помпу смотреть, то ни на что другое внимания просто не остается,

потому мы так невероятно долго и не замечали Сортини, ведь мы и не знали его раньше. «Вон Сортини стоит», — шепнул наконец — а я-то совсем рядом стояла — Лаземан отцу. Отец тотчас низко поклонился и нам знаком, взволнованно, резко так, поклониться велел. Он хоть лично Сортини и не знал, но издавна почитал его как специалиста по пожарному делу и частенько дома о нем говорил, так что и для нас это целое событие было и большой сюрприз — вдруг самого Сортини наяву лицезреть. Однако Сортини не обращал на нас никакого внимания — не потому, что он какой-то особенный, просто большинство чиновников на людях напускают на себя полнейшее безучастие, — да и устал он в тот день, только служебный долг его здесь, внизу, среди нас удерживал, кстати, те из чиновников, кому такие вот представительские обязанности особенно в тягость, как раз не из худших, другие-то, а слуги и подавно, коли уж они тут оказались, смешались с веселящейся толпой, и лишь Сортини оставался у насоса, отпугивая всякого, кто вздумал бы сунуться к нему с просьбой или заискиванием, своим неприступным молчанием. Вот так и вышло, что нас он заметил еще позже, чем мы его. Только когда мы ему почтительно поклонились

и отец за всех нас попытался извиниться, он на нас посмотрел, на каждого по очереди, усталым взглядом, словно вздыхая про себя из-за того, что семейство наше все не кончается и за каждым новым лицом следующее выплывает, покуда глаза его не остановились на Амалии, на которую ему пришлось посмотреть снизу вверх, ибо она много выше его ростом. И тут он будто опешил, даже через дышло насоса перескочил, чтобы Амалию получше разглядеть, мы сперва, не разобравшись, все с отцом во главе двинулись было ему навстречу, но он, вскинув руку, нас остановил, а потом и вовсе отмахнулся, дескать, подите прочь. Вот и все. Мы потом весь день Амалию дразнили, мол, вот и нашла себе жениха, в неразумии своем до вечера этак потешались, и только Амалия была молчаливее обычного, «да она же по уши в Сортини втрескалась», это Брунсвик сказал, он всегда малость грубоват и тонких натур вроде Амалии совсем не чувствует, однако на сей раз нам его замечание показалось почти верным, мы вообще весь день дурачились и от сладкого замкового вина все, кроме Амалии, как шальные были, когда, уже заполночь, домой вернулись.

— А Сортини? — не утерпел К.

— Да, Сортини, — повторила Ольга. — Сорти-

ни я до окончания праздника мельком еще не раз видела, он сидел на дышле помпы, скрестив на груди руки, и оставался в этой позе, покуда из Замка не прислали за ним экипаж. Даже на пожарные учения не пошел, во время которых отец — он-то как раз надеялся, что Сортини его видит, — в своем возрастном разряде особо отличился и всех опередил.

— И вы больше ничего о нем не слышали? — спросил К. — Ведь ты, похоже, к этому Сортини большое почтение испытываешь.

— Ага, почтение, — отозвалась Ольга, — это уж точно, да и услышали мы о нем очень скоро. На следующее утро наш общий похмельный сон прервал вскрик Амалии, остальные-то сразу же обратно в постели повалились, одна я, полностью проснувшись, кинулась к сестре: та стояла у окна и держала в руке письмо, которое ей только что подал в окно мужчина, он не уходил, дожидаясь ответа. Амалия письмо — оно было короткое — уже прочла и теперь держала в безвольно опущенной руке; до чего я любила ее, когда видела вот такой, в изнеможении. Я опустилась подле нее на колени и прочла письмо. Едва я закончила читать, Амалия, мельком на меня глянув, снова поднесла было письмо к глазам, ко, не в силах

заставить себя перечитать, тотчас разорвала, а клочки бросила мужчине прямо в лицо и окно захлопнула. Вот это утро и оказалось роковым. Я называю его роковым, хотя столь же роковым было и каждое мгновение предыдущего дня, по крайней мере с начала праздника.

— И что было в том письме? — спросил К.

— Да, этого я еще не рассказала, — проговорила Ольга. — Письмо было от Сортини и адресовано девушке с гранатовыми бусами. Дословно пересказать его содержание я не смогу. Это было требование явиться к Сортини в «Господское подворье», причем явиться немедленно, ему через полчаса уезжать. И написано все было в самых грязных выражениях, я таких и не слыхивала никогда, смысл лишь наполовину угадывала. Если бы Амалию не знать и только письмо это увидеть, впору было подумать, будто девушка, которой так писать осмеливаются, не иначе как обесчещена, пусть даже к ней и не притрагивался никто. Письмо вообще было не любовное, ни единого ласкового словечка в нем не нашлось, наоборот, Сортини скорее страшно разозлился, что облик Амалии настолько его поразил и от важных дел отвлекает. Мы потом так для себя это истолковали, что Сортини, должно быть, тем же

вечером думал вернуться в Замок и только из-за Амалии в деревне задержался, а наутро, кипя от гнева, что ему не удается Амалию забыть, то письмо написал. При виде этакого письма любой, даже самый невозмутимый человек перво-наперво неминуемо возмутится, однако потом, быть может, от одного только угрожающего тона, иного и страх бы одолел, — но только не Амалию, у Амалии возмущение как было, так и осталось, она страха вообще не ведает ни за себя, ни за других. И покуда я, тотчас снова юркнув в постель, повторяла про себя последнюю, зловеще оборванную фразу: «И чтобы сейчас же пришла, не то…» — Амалия все стояла у подоконника и молча смотрела на улицу, словно она следующих гонцов ждет и с каждым точно так же готова обойтись, как с самым первым.

— Вот они, значит, какие, господа чиновники, — проговорил К. задумчиво. — Такие, значит, встречаются среди них экземпляры. И что предпринял твой отец? Надеюсь, написал в надлежащие инстанции решительную жалобу, если не предпочел более короткий и верный путь прямиком в «Господское подворье»? Самое омерзительное во всей этой истории вовсе не оскорбление, нанесенное Амалии, его-то как раз

легко загладить, не понимаю, почему ты именно этой стороне столь чрезмерное значение придаешь; это почему, скажите на милость, Сортини своим письмом Амалию навсегда опозорил, как из твоего рассказа может показаться? Тут-то как раз главная нелепость и есть, добиться сатисфакции для Амалии было очень даже легко, и вся история забылась бы через пару дней; не Амалию Сортини опозорил, а прежде всего самого себя. Сортини — вот кто меня в этой истории ужасает, самая возможность такого чудовищного злоупотребления властью! То, что в данном случае не удалось, возможно, оттого, что поползновения были высказаны слишком коротко и ясно, встретив в гордом лице Амалии непререкаемый отпор, в тысяче других случаев, при чуть менее благоприятных обстоятельствах, удалось бы вполне, да так, что никто, включая саму пострадавшую, ни моргнуть, ни пикнуть бы не успел.

— Тише, — сказала вдруг Ольга. — Амалия на нас смотрит.

Амалия, покончив с кормлением родителей, теперь помогала матери раздеться: развязав пояс ее юбки, она закинула руки матери себе на шею и, слегка ее приподняв, стянула юбку, после чего снова бережно усадила старушку на место. Отец,

по-прежнему недовольный тем, что мать обихаживают первой (очевидно, единственно по той причине, что она была еще беспомощней него), теперь, похоже, сугубо из желания насолить дочери в отместку за ее якобы нерасторопность, пытался раздеться сам, и хотя начал с самого простого и наименее нужного, а именно попробовал скинуть с себя просторные домашние шлепанцы, которые и так еле держались на его хилых ногах, однако даже это не получалось у него никакими силами, так что вскоре, хрипя и отдуваясь, он вынужден был свои попытки оставить и снова застыл на стуле в бессильной неподвижности.

— Самого-то рокового и важного ты не понимаешь, — сказала Ольга. — Может, все, что ты говоришь, и верно, но решающим оказалось только одно: Амалия в «Господское подворье» не пошла; то, как она с посыльным обошлась, еще могло бы сойти с рук, замяли бы как-нибудь; но то, что она осмелилась не подчиниться, навлекло проклятие на всю нашу семью, после этого ей, конечно, и обращение с посыльным не спустили, сочли его совершенно непростительным, больше того — напоказ именно эту ее провинность и выставили, остальное только подразумевалось.

— То есть как?! — воскликнул К., но, заметив,

что Ольга умоляюще вскинула руки, тотчас снова понизил голос: — Не хочешь ли ты, родная сестра, сказать, что Амалии надо было этому Сортини подчиниться и к нему в «Господское подворье» пойти?

— Нет, — ответила Ольга, — упаси меня Бог от таких подозрений, как ты мог подумать такое! Я не знаю никого, кто был бы прав столь же неколебимо, как права Амалия во всех своих делах и поступках. Впрочем, пойди она в «Господское подворье», я бы и тогда в ее правоте не усомнилась; но что она туда не пошла, это просто геройство. Что до меня, признаюсь тебе со всей прямотой: получи я такое письмо, я бы пошла. Я бы не вынесла страха перед тем, что меня ждет после, это только Амалии по плечу. Были ведь всякие выходы, другая на ее месте, к примеру, стала бы наряжаться и прихорашиваться, ну, время тянуть, а уж потом бы пошла в «Господское подворье» и узнала, допустим, что Сортини уже отбыл, может, он сразу после того, как посыльного с письмом отправил, и уехал, такое очень вероятно, капризы и прихоти господ весьма переменчивы. Но Амалия ничего такого не сделала, она была глубоко оскорблена и ответила на оскорбление, не раздумывая. Если бы она только для вида подчинилась, хотя бы

порог «Господского подворья» переступила — тогда роковую беду еще можно было отвести, у нас тут среди адвокатов такие умники есть, они из любого пустяка что хочешь раздуют, но в этом случае в ее пользу даже пустяка не нашлось, одно только непочтение к письму Сортини и оскорбление посыльного.

— Да какая такая роковая беда, какие адвокаты? — изумился К. — Разве можно из-за преступного поведения Сортини в чем-то обвинять, а тем более за что-то карать Амалию?

— О да, — отвечала Ольга, — еще как можно. Разумеется, не в настоящем судебном процессе, и покарали ее вроде бы не напрямую, зато косвенным образом покарали полной мерой ее и всю семью нашу, и насколько тяжела эта кара, ты, верно, только начинаешь понимать. Тебе эта кара покажется несправедливой, чудовищной, но в деревне ты с таким своим мнением останешься в полном одиночестве, оно, конечно, весьма благоприятно для нас и могло бы нас даже утешить, не основывайся оно на очевидных заблужде-

ниях.{22} И я тебе легко это докажу, извини, что придется упомянуть Фриду, но между Фридой и Кламмом, если отвлечься от того, чем дело кончилось, произошло в сущности примерно то же, что между Амалией и Сортини, и ведь ты, хотя вначале, по-видимому, был неприятно поражен, теперь тоже считаешь такие отношения правильными. И дело тут вовсе не в привычке, живые чувства, особенно столь очевидные, одной привычкой не притупишь, это всего-навсего избавление от прежних заблуждений.

— Нет, Ольга, — возразил К., — не знаю, с какой стати ты приплетаешь сюда Фриду, ее случай совершенно другой, давай не смешивать столь разные вещи, лучше рассказывай дальше.

— Пожалуйста, — отвечала Ольга, — не обижайся и не сердись, если я настаиваю на сравнении, это в тебе прежние заблуждения говорят, в том числе и насчет Фриды, когда ты пытаешься оградить ее от подобных сравнений. А ее и не надо

{22} Варианты: 2.22

…но в деревне ты с таким своим мнением останешься в полном одиночестве, оно, конечно, весьма благоприятно для нас и могло бы нас даже утешить, не основывайся оно на очевидных заблуждениях. [*Не суждения твои для меня утешительны, а само твое присутствие, твой вид, исходящая от тебя уверенность, у меня сразу появляется надежда, что ты достигнешь большего, чем все наши адвокаты и писари, даже больше, чем Варнава, особенно если ты, как ты однажды намечал, начнешь действовать с ним на пару.*] И я тебе легко это докажу…

защищать, напротив, она достойна только похвалы. И если я оба эти случая сравниваю, то вовсе не потому, что они для меня похожи, наоборот, они для меня все равно что черное и белое, причем белое — это как раз Фрида. Над Фридой в худшем случае разве что посмеяться можно, как я тогда у пивной стойки, — это было весьма невежливо, и после я очень сожалела, ведь над ней если и смеются, то из одной только зависти или по злобе, — но лишь посмеяться, тогда как Амалию, если ты, конечно, не связан с ней родством, можно лишь презирать. Вот почему оба эти случая хотя и совершенно разные, как ты верно заметил, но вместе с тем и схожие.

— Вовсе они не схожие, — возразил К. и даже головой сердито тряхнул. — Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала такого распрекрасного письма, какое Амалия получила от Сортини, и Фрида действительно любила Кламма, а кто сомневается, пусть у нее самой спросит, она до сих пор его любит.

— Да разве это такая большая разница? — изумилась Ольга. — Думаешь, Кламм не смог бы написать Фриде такое же письмо? Да все господа такие, едва только от своих письменных столов отрываются; они все слегка не от мира сего и по

рассеянности страшных грубостей наговорить могут, не все, конечно, но многие. То письмо к Амалии, возможно, было написано в глубоком раздумье, писавший, вероятно, и не смотрел, что у него в действительности на бумагу ложится. Да что мы знаем о господских-то мыслях! Или ты сам не слыхал — а если не слыхал, то неужели тебе еще не рассказывали, — каким тоном Кламм с Фридой разговаривал? Известно же, какой Кламм грубиян, он, говорят, иногда часами сидит, слова не скажет, а потом такое сказанет, что мурашки по коже. А про Сортини ничего такого не известно, впрочем, и сам он совершенно не известен. По сути, о нем только одно и знают, что фамилия его на Сордини похожа, если бы не схожесть фамилий, о нем, вероятно, вообще ни одна душа не знала бы. Да и как специалиста по пожарному делу его, по всей видимости, с Сордини путают, ведь тот по противопожарной части в Замке самый главный и нередко нарочно сходством фамилий пользуется, особенно чтобы всякие представительские обязанности на Сортини перебросить, а самому без помех дальше работать. И вот когда такого в житейских вопросах совершенно не искушенного человека, как Сортини, внезапно охватывает пылкая любовь

к деревенской девушке, чувство это, само собой, принимает иные формы, чем когда в нее влюбится, допустим, соседский столяр-подмастерье. Не говоря уж о том, что между чиновником и дочкой деревенского сапожника огромная пропасть, тут надо мостик перекидывать, Сортини сделал это на свой лад, кто-то другой сделал бы иначе. Вообще-то считается, что все мы одинаково принадлежим к Замку и никаких пропастей между нами нет, так что и никаких мостиков перекидывать не нужно, может, в повседневной жизни так оно и есть, но у нас, увы, было немало случаев убедиться, что, когда до дела доходит, все совсем иначе складывается. Как бы там ни было, но теперь, надеюсь, поведение Сортини стало тебе понятнее и уже не кажется таким чудовищным, да оно, если, допустим, с поведением Кламма сравнить, и в самом деле гораздо понятнее, а если тебя непосредственно коснется — то и куда человечнее. Потому как если Кламм вдруг любовное письмо напишет — это будет похлеще самого грубого письма от Сортини! Пойми меня правильно, я не берусь и не смею судить о Кламме, а сравниваю только потому, что ты всеми силами этому сравнению противишься. Ведь Кламм командует женщинами как ротой

солдат, то одной прикажет явиться, то другой, ни одну долго возле себя не терпит, и как приказал прийти, так же и уйти прикажет. Кламму в голову бы не пришло письмо писать, станет он затрудняться! И в сравнении с этим тебе все еще кажется чудовищным, что живущий анахоретом Сортини, про чьи отношения с женщинами по крайней мере ничего не известно, однажды садится за стол и своим красивым канцелярским почерком пишет письмо, пусть даже гнусное? И если тут отличие отнюдь не в пользу Кламма выходит, а совсем напротив, разве виновата в этом Фрида и ее любовь? Отношения женщин к чиновникам, ты уж поверь, распознать очень трудно, хотя на самом деле совсем легко. Ибо в чем, в чем, а уж в любви тут никогда нет недостатка. Несчастной любви у чиновников не бывает. С этой точки зрения, если о девушке сказать — я имею в виду далеко не одну только Фриду, — что она, дескать, отдалась чиновнику по любви, то никакая это не похвала. Да, полюбила, да, отдалась, все так и есть, но хвалить тут совершенно нечего. Но Амалия-то, возразишь ты, Сортини не любила. Ну да, не любила, хотя, быть может, все-таки и любила, кто возьмется тут рассудить? Даже сама она не возьмется. Как она может ду-

мать, что любила его, если столь резко отвергла — так резко, как, пожалуй, ни одного чиновника не отвергали. Варнава говорит, ее и по сей день иной раз всю трясет, стоит ей вспомнить, как она тогда, три года назад, окошко захлопнула. И это тоже правда, потому и спрашивать ее нельзя; она с Сортини покончила, только это она и помнит; а любила она его или нет — откуда ей знать? Но мы-то знаем, что женщина к чиновнику, если он вдруг на нее внимание обратит, ничего иного, кроме любви, испытывать не может, больше того — женщины, сколько бы они ни утверждали обратное, всех чиновников любят заранее и без разбору, а Сортини на Амалию не просто внимание обратил, он, когда Амалию узрел, аж через дышло перепрыгнул, это своими-то хилыми ножками, от канцелярского сидения за столом онемевшими, через дышло насоса сиганул! А если Амалия исключение, скажешь ты мне. Да, она исключение, что и подтвердила, отказавшись пойти к Сортини, она и впрямь исключение; но что она при этом Сортини еще и не любила — вот это уж было бы исключение из ряда вон, такое, что и в голове не укладывается. На нас в тот день, конечно, на всех будто затмение нашло, но что даже и сквозь дымку затмения, как нам

показалось, мы все-таки какую-то необычность, какую-то влюбленность в Амалии заметили, свидетельствует, что мы, значит, все же не до конца рассудка лишились. И если теперь все это вместе сложить — какая такая разница останется между Фридой и Амалией? Одна-единственная: Фрида сделала то, что Амалия сделать отказалась.

— Может быть, — проговорил К., — но для меня главная разница в том, что Фрида моя невеста, Амалия же заботит меня лишь постольку, поскольку она сестра Варнавы, посыльного из Замка, и судьба ее, возможно, как-то переплетена с его службой. Нанеси ей кто-нибудь из чиновников столь вопиющую обиду, как показалось мне вначале из твоего рассказа, меня бы ее судьба волновала гораздо больше, но и тогда скорее как общественный курьез, чем как ее личная беда. Однако теперь, судя по твоим словам, вся картина меняется некоторым, правда, не вполне понятным для меня, но, раз ты сама так рассказываешь, достаточно правдоподобным образом, и в таком случае мне больше всего хочется на эту историю просто рукой махнуть, в конце концов, я не пожарный, какое мне дело до Сортини. Зато до Фриды мне очень даже есть дело, и мне довольно странно, что ты, кому я доверяю всецело и хотел

бы доверять и впредь, говоря об Амалии, обходным маневром все время на Фриду нападаешь, стремясь уронить ее в моих глазах. Не хочется думать, будто ты делаешь это с умыслом, а тем более со злым умыслом, иначе мне давно бы следовало уйти, нет, ты делаешь это без умысла, просто обстоятельства вынуждают тебя из любви к Амалии снова и снова ее над всеми женщинами возвышать, но поскольку сама Амалия к этому достаточных оснований не дает, ты выручаешь себя тем, что пытаешься других женщин всячески принизить. Поступок Амалии и впрямь чрезвычайный, из ряда вон, но чем больше ты о нем рассказываешь, тем труднее решить, чего в нем больше — величия или ничтожества, ума или вздорной глупости, геройства или малодушия, ибо побуждения свои Амалия затаила глубоко в душе и до них не дознаться. Фрида, напротив, ничего чрезвычайного не совершила, она просто последовала зову сердца, любому непредвзятому, благожелательному взгляду это ясно, всякий может это проверить, тут не о чем разводить кривотолки. Но я вовсе не хочу ни Амалию с пьедестала свергать, ни Фриду защищать, я только тебе разъясняю, как я отношусь к Фриде и почему в моих глазах любые нападки

на Фриду — все равно что нападки на меня, на само мое существование. Я ведь по своей воле сюда прибыл, по своей воле здесь застрял, однако всем, что с тех пор здесь со мной случилось, и в особенности всеми своими здешними видами на будущее — пусть смутными и сумрачными, но уж какие есть, — всем этим я Фриде обязан, тут спорить не о чем. Ведь меня хоть и приняли здесь землемером, но только для вида, мною просто играли, гнали меня из каждого дома, мною и сегодня еще играют, правда, уже куда серьезнее, я теперь игрушка покрупнее, а это что-нибудь да значит, я вон уже и домом обзавелся, и местом службы, и настоящей работой, пусть все это не бог весть что, но все-таки у меня есть невеста, которая, когда я другими делами занят, снимает с меня часть служебных дел, я женюсь на ней и стану членом общины, у меня помимо служебных отношений есть еще и особая, личная связь с Кламмом, которую я, впрочем, в ход пустить пока не смог. Разве все это звук пустой? А когда я к вам прихожу, кого вы принимаете, кого приветствуете? Кому ты поверяешь историю вашей семьи? И от кого надеешься на возможность — пусть мизерную, пусть призрачную, но все-таки возможность помощи? Не от меня же, какого-то

землемеришки, которого, скажем, еще неделю назад Лаземан с Брунсвиком силой из своего дома выставляли, нет, ты надеешься получить помощь от человека, за которым есть кое-какая власть, но этой властью я опять-таки обязан Фриде, той самой Фриде, которая по простоте душевной настолько скромна, что, вздумай ты ее о чем-то таком спросить, не сразу сообразит, о чем речь. И все же, сдается мне, Фрида при всей своей простоте достигла куда больше, чем Амалия при всей своей гордыне, ибо, видишь ли, у меня складывается впечатление, что ты именно для Амалии помощи ищешь. И у кого? Да, в сущности, не у кого иного, как все у той же Фриды.

— Неужто я вправду так ужасно о Фриде говорила? — удивилась Ольга. — Я этого вовсе не хотела, да мне и не показалось так, хотя все возможно, мы ведь со всем миром в разладе и как начнем жаловаться, так нас и заносит сами не знаем куда. Ты и в том прав, что сейчас между Фридой и нами большая разница, о чем совсем не худо нам напомнить. Три-то года назад мы были дочками из почтенной, зажиточной семьи, а Фрида — сирота, батрачка из трактира «У моста», мы, проходя мимо, и взглядом ее не удостаивали, конечно, это спесь, но так уж нас воспитали. Зато

тем вечером в «Господском подворье» ты сам мог убедиться, как оно теперь между нами обстоит: Фрида с кнутом в руке, а я в толпе челяди. Только на самом деле все еще хуже. Фрида — та пусть себе нас презирает, ей даже надо так, ее, можно сказать, положение обязывает. Но кто только нас не презирает! Всякий, кому заблагорассудится нас презирать, немедленно становится достойным членом общества. Ты знаешь преемницу Фриды? Пепи ее зовут. Я только позавчера вечером с ней познакомилась, ока раньше горничной работала. Так вот, она в своем ко мне презрении наверняка Фриду переплюнула. Она, как увидела меня из окна — я за пивом пришла, — подбежала к двери и нарочно ее заперла, мне пришлось долго ее упрашивать и даже пообещать в подарок ленту, что у меня в волосах была, прежде чем она открыть соизволила. А когда я ей ленту отдала, она не глядя швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает, я как-никак от нее завишу, она теперь буфетчица в «Господском подворье», правда, только временно и надолго не задержится, нет у нее нужных качеств, чтобы на таком месте постоянно работать. Стоит только послушать, как хозяин с этой Пепи разговаривает, и сравнить, как он с Фридой обращался. Но Пепи это ничуть

не мешает презирать не только меня, но и Амалию, Амалию, одного взгляда которой было бы достаточно, чтобы эту пигалицу Пепи со всеми ее косичками и рюшами из комнаты так и вынесло, пулей бы вылетела, как ей на своих толстеньких ножках в жизни не поспеть. А какую возмутительную болтовню про Амалию пришлось мне вчера от нее выслушивать, покуда гости за меня не взялись, к сожалению, правда, на тот же манер, как ты однажды имел возможность видеть.

— До чего же ты запугана, — заметил К. — Я только определил Фриду на подобающее ей место, но вовсе не хотел вас принизить, как ты, похоже, решила. Не могу умолчать, я тоже чувствую, что ваша семья какая-то особенная, но почему это должно давать повод к презрению, не понимаю.

— Ах, К., — вздохнула Ольга, — боюсь, со временем и ты поймешь. То, как Амалия обошлась с Сортини, дало этому презрению первый толчок, неужто тебе это совсем непонятно?

— Это было бы слишком странно, — проговорил К. — Амалией тут можно восхищаться или осуждать ее, но презирать? Однако, даже если по каким-то непонятным для меня причинам Амалию презирают, с какой стати презрение распространяется и на вас, ни в чем не повинных

родственников? А уж что Пепи, к примеру, имеет наглость тебя презирать, вообще ни в какие ворота не лезет, когда в следующий раз в «Господское подворье» наведаюсь, она у меня за это поплатится.

— Ну и задал бы ты себе работу, К., — сказала Ольга, — вздумай ты переубедить всех, кто нас презирает, ведь это из самого Замка исходит. Хорошо помню день, который за тем утром последовал. Брунсвик, он тогда у нас подмастерьем был, пришел, как обычно, отец выдал ему работу и отправил домой, потом мы сидели и завтракали, все, кроме Амалии и меня, такие оживленные были, отец то и дело о празднике вспоминал, строил планы насчет пожарной дружины, в Замке-то своя пожарная дружина, так они на наш праздник свой отряд прислали, ну и разговоры всякие велись, к тому же господа из Замка, что на празднике присутствовали, видели, как наша дружина себя показала, и высказывались очень благосклонно, со своей замковой пожарной дружиной сравнивали, и сравнение в нашу пользу выходило, заговорили даже о необходимости реорганизации всей замковой противопожарной службы, с привлечением инструкторов из деревни, конечно, тут несколько человек имелось

в виду, но отец имел основания надеяться, что выбор падет и на него. Вот об этом он тогда и рассуждал, по своей милой привычке всегда и всюду занимать много места обхватил руками чуть ли не полстола, устремив взгляд в открытое окно, к небу, и лицо у него было такое молодое, столько в нем надежды было, никогда больше я его таким не видела. И тут вдруг Амалия с этакой надменностью, какой мы прежде за ней не замечали, говорит: всем этим речам господ из Замка не следует, мол, особо доверяться, господа при подобных оказиях любят что-нибудь приятное сболтнуть, только значат их слова очень мало, а то и вовсе ничего, скажут — и вмиг забудут, а мы, дескать, каждый раз на эту удочку попадаемся. Мать тотчас же запретила ей вести подобные речи, отец только посмеялся над мудрствованиями, которые ей еще не по годам, но вдруг запнулся, словно хватившись чего-то, хотя все вроде было на месте, и спросил, что это ему там Брунсвик насчет посыльного и письма какого-то разорванного плел, не знаем ли мы, о чем он, кого имел в виду и что вообще стряслось. Мы промолчали, Варнава, тогда еще молоденький, смешной, словно барашек, в ответ что-то особенно задиристое и глупое сказал, все заговорили о другом, и дело

вроде бы забылось.

18
Кара для Амалии

— Не прошло и часа, как нас уже со всех сторон засыпали вопросами об истории с письмом, приходили друзья и недруги, знакомые и незнакомцы, но оставались недолго, лучшие друзья прежде других торопились распроститься, Лаземан, обычно медлительный и степенный, зашел так, словно размеры нашей горницы вздумал проверить, стены да потолок глазами обвел и был таков, со стороны вообще на жуткую детскую игру походило, когда Лаземан чуть ли не бегом припустил, а отец, от других людей вырвавшись, вдогонку за ним кинулся, до порога добежал, да так на пороге и замер. Брунсвик пришел, сразу со всей прямотой отцу выложил, что хочет теперь сам работать, умная голова, вмиг смекнул, что момент выгодный и надо пользоваться, клиенты приходили, сами в кладовой свою обувь разыскивали, которую прежде в починку принесли, первых отец еще пытался отговаривать — и мы все по мере сил ему помогали, — а потом бросил, только молча помогал искать, в книге заказов

записи так и вычеркивались, строка за строкой, запасы кожи, что нам на хранение сдавали, люди теперь приходили забирать обратно, кто нам задолжал, спешил расплатиться, и все это без малейших споров, лишь бы поскорей и окончательно порвать с нами отношения, пускай и себе в убыток, с убытками никто не считался. И наконец, как и следовало предвидеть, явился брандмайор Зееман, командир пожарной дружины, я как сейчас вижу эту картину: Зееман — здоровенный, сильный, но сутулый слегка, у него с легкими нелады, всегда серьезный такой, казалось, смеяться он вообще не умеет — стоит перед отцом, которым он всегда восхищался, которому однажды по-приятельски место своего первого заместителя посулил, и должен ему сообщить, что дружина от его услуг отказывается и просит вернуть диплом пожарного. Все, кто у нас тогда в доме был, дела свои побросали и столпились вокруг этих двоих. А Зееман слова вымолвить не может, только снова и снова отца по плечу хлопает, будто слова, которые сам должен сказать и не найдет никак, из него выбить надеется. И смеется все время, чем, должно быть, себя и других успокоить норовит, но, поскольку смеяться он не умеет и смеха его никто никогда

не слышал, никому и в голову не приходит, что это у него смех такой. А отец, доведенный до отчаяния событиями этого дня и так уже вконец измученный, Зееману ничем помочь не в силах, он, видно, до того устал, что вообще с трудом соображает, чего от него хотят. И мы все в отчаянии, но мы-то по молодости в столь полный и окончательный крах поверить не можем, нам все кажется: вот сейчас в череде посетителей кто-то объявится, скажет «Стойте!» и весь этот кошмар вспять повернет. И в неразумии нашем мнится нам, что Зееман для такого поступка самый подходящий человек. Мы в нетерпении ждем, когда сквозь его беспрестанный смех исторгнется наконец ясное слово. Ибо над чем же еще сейчас смеяться, как не над идиотской несправедливостью, которая по отношению к нам вершится? «Господин брандмайор, господин брандмайор, да скажите, наконец, всем этим людям!» — мысленно умоляли мы его и теснились к нему все ближе, но он ничего не говорил, только странно так, будто испуганная лошадь, на нас косился. И все-таки наконец заговорил, но не во исполнение нашей немой мольбы, а лишь подчиняясь поощрительным, а то и сердитым возгласам окружающих.

Мы все еще не оставляли надежду. Начал он

с пространной похвалы отцовским заслугам. Назвал его гордостью дружины, недосягаемым образцом для молодого поколения, незаменимым членом команды, отсутствие которого в их сплоченных рядах неминуемо всю дружину чуть ли не разрушит. Все было бы распрекрасно, если бы он тут остановился. Но он продолжил. И если тем не менее дружина приняла решение просить отца выйти, пока, правда, временно, из своих рядов, то необходимо разъяснить, сколь серьезные причины вынудили дружину на такой шаг. Если б не блестящие выступления отца на вчерашнем празднике, дело, возможно, и не зашло бы так далеко, однако именно эти выступления особенно привлекли внимание вышестоящих инстанций, так что теперь, под пристальным взором общественности, дружина обязана еще более ревностно блюсти чистоту своих рядов. Поскольку же имело место оскорбление посыльного из Замка, дружина не видит иного выхода, и он, Зееман, взял на себя неблагодарную миссию уведомить об этом отца. И пусть отец ему эту тяжкую задачу не усложняет. Как же радовался Зееман, когда все это из себя выдавил, он, видно, испытал такое облегчение, что, посчитав после таких трудов особую почтительность явно излишней,

показал на диплом, висевший у нас на стене, и просто поманил его к себе пальцем. Отец кивнул и пошел за дипломом, но трясущимися руками никак не мог снять диплом с гвоздика, пришлось мне забраться на стул и помочь. С этой минуты все пошло прахом, отец даже не стал вынимать диплом из рамки, так вместе с рамкой Зееману и отдал. А после сел в угол и больше не шелохнулся и слова не сказал, так что с клиентами уж нам самим по мере сил пришлось разбираться.

— И в чем ты видишь здесь влияние Замка? — спросил К. — Совсем не похоже, чтобы Замок в это дело вмешивался. Во всем, о чем ты пока что рассказала, я вижу только бездумную трусость людей, их злорадство по отношению к ближнему, их ненадежность в дружбе, так это всё вещи, которые встречаются сплошь и рядом, да и со стороны твоего отца — по крайней мере, мне так кажется — я усматриваю тут некоторую мелочность, ибо что такое, в конце концов, этот несчастный диплом? Лишь удостоверение его способностей, но они остались при нем, и если сделали его незаменимым членом дружины, тем лучше, единственное, чем можно было действительно осложнить брандмайору его задачу — это при первых же словах просто швырнуть злосчастный

диплом ему под ноги. А что для меня особенно знаменательно, так это что ты ни словом не упоминаешь Амалию. Амалию, которая всему виной и которая, должно быть, спокойно стояла в сторонке, наблюдая за всем этим крахом.

— Нет, нет, — сказала Ольга, — тут никого ни в чем упрекать нельзя, это уже все было влияние Замка.

— Влияние Замка, — повторила вдруг Амалия, незаметно вошедшая со двора, родителей она успела уложить. — Что, истории про Замок рассказываете? Так до сих пор и сидите? Да ведь ты, К., давным-давно попрощаться собирался, а сейчас вон уже почти десять. Неужто тебя этакие сказки волнуют? У нас тут есть люди, которые подобными историями буквально кормятся, сядут рядышком, вот как вы сидите, и давай друг дружку россказнями потчевать, но ты-то вроде не из таких.

— Именно что из таких, — возразил К., — очень даже из таких, а вот люди, которых подобные истории не волнуют, которые только других вечно заставляют волноваться, такие люди немногого стоят в моих глазах.

— Ну что ж, — проронила Амалия, — однако интересы у людей по-разному проявляются, я

слышала об одном молодом человеке, так того мысли о Замке денно и нощно донимали, казалось, ни о чем другом он вообще думать не может, близкие уже и за рассудок его начали опасаться, настолько он всеми помыслами там, наверху, в Замке витал, а в итоге выяснилось, что помыслы эти не о самом Замке, а о дочке одной из замковых канцелярских уборщиц, которую он, впрочем, в конце концов заполучил и на том совершенно успокоился.

— Да, такой человек мне бы, наверно, понравился, — сказал К.

— Сомневаюсь, чтобы тебе понравился он сам, — заметила Амалия, — а вот жена его — очень может быть. Но не буду вам мешать, мне спать пора, только вот свет я погашу, из-за родителей, они хоть и засыпают как убитые, но через час у обоих сна ни в одном глазу, и тогда им самый крохотный лучик света мешает. Спокойной ночи.

И действительно, тотчас стало темно, и Амалия принялась устраивать себе ложе где-то на полу, очевидно неподалеку от родительской кровати.

— Что это за молодой человек, про которого она говорила? — спросил К.

— Не знаю, — отвечала Ольга. — Может, Брунс-

вик, хотя на него не очень похоже, а может, еще кто. Ее не так-то просто понять, никогда не знаешь, всерьез она говорит или с иронией, по большей части всерьез, а звучит все равно как будто с иронией.

— Да брось ты ее слова и тон толковать! — воскликнул К. — Как ты вообще попала в такую от нее зависимость? До вашего несчастья тоже так было? Или только потом завелось? И неужто у тебя никогда не возникает желания от нее не зависеть? Или есть для такой зависимости какие-то разумные основания? Ведь это она младшая, она должна слушаться. Это она, по своей ли вине, безвинно ли, навлекла на ваш дом беду. И вместо того чтобы каждый день каждого из вас сызнова о прощении молить, она задирает нос выше всех, ни о чем не заботится, ну, разве что о родителях немного, да и то словно одолжение кому делает, ни во что, как сама изволит выражаться, не желает быть посвященной, а когда в виде исключения удостаивает вас разговором, то говорит «по большей части всерьез, хотя звучит все равно как будто с иронией». Или, может, она красотой своей, о которой ты иногда упоминаешь, всех вас поработила? Ну так вы все трое очень похожи, однако от вас, остальных двоих, она как раз скорее

невыгодно отличается, меня, когда я ее впервые увидел, сразу ее тупой и угрюмый взгляд отпугнул. И потом, она хоть и младшая из вас, но по внешности этого никак не скажешь, у нее скорее внешность женщин без возраста — такие почти не стареют, зато и молодыми, по сути, не были никогда. Ты каждый день ее видишь, пригляделась и просто не замечаешь, какое жесткое у нее лицо, будто неживое. Поэтому и благосклонность к ней Сортини я, по здравом размышлении, тоже особо всерьез принять не могу, может, он этим письмом ее только покарать хотел, а не к себе вызвать.

— Про Сортини я говорить не хочу, — ответила Ольга, — господа из Замка на все горазды, будь ты хоть первая красавица, хоть последняя уродина. В остальном же насчет Амалии ты сильно заблуждаешься. Сам посуди, у меня ведь никакого резона нет так уж стремиться тебя к Амалии расположить, и если я все-таки стараюсь это сделать, то лишь ради тебя самого. Да, в каком-то смысле Амалия стала первопричиной нашей беды, это несомненно, но даже отец, которого эта беда сильнее всех ушибла и который в словах, а у себя дома и подавно, никогда сдерживаться не умел, тем не менее даже в самые скверные времена

ни единым словом Амалию не попрекнул. И не потому, допустим, что он поступок Амалии одобряет; да и как он, рьяный почитатель Сортини, мог такой поступок одобрить, когда напрочь его не понимал, когда сам ради Сортини чем хочешь с радостью готов был пожертвовать, правда, все же не так, как оно на самом деле случилось под ударами сортиниевского гнева. Вероятного, предполагаемого гнева, ибо о самом Сортини мы так ничего больше и не узнали; если прежде он жил очень замкнуто, то после случая с письмом его как будто вовсе не стало.

[*— Может, это из-за истории с письмом его по службе так наказали? — спросил К.*

— В смысле, что он так бесследно исчез? — спросила в ответ Ольга. — Да нет, совсем наоборот. Подобное бесследное исчезновение — это поощрение, ради которого чиновники, по слухам, из кожи вон лезть готовы, ведь прием посетителей, само общение с ними для них мука.

— Но у Сортини и раньше работы с посетителями почти не было, — заметил К., — или, может, то письмо тоже считается работой с посетителями, да еще и тягостной?

— Пожалуйста, К., не спрашивай таким тоном, — попросила Ольга. — Стоило Амалии

прийти, и тебя как подменили. Что толку от подобных вопросов? Их как ни задавай, в шутку ли, всерьез, а ответить на них все равно невозможно. Они напоминают мне Амалию в самые первые недели этой злосчастной, уже годами длящейся пытки. Она тогда почти не разговаривала, но с каким-то жутким вниманием подмечала все, что вокруг творится, она была куда внимательнее, чем сейчас, и иногда вдруг прерывала свое молчание каким-нибудь вот этаким же вопросом, который кого угодно — возможно, и самого вопрошателя, а уж вопрошаемого и подавно — способен смутить, кого угодно, но только не Сортини.] Так вот, видел бы ты Амалию в те времена. Мы все знали, что никакого особого наказания нам не будет. Просто все от нас отвернулись. Отвернулись свои, деревенские, и Замок отвернулся. Но если в поведении людей отчужденность сразу заметна, то со стороны Замка ничего заметить нельзя. Мы ведь и в хорошие времена никаких милостей от Замка не чувствовали, как же теперь было заметить, что мы в опале? Но это вот безмолвие и было хуже всего. Что люди от нас отшатнулись, было не так страшно, они отшатнулись не по убеждению и по сути, должно быть, ничего против нас не имели,

такого презрения, как сейчас, тогда и в помине не было, они так поступили от испуга и теперь просто выжидали, как с нами дальше обернется. И нищета нам пока что не грозила, все должники с нами расплатились, в книгах балансы были прекрасные, если продуктов каких недоставало, нам родственники тайком помогали, это было просто, ведь шла уборка урожая, самая страда, правда, своих наделов у нас не было, а на подмогу нас теперь никто не звал, впервые в жизни мы оказались обречены почти на полную праздность. Вот так, без дела, и просидели в духоте да в жаре за закрытыми окнами весь июль и август. И ничего. Ни повестки, ни посыльного, ни в гости никто не пожаловал, совсем ничего.

— Ну, — сказал К., — если ничего не произошло и никакого особого наказания вы не ожидали, чего же вы тогда боялись? Что вы за люди! [*Замок и сам по себе бесконечно могущественнее вас, и все равно хоть крохи сомнения в его победе должны оставаться; так вы этой надеждой не пользуетесь, наоборот, как будто нарочно всеми силами стремитесь именно несомненность победы Замка доказать и даже обеспечить, потому-то в самом разгаре борьбы вас вдруг одолевает совершенно беспричинный страх, только усугубляя*

ваше бессилие.]

— Как тебе объяснить, — затруднилась Ольга. — Мы не боялись ничего в грядущем, мы страдали от настоящего, кара уже постигла нас. Люди в деревне только и ждали, что мы к ним выйдем, что отец снова откроет мастерскую, что Амалия, которая замечательные платья умела шить, правда только для самых зажиточных и уважаемых семей, снова начнет брать заказы, все ведь переживали из-за того, как с нами обошлись; когда в деревне уважаемое семейство вдруг вот так напрочь из жизни выпадает, каждому хоть маленькая, но все равно невыгода получается; они полагали, что, отрекшись от нас, просто выполнили свой долг, да и мы на их месте поступили бы не иначе. Они ведь даже не знали толком, из-за чего сыр-бор разгорелся, лишь знали, что посыльный, зажав в пригоршне какие-то бумажные обрывки, в «Господское подворье» вернулся, Фрида видела, как он выходил, как возвращался, ну и перемолвилась с ним, и то, что узнала, немедля всем разнесла, но опять-таки не из вражды к нам, а просто сочла своим долгом известить общину, как в подобном случае и любой другой на ее месте поступил бы. А после-то всем в деревне, как я уже сказала, только того и хотелось, чтобы все у нас

разрешилось добром. Так что приди мы к ним однажды с известием, что у нас снова все в порядке, что, к примеру, просто случилось недоразумение, тем временем полностью разъяснившееся, или что хотя проступок и имел место, но он заглажен словом и делом, или — людям вполне хватило бы даже этого — что благодаря нашим связям в Замке нам удалось все дело как-то замять; да нас бы с распростертыми объятиями приняли, радости и поцелуям не было бы конца, пир горой, да не один, закатили бы, ведь с другими семьями такое несколько раз бывало, я сама помню. Впрочем, и известия никакого не потребовалось бы; приди мы просто так, начни как ни в чем не бывало возобновлять прежние знакомства, ни единым словом злосчастную историю с письмом не поминая, и этого оказалось бы вполне достаточно, люди с превеликой радостью прекратили бы это дело обсуждать, ведь помимо страха тут еще и отвращение было, дело-то неприятное, некрасивое, стыдное, из-за того от нас и отвернулись, лишь бы ничего больше об этой истории не слышать, не говорить, не думать и вообще никоим образом ее не касаться. Ведь и Фрида об этом деле разболтала отнюдь не для того, чтобы нашей беде порадоваться, а только чтобы себя и других от

нее оградить, чтобы всю общину поставить в известность — мол, случилось нечто такое, от чего всеми правдами и неправдами лучше держаться подальше. Не в нас тут было дело, не в нашей семье, а в самой истории, мы же лишь постольку были виноваты, поскольку в эту историю оказались замешаны. Так что выйди мы просто на люди, спокойно отбросив все старое, всем своим поведением показывая, что мы это дело изжили, преодолели, неважно как, и люди всем миром убедились бы, что дело это, каким бы оно ни было, никогда больше не всплывет и обсуждаться не будет, — даже этого было бы достаточно, чтобы все загладить, все и всюду снова рады были бы нам помочь, пусть само дело забылось бы не вполне, но нас бы поняли и постарались помочь забыть его полностью. Мы, однако, вместо этого сидели взаперти дома. Не знаю, чего мы ждали, наверно, какого-то решения Амалии, она в то утро как захватила в семье власть, так больше и не выпускала. Причем ничего особенного для этого не сделала, не было ни приказов, ни просьб, она, пожалуй, одним молчанием этого добилась. Мы-то, остальные, беспрерывно что-то обсуждали, шушукались по углам с утра до вечера, а отец иной раз даже и среди ночи в приступе страха

меня к себя звал, и я полночи на краю его кровати сидела. А то мы двое, с Варнавой, который тогда во всей этой истории вообще ничего толком не понимал и кипятился страшно, объяснений требовал, причем всегда одних и тех же, чувствовал, наверно, что радостей беспечной юности, предвкушаемых всеми сверстниками, ему уже не видать, и вот мы с ним рядышком сидим, в точности как сейчас с тобой, К., и не заметим иной раз, как ночь пройдет и утро настанет. Матушка — та самая слабая из нас оказалась, наверно, потому, что не только общее наше горе несла, но и горе каждого как свое переживала, уже вскоре мы с ужасом заметили в ней перемены, которые, мы чувствовали, всей нашей семье предстоят.

Любимым ее местом был уголок кушетки — кушетки этой у нас давно уже нету, она у Брунсвика в горнице стоит, — так вот, на углу кушетки она сидела, и со стороны трудно было понять, то ли она дремлет, то ли, как по движению губ могло показаться, сама с собой какие-то долгие разговоры ведет. И конечно, только естественно было, что мы без конца историю с письмом обсуждали, вдоль и поперек, во всех несомненных подробностях и сомнительных чаяниях, каждый другого стараясь переплюнуть в изобретении верного

средства, как все одним махом благополучно разрешить, это было только естественно и неизбежно, однако хорошего тут было мало, ибо мы все больше погрязали в том, от чего стремились спастись. Да и что толку от всех, пусть самых замечательных, придумок, когда без Амалии ни одна не была исполнима, так что весь пыл растрачивался на предварительные обсуждения, совершенно бессмысленные, ибо итоги их до Амалии не доходили, а даже если бы и дошли, встретили бы только молчание, и ничего больше. Что ж, по счастью, сегодня я понимаю Амалию лучше, чем тогда. Ей досталось вынести больше, чем всем нам, просто непостижимо, как она все выдержала и в живых осталась. Матушка, правда, тоже несла на себе все наши беды скопом, но несла просто потому, что они на нее свалились, да и несла недолго, сказать, что она и сегодня их несет, нельзя, у нее уже и тогда мысли путаться начали. Но Амалия не только несла на себе беду, ей было дано понимание этой беды, мы-то видели лишь последствия, она прозревала причины, мы еще надеялись на спасительные соломинки, она знала, что все решено и спасения нет, нам еще оставался наш шепот, ей — только молчание, она стояла перед правдой лицом к лицу, и при этом

жила, и выносила такую жизнь, и по сей день выносит. Насколько легче, при всех наших горестях, было нам, чем выпало ей! Разумеется, дом наш нам пришлось оставить, в него въехал Брунсвик, нас определили вот в эту лачугу, на ручной тележке мы за несколько ездок переправили сюда весь свой скарб, мы с Варнавой впряглись в тележку, отец с Амалией сзади подталкивали, мама, которую мы первым делом перевезли, всякий раз встречала нас тихими причитаниями и плачем, сидя на сундуке. Но я хорошо помню, что даже во время тяжких этих перевозок — а ведь это еще и какой позор был, нам то и дело встречались подводы с урожаем, хозяева которых при виде нас только умолкали и отводили глаза, — мы с Варнавой все не могли уняться, все обсуждали наши горести и планы, как от них избавиться, иногда, заговорившись, прямо посреди дороги останавливались, и только отцовский оклик возвращал нас к нашему сиюминутному долгу. Однако и после переезда от всех этих разговоров жизнь наша ничуть не улучшилась, разве что, наоборот, мы мало-помалу почувствовали, как впадаем в бедность. Родня почти перестала нам помогать, собственные наши средства истощились, и как раз в это самое время стало набирать

силу общее презрение к нам, какое ты теперь хорошо знаешь. Люди заметили, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и вот этого нам не простили, нет, тяжесть выпавшего нам удела никто не оспаривал и не старался преуменьшить, хотя никто толком не знал, насколько он тяжек, однако если бы мы, все преодолев, из-под гнета выбрались, нам, соответственно, по заслугам был бы и почет, но поскольку нам это не удалось, то, что прежде считалось временным, люди сделали окончательным и бесповоротным: с нами оборвали всякое общение; хотя и знали, что сами вряд ли бы выдержали подобное испытание лучше нас, но именно потому сочли необходимым поставить на нас крест. О нас даже говорить по-человечески перестали, фамилию нашу старались не называть, если надо было о нас сказать, говорили о родичах Варнавы, сделав достойным упоминания самого невинного из нас; даже об избушке нашей дурную славу пустили, и если ты сам перед собой лукавить не будешь, то сознаешься, что, когда первый раз к нам вошел, тоже, наверно, подумал, мол, не зря нас так презирают; потом, когда люди изредка снова к нам заходить стали, они по поводу самых пустяковых вещей брезгливо морщились — ну, например,

что наша маленькая керосиновая лампа вон там над столом висит. Куда же ее еще вешать, как не над столом, но им это казалось ужасно. Впрочем, когда мы перевешивали лампу в другое место, брезгливость ничуть не уменьшалась. И сами мы, и все связанное с нами встречало теперь неизменное презрение.

19
Прошения

— А что тем временем делали мы? Мы делали худшее из всего, что могли сделать, за что заслуживали презрения куда большего, чем удостаивались на самом деле, — мы предали Амалию, мы вырвались, освободились из-под ее молчаливого приказа, мы не могли больше так жить, да и как жить совсем без надежды, и вот мы начали, каждый на свой лад, осаждать Замок просьбами о прощении. Знали, конечно, что никто из нас не в силах что-либо загладить сам, знали и другое: что единственная наша многообещающая связь с Замком, связь через Сортини, того самого чиновника, который, возможно, отцу благоволил, теперь, как раз по причине происшедших событий, для нас недоступна, и тем не менее взялись за дело. Первым взялся за дело отец, начались его бессмысленные хождения с челобитными к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писарям, по большей части его даже не принимали, а если ему хитростью или игрой случая удавалось записаться на прием

— о, как мы ликовали при таком известии, как потирали руки, — его в два счета выпроваживали и никогда больше приема не удостаивали. Да и ответить ему было легче легкого, Замку-то все и всегда легко. Чего он, в сущности, добивается? Что такое с ним произошло? За что он хочет просить прощения? Когда и кто со стороны Замка хоть пальцем его тронул? Да, конечно, он впал в нищету, растерял клиентов, и так далее, но это всё явления повседневной жизни, не столь уж редкий удел ремесленника, законы рынка, разве может Замок буквально во все вникать и обо всем печься? То есть на самом деле он обо всем и печется, но, право, не может он грубо вмешиваться в естественный ход вещей, ни с того ни с сего и ни с какой иной целью, кроме как услужить какому-то одному человеку? Или прикажете посылать в деревню чиновников, чтобы бегали за отцовскими клиентами и силой возвращали их обратно? Но, возражал тут отец, — мы все эти переговоры жадно и горячо обсуждали дома и до, и после, сгрудившись в уголке, словно бы прячась от Амалии, которая, конечно, все видела, но никогда не вмешивалась, — но, возражал тут отец, он ведь не на бедность свою жалуется. Все, что утратил, он легко наживет снова, это пустяки,

главное — лишь бы его простили. Но в чем его должны простить? — вопрошали в ответ, ведь никаких заявлений против него не поступало, по крайней мере в протоколах ничего такого пока нет, во всяком случае, в тех протоколах, которые доступны адвокатуре, а следовательно, насколько можно судить, против него ничего не предпринималось и вроде даже не затевается. Или он может назвать какое-нибудь служебное распоряжение, против него выпущенное? Нет, такого распоряжения отец назвать не мог. Или имело место вмешательство какого-либо органа власти? И этого отец не мог утверждать. Ну так если он ничего такого не знает и если ничего такого не произошло — чего он тогда хочет? Что прикажете ему прощать? Разве только, что он понапрасну беспокоит власти, но вот это как раз совершенно непростительно. Отец, однако, не сдавался, в ту пору он еще очень крепкий был мужчина и времени при вынужденном безделье имел предостаточно. «Я верну Амалии ее доброе имя, потерпите, недолго осталось», — говорил он Варнаве и мне по нескольку раз на дню, но говорил очень тихо, чтобы Амалия ни в коем случае не услышала; правда, по сути, говорилось это как раз для Амалии, хотя на самом деле отец о добром

имени уже не помышлял, только о прощении. Но чтобы получить прощение, надо установить вину, а какую бы то ни было вину власти отрицали. И тогда он вбил себе в голову — пожалуй, это уже было признаком некоторого помутнения рассудка, — что вину от него утаивают, потому что он недостаточно платит; ведь прежде он платил только положенные пошлины, которые, впрочем, по крайней мере для нас, и так были достаточно высоки. Но теперь он решил, что платить надо больше, и, разумеется, это была ошибка, ибо в наших канцеляриях для простоты дела, во избежание лишних препирательств, взятки хотя и берут, но толку от этого все равно никакого. Однако, раз отец возлагал на эти подкупы такие надежды, мы не осмеливались ему перечить. Мы продали все, что у нас еще оставалось, — считай, что самое последнее и насущное, — лишь бы обеспечить отцу средства для его мытарств по канцеляриям, и долгое время чуть ли не вся наша гордость состояла в том, чтобы отец, собираясь утром в свои походы, мог положить в карман хоть несколько монет и при необходимости ими позвякивать. Правда, мы сами из-за этого целыми днями сидели впроголодь, а единственная польза от этих денег сводилась к тому, что благодаря им

мы поддерживали в отце некоторую видимость надежды. Только вряд ли это вправду была польза. Он лишь изводил себя в этих хождениях, и муки, которым без денег уже вскоре пришел бы вполне заслуженный конец, только понапрасну растягивались. Поскольку на самом деле ничего существенного этими переплатами достигнуть было нельзя, какой-нибудь писарь изредка делал вид, будто пытается что-то предпринять, обещал навести дополнительные справки, намекал, что якобы уже обнаружил кое-какие следы и не по долгу службы, а исключительно из расположения к отцу сулил их распутать, в итоге отец, вместо того чтобы усомниться в успехе, верил в него все больше. Когда удавалось заручиться подобными, заведомо бессмысленными обещаниями, он приходил с таким видом, словно несет в дом окончательное избавление от всех бед, и было невыносимо видеть, как он за спиной Амалии, с многозначительно-хитрой улыбкой указывая на нее широко раскрытыми глазами, дает нам понять, сколь близко благодаря его усилиям спасение дочери, которое уже ни для кого, кроме нее самой, не станет сюрпризом, но пока это секрет и не дай нам бог проболтаться. Оно, конечно, долго бы еще так тянулось, если бы в конце концов

мы оказались совершенно не в силах снабжать отца деньгами. Правда, Брунсвик тем временем после долгих уговоров и просьб согласился взять Варнаву в подмастерья, впрочем, с условием, чтобы работу тот забирал, только когда стемнеет, и приносил тоже затемно; надо признать, ради нас Брунсвик пошел тут для своего дела на известный риск, впрочем, и платил он Варнаве сущие гроши — а ведь работа у Варнавы всегда безупречная, — так что платы этой нам едва-едва хватало, чтобы не помереть с голоду. Стараясь щадить отца, мы долго готовили его к известию о прекращении денежной поддержки, однако он принял его на удивление спокойно. Умом понять безнадежность своих попыток он уже вряд ли был способен, но, видно, попросту ослаб от бесконечных разочарований. Он хоть и говорил — а говорил он теперь совсем не так внятно, как прежде, прежде речь его, пожалуй, даже чрезмерной отчетливостью отличалась, — что ему бы еще совсем немного денег, и не сегодня-завтра он бы все выведал, а теперь все расходы зазря, только из-за нехватки денег все и сорвалось и так далее в том же духе, но по тону его слышно было, что он и сам в свои речи не верит. К тому же против всех ожиданий у него тотчас появились

новые идеи. Раз ему не удалось выявить вину и, следовательно, обычным служебным порядком ничего достигнуть не удалось и не удастся, он решил полностью переключиться на просьбы, завоевывая расположение чиновников личным подходом. Ведь есть, наверняка есть среди них люди с добрым, сострадательным сердцем, следовать велениям которого в служебное время они просто права не имеют, зато вне службы, если застигнуть их врасплох в подходящую минуту, последуют наверняка.

Тут К., прежде слушавший Ольгу как завороженный, прервал ее рассказ вопросом:

— А ты считаешь, это неверно?

— Да уж конечно, — ответила Ольга. — О сострадании или чем-то подобном тут и речи быть не может. На что мы были молодые да неопытные, но даже мы это знали, и отец прекрасно знал, но забыл, вот что самое поразительное. План у него был такой: стать неподалеку от Замка на обочине дороги, по которой чиновники проезжают, и при первой возможности, как случай выпадет, излагать свою просьбу о прощении. Откровенно говоря, план совершенно безумный, даже если бы случилось невозможное и просьба его дошла до чьего-нибудь чиновничьего уха. Да разве один

отдельно взятый чиновник в силах простить? В лучшем случае такое прощение — дело властей в целом, но, вероятно, и они прощать не могут, только судить. И как вообще способен чиновник, даже выйди он из коляски и захоти вникнуть в дело, составить себе о нем представление из того, что невнятно бормочет ему отец, этот бедный, изможденный, состарившийся горемыка? Чиновники — люди весьма образованные, но образование это одностороннее, в своей области чиновник с первого слова весь ход рассуждений заранее ухватывает, зато про дела других подразделений ему можно растолковывать часами, он, допускаю, будет вежливо кивать, но не поймет ни слова. И это само собой разумеется: попробуй-ка в их чиновничьей работе любую самую незначительную мелочь разобрать, пусть даже она тебя лично касается, какую-нибудь ерунду мизерную, которую чиновник решает шутя, только плечами передернет, попробуй-ка разобраться в ней до самой сути — всю жизнь будешь вникать, а до конца не вникнешь. Но даже если бы отец на подходящего чиновника наткнулся, по нужному ведомству, — все равно тот без бумаг ничего решить не может, а тем паче на проезжей дороге, вдобавок прощать вообще не по его части, его

дело — решать вопросы в служебном порядке, то есть он опять-таки тебя на казенный путь направит, на котором отец уже все пороги оббил и ничего не добился. Насколько же худо было у отца с головой, если он с таким планом всерьез на что-то рассчитывал. Да будь у подобных замыслов хоть малейшая надежда на успех, там, на проезжей дороге, просители бы кишмя кишели, однако поскольку такое совершенно невозможно и каждый с младых ногтей, со школьной скамьи накрепко это усвоил, там, на дороге, не встретишь ни души. Может, именно это отца в его надеждах и укрепляло, он надежду в чем угодно черпал. Впрочем, в таком деле только на надежду и остается уповать — при здравом рассудке человек и в соображения такие пускаться не будет, он всю заведомую невозможность подобного предприятия сразу осознает. Когда чиновники в деревню едут или в Замок возвращаются — это ведь не увеселительная прогулка, там, что в деревне, что в Замке, их работа ждет, потому и мчатся они во весь опор. Им в голову не придет по пути в окошко поглядывать да еще просителей глазами выискивать, у них в коляске своих бумаг полно, которые просмотреть надо.

— А мне вот довелось заглянуть в чиновничьи

сани, — вставил К. — Так там в кабинке никаких бумаг не было.

В рассказе Ольги перед ним открывался мир столь огромный и почти неправдоподобный, что он не удержался от искушения хоть крохотной подробностью из собственного опыта с этим миром соприкоснуться и тем вернее убедиться в достоверности его, а заодно и своего собственного существования.

— И это возможно, — не удивилась Ольга, — только это еще хуже, значит, у этого чиновника дела такие важные, а бумаги настолько ценные или папки настолько пухлые, что с собой их и взять нельзя, такие чиновники вообще велят мчать себя во весь опор. Как бы там ни было, для отца ни у кого из них лишнего времени нет и быть не может. А кроме того, к Замку ведь много подъездных путей. И у чиновников то одна дорога в моде, и тогда большинство по ней катит, то другая, и тогда все на нее валом валят. И по каким таким хитрым правилам они их меняют, никому пока дознаться не удалось. Иной раз с утра, часов в восемь, все по одной дороге едут, в половине девятого — по другой, через десять минут — по третьей, чтобы еще через час опять на первую вернуться и по ней уже, бывает, це-

лый день колесят, хотя в любую минуту и это перемениться может. Правда, вблизи деревни все дороги в одну сходятся, но по ней-то все коляски просто мчатся, тогда как от самого Замка или на подъезде к нему они иной раз еще не торопясь катят. Но точно так же, как совершенно непостижим порядок их въезда и выезда в смысле выбора дорог, невозможно предугадать и само количество колясок. Часто бывают дни, когда ни одной не увидишь, а потом вдруг дюжинами выезжают. И теперь, после всего, вообрази себе нашего отца. В лучшем своем костюме — скоро он у него последний останется — каждое утро, сопровождаемый нашими благими напутствиями, выходит он из дому. Маленький значок пожарной дружины, который он сохранил, хотя вообще-то носить его не вправе, он накалывает на лацкан пиджака за околицей, в самой деревне он с ним показываться боится, хотя значок такой крошечный, что его и с двух шагов почти не разглядеть, но, по мнению отца, как раз этой своей крошечностью значок способен привлечь внимание мимоезжих чиновников. Недалеко от въезда в Замок есть садоводство, хозяином там некий Бертух, он поставляет в Замок овощи, и вот там, на узком каменном цоколе садовой ограды,

отец и облюбовал себе место. Бертух позволил, раньше они с отцом дружили, да и клиент он был из самых верных, у него ведь нога малость изувечена, так он считал, что только отец на его ногу обувку тачать умеет. Вот там отец изо дня в день и сидел, осень выдалась хмурая, дождливая, но отцу на погоду было плевать, каждое утро в один и тот же час он брался за ручку двери, махнув нам на прощание рукой, а вечером, промокший насквозь, возвращался, казалось, с каждым днем сгорбленный все сильней и сильней, и без сил забивался в угол. В первое время он еще рассказывал кое-какие подробности — о том, к примеру, как Бертух из сочувствия и по старой дружбе ему через ограду одеяло перебросил, или о том, как он в окошке проезжающей коляски вроде бы то одного, то другого чиновника в лицо узнал, или, наоборот, что его самого кое-кто из кучеров уже узнает и в шутку слегка кнутом оглаживает. Позже он про такие вещи рассказывать перестал, очевидно, и не надеялся больше ни на что, просто считал своим долгом, своим делом, пусть проклятым и зряшным, туда отправляться и целый день там просиживать. Тогда-то и начались у него ревматические боли, приближалась зима, снег выпал рано, у нас вообще зимы ранние, а он все

сидел — то под дождем на мокрых камнях, то на снегу. Ночами стонал от болей, по утрам иной раз сомневался, идти или не идти, но пересиливал себя и шел. Мать просто висла на нем, отпускать не хотела, и он, вероятно побаиваясь за себя, потому что ноги-руки уже плохо его слушались, позволял ей уходить вместе с собой, а в итоге же вскоре скрючило и мать. Мы нередко к ним туда ходили еду принести или просто проведать, уговаривали домой вернуться, как же часто мы заставали их там в полной неподвижности, притулившихся друг к дружке на узеньком каменном выступе, съежившихся под тонким одеяльцем, которого и хватало-то на обоих едва-едва, а вокруг только стылая серая мгла, туман да снег, и ни души, и за весь день ни прохожего, ни повозки, видел бы ты, К., что это была за картина! Покуда однажды утром отец не смог спустить онемевшие ноги с постели; он был в отчаянии, в полугорячечном бреду ему мерещилось, будто именно сейчас, вот сейчас, там, наверху, у самых бертуховских ворот останавливается коляска, из нее выходит чиновник, обводит глазами ограду в поисках отца и, сердито покачав головой, раздосадованный, обратно в коляску садится. Отец кричал, так страшно кричал, что казалось, он отсюда, из ла-

чуги нашей, того чиновника окликнуть надеется и объяснить, что не по своей вине, что по уважительной причине отсутствует. А отсутствие затянулось надолго, он на свой пост так больше и не заступил, на месяцы слег. Амалия все на себя взяла — уход, лечение, хозяйство, и так, с небольшими перерывами, все до сих пор и остается. Она травы знает целебные, которые боль утоляют, а самой будто и сна почти не нужно, она и голоса не повысит, и не испугается ничего, и из терпения не выйдет никогда, — только о родителях и печется; пока мы, ничем толково помочь не умея, лишь под ногами путались, она холодно и молча делала все, что нужно. Зато потом, когда самое худшее миновало и отец понемногу, поддерживаемый с обеих сторон, стал с кровати подниматься, Амалия тотчас отступила в тень и передоверила его нашим заботам.

20
Планы Ольги

— Теперь требовалось снова подыскать для отца какое-нибудь занятие, такое, чтобы было ему по силам и, по крайней мере, поддерживало в нем веру, будто он своим трудом снимает вину с нашей семьи. Найти что-то в этом роде нетрудно, занятий столь же малоосмысленных, как сидение у ограды бертуховского сада, в сущности, превеликое множество, но я придумала нечто такое, что даже мне внушало кое-какую надежду. Всякий раз, когда в учреждениях, в разговорах с писарями и прочим канцелярским людом, заходила речь о нашей вине, неизменно поминалось только оскорбление посыльного от Сортини, ни о чем другом никто и заикнуться не смел. Что ж, сказала я себе, если всеобщее мнение, пусть только для виду, ни о чем другом, кроме оскорбления посыльного, ведать не желает, значит, можно, опять же только для виду, поправить дело, достигнув с этим посыльным примирения. Ведь нас уверяли, что заявления на нас не поступило, значит, и дело никаким ведомством не

заведено, а коли так, то посыльный имеет право от себя лично — а ведь ни о чем больше и речи нет — нас простить. Разумеется, никакого существенного значения замирение с посыльным не имело бы, все это видимость одна и ничего бы нам не дало, однако отцу доставило бы радость, а многих канцелярских, которые так изводили его своими уклончивыми, лживыми ответами, к немалому его удовольствию, хоть ненадолго приперло бы к стенке. Когда я изложила отцу этот план, он поначалу не на шутку разгневался, он вообще ужасно вспыльчивым стал и вздорным, во-первых, он считал — эта блажь у него в голове за время болезни особенно укрепилась, — что мы вечно в последнюю минуту, на пороге успеха все ему срываем, сначала деньги перестали давать, теперь вот в постели чуть не силой держим, а во-вторых, он вообще не вполне уже был способен чужие мысли воспринимать. Я и досказать не успела, а он мой план тотчас отбросил, у него одно было на уме — снова у садоводства Бертуха садиться и ждать, но поскольку сам он явно не в силах каждый день туда, на гору, таскаться, значит, придется нам его на тачке возить. Но я не отступала, и постепенно он с мыслью насчет посыльного свыкся, лишь одно ему мешало, что он в

этом деле целиком и полностью от меня зависеть будет, ведь только я тогда посыльного видела, отец его не знал. Разумеется, все слуги похожи, все почти на одно лицо, и полной уверенности, что я его узнаю, у меня не было. Но мы начали ходить в «Господское подворье» и высматривать среди слуг того посыльного. Правда, это был один из слуг Сортини, а Сортини в деревне больше не показывался, но господа своих слуг часто меняют, как знать, вдруг мы его среди челяди другого хозяина встретим, а если не его самого, то хотя бы от других слуг что-то о нем услышим. Для этого, правда, надо было каждый вечер в «Господском подворье» бывать, нас же нигде особо не привечали, а в таком-то месте и подавно, тем более что заказывать и платить, как нормальные клиенты, мы не могли. Но мало-помалу обнаружилось, что и от нас прок может быть; ты сам прекрасно знаешь, какое для Фриды было мучение со всей этой челядью дело иметь; в большинстве своем слуги народ спокойный, ленивый, на подъем тяжелый, слишком они избалованы легкой службой. В замке среди чиновников даже поговорка такая есть, вроде пожелания — «чтоб тебе жилось, как слуге», и говорят, оно вправду так, по части сытости, покоя и благополучия слуги, и

есть в Замке настоящие господа, и они умеют это ценить, там-то, в Замке, живя по тамошним законам, они и ведут себя чинно-благородно, мне самые разные люди это подтверждали, да и здесь, у нас, остатки этого поведения можно иногда подметить, но только остатки, потому что здесь, где замковые законы для них не в полной мере действуют, они как с цепи срываются — это совершенно дикий, необузданный сброд, который, кроме своей похоти и прихоти, никакого закона знать не желает. Бесстыдству их нет предела, для деревни счастье еще, что из «Господского подворья» им без приказа выходить запрещено, ну а на постоялом дворе надо как-то с ними управляться, Фриде это очень трудно давалось, вот она и обрадовалась, что можно утихомиривать эту ораву с моей помощью, в итоге я два с лишним года по два раза в неделю, а то и чаще, провожу ночь со слугами на конюшне. Раньше, когда отец со мной ходил, он тоже там ночевал, ложился где-нибудь в буфетной и ждал, какие я утром принесу новости. Только новостей немного было. Того посыльного мы так и не нашли, вроде бы он до сих пор в услужении у Сортини, который очень его ценит, и, когда Сортини в более отдаленных канцеляриях укрылся, посыльный якобы

за ним последовал. Большинство слуг, как и мы, с того дня его не видели, а если кто видел, так скорее всего обознался. В сущности план мой, можно считать, не удался, однако сказать, что все совсем впустую вышло, тоже нельзя; правда, посыльного мы не разыскали, отца хождения в «Господское подворье» и ночевки там, да, может, и переживания за меня, насколько он вообще на переживания еще способен, к сожалению, совсем доконали, он уже почти два года такой, каким ты его сейчас видел, хотя со здоровьем у него не так скверно, как у матушки, тут мы со дня на день ждем конца, и только нечеловеческие усилия Амалии оттягивают самое худшее. Но все же кое-чего мне в «Господском подворье» достигнуть удалось — мне удалось установить кое-какие связи с Замком, и не презирай меня, если я скажу, что нисколько в этом не раскаиваюсь. Да какие такие там могут быть связи с Замком, наверно, подумаешь ты. И будешь прав, никаких особых связей у меня нет. Я, правда, знакома теперь со многими слугами, почти со всеми слугами тех господ, что в последние годы бывали у нас в деревне, и, если когда-нибудь окажусь в Замке, совсем чужой там не буду. Впрочем, я этих слуг только по деревне знаю, в Замке они совсем другие, может, они там

и знать никого не хотят, а того, с кем в деревне дружбу водили, и подавно, пусть на конюшне они хоть сто раз клялись, что просто счастливы будут в Замке с тобой свидеться. Да и цену их обещаниям я за это время узнала. Но главное совсем не это. Я ведь не только через слуг связь с Замком установила, но, хочу надеяться, еще и благодаря тому, что кто-то, кто сверху, из Замка, за мной и поступками моими наблюдает, — а управление многолюдной армией слуг в работе властей дело чрезвычайно важное и хлопотное, — что тот, кто оттуда за мной наблюдает, быть может, составит менее суровое обо мне суждение, чем остальные, может, он убедится, что я тоже по-своему, пусть самым жалким образом, все-таки ради нашей семьи бьюсь и усилия отца стараюсь продолжить. И если так на это посмотреть, то, наверно, мне и другое простить можно — что я у слуг деньги беру, для семьи опять же. И еще кое-чего я достигла, но ты, наверно, поставишь мне это в вину. От челядинцев я разузнала, как окольными путями, в обход трудного, иногда годами тянущегося официального приемного оформления, можно попасть на службу в Замок, правда, тогда ты и служащим становишься неофициально, тебя только наполовину и как бы тайком допускают,

ни прав у тебя нет, ни обязанностей, причем хуже всего, что обязанностей нет, но, поскольку ты все время поблизости, наготове, можно улучить благоприятную минуту и удачей этой воспользоваться, ты хоть и не служащий, но по случаю тебе какая-нибудь работа перепасть может: вдруг не оказалось под рукой нужного человека, кликнули кого придется, а ты тут как тут, еще секунду назад ты был никто, а тут вдруг раз — и уже человек, уже служащий. Только когда она подвернется, возможность эта? Иногда сразу выпадает, не успеешь даже прийти, осмотреться толком, а случай вот он, пожалуйста, не у всякого и духу хватит так сразу, на новенького, за свою удачу ухватиться, а другому годами приходится ждать, дольше, чем официальное оформление протянулось бы, а официально такой вот наполовину допущенный на службу никогда поступить не сможет, права не имеет. Сомнений тут предостаточно, но они тотчас умолкают, стоит подумать, сколь тщательно проводится отбор при официальном приеме, когда люди из неблагонадежных, запятнавших себя семейств отсеиваются заведомо, человек из такой семьи, рискнувший подвергнуть себя процедуре официального приема, будет годами трястись в ожидании ответа, с первого дня и со

всех сторон на него будут сыпаться удивленные расспросы, как он на такое безумие решился, а он все равно надеется, без надежды как жить, и вот долгие годы спустя, возможно дряхлым старцем, он узнает, что его отклонили, что все потеряно и жизнь прошла впустую. Впрочем, тут бывают и исключения, и то, что они бывают, главная приманка и есть. Случается, что как раз людей с подпорченной репутацией в конечном счете все-таки принимают, есть чиновники, которых подобный сомнительный душок помимо воли буквально как самая лакомая дичь притягивает, они на приемных испытаниях ноздрями так и водят, губы выпячивают, глазами рыщут, для них такой человек в известном смысле самое аппетитное лакомство, и им изо всех сил за своды законов держаться приходится, чтобы соблазну противостоять. Иногда, впрочем, в приеме на службу это нисколько не помогает, только до бесконечности растягивает саму процедуру приема, которая тогда иной раз вообще не заканчивается, а лишь обрывается со смертью соискателя. Словом, и законный прием на работу, и другой — оба пути изобилуют явными и скрытыми трудностями, и, прежде чем в такую историю пускаться, совсем не худо все как следует взвесить. Ну по этой части

нам с Варнавой, пожалуй, себя упрекнуть не в чем. Всякий раз, как я возвращалась из «Господского подворья», мы с ним садились рядышком, и я ему рассказывала, что выведала нового, а потом мы целыми днями с ним это обсуждали, бывало, из-за разговоров наших и работа у Варнавы простаивала куда дольше, чем следовало. И тут, как ты, наверно, посчитаешь, есть за мной еще одна вина. Я ведь знала, что рассказам слуг о Замке особо доверять не стоит. Знала, что у них никакой охоты нет про Замок рассказывать, что вечно они норовят перевести разговор на другое, что у них чуть не каждое слово вымаливать приходится, ну а коли соглашаются, в такой раж входят, что не удержишь, и уж тогда такую околесицу несут, до того задаются, так друг перед дружкой выставляются да важничают, так друг друга во вранье да небылицах перещеголять норовят, что в немыслимом гвалте, который от их крика в темной конюшне стоит, в лучшем случае два-три слабых намека на правду уловить можно. И тем не менее я без разбору пересказывала Варнаве все, что успевала запомнить, а он, по молодости не умея отличить правду от небылицы, страдая от положения нашей семьи, буквально томился по таким рассказам, впитывал их как губка и с

жаром требовал новых. Да, мой новый план и в самом деле строился с расчетом на Варнаву. От челяди ничего больше не добиться. Сортиниевского посыльного я не нашла и не найду, Сортини, а вместе с ним и посыльный, казалось, удаляются в неизвестность все безнадежней, их внешность и имена все вернее впадали в забвение, мне, когда расспрашивала, все чаще приходилось подробно их описывать, добиваясь в итоге лишь одного — их в конце концов с большим трудом смутно припоминали, но сверх того ничего сказать не могли. Что до моей жизни среди слуг, то повлиять на людскую молву о себе я, разумеется, никак не могла, только надеялась, что люди примут все как есть, не приписывая лишнего, и хотя бы часть вины с нашей семьи благодаря этому снимется, однако по внешним приметам ничего похожего не наблюдалось. Но я все равно жила по-прежнему, ведь другого пути хоть чего-то в Замке для нас добиться у меня не было. Зато для Варнавы я такой путь углядела. Из рассказов челяди, если охота их слушать — а охоты у меня было в избытке, — я постепенно поняла, что всякий, кто попадает в Замок на службу, очень многое для своей семьи сделать может. Только чему верить в этих рассказах? В точности это вообще уста-

новить нельзя, ясно только, что правды в них очень немного. Если, к примеру, какой-нибудь слуга, которого я больше и не увижу никогда, а если и увижу, то почти наверняка не узнаю, торжественно клянется мне помочь моему братцу в устройстве на службу в Замок или, на худой конец, обещает, если Варнава попадет в Замок без его помощи, всячески его поддерживать, например воды принести, чтобы ему освежиться, потому что, по рассказам тех же слуг, соискатели места вынуждены так долго своей очереди дожидаться, что иной раз в обморок падают и даже малость рассудок теряют, а тогда считай все пропало, если, конечно, кто-то из друзей о них не позаботится, — когда слуги мне этакие страсти рассказывали, я понимала: в предостережениях их, должно быть, правды много, но уж обещания наверняка пустые напрочь. Пустые для кого угодно, но не для Варнавы, я, конечно, предупреждала его посулам этим не верить, но одного того, что я их ему пересказывала, оказалось достаточно, чтобы его в мои планы с головой втянуть. Причем мои собственные доводы очень мало на него действовали, главным образом на него действовали именно россказни слуг. Я вообще была предоставлена самой себе, с родителями, кроме Амалии,

уже никто объясняться не умел, сама Амалия тем больше от меня замыкалась, чем настойчивей я на свой лад стремилась продолжить отцовские замыслы, при тебе или при других она со мной еще разговаривает, а наедине никогда, для слуг в «Господском подворье» я была всего лишь игрушка, которую они изо всех сил поломать норовили, ни с кем из них я за два года слова по душам сказать не могла, ничего, кроме хитрости, лжи и вздора, от них не слыхала, единственный, кто у меня оставался, — это Варнава, но Варнава еще такой молоденький был. Когда я, рассказывая ему про Замок, замечала, как блестят у него глаза — а они у него до сих пор блестят, — я про себя ужасалась, но все равно рассказывала, слишком многое в этой игре было поставлено для меня на карту. Впрочем, особо грандиозных и столь же неисполнимых планов, как у отца, у меня не было, нет у меня ни мужской решимости, ни размаха, я по-прежнему не шла дальше оскорбления посыльного, которое намеревалась загладить, да еще и рассчитывала, что эту скромность мне поставят в заслугу. Просто то, что мне не удалось в одиночку, я теперь надумала осуществить с помощью Варнавы другим способом и уже наверняка. Если мы оскорбили посыльного, да так, что

он с перепугу вынужден был удалиться из ближних канцелярий, то само собой напрашивается вот какое решение: в лице Варнавы предложить Замку нового посыльного, пусть Варнава исполняет работу оскорбленного, а тот пусть спокойно пребывает где-то вдали сколько угодно, сколько ему нужно, чтобы прийти в себя и забыть нанесенное ему оскорбление. Я, конечно, прекрасно сознавала, что за всей показной скромностью тут кроется гордыня, получалось, мы предписываем властям, как им решать кадровые вопросы, или вроде бы сомневаемся в их способности самостоятельно, без нашей помощи найти наилучшее решение, а вернее, сомневаемся, что такое решение давным-давно найдено без нас, задолго до того, как мы что-то углядели и со своими советами соваться вздумали. Но нет, возразила я себе, невозможно, чтобы власти столь превратно истолковали мои намерения, а вернее, даже если такое случится, невозможно, чтобы они сделали это с умыслом, то есть заведомо и заранее, без всякого рассмотрения отмели мои старания как никчемные. Вот я и не ослабляла усилий, а честолюбие Варнавы доделало остальное. В это время, на первых, еще подготовительных порах, Варнава до того зазнался, что сапожную

работу считал для себя, будущего канцелярского служащего, слишком грязной и зазорной, он даже Амалии, когда та ему, куда как редко, что-то говорила, осмеливался перечить, причем очень дерзко. Я не хотела отравлять ему эту недолгую радость чрезмерного самомнения, ведь с первого дня, как он в Замок отправился, и всякому удовольствию, и зазнайству, как нетрудно было предвидеть, сразу пришел конец. Так началась та самая половинчатая, кажущаяся служба, о которой я тебе уже говорила. Удивительно только, до чего легко, без затруднений Варнава с первого раза в Замок проник, вернее, не в сам Замок, а в ту из канцелярий, которая стала, так сказать, его рабочим местом. От такого успеха я тогда чуть с ума не сошла, едва Варнава, вернувшись вечером домой, мне об этом на ушко шепнул, я кинулась к Амалии, схватила ее, затолкала в угол и принялась целовать и даже кусать от радости, так, что она, бедняжка, от боли и испуга расплакалась. Сказать-то я ей от волнения ничего не могла, да мы и не разговаривали друг с дружкой давным-давно, поэтому объяснение я на ближайшие дни отложила. Но ни в ближайшие, ни в последующие дни рассказывать и объяснять оказалось больше нечего. Самым первым столь многообе-

щающе быстрым успехом все и ограничилось. Два года тянулась для Варнавы эта однообразная, унылая, всю душу выматывающая жизнь. Слуги подвели меня напрочь, я дала Варнаве с собой письмецо, в котором просила всячески ему содействовать, заодно напоминая о данных мне обещаниях, чтобы Варнава, как только встретит кого из слуг, немедля это письмецо из кармана вытаскивал и вручал, он так и делал, и хотя иногда и вправду попадал на таких, которые меня знали, пусть даже этим знакомым его манера безмолвно протягивать письмо (а заговорить он просто робел) могла показаться дерзкой, — все равно это стыд и позор, что ни один ему не помог, в конце концов сущим избавлением, до которого, впрочем, мы и сами давным-давно додуматься могли, оказалось хамство одного из слуг, которому, должно быть, мое письмо уже несколько раз в физиономию совали: он его попросту скомкал и в корзину швырнул. И — только сейчас припоминаю — вроде бы даже сказал: «У вас ведь так, кажется, принято с письмами обходиться». Однако, сколь ни бесплодно прошло это время, на Варнаву оно подействовало благотворно, если, конечно, можно назвать благотворным то, что он повзрослел раньше срока, до срока возмужал,

а по части серьезности и проницательности, можно считать, почти состарился. Мне иной раз горько на него смотреть и сравнивать его с тем юношей, каким он два года назад был. Ведь ни утешения, ни опоры, которые могла бы внушать мне его мужественность, я не чувствую. Без меня он вряд ли попал бы в Замок, но с тех пор, как он там, он от меня уже не зависит. Я единственная его поверенная, но наверняка он делится со мной лишь малой толикой того, что у него на сердце. Он много мне про Замок рассказывает, но из его рассказов, из мелких подробностей, которые он мне сообщает, совершенно невозможно понять, почему и как Замок его до такой степени преобразил. А особенно непонятно, почему всю ту смелость, даже удаль, которой он в юности иной раз просто в отчаяние всех нас приводил, теперь, став взрослым мужчиной, он там, наверху, напрочь растерял. Конечно, бесполезное стояние и ожидание изо дня в день, снова и снова, без малейшей надежды на перемену кого угодно измотает и лишит всякой решимости, в конце концов у него даже на это исступленное стояние сил не останется. Но почему он раньше никакого сопротивления не оказал? В особенности когда, уже вскоре, понял, что я права, что для

честолюбия там никакого поприща нету, разве лишь положение нашей семьи немного поправить можно, вот и все. Потому что там во всем, кроме лакейских прихотей, заведена предельная скромность, любое честолюбие ищет удовлетворения только в работе, и поскольку интересы дела ставятся превыше всего, то и честолюбие как таковое пропадает, для мальчишеского фанфаронства там места нету. Зато, как уверял меня Варнава, он теперь ясно понимает, до чего велики власть и знания даже тех, в сущности, весьма сомнительных на вид чиновников, в одном помещении с которыми ему дозволено находиться. Как они диктуют, быстро, уверенно, глаза чуть прикрыты, жесты властные, отрывистые, как одним движением пальца, ни слова не проронив, командуют самыми заносчивыми слугами, которые в такие минуты, хоть и обмирая от волнения и страха, все равно расплываются в счастливой улыбке, или как они, отыскав в одном из фолиантов нужное место, со всею силой хлопают по нему ладонью, заставляя сотрудников, несмотря на тесноту, опрометью сбегаться на прихлоп и с любопытством вытягивать шеи. Подобные и многие другие сцены необычайно возвышали этих людей в глазах Варнавы, и у него сложилось

впечатление, что если когда-нибудь кто-то из них его просто заметит, дозволит перебросится с собой словцом, заметит не как чужака, а как сослуживца по канцелярии, разумеется сослуживца, самого низшего ранга, — если он, Варнава, когда-нибудь такого отличия удостоится, тут-то он и достигнет всего, о чем наша семья даже мечтать не смеет. Но такого события пока не случилось, а совершить хоть что-то, что могло бы его приблизить, Варнава не отваживается, хотя ведь знает: он в нашем доме, невзирая на молодость, по немилостивому велению судьбы сам поставил себя на ответственный и трудный пост главы семейства. Ну а теперь, чтобы последнее от тебя не утаивать: неделю назад объявляешься ты. Я слыхала, как в «Господском подворье» кто-то о землемере упомянул, но значения не придала; ну землемер и землемер, велика важность, я даже не знаю толком, кто это такой. Но на следующий вечер Варнава возвращается домой раньше срока — обычно я к определенному часу его встречать выхожу, — видит в горнице Амалию, выманивает меня за порог и там, уткнувшись лицом мне в плечо, плачет навзрыд. Как будто он снова прежний маленький мальчик. С ним случилось нечто, что оказалось ему не по плечу. Перед ним

внезапно целый новый мир открылся, и счастье, но и тревогу этой перемены он просто не в силах вынести. А случилось-то всего лишь одно: ему вручили письмо и велели передать тебе. [*Я все понять не могла, что это он за сердце держится, — а это он письмо у себя на груди проверял, тут ли, не пропало ли.*] Только это ведь первое письмо, первое поручение, первая работа, какую он вообще получил.

Ольга умолкла. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь натужным, с хрипами дыханием родителей. Нарочито небрежным тоном, словно в продолжение ее рассказа, К. бросил:

— Вы все водили меня за нос. Варнава вручал мне письмо будто заправский посыльный, у которого работы невпроворот, зато вы с Амалией, которая на этот раз, выходит, была с вами заодно, делали вид, будто все эти письма и сама работа посыльного — так, между делом. — Ты напрасно не видишь между нами различий, — заметила Ольга. — Варнава благодаря этим двум письмам снова счастлив, как дитя, невзирая на все сомнения, которые связаны для него с его службой. Но сомнения эти он только себе и мне показывает, перед тобой же считает делом чести выглядеть настоящим посыльным, а точнее — каким по

его представлениям настоящий посыльный должен быть. Мне, к примеру, хотя его надежды на служебную форму теперь сильно возросли, все равно пришлось срочно, за два часа, ушивать ему штаны, чтобы хоть как-то было похоже на форменные брюки в обтяжку, — поскольку ты человек новый, он надеялся, что таким манером тебя нетрудно будет провести. Это что касается Варнавы. А вот Амалия — та и вправду работу посыльного в грош не ставит, и теперь, когда у Варнавы что-то вроде успеха наметилось, о чем ей нетрудно догадаться по нашим посиделкам и шушуканью, — теперь она эту работу и вовсе презирает. Так что она правду говорит, на этот счет ты вообще не сомневайся и тем более не дай сомнениям себя обмануть. Что до меня, то если я иной раз и принижала службу посыльного, то вовсе не с умыслом тебя, К., ввести в заблуждение, а только из страха. Эти два письма, прошедшие через руки Варнавы, за истекшие три года первый, да и то достаточно сомнительный признак, что власти по отношению к нам сменили гнев на милость. Эта перемена — если только это перемена, а не обман, ведь обман куда чаще бывает, чем перемена, — оказалась связана с твоим приездом сюда, получается, что наша судьба некоторым

образом теперь от тебя зависит, может, два этих письма лишь начало и теперь посыльная служба Варнавы не одного тебя будет касаться — доколе возможно, будем надеяться на это, — но пока все только на тебе одном сходится. Ну там-то, наверху, нам приходится довольствоваться тем, что дают, зато здесь, внизу, мы, пожалуй, и сами кое-чем себе помочь сумеем, а именно заручиться твоей благосклонностью или по крайней мере предотвратить твою неприязнь, а еще, самое главное, оберегать тебя по мере наших возможностей и жизненного опыта, чтобы твоя связь с Замком, от которой, быть может, и наша жизнь зависит, не утратилась. Только как это устроить? Чтобы ты без подозрения к нам относился, когда мы пытаемся к тебе приблизиться, ты ведь здесь чужак и, конечно, исполнен подозрений ко всем и вся, подозрений, кстати, совершенно обоснованных и оправданных. Кроме того, нас ведь все презирают, мнение о нас других людей не может на тебя не влиять, в первую очередь мнение твоей невесты, как же нам, спрашивается, тебя переубедить, волей-неволей не противопоставляя себя твоей невесте, да еще так, чтобы тебя это не обидело? А послания, которые я, прежде чем ты их получал, внимательно прочитала, —

Варнава их не читал, он себе как посыльный не позволил, — на первый взгляд показались мне не слишком важными, к тому же устаревшими, да они сами, хотя бы тем, что направляли тебя к старосте, всякой важности себя лишали. Как нам с учетом всех этих обстоятельств было с тобой держаться? Начни мы подчеркивать особую важность этих писем — навлечем на себя подозрение, с какой стати мы столь маловажные известия так переоцениваем, а заодно, раз мы эти письма передали, и свою важность письмоносцев преувеличиваем, значит, наверно, какие-то свои, а не твои интересы преследуем, да мы бы тем самым содержание писем в твоих глазах только уронили и тебя, совсем того не желая, в заблуждение ввели. Но вздумай мы не придавать этим письмам большого значения — опять-таки выглядело бы подозрительно, зачем мы о доставке столь маловажной корреспонденции хлопочем, почему на словах у нас одно, а на деле другое, зачем морочим не только тебя, адресата, но и отправителя, который, разумеется, не для того нам эти письма доверил, чтобы мы при вручении об их никчемности распинались. А соблюсти середину между этими крайностями, то есть оценить значение писем по достоинству, совершенно невозможно,

они сами свое значение то и дело меняют, давая пищу для бесконечных толкований то в одну, то в другую сторону, и на каком именно толковании разум остановится, только от случая зависит, значит, и мнение в итоге получится случайное. А когда вдобавок ко всему еще и страх за тебя примешивается, все окончательно запутывается, так что ты слишком строго мои слова не суди. И если, к примеру, как это однажды было, Варнава приходит домой с известием, что ты его службой посыльного недоволен, а он в приступе первого испуга, а еще, к сожалению, не без гонора, ибо задета его честь посыльного, предлагает тебе от его услуг отказаться — тут я, стремясь ошибку его исправить, готова лгать, изворачиваться, шельмовать, вообще на любой грех пойти, лишь бы прок был. Но поступлю я так — по крайней мере я надеюсь — в равной мере как ради нас, так и ради тебя.

В дверь постучали. Ольга побежала отпирать. Лучик потайного фонаря прорезал тьму. Поздний гость о чем-то шепотом спрашивал, ему шепотом отвечали, но ответы его не устраивали, он рвался войти. Ольга, не в силах его удержать, кликнула на подмогу Амалию, вероятно, в надежде, что та, оберегая сон родителей, любой ценой выпрово-

дит незваного гостя. Амалия и сама уже спешила к сестре, легко отодвинула Ольгу плечом, вышла на улицу и затворила за собой дверь. Впрочем, она тотчас вернулась, в два счета добившись того, что никак не удавалось сестре.

И лишь после этого К. узнал от Ольги, что человек приходил к нему, это был один из помощников, по поручению Фриды его разыскивавший. Ольга не стала ему говорить, что К. у них; если после сам К. захочет рассказать Фриде, у кого был, это его дело, но негоже, чтобы его здесь обнаруживал помощник. К. с этим согласился. Однако предложение Ольги провести ночь у них и дождаться Варнаву он отклонил; вообще-то он с удовольствием бы его принял, ведь уже поздно, и ему казалось, что теперь, хочет он или нет, с семейством Варнавы он настолько сроднился, что ночевка у них в доме, в прочих отношениях, возможно, нежелательная и тягостная, ввиду этого сродства самая естественная вещь на свете, более подходящего места для него во всей деревне нет, но все равно отказался, приход помощника его вспугнул, он никак не мог взять в толк, с какой стати Фрида, которой ведь все строго-настрого наказано, и помощники, которые вроде бы уже привыкли его бояться, опять стакнулись, опять

настолько заодно, что Фрида осмелилась одного из помощников послать за ним, причем только одного, тогда как другой, видимо, при ней остался. Он спросил Ольгу, есть ли у них кнут, кнута в доме не оказалось, зато нашлась хорошая ивовая розга, которую он и взял; потом спросил, есть ли из дома второй выход, и таковой тоже имелся, через двор, правда, потом надо было через забор соседского сада перелезть, этим садом пройти и уж там выйти на улицу. К. решил, что так и сделает. Пока Ольга двором вела его к забору, К. наспех старался ее успокоить, объясняя, что за маленькие художественные преувеличения в ее рассказе нисколько на нее не сердится, напротив, очень даже ее понимает, поблагодарил за доверие, которое она к нему испытывает, — иначе ничего такого она бы ему не рассказала, — и настоятельно попросил сразу же отправить Варнаву к нему в школу, когда бы тот ни вернулся, хоть ночью. Конечно, доставляемые Варнавой послания отнюдь не единственная его надежда, иначе плохи были бы его дела, но отказываться от них он ни в коем случае не хотел бы, напротив, он намерен этих распоряжений придерживаться, но и об Ольге не забывать, важнее всех посланий для него сама Ольга, ее храбрость, ее осмотри-

тельность, ее ум, ее самоотверженная любовь к семье. Так что, если бы пришлось выбирать между Ольгой и Амалией, он бы долго не раздумывал. Уже взлетая на соседский забор, он успел сердечно пожать ей руку.

Очутившись наконец на улице, он осмотрелся и, насколько позволяла смурая ночная мгла, различил чуть выше вдали, перед домом Варнавы, фигуру помощника — тот все еще расхаживал взад-вперед, иногда останавливался и, освещая фонарем занавешенные окна, тщетно пытался в них заглянуть. К. его окликнул; не особенно даже испугавшись, помощник прервал свое неприглядное филерское занятие и направился к К.

— Кого это ты высматриваешь? — спросил К., слегка проверяя гибкость розги о собственную ляжку.

— Тебя, — отвечал помощник, подходя ближе.

— А кто ты такой? — приглядевшись, спросил вдруг К., ибо, похоже, перед ним был вовсе не его помощник. Этот был постарше, какой-то весь понурый, с морщинистым, хотя и оплывшим лицом, да и походка совсем другая, куда девалась легкая, упругая, во всех движениях и суставах словно заряженная электричеством побежка помощников, этот же ступал медленно, слегка

прихрамывая, с какой-то болезненной вальяжностью.

— Ты не узнаешь меня? — удивился незнакомец. — Да я же Иеремия, твой старый помощник.

— Вот как? — проговорил К., снова слегка показывая из-за спины припрятанную было розгу. — Но у тебя вид совсем другой.

— Это потому, что я один, — сказал Иеремия. — Когда я один, прощай жизнь молодая.

— А где же Артур? — спросил К.

— Артур? — переспросил Иеремия. — Наш ласковый малец-удалец? Так он оставил службу. Ты ведь тоже с нами не больно-то ласков был. Вот его нежная душа и не выдержала. Он вернулся в Замок и там подает на тебя жалобу.

— А ты? — спросил К.

— Я-то могу остаться, — отвечал Иеремия. — Артур подает жалобу и за меня тоже.

— И на что вы жалуетесь? — поинтересовался К.

— А на то, — сказал Иеремия, — что ты шуток не понимаешь. Что мы такого сделали? Малость подурачились, малость посмеялись, малость невесту твою расшевелить хотели. Все, кстати, как было приказано. Когда Галатер нас к тебе посылал…

— Галатер? — изумился К.

— Ну да, Галатер, — подтвердил Иеремия, — он тогда как раз Кламма замещал. И когда он нас к тебе посылал, так и сказал, я слово в слово весь разговор запомнил, нам же потом ссылаться надо: «Вас направляют в помощники к землемеру». Мы на это: «Но мы ничего в этой работе не смыслим». А он нам: «Это не главное; если понадобится, он вас обучит. Главное в том, чтобы вы его малость развеселили. А то, как мне доложили, больно близко он все к сердцу принимает. Он только что в деревню прибыл и решил, что это невесть какое событие, хотя на самом деле это пшик, ровным счетом ничего. Вот это вы ему и растолкуйте».

— И что же, — спросил К., — прав был Галатер? И удалось ли вам выполнить его поручение?

— Да не знаю я, — ответил Иеремия. — За такой короткий срок вряд ли это возможно. Я одно знаю, что ты очень груб с нами был, на это мы и жалуемся. Не пойму, как ты, тоже всего-навсего служащий, причем даже не служащий Замка, не способен уразуметь, что служба вроде нашей очень тяжкая работа и нехорошо своими капризами, будто ты барчук озорной, настолько нам ее затруднять. Ведь это бессердечно — оставлять нас на морозе у ограды, как ты это сделал, или как

ты Артура, который из-за одного недоброго слова иной раз целыми днями переживает, кулаком чуть не убил тогда, на матрасе, или как ты меня весь вечер по сугробам гонял, я потом целый час отдышаться не мог. А я ведь не мальчишка уже.

— Милый мой Иеремия, — сказал К. — Ты во всем совершенно прав, только расскажи это не мне, а Галатеру. Это он по своей воле вас ко мне послал, я ни о чем таком не просил. И поскольку я вас не требовал, значит, имел право отправить восвояси, причем с радостью сделал бы это по-хорошему, а не силой, но вы же по-хорошему не шли. Почему, кстати, ты сразу, как только вы ко мне явились, так откровенно со мной не разговаривал?

— Потому что я на службе был, — ответил Иеремия. — Это ж само собой понятно.

— А сейчас ты больше не на службе? — спросил К.

— Сейчас — нет, — сказал Иеремия. — Артур в Замке от службы уже отказался или по крайней мере дал ход делу, чтобы нас окончательно освободили.

— Но ты все равно меня разыскиваешь, как будто ты на службе?

— Да нет, — отозвался Иеремия, — я ищу тебя,

только чтобы Фриду успокоить. Когда ты ее из-за Варнавиных сестриц бросил, она очень горевала, не столько из-за того, что тебя лишилась, сколько из-за предательства твоего, впрочем, она давно это предвидела и много из-за тебя выстрадала. А я как раз к окну школы снова подошел взглянуть, может, ты все-таки образумился. Но тебя там не было, только Фрида, одна-одинешенька, сидит за партой и плачет. Ну я к ней зашел, тут у нас дело и сладилось. Да и остальное потом все быстро утряслось. Я, пока мои дела в Замке решаются, коридорным устроился в «Господском подворье», а Фрида снова в буфетную вернулась. Для Фриды так оно, конечно, лучше. Не было для нее никакого резона за тебя замуж идти. Да ты и не ценил жертвы, на которые она ради тебя пошла. А она, бедняжка, все еще нет-нет да начнет за тебя переживать, дескать, может, нехорошо она с тобой поступила, может, ты вовсе не в Варнавином доме пропадаешь. И хотя никаких сомнений насчет того, где ты запропастился, разумеется, не было, я для очистки совести решил проверить, чтобы раз и навсегда убедиться, после всех треволнений Фрида заслужила наконец право хоть раз спокойно выспаться, да и я тоже. Вот и пошел, и не только тебя здесь обнаружил, но между делом

успел удостовериться, что девчонок своих ты тоже натаскал будь здоров. Особенно чернявую, та за тебя прямо как дикая кошка, того и гляди, глаза выцарапает. Только вот через соседский сад ты напрасно уходил, я эту дорожку знаю.{23}

{23} Варианты: 2.23

…я эту дорожку знаю.

[*Входная дверь школы была распахнута настежь, съехав оттуда, новоявленная парочка даже не потрудилась ее затворить, благо ответственность теперь, после расставания, лежит на одном К. Переезд, кстати, как он убедился, посветив себе спичкой, не оставлял никаких сомнений в своей окончательности — в комнате не осталось ничего, кроме его рюкзака и кое-какого исподнего, даже его палку, судя по всему, на всякий случай тоже прихватили, возможно, из опасения, уж не захочет ли он взять ее с собой и употребить взамен так и не использованной розги.*]

21

Итак, то, что можно было предвидеть, но невозможно предотвратить, все-таки свершилось. Фрида его бросила. Вряд ли окончательно, не настолько все скверно, Фриду, пожалуй, еще можно вернуть, просто она легко поддается посторонним влияниям, а особенно влиянию этих гнид помощников, которые считали положение Фриды сродни собственному, и теперь, раз уж сами уволились, подбили уйти и ее; однако стоит К. к ней явиться, напомнить обо всем, что говорит в его пользу, и она со слезами раскаяния бросится ему на шею, особенно если он, допустим, сумеет оправдать свой визит к сестрам каким-нибудь успехом, которым он им обязан. Но несмотря на все резоны, коими он в отношении Фриды себя успокаивал, на душе у него спокойно не было. Ведь только что он перед Ольгой Фриду расхваливал, своей единственной опорой называл, а опора вон какая непрочная оказалась, не понадобилось даже могущественной руки сверху, чтобы Фриду у К. увести, достаточно было этого не слишком аппетитного помощника, этой странной дряблой плоти, которая даже не производит впечатление

вполне живой.

Иеремия от него уже удалялся, но К. кликнул его назад.

— Иеремия, — сказал он, — буду с тобой вполне откровенен, ответь и ты мне честно на один вопрос. Я тебе больше не господин, ты мне не слуга, чему не только ты рад, но и я тоже, причин обманывать друг друга у нас теперь нету. Видишь, прямо на твоих глазах я ломаю эту розгу, вообще-то для тебя предназначавшуюся, ведь дорожку через сад я не потому выбрал, что тебя боялся, а чтобы тебя врасплох застигнуть и хорошенько розгой этой проучить. Ну так ты и за это не обижайся, это все в прошлом; будь ты не навязанный мне властями слуга, а просто мой знакомый, мы бы наверняка отлично поладили, правда, твой вид иногда меня как-то с толку сбивает. Так мы и сейчас поладить можем, если раньше упустили это сделать.

— Ты считаешь? — спросил помощник, от души зевнув и потирая усталые глаза. — Я, конечно, мог бы и подробнее тебе все дело растолковать, да времени нету, мне к Фриде надо, крошка и без того меня заждалась, она еще на службу не заступила, я уговорил трактирщика — она-то, не иначе чтобы забыться, рвалась сразу на работу

идти — дать ей еще немного времени для передышки, так мы хотя бы эти пару деньков вместе пробудем. А что до предложения твоего, у меня, конечно, никакого повода нет тебе врать, но и доверять тебе особых резонов нету. Я ведь не ты, со мной все иначе обстоит. Пока я состоял при тебе на службе, ты, конечно, был для меня очень важная шишка, не из-за каких-то особых твоих заслуг, а в силу моего служебного положения, и я бы для тебя все сделал, что твоей душе угодно, но теперь — теперь ты мне совершенно безразличен. И что ты розгу ломаешь, нисколько меня не трогает, только напоминает, какой грубый господин мне достался, меньше всего подобными ухватками можно меня к себе расположить.

— Ты говоришь так, будто совершенно уверен, что тебе никогда уже не придется меня бояться. А ведь это совсем не верно. Тебя, скорей всего, от службы, а значит, и от меня, вообще еще не освободили, здесь такие дела столь быстро не делаются…

— Иной раз делаются и куда быстрей, — бросил Иеремия.

— Иной раз да, — отвечал К., — но ничто не указывает, что на сей раз именно так и будет, по крайней мере ни у тебя, ни у меня письменного

решения на руках пока нету. Дело еще только в производстве, и я пока не пустил в ход свои связи, чтобы в него вмешаться, но сделаю это непременно. На случай неблагоприятного для тебя исхода ты не особенно старался заручиться благосклонностью хозяина, и розгу, пожалуй, я поторопился ломать. А Фриду ты у меня хотя и увел и по такому случаю прямо пыжишься от гордости, однако при всем уважении к твоей особе, которое у меня осталось, пусть ты и отказываешься теперь меня уважать, нескольких слов между мной и Фридой будет достаточно, чтобы порвать все путы лжи, которыми ты ее окрутил. Только ложью ты мог ее против меня настроить.

— Не пугают меня твои угрозы, — отвечал Иеремия. — Ты ведь вовсе не хочешь держать меня в помощниках, как помощника ты меня боишься, ты вообще боишься помощников, ты и беднягу Артура только из страха избил.

— Возможно, — сказал К., — и что, ему от этого меньше больно было? Возможно, я и на тебе еще не раз свой страх таким манером захочу выместить. Как увижу, что служба помощника тебе не в радость, так для меня, невзирая на все страхи, особым удовольствием будет тебя к ней приохотить. Мало этого, я теперь все силы

приложу, чтобы тебя одного, без Артура, к себе заполучить и уделять тебе куда больше внимания, чем прежде.

— Неужто ты думаешь, — спросил Иеремия, — будто я хоть чуточку всего этого боюсь?

— Думаю, да, — отвечал К., — думаю, немножко боишься, а если ума у тебя хватает, то даже очень сильно боишься. Иначе почему бы тебе давным-давно к Фриде не уйти? Скажи, ты хоть любишь ее?

— Что значит «любишь»? — протянул Иеремия. — Она девушка умная, добрая, бывшая возлюбленная Кламма, значит, в любом случае уважением будет пользоваться. И если она беспрерывно просит ее от тебя избавить, почему бы мне ей такое одолжение не сделать, тем более и тебе я этим никакого вреда не причиню, коли ты с треклятыми Варнавиными девками тешишься.

— Вот теперь я вижу твой страх, — сказал К., — жалкий, подленький страх, вон ты и меня своим враньем запутать норовишь. Фрида об одном только просила — от взбесившихся помощников ее избавить, от похоти их кобелиной, а у меня, к сожалению, времени не хватило ее просьбу до конца исполнить, вот теперь я за свое упущение и расплачиваюсь.

— Господин землемер! Господин землемер! — разнеслось вдруг по улице. Это был Варнава. Он подбежал, запыхавшись, но поклониться не забыл. — Мне все удалось! — выпалил он.

— Что удалось? — спросил К. — Ты доложил Кламму мою просьбу?

— Нет, это не вышло, — отвечал Варнава, — я очень старался, но никакой возможности не было, я и так вперед протиснулся, весь день без разрешения возле самой конторки простоял, настолько близко, что один из писарей, которому я свет застил, меня однажды попросту отпихнул, а когда Кламм глаза поднимал, давал о себе знать поднятием руки, что вообще-то запрещено, и в канцелярии дольше всех оставался, там никого уже не было, одни слуги да я, мне даже посчастливилось напоследок Кламма еще раз увидеть, но оказалось, он не ради меня вернулся, а только быстро что-то в книге посмотреть, и тотчас снова ушел, в конце концов, поскольку я все с места не двигался, кто-то из слуг меня чуть ли не метлой выпроводил. Я тебе все это докладываю, чтобы ты не ругал меня за нерадивость, как в прошлый раз.

— Что мне проку, Варнава, от твоих стараний, — сказал К., — если успеха они не приносят.

— Так я добился успеха! — воскликнул Варнава. — Только я из своей канцелярии вышел — я эту канцелярию своей называю, — вдруг вижу, из глубины коридора медленно господин какой-то выходит, больше-то никого вокруг нету, да и поздно уже очень, но я решил, что его дождусь, вроде как и предлог подходящий остаться, будь моя воля, я бы вообще оттуда не уходил, лишь бы тебе плохих известий не приносить. Но оказалось, очень даже стоило его подождать, потому что это был Эрлангер. Ты не знаешь Эрлангера? Он один из первых секретарей Кламма. Тщедушный, маленький такой господин, еще и прихрамывает немного. Он сразу меня узнал, он вообще своей памятью и знанием людей славится, только брови сдвинет — и мигом вспомнит человека, пусть прежде и в глаза его не видал, только слышал о нем или читал, меня-то, к примеру, он вряд ли вообще когда-нибудь видел. Но, хотя он каждого сразу узнает, он сначала все равно для верности спросит, будто сомневается. «Ты случайно не Варнава?» — так он ко мне обратился. А потом сразу спросил: «Ты ведь знаешь землемера, не так ли?» И тут же говорит: «Это очень кстати. Я сейчас в „Господское подворье” отправляюсь. Пусть землемер ко мне наведается. Я в пятна-

дцатом номере остановлюсь. Только пусть сразу приходит. У меня там несколько деловых встреч, а завтра в пять утра я обратно уезжаю. Скажи ему, мне очень нужно с ним переговорить».

Тут Иеремия внезапно сорвался с места и пустился наутек. Варнава, который прежде от волнения едва его заметил, весьма удивился:

— Куда это он?

— К Эрлангеру раньше меня поспеть хочет, — бросил К., кинулся вслед за Иеремией, нагнал его, обхватил, повис на нем. — Неужто тоска по Фриде тебя так обуяла? Нет, дружок, я не меньше твоего стосковался, давай-ка вместе пойдем, в ногу.

Перед темным зданием «Господского подворья» уже столпилась кучка мужиков, двое-трое принесли с собой фонари, благодаря чему можно было различить и кое-какие лица. К. обнаружил лишь одного знакомого, Герштекера, возчика. Тот приветствовал его вопросом:

— Ты все еще в деревне?

— Да, — отвечал К., — я надолго приехал.

— Да мне-то что за дело, — буркнул Герштекер, сильно закашлялся и отвернулся к остальным.

Выяснилось, что все ждут Эрлангера. Тот уже прибыл, но, прежде чем начать прием, совещался с Момусом. Общий разговор вертелся вокруг того,

что дожидающихся приема посетителей в дом не допускают, приходится торчать на улице в снегу. Правда, мороза особого не было, но все равно это безобразие — заставлять людей часами перед домом простаивать. Правда, вины Эрлангера тут нет, он как раз человек очень обходительный, о том, что люди на улице ждут, вряд ли знает, а если б ему доложили, наверняка бы страшно рассердился. Виновата во всем хозяйка, жена трактирщика, — та в своем прямо-таки почти болезненном стремлении к чистоте и порядку не может вынести, чтобы в помещении находилось по нескольку посетителей одновременно. «Раз уж без этого нельзя, раз они непременно должны сюда являться, — любила приговаривать она, — то пусть заходят, но только по одному». И она добилась, чтобы посетители, которые поначалу дожидались приема в коридоре, потом на лестнице, потом в прихожей, наконец в буфетной, в итоге вовсе оказались вытеснены на улицу. Но ей и этого было мало. Как сама она выражалась, ей невыносимо, когда ее «в собственном доме постоянно осаждают». Она не могла взять в толк, зачем вообще нужно принимать посетителей. «Да чтобы лестницу парадную пачкать», — бросил ей однажды, вероятно в сердцах, кто-то из

чиновников, каковое объяснение показалось ей очень дельным, и она любила его цитировать. [*Ей и вправду казалось, будто прием посетителей задуман и производится исключительно ей назло, ради несоблюдения чистоты в доме. А для чего бы еще он был нужен? Либо чиновники и так все знают заранее, тогда зачем прием посетителей? Либо чиновники знают не все, но и тогда какой им прок от вранья посетителей?*] Теперь она стремилась добиться — причем как раз это ее желание с чаяниями посетителей вполне совпадало, — чтобы напротив «Господского подворья» построили для ожидающих приема отдельное здание. Кстати, больше всего ей было по душе, если бы там же, напротив, происходили и сам прием, и допросы посетителей, но тут воспротивились чиновники, а уж если чиновники возражают всерьез, то против них трактирщица, конечно, ничего поделать не могла, хотя по мелочам, одной только неустанностью своего истового, пусть с виду и по-женски кроткого, с приторной улыбкой хозяйского рвения, допекала их изрядно. Словом, судя по всему, ей и в будущем предстояло терпеть у себя в гостинице и прием, и допросы посетителей, ибо господа из Замка, попадая в деревню, вообще отказывались покидать

постоялый двор по служебным надобностям. Они вечно спешили, в деревню приезжали крайне неохотно и ни малейшего желания продлевать свое пребывание там хоть на минуту дольше необходимого у них не было, так что требовать от них — пусть ради сохранения покоя и уюта в их же интересах, — чтобы они теряли драгоценное время, переходя со всеми своими бумагами через дорогу в какой-то другой дом, было никак не возможно. Они предпочитали справлять служебные дела в буфетной или у себя в номерах, по возможности за едой, а то и в кровати, перед сном или утром, когда нет сил подниматься и за делами можно еще немного понежиться в постели. Зато вопрос о постройке приемной для ожидания, похоже, близился к благоприятному разрешению; правда, чувствительным наказанием для хозяйки, став заодно поводом для многих шуток, оказалось то, что именно этот вопрос требовал все более частых встреч и обсуждений, в связи с чем коридоры постоялого двора теперь не пустовали почти никогда.

Обо всех этих и иных вещах и шли среди ожидающих негромкие, вполголоса разговоры. К. отметил про себя, что, хотя поводов для проявления недовольства нашлось много, никто ни

словом не возражал против того, что Эрлангер вызывает посетителей на прием среди ночи. Он поинтересовался, почему так, и услышал в ответ, что Эрлангера за это только благодарить надо. Исключительно его добрая воля да еще в высшей степени ответственное отношение к службе побуждают его наведываться в деревню, если бы захотел, мог бы — а предписаниям, пожалуй, это даже больше соответствовало — послать вместо себя какого-нибудь секретаришку, чтобы тот снимал показания под протокол. Но Эрлангер именно что в большинстве случаев так не поступает, он хочет все видеть и слышать сам, вынужден ради этого жертвовать своим ночным отдыхом, потому что в его рабочем расписании времени на поездки в деревню не предусмотрено. К. на это возразил, дескать, даже сам Кламм в деревню днем приезжает и иногда по нескольку суток здесь проводит, неужто Эрлангер, который ведь всего-навсего секретарь Кламма, там, наверху, более необходим? Некоторые на это добродушно рассмеялись, остальные смущенно промолчали, причем последних было явно больше, а толком так никто К. и не ответил. Лишь чей-то голос нерешительно произнес, что без Кламма, конечно, нигде не обойтись, ни в Замке, ни в деревне.

Тут отворилась дверь парадного, и в сопровождении двух слуг с фонарями на крыльцо вышел Момус.

— Первыми, кто допущен к господину секретарю Эрлангеру, — объявил он, — будут Герштекер и К. Оба здесь?

И К. и Герштекер тотчас откликнулись, но прежде них к двери метнулся Иеремия, вякнул: «Я здесь коридорный» — и, после того как Момус с улыбкой хлопнул его по плечу, шмыгнул в дом. «Надо бы получше за этим Иеремией смотреть», — сказал себе К., в глубине души сознавая, что Иеремия-то, вероятно, куда менее опасен, чем Артур, который сейчас где-то в Замке роет против него подкоп. Быть может, куда умнее было продолжать терпеть от помощников мучения, нежели отпускать их вот так беспрепятственно сновать где попало и свободно плести интриги, к чему у обоих, похоже, имеется большая склонность.

Когда К. проходил мимо Момуса, тот вдруг сделал вид, будто лишь сейчас его увидел и признал в нем землемера.

— А, господин землемер! — проговорил он. — Так не любит допросов и так рвется на допрос. Со мной тогда все было бы гораздо проще. Хо-

тя, конечно, правильный допрос тоже выбрать нелегко. — А когда К. в ответ на эти речи остановился, Момус его поторопил: — Да идите же, идите! Ответы ваши мне тогда были нужны, не сейчас.

Тем не менее К., разозленный подначками Момуса, не удержался:

— Все вы только о себе и думаете! Оттого только, что вы при должностях, я вам отвечать не обязан, ни тогда, ни сейчас.

Однако и Момус в долгу не остался:

— А о ком нам прикажете думать? Разве кроме нас тут еще кто-то есть? Проходите!

В прихожей их встретил слуга и повел уже знакомым К. путем через двор, потом под арку в низкий, слегка под уклон уползающий вглубь коридор. Видимо, в верхних этажах обитали чиновники рангом повыше, секретарей же селили здесь, в том числе и Эрлангера, хоть он и был из старших. Слуга погасил фонарь: в коридоре горело электричество. Все вокруг было какое-то маленькое, хотя устроено и не без изящества. Здесь стремились использовать каждую пядь пространства. Коридор был такой высоты, чтобы только-только пройти не сгибаясь. По сторонам чуть ли не вплотную друг к дружке лепились

двери. Вместо стен — не доходящие до потолка перегородки, вероятно, это обеспечивало приток воздуха, ибо комнатушки вдоль глубокого подвального коридора были, видимо, без окон вовсе. Неприятным следствием таких не до конца смыкающихся с потолком перегородок был постоянный шум в коридоре и, надо полагать, в комнатах тоже. Судя по всему, многие номера были заняты, большинство постояльцев еще не спали, оттуда доносились голоса, стук молотков, перезвон стаканов. Особого веселья, впрочем, не ощущалось. Голоса звучали приглушенно, лишь изредка удавалось разобрать слово-другое, но не похоже, чтобы там беседовали, скорее что-то диктовали или зачитывали вслух, причем как раз из тех комнат, где позвякивали тарелки и стаканы, не доносилось вообще ни слова, а перестук молотков напомнил К. о слышанных от кого-то рассказах, будто иные чиновники, отдыхая от непосильного и непрестанного умственного труда, на досуге любят иногда помастерить — столярничают, точной механикой занимаются или еще чем-нибудь в том же духе. В самом коридоре было пусто, лишь возле одной из дверей сидел бледный, худой и длинный господин в шубе, из-под которой выглядывало исподнее, вероятно,

ему в комнате стало душно, вот он и устроился в коридоре почитать газету, но читал не слишком внимательно, то и дело зевал, отвлекался и, подавшись вперед, кого-то в коридоре высматривал, должно быть, дожидался посетителя, которому было назначено и который все не шел. Когда они проходили мимо, слуга, имея в виду господина, шепнул Герштекеру:

— Сам Пинцгауэр!

Герштекер кивнул.

— Давненько он тут, внизу, не бывал, — заметил он.

— Да, очень давно, — подтвердил слуга.

В конце концов они оказались перед дверью, ничем от других не отличавшейся, и тем не менее, как уведомил слуга, именно за ней находился Эрлангер. Слуга велел К. присесть, влез к нему на плечи и в просвет над перегородкой заглянул в комнату.

— Лежит, — сообщил он, слезая. — На кровати лежит, правда, одетый, но, кажется, задремал. Здесь, в деревне, от перемены обстановки его иногда усталость прямо подкашивает. Придется обождать. Как проснется, сам позвонит. Бывало, впрочем, что он, как в деревню приедет, все время вот этак проспит, а как проснется, ему сразу

обратно в Замок пора. Ведь он добровольно сюда работать приезжает.

— Теперь пусть бы уж лучше до самого отъезда проспал, — вздохнул Герштекер, — а то когда просыпается и видит, что времени для работы мало осталось, он совсем не в духе, злится, что столько проспал, спешит все поскорей провернуть, с ним тогда и не поговоришь толком.

— Вы насчет подрядов на перевозки для стройки? — спросил слуга.

Герштекер кивнул и, отведя слугу в сторонку, что-то стал тому нашептывать, но слуга почти не слушал, рассеянно глядя куда-то вдаль поверх Герштекера, которого он больше чем на голову превосходил ростом, и бережно, серьезно приглаживал волосы.

22

И тут, бесцельно озираясь, К. вдали, на самом повороте коридора, завидел Фриду; та сделала вид, будто его не узнает, но так и замерла, не сводя с него пустых глаз, — в руках у нее был поднос с посудой. К. бросил слуге, который, впрочем, и ухом не повел — казалось, чем чаще к нему обращаются, тем больше он впадает в прострацию, — что сейчас вернется, и кинулся к Фриде. Подбежав к ней, он взял ее за плечи, словно вновь завладевая тем, что принадлежит ему по праву, и, лишь для вида о чем-то расспрашивая, пытался поглубже заглянуть в глаза. Она, однако, оставалась все такая же каменная и чужая, лишь механически переставляла на подносе пустую посуду, потом сказала:

— Что тебе от меня надо? Иди к своим, ну, сам знаешь к кому, ты же прямо от них, по тебе сразу видать.

К. попытался как-то ее отвлечь, слишком внезапным выдался этот разговор, и начинать его с самого худшего, с самого для себя невыгодного не хотелось.

— Я думал, ты в буфетной, — сказал он.

Фрида глянула с удивлением, а потом свободной рукой вдруг ласково провела по его виску и щеке. Казалось, она забыла, как он выглядит, и теперь этим вот движением силится припомнить, да и глаза ее затуманились дымкой воспоминаний.

— Меня в буфетную обратно и взяли, — медленно ответила она, словно слова неважны, словно помимо слов она ведет с К. еще какой-то разговор, вот он-то и есть самый главный. — А тут вообще не для меня работа, такую работу любая делать сможет; всякая, кто постель заправлять умеет да улыбаться поприветливей, кто приставаний постояльцев не боится, а наоборот, еще и подбивает, — из таких всякая горничной может стать. А в буфетной совсем другое дело. Меня и приняли сразу в буфетную, хоть и нельзя сказать, чтобы я с почетом оттуда ушла; правда, за меня нашлось кому словечко замолвить. Но хозяин счастлив, что у меня протекция нашлась, так ему гораздо легче снова взять меня на работу. Получилось, что меня даже уговаривали на прежнее место вернуться, и ты, если сам не забыл, о чем мне буфетная напоминает, сразу поймешь почему. Словом, в конце концов я все-таки должность свою приняла. А здесь только временно помогаю.

Пепи меня упросила не позорить ее, чтобы ей не тотчас из буфетной выметаться, вот мы и дали ей, раз она так прилежно трудилась и что в ее силах делала, двадцать четыре часа сроку.

— Все это, конечно, замечательно устроилось, — сказал К.{24} — Только из буфетной ты ведь ради меня ушла, а сейчас, перед самой свадьбой, опять сюда возвращаешься?

— Не будет никакой свадьбы, — проронила Фрида.

— Уж не из-за того ли, что я тебе изменил? — спросил К.

Фрида кивнула.

— Видишь ли, Фрида, — начал К., — по поводу этой моей якобы измены мы столько раз с тобой говорили, и всякий раз ты в конце концов вынуждена была признать несправедливость подобных подозрений. Но ведь с тех пор с моей стороны ровным счетом ничего не изменилось, все по-прежнему совершенно безобидно, как и было, как иначе и быть не может. Значит, изменилось что-то с твоей стороны, благодаря чужим

{24} Варианты: 2.24

— Все это, конечно, замечательно устроилось, — сказал К. — [*Вот только я во всех этих соображениях начисто отсутствую. Моя жена мне рассказывает, как она свою жизнь устроила, а я в ее рассказе даже не упоминаюсь.*] Только из буфетной ты ведь ради меня ушла, а сейчас, перед самой свадьбой, опять сюда возвращаешься?

нашептываниям или чему-то еще. По отношению ко мне это в любом случае несправедливо, сама посуди, ну что такого между мной и двумя этими девицами? Одна из них, та, что брюнетка, — мне даже неловко вот этак, за каждую по отдельности, перед тобой оправдываться, но ты сама меня вынуждаешь, — так вот, брюнетка мне самому, пожалуй, не менее неприятна, чем тебе; я и так стараюсь держаться от нее подальше, в чем она, надо признать, идет мне навстречу, ибо невозможно вести себя сдержаннее, чем она.

— Да? — выкрикнула Фрида, и казалось, слова рвутся у нее из груди против воли. К. был рад, что удалось наконец вывести ее из себя и она перестала прикидываться. — Это ее ты называешь «сдержанной», самую бесстыжую из всех сдержанной называешь, и ведь ты даже честно все это говоришь, сколь бы неправдоподобно оно ни звучало, ты даже не притворяешься! Не зря матушка трактирщица мне про тебя сказала: «Терпеть его не могу, но и бросить тоже не могу, все равно как младенца годовалого, который ходить толком не научился, а уже куда-то топочет, ну как тут удержаться, как не подхватить!»

— Вот и последуй на сей раз ее совету, — молвил К. с улыбкой, — только ту девушку, неважно,

какая она, сдержанная или бесстыжая, давай забудем, я знать ее не хочу.

— Но почему ты считаешь ее сдержанной? — не унималась Фрида, и К. посчитал ее упорство добрым для себя знаком. — Ты что, сам проверял или других за ее счет хочешь унизить?

— Ни то ни другое, — отвечал К., — я из признательности ее так называю, ведь благодаря этому ее свойству мне легче ее не замечать, а еще, если бы она чаще со мной заговаривала, я не смог бы себя пересилить и ходить туда, что было бы для меня большим упущением, мне ведь нужно туда ходить ради нашего совместного будущего, ты сама знаешь. И по той же причине мне приходится с другой девушкой разговаривать, которую я хотя и ценю за ее усердие, осмотрительность и самоотверженность, однако соблазнительной ее никак не назовешь.

— Слуги на этот счет другого мнения, — ехидно вставила Фрида.

— И не только на этот, — возразил К. — Выходит, услады слуг для тебя доказательство моей неверности?

Фрида промолчала и даже не стала противиться, когда К. взял у нее из рук поднос, поставил на пол и, подхватив ее под руку, принялся неспешно

прогуливаться вместе с ней взад-вперед по узенькому коридору.

— Ты не знаешь, что такое верность, — сказала она, слегка отстранясь от него. — Как бы ты к девицам этим ни относился, это не самое главное, но что ты вообще в этом семействе бываешь и потом возвращаешься, приносишь запахи их дома в своей одежде — одно это для меня уже нестерпимый позор. А ты уходишь к ним, ни слова не сказав. Да еще полночи у них остаешься. И когда за тобой приходят, заставляешь этих девиц врать, будто тебя нет, да еще как яростно врать, особенно эту твою хваленую скромницу. Тайком, задами крадешься из их дома, может даже, чтобы их доброе имя спасти — у этих-то девок доброе имя! Нет, больше и говорить об этом не хочу!

— Об этом и не надо, — сказал К. — А вот кое о чем другом, Фрида, обязательно надо. Об этом что говорить? Зачем мне нужно туда ходить, ты и без меня знаешь. Мне это нелегко, но я себя пересиливаю. И напрасно ты затрудняешь мне это дело еще больше. Сегодня я собирался забежать туда лишь на минуточку, узнать, вернулся ли наконец Варнава, он давно должен принести мне важное известие. Он не вернулся, но, как меня уверили и как оно и должно было случиться на самом деле,

вот-вот должен вернуться. Передавать ему, чтобы он пришел ко мне в школу, я не стал, чтобы не обременять тебя его присутствием. Время шло час за часом, а его, к сожалению, все не было. Зато появился кое-кто другой, особенно мне ненавистный. Позволять ему шпионить за мной у меня не было ни малейшей охоты, вот я и прошел через соседский сад, но прятаться от него я не собирался, поэтому, как на улицу вышел, сразу же не таясь к нему направился прямиком и, не стану скрывать, с очень гибкой ивовой розгой в руках. Вот и все, об этом больше и говорить нечего, зато кое о чем другом очень даже можно. Как оно обстоит между тобой и помощниками, упоминать о которых мне почти столь же противно, как тебе о том семействе? Сравни свои отношения с ними и мои отношения с той семьей. Твое отвращение к этой семье я понимаю и в чем-то могу разделить. Только ради дела я к ним хожу, мне прямо-таки почти неловко перед ними, все кажется, будто нехорошо с ними поступаю, использую их. А вот ты и помощники — совсем другое дело. Ты сама призналась, они к тебе пристают, и даже не оспаривала, что тебя к ним тянет. Но я не стал на тебя сердиться, я понял, тут в игре такие силы, с которыми тебе не совладать, счастлив был, что

ты хотя бы сопротивляешься, помогал тебе защищаться, и только из-за того, что я на несколько часов эту свою помощь ослабил, положившись на твою верность, ну и на прочность замков понадеявшись, ведь дом заперт был, а еще на то, что помощники мною окончательно изгнаны — боюсь, я все еще их недооцениваю, — только из-за того, что я тут малость сплоховал и этот Иеремия, при ближайшем рассмотрении даже не вполне здоровый, какой-то старообразный малый, набрался нахальства подойти к окну, — только из-за этого, Фрида, я теперь тебя теряю и вместо приветствия слышу от тебя: «Не будет никакой свадьбы». По-моему, это я вправе осыпать тебя упреками, но я этого не делаю, все еще не делаю.

Тут К. опять показалось, что неплохо Фриду слегка отвлечь, и он попросил ее принести чего-нибудь перекусить, он с обеда ничего не ел. Фрида, просьбой явно обрадованная, с готовностью кивнула и побежала за едой, но не дальше по коридору, где, как предполагал К., должна находиться кухня, а куда-то вбок, вниз по ступенькам. Вскоре она вернулась, неся тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, впрочем, скорее это были остатки чьего-то ужина, просто ломтики наспех разложили наново, но даже кол-

басные шкурки забыли убрать, да и бутылка на три четверти была опорожнена. К., однако, ничего по этому поводу не заметил и за еду принялся с видимым удовольствием.

— Ты на кухне была? — спросил он.

— Нет, у себя в комнате, — ответила она. — У меня комната тут, внизу.

— Что ж меня не позвала, — укорил ее К. — Дайка я к тебе зайду да сидя поем.

— Я тебе стул вынесу, — выпалила Фрида и кинулась было вниз.

— Благодарю, — сказал К., удерживая ее. — Никуда я не пойду, и стул мне уже не нужен.

Низко потупив голову и кусая губы, Фрида упрямо силилась высвободиться из-под его руки.

— Ну да, да, он там, у меня, — сказала она. — А чего ты ждал? Он лежит в моей постели, на улице простыл, его знобит, он не ел почти ничего. В сущности, это все по твоей вине: не прогнал бы ты помощников, не бегал бы к тем людям, мы и сейчас бы тихо-мирно в школе сидели. Только ты, ты один наше счастье порушил. Думаешь, посмел бы Иеремия, покуда он на службе, меня умыкнуть? Ты напрочь наших порядков не понимаешь, если так думаешь. Да, он хотел ко мне, мучился, подстерегал меня повсюду, но это

только игра была, как голодный пес — играть играет, а на стол прыгнуть не смеет. И я точно так же. Меня к нему тянуло, мы с детства знакомы, вместе на склоне замковой горы играли, золотое было времечко, ты ведь о прошлом никогда меня не спрашивал, — только все равно это не главное, покуда Иеремия при исполнении находился, я, твоя будущая жена, свой долг знала и блюла. Но потом ты помощников выгнал, да еще и бахвалился этим, будто невесть что для меня совершил, ну, в каком-то смысле так оно и вышло. С Артуром твой план удался, правда только на время, Артур — он уж больно нежный, нет в нем настоящей страсти, такой, чтобы все преграды сметать, как у Иеремии, вдобавок ты его тогда ночью кулачищем чуть не убил, — ты и счастье наше этим ударом почти разрушил, — вот он и сбежал в Замок жаловаться, хотя и вернется скоро, но пока его тут нет. А Иеремия остался. На службе-то он тише воды ниже травы, прищура хозяйского боится, зато вне службы его ничем не застращать. Вот он и пришел и взял меня. А я, тобою покинутая, когда он, мой старый друг, ко мне вломился, не смогла устоять. И не отпирала я ему дверей, он сам окно выбил и меня вытащил. Мы примчались сюда, хозяин его уважает, да

и для постояльцев где еще такого коридорного сыскать, вот нас и приняли, и это не он у меня живет, а просто комната у нас общая.

— Несмотря ни на что, — сказал К, — я не жалею, что прогнал помощников. Если отношения наши были такими, как ты их описываешь, если твоя верность только от служебной подчиненности помощников зависела, тогда и к лучшему, что все кончено. Хорошо, нечего сказать, супружеское счастье: под приглядом двух хищников, которых то и дело кнутом усмирять приходится. Тогда, выходит, мне ту семью благодарить надо: хоть и без умысла, но они тоже свою лепту внесли, чтобы нас разлучить.

Оба умолкли и снова принялись расхаживать взад-вперед по коридору, даже не заметив, кто первым начал. Фрида, идя рядом с К., похоже, слегка злилась, что тот не берет ее снова под руку.

— Так что все, можно считать, в полном порядке, — продолжал К., — и мы можем распроститься, ты пойдешь к своему господину Иеремии, который, должно быть, еще с тех пор простужен, когда я на мороз его выставил, и которого ты, принимая во внимание его хвори, и так слишком долго оставляешь в одиночестве, а я в одиночестве отправлюсь к себе в школу или, поскольку

без тебя мне там делать совершенно нечего, еще куда-нибудь, где меня приютят. И если я пока мешкаю, то лишь потому, что имею весомые причины слегка сомневаться во всем, что ты мне наговорила. Насчет Иеремии у меня впечатление прямо противоположное. Пока он был у нас на службе, он от тебя не отставал, и не думаю, чтобы служба помешала ему рано или поздно всерьез на тебя покуситься. Зато теперь, когда он считает, что служба его кончилась, все иначе. Извини, если я для себя вот как это объясню: ты, с тех пор как перестала быть невестой его господина, для него уже не такой лакомый кусочек, как прежде. Пусть ты и подружка его детских лет, однако подобным сантиментам — сужу об этом по коротенькому разговору между нами сегодня ночью — он особого значения не придает. Не знаю, почему он представляется тебе такой страстной натурой. На мой взгляд, образ мыслей у него очень даже хладнокровный. В отношении меня он получил некое, по-моему, не слишком благоприятное для меня задание от Галатера, его-то и старается выполнить, с определенным, признаю, служебным рвением, — но это, кстати, не такая здесь редкость; в задание это входил и приказ разрушить наши с тобой отношения, что он и пы-

тался сделать самыми разными способами, один из которых состоял в том, чтобы соблазнить тебя своими похотливыми поползновениями, другой, и тут его поддержала трактирщица, заключался в россказнях про мою измену; покушение на тебя ему удалось, возможно, тут сыграло свою роль смутное воспоминание о Кламме, которое у тебя с ним связано, место он, правда, потерял, но, возможно, потерял как раз тогда, когда оно ему не особенно и нужно, он пожинает плоды своих трудов, вытаскивает тебя из окна, но на том работа его и окончена, служебное рвение иссякло, и он, внезапно притомившись, охотнее всего поменялся бы сейчас местами с Артуром, который отнюдь не жалобу подает, а вкушает похвалы и получает новые задания, однако кто-то ведь и здесь должен остаться, за дальнейшим ходом событий проследить. А о тебе заботиться — для него теперь всего лишь докучная повинность. Любви тут и в помине нет, он мне сам откровенно признался, конечно, как возлюбленная Кламма ты для него весьма уважаемая особа, угнездиться в твоей комнате и хоть ненадолго почувствовать себя этаким маленьким Кламмом ему наверняка очень лестно, но это и все, ты сама сейчас ровным счетом ничего для него не значишь, и то,

что он тебя здесь снова пристроил, — всего лишь довесок к его основному заданию. А чтобы ты не почуяла неладное, он и сам тут остался, но только на время, пока новых указаний из Замка не получит, а заодно и простуду свою под твоим присмотром не подлечит.

— Как же ты на него клевещешь! — воскликнула Фрида и даже своими маленькими кулачками друг о дружку пристукнула.

— Клевещу? — переспросил К. — Да нет, у меня и в мыслях нет на него клеветать. Вероятно, я к нему несправедлив, что ж, вполне возможно. Хотя говорил я о нем совсем не такие очевидные вещи и толковать их можно по всякому. Но клеветать? Клеветать имело бы для меня только один резон — клеветой побороть твою любовь к нему. Будь в этом нужда и будь клевета подходящее средство для подобной цели, я оклеветал бы его без колебаний. И никто бы меня за это не осудил, ведь он благодаря поддержке своих хозяев имеет такое передо мной преимущество, что мне, кому лишь на свои силы рассчитывать приходится, и поклеветать малость не грех. Это сравнительно безобидное, а в конечном счете и бесполезное средство защиты. Так что побереги свои кулачки. — И К. взял Фриду за руку, кото-

рую та попыталась было отнять, но с улыбкой и не слишком уверенно. — Но у меня нет нужды клеветать, — продолжал К., — ведь ты его не любишь, тебе только кажется, и ты мне еще спасибо скажешь, что я тебя от этого наваждения избавил. Видишь ли, если бы кто-то надумал тебя у меня отбить, не силой, а расчетом и хитростью, то лучше, чем через помощников, это и нельзя было осуществить. С виду такие славные, такие ребячливые, веселые, такие беззаботные парни, которых сверху, из самого Замка, как ветром принесло, а заодно вместе с ними и чуток детских воспоминаний, просто диво какая прелесть, особенно когда рядом я, полная всему этому противоположность, вечно бегающий по каким-то своим не вполне понятным тебе делам, которые тебя раздражают, а меня сводят с ненавистными тебе людьми, и что-то от этих людей, хочу я того или нет, на меня перекидывается. Но все это — только злостное, хотя и весьма хитроумное использование изъянов в наших с тобой отношениях. Изъяны в любых отношениях найдутся, а в наших с тобой и подавно, мы же пришли из очень разных миров, и с тех пор, как мы вместе, жизнь каждого из нас пошла совсем новым, неизведанным путем, поэтому мы так

не уверены в себе, все для нас слишком ново. Я не о себе говорю, я тут сбоку припека, меня, по сути, с тех пор как ты впервые задержала на мне свой взгляд, только одаривают, а привыкнуть принимать дары не так уж трудно. Зато тебя, не говоря обо всем прочем, оторвали от Кламма, в полной мере понять, что это значит, я не умею, ко некое смутное представление у меня мало-помалу начинает брезжить, ты едва на ногах стоишь, ты себя не помнишь, и пусть я всегда готов был тебя подхватить и поддержать, я, увы, не всегда был рядом, и, даже когда был рядом, мечтания не отпускали тебя ко мне, а иной раз и кое-кто поживее всяких мечтаний, например трактирщица, — короче, бывали времена, когда ты от меня отворачивалась, томясь по чему-то наполовину невнятному, бедная девочка, и в такие минуты достаточно было расставить по направлению твоего взгляда подходящих людей — и все, ты покорялась им, ты подпадала под власть наваждения, будто эти мгновенные видения прошлого, призраки, былые воспоминания, эта, в сущности, ушедшая, все более безвозвратно уходящая былая жизнь — на самом деле твоя нынешняя, взаправдашняя явь. Это заблуждение, Фрида, последняя и, строго говоря, жалкая,

ничтожная препона на пути к окончательному соединению наших судеб. Так очнись, возьми себя в руки; даже если ты думала, что помощники присланы Кламмом — это неправда, их направил Галатер, — и даже если вследствие этого заблуждения они тебя так околдовали, что в их грязи, в их непотребстве тебе следы Кламма мерещатся, как иной раз мерещится в навозной куче потерянный некогда бриллиант, хотя, даже и будь он там, его в этой куче ни в жизнь не отыскать, — это всего-навсего обыкновенные парни, вроде слуг на конюшне, только здоровьем не такие крепкие, свежего воздуха глотнут и сразу больны, сразу в постель валятся, впрочем, постель они себе умеют подыскать с лакейской разборчивостью.

Фрида склонила голову ему на плечо, и они молча прошлись по коридору в обнимку.

— Если бы нам, — проговорила Фрида медленно, спокойно, почти нараспев, словно зная, что сейчас, пока голова ее на плече у К., ей еще отмерены короткие минуты покоя, и уж ими-то она хочет насладиться сполна, — если бы нам сразу, в ту самую ночь, насовсем уехать, уж где-то нашлось бы для нас безопасное местечко, и мы бы всегда были вместе, и твоя рука была бы всегда рядом, чтобы мне схватиться; как нужна мне

твоя близость, насколько, с тех пор как я узнала тебя, мне без твоей близости одиноко; поверь, твоя близость — это единственное, о чем я грежу, других грез, других мечтаний у меня нету.

Тут из бокового прохода раздался чей-то голос, это был Иеремия, он стоял на нижней ступеньке в одной рубашке, но запахнувшись в платок Фриды. Он стоял там, внизу, — волосы растрепаны, жидкая бородка, как после дождя, вся мокрая, с трудом разлепленные глазенки таращатся с мольбой и укором, смуглые щеки прихвачены румянцем, но дрябло заплыли, голые ноги трясутся от холода так, что длинная бахрома платка зыбко вторит этой дрожи, — ни дать ни взять сбежавший из госпиталя больной, при виде которого первое и единственное побуждение — немедленно уложить доходягу в постель. Фрида так к этому и отнеслась: отстранившись от К., она мигом оказалась внизу. Ее близость, заботливость, с какой она поплотнее закутала на нем платок, поспешность, с какой она тотчас стала теснить его обратно в комнату, похоже, придали больному сил, казалось, только теперь он разглядел К. и узнал его.

— А-а, господин землемер, — протянул он и, задабривая Фриду, которой явно не по душе бы-

ло продолжение этого разговора, погладил ее по щеке. — Извините, коли помешал. Но мне что-то совсем нездоровится, это ведь простительно. По-моему, у меня жар, мне бы чая выпить да пропотеть хорошенько. Проклятая ограда в школьном саду, вовек ее не забуду, да и сегодня, уже простуженному, всю ночь бегать пришлось. Вот так, ненароком, и жертвуешь здоровьем, причем ради вещей, которые вовсе того не стоят. Но вы, господин землемер, моим присутствием ради бога не смущайтесь, заходите в комнату к нам, проведайте больного, а заодно и Фриде все скажете, что досказать не успели. Когда двое, только-только успев друг к дружке привыкнуть, вдруг расходятся, им, ясное дело, в последнюю минуту столько всего друг другу сказать нужно, что третьему, особенно ежели он в постели лежит и обещанного чая ждет, ни в жизнь этого не понять. Да вы заходите, заходите, я тихо полежу.

— Ну хватит, хватит, — приговаривала Фрида, таща его за руку. — Он в жару весь, сам не знает, что говорит. Но ты, К., не вздумай к нам заходить, прошу тебя. Это комната моя и Иеремии, а вернее, только моя, и я запрещаю тебе в нее заходить. Ты преследуешь меня, ах, К., ну зачем ты меня преследуешь? Никогда, никогда я к тебе не вернусь,

меня дрожь пробирает при одной мысли об этом. Иди к своим девкам, они там, сказывали мне, в одних рубашках возле печки к тебе тулятся, а когда за тобой приходят, на людей кидаются. Должно быть, там и есть твой дом, коли тебя так туда тянет. Я, как могла, все время тебя удерживала, без особого, правда, успеха, а все-таки удерживала, но теперь этому конец, ты свободен. Дивная жизнь тебя там ждет, из-за одной тебе, наверно, со слугами иной раз подраться придется, ну а что до второй, то тут ни на небе, ни на земле никого не сыщется, кто у тебя ее оспаривать захочет. Так что благословляю ваш союз заранее. Только не возражай ничего, я знаю, ты все можешь опровергнуть и по-своему повернуть, но в конце концов ничего не опровергнуто, все по-прежнему остается. Представляешь, Иеремия, он опять все опроверг и по-своему повернул! — Фрида и Иеремия понимающе переглянулись и с улыбкой закивали. — Однако, — продолжала Фрида, — допустим даже, он сумел бы все опровергнуть, что бы это дало и какое мне до этого дело? Что там у них творится, это только их касается, их и его. А мое дело за тобой ухаживать, пока ты снова не выздоровеешь и не станешь таким же молодцом, каким был, пока этот К. тебя из-за меня мучить

не начал.

— Так вы правда не зайдете, господин землемер? — снова спросил Иеремия, но Фрида, не оглянувшись на К., уже решительно уводила его в комнату. Там, внизу, видна была маленькая дверца, еще ниже, чем двери здесь, в коридоре, так что не только Иеремии, но и Фриде при входе пришлось нагнуться, хотя внутри, похоже, было светло и тепло, какое-то время оттуда еще доносился шепот, вероятно, это Фрида ласково уговаривала Иеремию лечь в постель, потом дверцу прикрыли.

23

Лишь теперь К. заметил, как тихо стало в коридоре, не только здесь, в той его части, где он с Фридой беседовал и где, похоже, находились хозяйственные службы, но и по всей протяженности, где прежде в комнатах царило такое оживление. Выходит, господа наконец-то изволили уснуть. Сам К. тоже очень устал, может, только из-за усталости и Иеремии не сумел надлежащий отпор дать. Может, умнее было как раз на Иеремию равняться, который свою простуду донельзя преувеличивал, — хотя жалкий вид у него вовсе не от простуды, а от рождения, такой вид никаким чаем, никаким отваром не поправишь, — вот и надо было на Иеремию равняться, свою и впрямь нечеловеческую усталость не скрывать, а наоборот, напоказ выставить, прямо здесь, в коридоре, на пол осесть, что само по себе было бы благом, даже вздремнуть слегка, — глядишь, и за ним бы тогда чуток поухаживали. Впрочем, сомнительно, чтобы у него это так удачно вышло, как у Иеремии, который в борьбе за жалость и сострадание наверняка и, должно быть, по праву взял бы верх — как, впрочем, и во всякой другой

борьбе, пожалуй. К. до того устал, что подумывал, не зайти ли наудачу в одну из комнат, среди которых наверняка иные пустуют, и не выспаться ли там всласть на пухлой гостиничной кровати. Этим, подумалось ему, он вознаградил бы себя за многое. Вон и питье на сладкий сон приготовлено. На подносе, который Фрида оставила на полу, стоял графинчик с ромом. Не убоявшись трудностей обратного пути, К. взял да и осушил посудину.

Теперь, по крайней мере, он ощутил в себе достаточно сил, чтобы предстать перед Эрлангером. Он поискал глазами комнату Эрлангера, но, поскольку ни слуги, ни Герштекера не было видно, а все двери походили одна на другую, как близнецы, поиски успехом не увенчались. Однако ему казалось, он запомнил, в каком примерно месте коридора находится нужная дверь, и решил, что ее-то и откроет. Особыми опасностями такая попытка все равно не грозит: если это и вправду комната Эрлангера, тот его, надо надеяться, примет, если же чья-то другая, наверно, не будет большой беды просто извиниться и выйти, если же постоялец спит, что, кстати, наиболее вероятно, то он и вовсе не заметит визита. Хуже всего, если комната пустой окажется, вот тогда К.

вряд ли устоит перед соблазном завалиться в кровать и уснуть как убитый. Он еще раз оглянулся в обе стороны коридора, не идет ли кто, у кого можно справиться, дабы уберечь себя от ненужного риска, но в длинном коридоре было тихо и пусто. Тогда К. припал к двери и прислушался, но и оттуда не доносилось ни звука. Он постучал — тихо-тихо, чтобы не разбудить спящего, а когда и на стук никто не отозвался, бесшумно, с предельной осторожностью отворил дверь. Вот тут-то его и встретил легкий вскрик.{25} Комната оказалась маленькая и больше чем наполовину была занята широченной кроватью, на ночном столике горела электрическая лампа, рядом с ней стоял саквояж. В кровати, глубоко зарывшись под одеялом, кто-то беспокойно заерзал, потом,

---

{25} Варианты: 2.25

Вот тут-то его и встретил легкий вскрик.

[*Вчера К. рассказал нам историю, которая приключилась с ним у Бюргеля. До чего же чудно, что именно Бюргель ему подвернулся. Вы же знаете, Бюргель — это секретарь замкового чиновника Фридриха, а планида Фридриха в последние годы изрядно померкла. Почему так вышло, это особая статья, кое-что, впрочем, я мог бы порассказать и об этом. Как бы там ни было, а дела у Фридриха сегодня, с какой стороны на них ни взгляни, едва ли не самые неважнецкие, и что это означает для Бюргеля, который у Фридриха даже не первый секретарь, каждый, полагаю, способен уразуметь и сам. Каждый, но только не К. Казалось бы, он уже довольно давно у нас в деревне живет, но по-прежнему такой же чужак, как если бы только вчера вечером в наших краях объявился, и по-прежнему в любых трех соснах способен заплутаться. А ведь при этом как старается все подмечать, ничего*

не упустить и за своим интересом гонится, как борзая, но, видно, ему просто не дано у нас тут прижиться. Я, к примеру, сегодня ему про Бюргеля рассказываю, он слушает жадно, каждое слово ловит, ведь его хлебом не корми, только дай про чиновников из Замка послушать, и вопросы задает дельные, все замечательно схватывает, и не только по видимости, а на самом деле, но хотите верьте, хотите нет, уже на следующий день он ровным счетом ничего не помнит. А вернее сказать, помнить-то он помнит, он вообще если уж что раз услышал, то больше не забудет, но всего, что помнит, он не в силах переварить, эти сонмы чиновничества сбивают его с толку, и хотя ничего из того, что когда-либо слышал, он не забывает, а слышал он много, ибо не упускает ни единой возможности пополнить свои знания и теоретически в делах чиновничества разбирается, быть может, получше нас, тут он большой молодец, но когда приходит время эти знания применить, они у него вроде как перемешиваются, словно в калейдоскопе, и вот этак крутятся без остановки, — его же знания его же и морочат. Вероятно, в конечном счете все-таки все это оттого, что он не здешний. Поэтому и в своем деле никак продвинуться не может. Вы же знаете, он уверяет, что наш граф вызвал его сюда землемером, история это донельзя путаная, а в подробностях так и вовсе невероятная, я сейчас даже касаться ее не хочу.

Короче, его вызвали сюда землемером, и он хочет тут землемером работать. О поистине неимоверных усилиях, которые он из-за такой ерунды, вдобавок без всякого успеха, предпринял, вам, полагаю, хотя бы понаслышке известно. Другой бы на его месте за это время уже десять стран промерить успел, а этот все еще мыкается по деревне от одного секретаря к другому, к чиновникам же и вовсе даже подступиться боится; о том, чтобы попасть наверху на прием в замковые канцелярии, он, вероятно, никогда и мечтать не смел. Он довольствуется секретарями, когда те из Замка в «Господское подворье» наезжают, то у него там дневные допросы, то ночные, словом, он шастает вокруг «Господского подворья», как лиса вокруг курятника, с той только

разницей, что на самом-то деле лисы — это секретари, а он курица. Ну да это я так, к слову, я ведь о Бюргеле собирался рассказать.

Так вот, вчера ночью К. по своему вопросу снова был вызван в «Господское подворье» к секретарю Эрлангеру, с которым он главным образом и имеет дело. Он подобным вызовам всегда радуется как ребенок, все предыдущие разочарования ему нипочем. Вот бы всем нам этак же научиться! Всякий новый вызов укрепляет в нем не былые разочарования, а только былые надежды. Так вот, окрыленный очередным вызовом, он спешит в «Господское подворье». Впрочем, сам он при этом пребывает отнюдь не в лучшем своем состоянии, вызова он не ожидал, весь день хлопотал по разным мелочам своего дела в деревне, у него в деревне уже больше связей и знакомств, чем у иных семей, которые живут тут столетиями, и все эти знакомства и связи он завел только ради своей землемерческой оказии и бережет их пуще глаза, потому что они тяжело ему достались и их надо снова и снова поддерживать и завоевывать, нет, это надо видеть, все эти знакомства и связи прямо как змеи, так и норовят у него из рук ускользнуть. Вот он день-деньской ими и занимается. И притом еще исхитряется выкроить время на долгие разговоры со мной или еще с кем-нибудь о совершенно сторонних вещах, но только потому, что ни одна вещь, на его взгляд, не кажется ему касательно его дела достаточно сторонней, а напротив, самым тесным образом с этим делом связана. Вот так он и трудится круглые сутки, и мне еще ни разу в голову не приходило задуматься, когда же он, собственно, спит. А вот сейчас как раз и выпал такой случай, потому что именно сон играет в истории с Бюргелем роль не просто существенную, а даже главную. Дело в том, что, когда он собрался бежать к Эрлангеру в «Господское подворье», он уже был усталый до невозможности, он же вызова этого не ждал и по легкомыслию своими делишками занимался, предыдущую ночь вообще не спал, а две ночи до этого спал всего часа по два, не больше. Поэтому, хотя вызов Эрлангера, который был назначен на двенадцать ночи, его и осчастливил, как всякая подобная

записочка, однако одновременно и встревожил — сможет ли он при такой усталости соответствовать уровню беседы в той же мере, в какой соответствовал обычно. Так вот, приходит он в гостиницу, направляется в коридор, где живут секретари, и в коридоре этом на свою беду встречает знакомую горничную. А надо сказать, что по части баб, но опять же сугубо в интересах своего дела, он большой ходок. Так вот, эта девица имеет что-то ему рассказать про другую девицу, тоже его знакомую, увлекает его в свою каморку, а он за ней следует, потому как до полуночи время еще есть, а у него правило четкое — когда выпадает возможность узнать что-то новое, ни в коем случае таковую не упускать. Только правило это наряду с выгодами иногда, если не сказать очень часто, и большой ущерб приносит, как, к примеру, в этот раз и вышло, ибо когда он, буквально на ходу засыпая, вконец смоpенный рассказами болтливой девицы, от нее выходит и снова с коридоре оказывается, на часах уже четыре. И в голове у него только одно — как бы не пропустить допрос у Эрлангера. Обнаружив в коридоре на забытом в углу посудном подносе графинчик с ромом, он решает слегка, а может, даже и не слегка, из него подкрепиться, после чего доплетается по длинному и обычно весьма оживленному, но в этот час тихому, как кладбищенская аллея, коридору до двери, которую считает дверью в номер Эрлангера, не стучит, дабы Эрлангера, если тот вдруг почивает, не разбудить, а вместо этого сразу же, хотя и с чрезвычайной осторожностью, отворяет дверь. Ну а теперь, в силу своих скромных талантов, я попытаюсь слово в слово воспроизвести вам историю с той же мучительной дотошностью, с какой вчера, пребывая, судя по всему, в крайнем отчаянии, изложил мне ее К. Надо надеяться, с тех пор он уже получил очередную повестку и вполне утешился. Сама же история и вправду даже слишком странная, так что послушайте. Впрочем, самое странное в ней как раз эта мучительная обстоятельность, от которой в моем пересказе, увы, многое пропадет. Если я сумею рассказать ее как следует, вы увидите в ней всего К., зато от Бюргеля там и тени не осталось. Но именно с одним условием — если я сумею. Потому как история может вам и очень скучной показаться, есть в ней такой элемент. Но попробуем. Итак: на пороге К. был встречен чьим-то легким вскриком.] Комната оказалась маленькая…

слегка приподняв одеяло, прошептал в щелку:

— Кто здесь?

Теперь К. не мог уже так просто уйти, он с досадой взирал на пышную, но, к сожалению, отнюдь не пустую постель, потом вспомнил, что его все-таки кое о чем спросили, и назвался. Ответ его как будто возымел благотворное действие, человек в кровати сдвинул одеяло с лица, но только слегка, явно с опаской, готовый в любую секунду снова укрыться с головой, если в комнате что-то окажется не так. И только потом, отбросив сомнения и одеяло, наконец сел. Это был точно не Эрлангер. На К. смотрел низенький, благообразного вида господин, в чьем лице запечатлелось странное противоречие между младенческой припухлостью щек, детской жизнерадостностью глаз — и высоким челом, острым носом, узким, словно вовсе без губ, ртом, почти отсутствующим подбородком: в этих чертах ничего детского не было, напротив, они выдавали неусыпную работу напряженной и надменной мысли. Но, надо полагать, как раз довольство этой надменностью и помогало господину в прочих частях лица сохранять остатки здоровой ребячливости.

— Вы Фридриха знаете? — с живостью спросил господин.

К. покачал головой.

— Зато он вас знает, — заверил господин с улыбкой. К. кивнул, в людях, которые его знают, здесь вообще нет недостатка, в том-то и есть главная помеха у него на пути.

— А я его секретарь, — сообщил господин. — Бюргель моя фамилия.{26}

— Извините, — сказал К., нащупывая за спиной дверную ручку, — я, к сожалению, просто ошибся дверью. Дело в том, что я к секретарю Эрлангеру вызван.

— Какая жалость! — воскликнул Бюргель. — Не то, что вы к кому-то другому вызваны, а что дверь перепутали. Меня, видите ли, если разбудить, так я точно больше не засну. Впрочем, вас это не должно особенно огорчать, это уж моя личная

{26} Варианты: 2.26

— А я его секретарь, — сообщил господин. — Бюргель моя фамилия. [*Я связной секретарь.*

— «Связной секретарь», — с выражением полнейшего непонимания на лице повторил К., сугубо машинально побужденный на этот повтор настоятельностью, с которой господин к нему обращался.

— Да-да, связной секретарь, — снова подтвердил Бюргель. — Вы, очевидно, не знаете, что это такое? Я связной секретарь, это означает, что я обеспечиваю самую надежную связь, — тут он от удовольствия даже непроизвольно потер ручки, — между Фридрихом и деревней. Я секретарь не в деревне и не в Замке, а именно связной секретарь, по большей части я в деревне, но не постоянно, каждый день (да и каждую ночь) может возникнуть необходимость срочно выехать, видите саквояж, да, жизнь беспокойная, не каждый такую выдержит. Вы заметили, как я под одеялом спрятался, когда вы вошли? Это смешно,

но для меня и прискорбно, до того нервным, до того пугливым я стал. Вообще-то странно, что двери тут не запираются. Большинство господ с этим согласны, само это правило введено по их настоянию, но я-то считаю, все это только недостойная показуха; покуда ничего серьезного не стряслось, все они герои, а случись что-нибудь, так они дверь замуровать готовы. Да уж, об этом еще много чего можно было бы сказать. ~~*Видите там, наверху, проем, я заткнул его своим макинтошем? Но какая у вас ко мне надобность, господин землемер?*~~]

— Извините, — сказал К., нащупывая за спиной дверную ручку…

беда. Почему, кстати, здесь двери не запираются, а? То-то и оно, причина есть. Потому что живем по старой поговорке: «Двери секретарей всегда открыты». Впрочем, толковать ее настолько буквально все же не следует.

Бюргель смотрел на К. весело и вопросительно, в противовес собственным сетованиям вид он имел вполне свежий и отдохнувший, а такой усталости, как К. сейчас, он, наверно, в жизни не испытывал.

— Ну куда вы сейчас пойдете? — спросил Бюргель. — Уже четыре. Всякого, к кому бы вы ни направились, вы неминуемо разбудите, но отнюдь не всякий столь привычен к помехам, как я, не всякий такое вторжение безропотно стерпит, секретари, знаете ли, народ нервный. Побудьте немного тут. Около пяти здесь начинают вставать, вот тогда и вы с вашим визитом куда более кстати придетесь. Оставьте-ка лучше в покое дверную ручку и садитесь куда-нибудь, у меня, правда, тесновато, лучше всего, думаю, вам на край кровати присесть. Удивлены, что у меня ни стола, ни стула? Что ж, у меня был выбор: либо номер с полной обстановкой и узкой гостиничной кроватью, либо вот эта большая кровать, но зато больше ничего, кроме умывальника. Я выбрал

большую кровать, как-никак в спальне кровать самая главная вещь. Ах, вот бы на ней настоящему лежебоке поваляться да выспаться, для того, у кого сон крепкий, такая кровать просто клад. Но и для меня, хоть я и при крайней усталости все равно заснуть не могу, эта кровать сущая отрада, я тут большую часть дня провожу — и корреспонденцию веду, и прием посетителей. И очень складно получается. Посетителям, правда, сидеть негде, но они легко с этим мирятся, ведь для них самих куда приятнее, хоть и стоя, иметь дело с благодушно настроенным протоколистом, нежели, пусть даже расположившись с удобствами в кресле, выслушивать, как на тебя орут. Вообще-то я могу предложить посетителю присесть вот сюда, на краешек постели, но только не по службе, а лишь во время ночных бесед. Однако что это вы, господин землемер, совсем притихли?

— Я устал очень, — отозвался К., который в ответ на приглашение сесть немедленно, почти до неприличия бесцеремонно, плюхнулся на кровать и даже к спинке привалился.

— Разумеется, — подхватил Бюргель со смешком, — тут все устают. Вот я, к примеру, вчера, да и сегодня уже, нешуточную работу проделал. Однако чтобы я сейчас заснул — такое совершен-

но исключено, и тем не менее, если такое чудо из чудес все-таки случится и я, пока вы здесь, вдруг задремлю, прошу вас, сидите тихо и дверь не открывайте. Но не тревожьтесь, я наверняка не засну, в лучшем случае разве на пару минут, не больше. Со мной, видите ли, такая история: легче всего я — вероятно, потому, что привык без конца посетителей принимать, — как раз не один засыпаю, а в чьем-либо присутствии.

— Да спите, пожалуйста, господин секретарь, — обрадовался К. — Тогда и я, с вашего разрешения, сосну немного.

— Э-э нет, — снова усмехнулся Бюргель, — чтобы заснуть, мне, увы, одного приглашения недостаточно, разве во время разговора вдруг выпадет случай, разговор-то скорей всего меня усыпляет. Да, нервы при нашем деле ох как страдают. Я, к примеру, связной секретарь. Вы не знаете, что это такое? Так вот, я осуществляю самую прочную и надежную связь, — тут он от радости невольно потер руки, — между Фридрихом и деревней. Я обеспечиваю координацию между замковыми секретарями и секретарями в деревне, по большей части я и сам в деревне нахожусь, но не постоянно, в любую секунду я должен быть готов к вызову в Замок, — видите,

саквояж стоит? Жизнь, что и говорить, беспокойная, не всякий выдержит. С другой стороны, и то верно, что мне без подобного рода работы уже не обойтись, всякая другая показалась бы мне пресной. А как с вашим землемерным делом?

— Я сейчас ничем таким не занимаюсь, как землемеру мне тут работы не дают, — ответил К., особенно не задумываясь, ибо всеми помыслами сосредоточился лишь на одном — чтобы Бюргель заснул, но и к этому стремился скорее по обязанности, проформы ради, из некоего чувства долга перед собой, в глубине души понимая, что мгновение, когда Бюргель уснет, еще где-то необозримо далеко.

— Поразительно, — сказал Бюргель, энергично откидывая голову назад и одновременно извлекая откуда-то из-под одеяла блокнотик, явно вознамерившись что-то записать. — Вы землемер, а землемерных работ вам не поручают.

К. машинально кивнул, поверх спинки кровати он вытянул левую руку и теперь приклонил на нее голову; он давно то так, то этак пытался устроиться поудобнее, теперешняя поза оказалась самой удобной из всех, теперь ему легче было Бюргеля слушать.

— Я готов, — продолжал Бюргель, — проследить

за этим лично. Здесь у нас, будьте уверены, не такая постановка дела, чтобы специалиста по назначению не использовать. Да вам, должно быть, и обидно, разве сами вы от этого не страдаете?

— Страдаю, — медленно проговорил К. и про себя улыбнулся, ибо как раз сейчас он не страдал от этого ни чуточки. Да и любезность Бюргеля особого впечатления на него не произвела. Дилетантство, чистой воды дилетантство. Не зная обстоятельств, при которых воспоследовал вызов К., трудностей, которые этот вызов в общине и в Замке встретил, всех запутанных хитросплетений, которые выдались уже во время его пребывания здесь или еще только намечаются, — ничего обо всем этом не ведая, даже вида не показывая, как следовало бы ожидать, от секретаря, что ему хотя, бы отдаленно кое-что о деле известно, он вызывается вот так запросто, одним мановением руки, с помощью жалкого блокнотика, все сразу взять и уладить.

— Сдается мне, вам уже довелось изведать некоторые разочарования, — заметил Бюргель, тем самым все же доказывая, что худо-бедно в людях разбирается, да и вообще, как время от времени, с самой первой минуты в этой комнате, внушал себе К., Бюргеля недооценивать не следовало,

однако здраво судить о чем бы то ни было, кроме собственной усталости, ему, при нынешнем состоянии, было сложно. — Нет-нет, — продолжал Бюргель, словно отвечая на мысли К. и услужливо избавляя его от труда их высказывать, — разочарования не должны вас пугать. Здесь, по первому впечатлению, многое рассчитано на то, чтобы людей отпугнуть, а новоприбывшему иные преграды и вовсе кажутся глухой стеной. В истинное положение вещей я вникать не собираюсь, быть может, видимость и впрямь соответствует сути, на моем посту мне об этом судить трудно, нет, знаете ли, необходимой дистанции, но поверьте, иной раз выпадают случаи, которые в общий ряд почти никак не вписываются, случаи, при которых одним словом, одним взглядом, одним доверительным жестом человек может достичь гораздо большего, чем другие способны добиться ценой изматывающих, пожизненных усилий. Да-да, так оно и есть. Правда, с другой стороны, в конечном счете эти случаи все равно вписываются в общий порядок, поскольку никто их никогда не использует. Но почему, почему их не используют, снова и снова спрашиваю я себя?

К. понятия не имел почему, он хотя и чувствовал, что слова Бюргеля очень даже имеют к нему

касательство, однако именно сейчас все имеющее к нему касательство внушало ему крайнее отвращение, он даже голову слегка в сторону отвел, как бы пропуская вопросы Бюргеля мимо себя и всем видом показывая, что вопросы эти не способны его задеть.

— Ведь вот, к примеру, — продолжал Бюргель, вдруг потянувшись и во весь рот зевнув, что странно не вязалось с глубокой серьезностью его рассуждений, — все секретари вечно жалуются, что они, дескать, вынуждены большинство деревенских допросов проводить в ночное время. А с какой стати они на это жалуются? Потому ли, что ночные допросы их так утомляют? Или потому, что ночью предпочли бы почивать? Нет, на это они нисколько не жалуются. Разумеется, и среди секретарей, как повсюду, есть более и менее прилежные, но на слишком большую нагрузку никто не жалуется, тем более публично. У нас такое просто не принято. В этом отношении мы не ведаем различий между рабочим временем и нерабочим. Подобная мелочность нам чужда. Что в таком случае могут иметь секретари против ночных допросов? Может, чего доброго, это забота о посетителях? Да нет, нет, какая там забота! В отношении посетителей секретари никаких

забот не знают, тут они совершенно беспощадны, впрочем, ничуть не более беспощадны, чем к самим себе: они не щадят посетителей ровно так же, как не щадят себя. Кстати, именно эта беспощадность, а точнее, жесточайшее соблюдение служебного долга, и есть самая большая забота о посетителях, о какой те только мечтать должны. Да и посетителями, в сущности, подобная беспощадность безоговорочно признается — пусть поверхностный взгляд стороннего наблюдателя этого и не заметит; взять хотя бы те же ночные допросы, они посетителям необычайно по душе, никаких существенных возражений или жалоб против ночных допросов от них не поступает. Откуда в таком случае неприязнь к ночным допросам у секретарей?

И этого К. не знал, он вообще знал так мало, даже не мог толком понять, всерьез Бюргель требует от него ответа или только для вида. «Если ты пустишь меня к себе в постель выспаться, — пронеслось у него в голове, — я завтра к обеду, а еще бы лучше к ужину, тебе на все вопросы отвечу». Но Бюргель, похоже, не обращал на него внимания, слишком занимал его вопрос, которым он сам себя озадачил.

— Сколько могу судить, в том числе и по соб-

ственному опыту, у секретарей по поводу ночных допросов имеются следующие несогласия и сомнения. Ночное время для собеседований с посетителями представляется менее подходящим потому, что ночами трудно, чтобы не сказать невозможно, полностью сохранить служебный характер подобных переговоров. И дело не во внешней стороне, все формальности ночью можно соблюдать так же неукоснительно строго, как и днем. Нет, дело не в этом, а совсем в другом: ночью страдает сама способность служебного суждения о предмете. Совершенно непроизвольно человек склонен в ночное время судить о предметах с более приватной точки зрения, вследствие чего доводы посетителей приобретают в глазах чиновников больше веса, нежели им пристало, к служебному суждению примешиваются иные, посторонние резоны относительно жизненных обстоятельств посетителей, их невзгод и тягот, необходимая граница между чиновником и посетителем, пусть внешне она блюдется безукоризненно, все равно расшатывается и ослабевает, и там, где при нормальных обстоятельствах требовалась бы только строгая череда вопросов и ответов, иной раз вдруг затевается странный, совершенно неуместный, сугубо

личный обмен мнениями. Так, во всяком случае, утверждают секретари, а как-никак это люди, в силу самой своей профессии наделенные особо тонким чутьем на подобные вещи. Но даже они — и в наших кругах это неоднократно обсуждалось — во время самих ночных допросов подобного неблагоприятного воздействия на себе почти не замечают, хотя, пытаясь оные предотвратить, загодя себя к таковым воздействиям готовят, в ходе допроса всячески им сопротивляются и в конечном счете, как им кажется, добиваются в этом деле необычайно больших успехов. Однако стоит потом проглядеть протокол, и не перестаешь удивляться их очевидным, при свете дня просто вопиющим промашкам и слабостям. А ведь все эти ошибки — оборачивающиеся, с другой стороны, наполовину незаслуженными потачками посетителю, — обычным, простым путем уже не исправишь, по крайней мере в рамках наших предписаний. Разумеется, когда-нибудь впоследствии контрольные службы их устранят, но, так сказать, только для восполнения права, самому посетителю от этого уже никакого ущерба не будет. С учетом всех этих обстоятельств разве не следует считать жалобы секретарей вполне обоснованными?

К., уже некоторое время пребывавший в полудреме, при последних словах вновь очнулся. «К чему все это? К чему все это?» — вопрошал он себя, глядя на Бюргеля из-под отяжелевших век и видя в нем не чиновника, вздумавшего обсудить с ним трудные вопросы, а только досадную помеху собственному сну — при всем желании никакого другого смысла он в этом человечке сейчас обнаружить не мог. А тот, всецело поглощенный ходом своих рассуждений, довольно улыбался, словно ему только что удалось весьма ловко поставить К. в тупик. Впрочем, он готов был немедленно вернуть собеседника на правильную стезю.

— И однако же, — произнес он, — вполне оправданными эти жалобы ни в коем случае назвать нельзя. Хотя ночные допросы нигде прямо не предписаны, так что в попытках уклониться от их проведения никакого нарушения нет, но весь распорядок службы, непомерная загруженность работой, самый характер занятий чиновников в Замке, почти исключающий возможность отлучек в рабочее время, служебные предписания, согласно которым допрос сторон имеет состояться только по завершении всех следственных действий, зато уж тогда без малейшего промед-

ления, — все это и многое другое сделало ночные допросы попросту насущной необходимостью. Но раз они стали необходимостью — я так рассуждаю, — то, значит, и они, по крайней мере опосредованно, являют собой неотъемлемое следствие служебных предписаний, так что усомниться в самой правомерности ночных допросов означало бы по существу чуть ли, — тут я, разумеется, утрирую, лишь потому, в качестве преувеличения, и позволяю себе произнести нечто подобное вслух, — чуть ли не в самих предписаниях усомниться. С другой стороны, за секретарями всегда остается право в рамках служебных предписаний по мере возможности пытаться оградить себя от ночных допросов и их, быть может, лишь кажущихся невыгод. И они этим правом пользуются, причем в самых широких пределах: соглашаются только на такие переговоры, предмет которых в вышеуказанном смысле внушает как можно меньше опасений, подвергают себя перед переговорами особым испытаниям и, если результаты испытаний неблагоприятны, отменяют, пусть и в последнюю минуту, любые встречи, всемерно укрепляют свои позиции, зачастую до десяти и более раз вызывая сторону на прием, прежде чем принять ее на самом деле, с удовольствием по-

сылают вместо себя других секретарей, которые в рассматриваемом деле не полномочны и, следовательно, разбирают его с большей легкостью, стараются назначить переговоры на начало или, наоборот, конец ночи, избегая самых тяжелых срединных часов, — и таких уловок множество; нет, секретарей голыми руками не возьмешь, их увертливость и способность к сопротивлению почти не уступают их душевной тонкости и ранимости.

К. спал, сон, правда, был не вполне настоящий, слова Бюргеля он слышал, пожалуй, даже отчетливее, чем недавно, когда из последних сил бодрствовал, стараясь перебороть сон и усталость, одно за другим слова эти били теперь по его слуху, но тягостная необходимость думать исчезла, он чувствовал себя необыкновенно свободно, уже не Бюргель держал его накрепко, а он сам изредка, легкой ощупью, к Бюргелю прикасался, он еще не погрузился в глубины сна, но уже нырнул, уже плыл, и этого блаженства у него никто отнять не мог. И чудилось ему, будто прихотью фортуны он одержал большую победу, и отпраздновать его успех собралось шумное общество, и он, а заодно и еще кто-то, уже поднимал в честь победы бокал шампанского. А

чтобы все поняли, в чем дело, и борьба, и победа должны были повториться снова, а может, и не снова, а только сейчас должны были начаться, хоть и праздновались заранее, впрочем, празднование никто и не думал прекращать, ибо исход, по счастью, был предрешен и заранее известен. Секретарь, обнаженный и очень похожий на статую греческого бога, неуверенно противостоял в поединке решительному натиску К. Все было как-то очень уж чудно, К. даже мягко улыбался во сне, видя, как под его толчками секретарь, снова и снова принимающий горделивые позы, пугается и, к примеру, едва вскинув для удара руку, в панике спешит тою же рукой прикрыть свою наготу, но все равно не успевает. Поединок длился недолго, шаг за шагом, и шаги были очень большие, К. теснил противника. Да борьба ли это в самом деле? По сути, он не встречал серьезного сопротивления, секретарь лишь время от времени слабо попискивал. Греческий бог пищал, как девчонка, которую щекочут. И в конце концов сгинул — К. остался один в просторном зале, весь еще в азарте схватки, он оглядывался по сторонам в поисках противника, но вокруг не было ни души, и праздничное общество куда-то вдруг делось, только валялся на полу разбитый

бокал из-под шампанского, К. наступил на него, чтобы раздавить окончательно. Однако осколки впились в ногу, К. дернулся от боли и снова проснулся, ему было дурно, точно маленькому ребенку, когда того внезапно разбудят, однако при виде жирной голой груди Бюргеля отголоском сна в голове мелькнула мысль: «Вот он, твой греческий бог! Ну же, сдерни его с перин!»

— Иногда, однако, — разглагольствовал Бюргель, задумчиво устремив взор куда-то в угол потолка, словно отыскивая в памяти подходящие примеры и почему-то их не находя, — иногда, однако, невзирая на все меры предосторожности, для иного посетителя выпадает возможность ночной слабостью секретаря — если, конечно, допустить, будто это и вправду слабость, — воспользоваться в своих интересах. Впрочем, выпадает такая возможность в редчайших случаях, можно даже сказать, почти никогда не выпадает. И происходит это, если посетитель вдруг явится на прием среди ночи сам, без всякого вызова. Вы, верно, удивитесь, отчего это такая редкость, идея, казалось бы, сама собой напрашивается. Ну да вы с нашими порядками не знакомы. Но и вам, полагаю, уже бросился в глаза безупречный и всеобъемлющий характер организации наших

служб. Из этого с неизбежностью проистекает, что всякий, у кого имеется к властям хоть какое-нибудь дело, — или, наоборот, у властей по каким-либо причинам возникает надобность человека допросить, — тотчас же, без отлагательств и колебаний, большей частью еще прежде, чем уразумеет, в чем дело да что там, прежде чем вообще хоть что-то о самом деле услышит, получает уведомление. Причем на первых порах его даже не допрашивают, в большинстве случаев поначалу все обходится без допроса, обычно надобность к этому еще не созрела, но уведомление у человека уже есть, иными словами, явиться по собственному почину, без всякого вызова, то есть нежданно-негаданно, он никак не может, в крайнем случае он может явиться не в свое время, что ж, тогда ему укажут на дату и час у него в уведомлении, а когда он придет в назначенный срок, его, как правило, промурыжат и отошлют, дальше-то все идет без особых трудностей, у посетителя в руках уведомление, в папке с делом имеется отметка, для секретарей это хотя и не всегда достаточное, но все-таки вполне действенное средство обороны. Все это, впрочем, касается только полномочного по данному делу секретаря, ошеломить же любого другого секре-

таря приходом среди ночи по-прежнему вполне доступно каждому. Только вряд ли кто на это пойдет, смысла-то почти никакого. Во-первых, таким шагом он весьма ожесточит полномочного по своему делу секретаря, мы, секретари, вообще-то касательно работы друг к другу нисколько не ревнивы, каждый и так влачит свою более чем щедро отмеренную и без малейшей поблажки навьюченную трудовую ношу, но со стороны посетителей подобных нарушений служебной субординации мы ни в коем случае не потерпим. Иным случалось проиграть дело лишь потому, что, не умея пробиться в положенном месте, они искали лазеек в неположенном. Такие попытки, кстати, потому еще обречены на неудачу, что секретарь, неполномочный по делу, даже будучи застигнут врасплох среди ночи и от всей души желая вам споспешествовать, как раз вследствие своей служебной неполномочности вряд ли сумеет сделать больше, чем самый заурядный адвокат, а по сути — куда меньше, ибо пусть он и в силах что-то предпринять, ведь потаенные тропы права ведомы ему все равно гораздо лучше, чем всем этим адвокатским крысам, вместе взятым, однако на дела, которые не по его части, у него напрочь нет времени, ни минуты, ни се-

кунды. Кто, спрашивается, при таких видах на успех станет тратить свои ночи на беготню по чужим секретарям? Вдобавок и сами посетители заняты по горло, если они, помимо основной своей работы, намерены следовать всем вызовам и указаниям ведущих их дело инстанций, — хотя я говорю «заняты по горло», только с точки зрения самих посетителей, что, конечно, отнюдь не то же самое, чем если бы я сказал «заняты по горло», с точки зрения секретарей.

К. с улыбкой кивал, ему казалось, теперь-то он все понимает в точности, но не потому, что разговор его особенно волновал, просто им овладела блаженная уверенность, что еще чуть-чуть, и он заснет полностью, на сей раз без всяких снов и досадных пробуждений, между полномочных секретарей по одну сторону и неполномочных по другую, перед лицом бессчетной толпы по горло занятых посетителей он погрузится в глубокий сон и так от всех, от всех улизнет. К тихому, самодовольному, самого себя явно не способному убаюкать голосу Бюргеля он настолько привык, что голос этот его сну теперь не помеха, а скорее, подмога. «Мели, мельница, мели, — подумал он, — только для меня мели».

— Так где же, — распинался Бюргель, двумя

пальчиками нетерпеливо барабаня по нижней губе, вытянув шею и широко раскрыв глаза, словно после изнурительного странствия он наконец приближается к месту, откуда взору откроются упоительные виды, — где тогда та вышеупомянутая редчайшая, почти никогда не выпадающая возможность? Тайна кроется в предписаниях о распределении полномочий. Штука в том, что при столь обширном и энергичном делопроизводстве нет и не может быть такого порядка, чтобы за каждое дело отвечал только один полномочный секретарь. Все устроено так, что один и точно обладает по делу основными полномочиями, но многие другие, каждый в своей части, тоже имеют полномочия, хотя и меньшие. Да и кто, в самом деле, будь он семи пядей во лбу и из работников работник, способен нагромоздить на своем столе все бумаги, относящиеся к одному пусть самому немудрящему случаю? Пожалуй, даже то, что я сказал об основных полномочиях, отдает некоторым преувеличением. Разве в любых, пусть и самых малых полномочиях уже не сосредоточено все, что нужно? Разве не решает здесь только страстность, с какой чиновник берется за дело? И разве все чиновники не берутся за любое дело всегда с одним и тем же неизменно пылким

рвением? В чем угодно можно увидеть различия между секретарями, и различиям этим несть числа, но только не в рвении; едва заслышав призыв заняться делом, которое хоть каким-то боком, хоть краешком по его части, ни один чиновник не устоит, ни один не удержится. Разумеется, для внешних надобностей должен быть установлен распорядок переговоров сторон, вот для посетителей и назначается, как бы выдвигаясь на первый план, полномочный секретарь по каждому делу, с которым внешней стороне, то бишь посетителю, и надлежит официально поддерживать отношения. Но это даже не обязательно будет секретарь, наделенный по делу основными полномочиями, в таких назначениях все решает организация делопроизводства и ее сиюминутные потребности. Таково реальное положение вещей. А теперь, господин землемер, прикиньте вот какую возможность: предположим, некоему посетителю по стечению обстоятельств, невзирая на все вышеописанные и в целом вполне достаточные служебные барьеры, все же удается среди ночи застигнуть врасплох одного из секретарей, обладающего определенными полномочиями по данному делу. Вы о такой возможности и не думали, правда? Что ж, охотно вам верю. О ней

и думать нечего, ибо она ведь и не выпадает почти никогда. Вообразите, сколь же тертым и пронырливым зернышком, вдобавок зернышком совершенно особой, причудливой формы должен быть посетитель, проскользнувший сквозь такое непревзойденно мелкое сито? Вы полагаете, ничего такого произойти не может? Вы правы, не может. Но однажды ночью — разве за все можно поручиться? — оно вдруг возьми да и произойди. Среди моих знакомых, впрочем, такого ни с кем не случалось, только это мало что доказывает, число моих знакомых в сравнении с числами, которыми здесь приходится оперировать, весьма ограничено, к тому же далеко не факт, что секретарь, с которым произошло нечто подобное, захочет в этом признаваться, ведь тут дело все-таки сугубо личного, в известном смысле даже служебно-интимного свойства. Однако по меньшей мере мой личный опыт доказывает, что речь и вправду о настолько редкой, в сущности лишь по слухам выпадающей, ничем другим не подтвержденной оказии, что было бы большим преувеличением ее опасаться. А даже если бы таковая оказия и вправду образовалась, ее можно — по крайней мере, хотелось бы в это верить — форменным образом обезвредить, доказав

ей, а это очень даже легко сделать, что в этом мире для нее попросту нет места. В любом случае было бы проявлением постыдного малодушия при виде такой оказии в страхе прятаться под одеяло, не смея выглянуть наружу. И даже если совершеннейшая эта невероятность обрела вдруг плоть и обличье — разве уже все потеряно? Совсем напротив! Вероятность, что все потеряно, еще невероятней самой невероятной вероятности! Конечно, если посетитель уже в комнате, дело очень скверно. Сердце замирает от ужаса. Спрашиваешь себя: «Долго ли я смогу сопротивляться?» Хотя ведь прекрасно знаешь: да не будет вовсе никакого сопротивления! Вы только взгляните на положение с истинной стороны. Посетитель, которого вы никогда не видели, но всегда ждали, поистине жаждали увидеть, хоть и считали, вполне резонно, совершенно недосягаемым, — вот он, сидит перед вами. Уже само безмолвное присутствие посетителя подбивает вас вторгнуться в его убогую, скорбную юдоль, осмотреться в ней, как в собственном доме, и пострадать вместе с хозяином от тщетных и неисполнимых требований его унылой жизни. В ночной тиши подобный соблазн донельзя заманчив. Уступи ему — и, по сути, вы перестанете быть

официальным лицом. А в подобных обстоятельствах еще чуть-чуть — и вы не сможете отказать в просьбе. [*Ты сидишь против посетителя, но, случается, и держишь его в объятиях, а иной раз и он тебя держит, доходит и до более тесных отношений.*] По правде говоря, вы в отчаянии, а по совести сказать — вы безумно счастливы. В отчаянии, потому что беззащитность, с какой вы сидите, ожидая от посетителя просьбы и заранее зная, что просьбу эту, коли она будет высказана, придется исполнить, пусть даже она, по крайней мере в пределах вашего понимания, все делопроизводство буквально в клочья разнесет, — такая беззащитность самое страшное, что может случиться в служебной практике. Прежде всего — отвлекаясь от всего прочего — потому, что, беря на себя исполнение просьбы, вы самовольно и вероломно допускаете чудовищное, вопиющее превышение своих властных полномочий. Ведь по должности секретари вовсе не уполномочены выполнять такого рода просьбы, однако близость ночного посетителя в известном смысле окрыляет наши должностные силы, мы берем на себя обязательства, которые выходят за рамки наших служебных полномочий, больше того — мы их исполняем. Посетитель, словно ночной разбой-

ник в лесу, вымогает у нас жертвы, на которые мы при иных обстоятельствах напрочь не способны. Ну хорошо, это когда посетитель вот он, тут сидит, окрыляет вас, понуждает, пришпоривает и все происходит как бы в полубессознательном состоянии, однако каково будет после, когда все позади, когда утоленный и беззаботный посетитель вас покинет и вы останетесь один, в полной беззащитности перед собственным, только что совершенным служебным злоупотреблением — нет, такое даже вообразить страшно! И тем не менее вы счастливы. До чего самоубийственно бывает счастье! Ведь вы могли попытаться скрыть от посетителя истинное положение вещей. Сам, со своего шестка, он почти ничего и не замечает. По каким-то ему одному ведомым, случайным и вздорным причинам, он, вероятно, считает, что до смерти устал и во всем разуверился, а потому исключительно от усталости и расстройства вломился не в ту комнату, в какую следовало, сидит в полном неведении и в мыслях занят, если вообще чем-то занят, исключительно этим недоразумением или собственной усталостью. Почему бы не оставить его в этом состоянии? Нет, никак невозможно. [*Как бы вам это объяснить? Если в самый дивный солнечный*

день с неба вдруг блеснет некий новый луч и пронзит вас пониманием, что без него даже самый распрекрасный погожий день был, оказывается, пасмурным и дождливым, — разве вы, будь вы даже всей душой тому прежнему миру привержены, сумеете замкнуть свою душу для такого луча? Да разумеется нет, уже хотя бы потому, что для вас теперь, кроме этого луча, ничего в мире не существует.] Не помня себя от счастья, вы сами ему все разболтаете и разъясните. Вы прямо-таки не можете иначе, вы должны, не щадя себя до последнего, подробно ему обрисовать, что случилось и по каким причинам случилось, и сколь неповторимо грандиозен сам этот случай, вы должны показать, каким образом посетитель, при всей беспомощности, на какую из живых существ только посетитель и горазд, в этот случай ввалился, и каким образом теперь, господин землемер, этот посетитель, если захочет, всем способен распорядиться, все повелеть, и ему для этого ровным счетом ничего делать не нужно, кроме как худо-бедно изложить свою просьбу, исполнение для которой уже уготовано, больше того, само рвется его просьбу уважить, — вот ведь еще что надо растолковать посетителю в эту трудную для чиновника годину. Но когда и это,

господин землемер, сделано, тогда уж все необходимое совершено и остается только смириться и ждать.

Ничего больше К. не услышал: наглухо отрезанный от происходящего, он спал.{27} Голова его, поначалу покоившаяся на левой руке на спинке кровати, давно соскользнула и, лишившись прежней опоры, теперь висела просто так, склоняясь все ниже; в поисках равновесия К. во сне правой рукой попытался упереться в кроватный матрас, но только ухватил одеяло, а заодно случайно и выпиравшую под одеялом ногу Бюргеля. Бюргель глянул, кто это его хватает, но, невзирая на все неудобства, ногу отдергивать не стал. [*Словно он только теперь с определенностью понял, что К. и вправду уснул, Бюргель закурил, откинулся на подушки и уставился в потолок, туда же, под потолок, пуская дым своей сигареты.*]

Тут стену комнаты внезапно сотряс стук

{27} Варианты: 2.27

Ничего больше К. не услышал: наглухо отрезанный от всего происходящего, он спал. [*Голова его, склонившись на левую руку, что лежала на спинке кровати, во сне, очевидно, соскользнула и повлекла за собой все туловище, ибо когда К. проснулся, он обнаружил, что он в комнате один, ни Бюргеля, ни его саквояжа в помине нет, он же лежит на животе, растянувшись во весь свой рост поперек кровати на толстом шелковом покрывале. К. отчаянно, во весь рот зевнул, потом потянулся и только после этого, вспомнив, где находится, пришел в ужас.*] Голова его…

— несколько сильных, громовых ударов, К. встрепенулся и даже испуганно посмотрел на стенку.

— Землемера там нет? — раздалось из-за стены.

— Здесь он, — отозвался Бюргель, легко высвободил из-под руки К. свою ногу и внезапно потянулся сладко и весело, совсем как карапуз.

— Тогда пусть, наконец, идет сюда, — распорядился голос, ни словом не упомянув ни Бюргеля, ни того, что К. еще может Бюргелю понадобиться.

— Это Эрлангер, — пояснил Бюргель шепотом. То, что Эрлангер оказался в соседней комнате, его, похоже, ничуть не удивило. — Идите скорей, а то он злится, постарайтесь как-нибудь его задобрить. Сон у него крепкий, но мы все-таки, наверно, слишком громко беседовали; когда о некоторых вещах говоришь, трудно сдержаться и совладать с голосом. Да идите же, идите! Вы, я смотрю, все никак не проснетесь. Идите, что вам еще здесь надо? Нет-нет, за сонливость свою не оправдывайтесь, с какой стати? Силы человеческие не беспредельны, кто же виноват, что именно этот предел иногда и еще какое-то значение имеет. Нет, тут никто не виноват. Это жизнь сама себя на бегу поправляет и вот этак поддерживает в себе

равновесие. Снова и снова диву даешься, до чего превосходное, невообразимо превосходное у нее устройство, хоть и весьма неутешительное, с другой-то стороны. А теперь идите, не пойму, отчего вы на меня так смотрите. Если еще промешкаете, мне достанется от Эрлангера, мне бы этого совсем не хотелось. Идите же, кто знает, что вас там, за стенкой, ждет, здесь всюду полно самых разных возможностей. Правда, бывают возможности, которые в известном смысле слишком велики, чтобы ими воспользоваться, и бывают оказии, которые срываются исключительно сами по себе и ни по какой другой причине. Да, просто поразительно. Кстати, теперь я все-таки надеюсь соснуть хоть немного. Правда, уже пять и скоро начнется шум. Да идите же вы, наконец!

Ничего не соображая со сна, оглушенный внезапной побудкой, по-прежнему люто не выспавшийся, чувствуя глухую боль в затекших от неудобной позы членах, К. долго не мог заставить себя подняться и, держась за голову, тупо смотрел куда-то вниз, себе на колени. Даже непрестанные прощания выпроваживающего его Бюргеля не заставили бы его уйти, и только чувство совершенной бесполезности всякого дальнейшего нахождения в этой комнате мало-помалу выну-

дило его сдвинуться с места. Сама же комната внезапно показалась ему неописуемо унылой. То ли она вдруг стала такой, то ли всегда была, кто знает? Даже заснуть снова ему и то здесь не удалось бы. Эта последняя мысль оказалась решающей, все еще втихомолку ей посмеиваясь, он поднялся, по пути хватаясь за все, что давало опору — за кровать, за стенку, за дверь, — и, ни слова не говоря, как если бы давным-давно с Бюргелем попрощался, вышел из комнаты.{28}

{28} Варианты: 2.28

...как если бы давным-давно с Бюргелем попрощался, вышел из комнаты.

[*Вероятно, он бы и мимо комнаты Эрлангера прошел с тем же безразличием, не стой сам Эрлангер в двери и не подзови его к себе коротким взмахом руки. Даже не взмахом — одним небрежным движением указательного пальца. После чего, уже не оглядываясь на покорно плетущегося за ним К., зашел к себе в комнату. Она была вдвое больше комнаты Бюргеля, слева, глубоко в углу, пряталась кровать, рядом с ней теснились шкаф и умывальник, сдвинутые настолько плотно, что при такой расстановке пользоваться ими почти не представлялось возможным, зато остальная, гораздо большая часть комнаты, казалась почти пустой, только посредине водружен был письменный стол с креслом, а по боковой стенке, выстроившись в ряд, замерли стулья числом, пожалуй, не меньше десяти. Имелось даже небольшое оконце, наверху, под самым потолком, а неподалеку от него урчал, словно кошка, усердно работающий вентилятор.*

— Садитесь куда-нибудь, — бросил Эрлангер, сам уселся за письменный стол и, сперва пробежав глазами обложки и по-новому разложив несколько папок, стал засовывать их в небольшой саквояж, похожий на саквояж Бюргеля, однако для папок он оказался едва ли не маловат, Эрлангеру пришлось вынуть папки обратно, и теперь он прикидывал, можно ли запихнуть их в саквояж как-то иначе. — Вам уже давно полагалось явиться, — буркнул он, и прежде-то отнюдь не любезный, а теперь, видимо, еще и вымещая на К. свою досаду по поводу строп-

тивых папок.

К, в новой обстановке слегка встряхнувшийся от усталости, к тому же и обеспокоенный сухим обхождением Эрлангера, манера которого, разумеется, с поправкой на совсем другой уровень достоинства, слегка напоминала надменные замашки учителя, — да и внешне кое-какое сходство имелось, и сидел К. перед ним на стуле, как ученик, разве что товарищей-одноклассников рядом сегодня почему-то не оказалось, — отвечал как можно старательнее, начал с упоминания о том, что Эрлангер спал, поведал, как он, не желая потревожить секретарский сон, почтительно ушел, благоразумно умолчал о своих последующих занятиях, дабы возобновить рассказ на эпизоде с перепутанной дверью и завершить его ссылкой на чрезвычайную свою усталость, попросив великодушно принять оную во внимание. Однако Эрлангер мгновенно выискал слабое место в его ответе.

— Странно, — проговорил он, — я сплю, чтобы отдохнуть и набраться сил для работы, вы же тем временем неизвестно где околачиваетесь, чтобы потом, едва начнется допрос, мне на свою усталость сетовать. — ~~К., однако, не сдавался; нечто вроде благодарности за то, что его наконец почти полностью разбудили и понуждают к внимательности, должно быть, тоже играло тут свою роль, заставляя его относиться к замечаниям Эрлангера серьезнее, чем, возможно, относился к ним сам Эрлангер; К. указал на то, что был вызван Момусом к Эрлангеру на определенное время и в указанный час явился куда следовало, однако сон Эрлангера не позволил ему войти, он вынужден был ждать, сам не имея возможности и времени выспаться, поскольку...~
К. попытался возразить, но Эрлангер одним движением руки эту его

попытку пресек. — К тому же ваша усталость, судя по всему, вашу говорливость нисколько не уменьшила, — продолжил он. — Вы часами о чем-то болтаете за стенкой, что отнюдь не способствовало моему сну, о безмятежности которого вы якобы так печетесь. — К. снова попытался вставить хоть слово, и опять Эрлангер не дал ему этого сделать. — Впрочем, надолго я вас не задержу, — бросил он, — я лишь хотел просить вас об одном одолжении.

Но тут вдруг он вспомнил о чем-то — и сразу стало ясно, что все это время, в смутном раздражении от помехи, он думал о чем-то еще, так что строгость, с которой он с К. обходился, вероятно, относилась к посетителю только проформы ради, на самом же деле объяснялась досадой на собственную забывчивость, — и нажал кнопку электрического звонка у себя на столе. Из боковой двери — выходит, Эрлангер занимал здесь несколько комнат — немедленно явился слуга. Очевидно, это был один из старших слуг, про которых Ольга рассказывала, сам К. никого из них еще ни разу не видал. Это был довольно низенький, но весьма плотного сложения человечек, с таким же массивным и широким лицом, на котором почти напрочь пропадали маленькие, к тому же постоянно полуприкрытые глазки. Костюм его напоминал костюм Кламма, только был изрядно поношенный да и сидел плохо, особенно бросались в глаза короткие, будто поддернутые рукава, что на таких коротких ручках выглядело и вовсе уж курьезно, словом, костюм был явно с чужого плеча и принадлежал раньше какому-то совсем уж коротышке, не иначе слуги носили старые вещи чиновников. Видимо, господское платье тоже как-то подпитывало их пресловутую заносчивость, вот и этот слуга, явившись на звонок, явно полагал, что

тем самым работа, которую с него можно спросить, уже исполнена, и уставился на К. с таким суровым видом, словно его если для чего и могли побеспокоить, то лишь для того, чтобы К. выпроводить. Эрлангер, напротив, безмолвно ожидал, когда же слуга выполнит некую повседневную, привычную, не требующую особых распоряжений обязанность, ради которой, собственно, он слугу и вызвал. Поскольку же его безмолвное повеление не исполнялось и слуга по-прежнему лишь таращился на К. то ли грозным, то ли укоризненным взглядом, Эрлангер в гневе топнул ногой и почти вытолкал К. — тому, без вины виноватому, опять пришлось расхлебывать последствия чужих упущений — из комнаты. Когда некоторое время спустя и, надо признать, гораздо дружелюбней его пригласили войти снова, слуги в комнате уже не было, а единственной переменой, которую К. заметил, оказалась выдвижная деревянная перегородка, скрывшая от глаз посетителя кровать, шкаф и умывальник.

— Сущая беда с этими слугами, — пробурчал Эрлангер, что в его устах могло бы показаться изъявлением поразительного доверия к собеседнику, если, конечно, это не был разговор с самим собой. — И вообще бед и забот хватает, — продолжил он, откидываясь в кресло и по-хозяйски опираясь на столешницу кулаками. ~~На сей раз он усадил К. на крайний стул справа, так что поглядывал на него, поскольку головы почти не поворачивал, лишь редко и искоса.~~ — Кламм, мой господин, в последние дни слегка обеспокоен, по крайней мере нам, его подчиненным, тем, кто по долгу службы постоянно с ним рядом и кому надлежит ловить и пытаться истолковать каждое его слово, каждый жест, — нам так кажется. Но это кажется именно нам, то есть это не он обеспокоен

— да и какое беспокойство способно хотя бы коснуться Кламма? — это мы обеспокоены, мы, те, кто вокруг него, обеспокоены и в работе своей почти не в силах от него наше беспокойство скрыть. Разумеется, подобное совершенно нетерпимое положение, во избежание самых скверных последствий, — для каждого, в том числе и для вас, — необходимо пресечь, причем как можно скорей. Мы пытались доискаться до причин и много всего обнаружили, что, возможно, могло послужить виной этому беспокойству. Есть среди них и совершенно смехотворные вещи, что на самом деле отнюдь не столь уж удивительно, ибо от крайне смешного до сугубо серьезного порою всего один шаг. Трудовая жизнь канцелярий, причем именно она в особенности, настолько утомительна, что может вершиться лишь при тщательнейшем соблюдении всех побочных мелочей и при недопущении в этих мелочах желательно никаких, даже самых крохотных изменений. К примеру, такая, казалось бы, ерунда, как чернильница, сдвинутая лишь на ладонь со своего привычного места, способна нарушить ход наиважнейшей работы. Вообще-то следить за всем этим прямая обязанность слуг, однако полагаться на них настолько ненадежно, что большая часть таких работ падает на нас, не в последнюю очередь на меня, кому по этой части приписывают особую зоркость. А надо заметить, что работа эта до крайности деликатная, можно сказать, интимная, конечно, бесчувственными руками слуг ее можно сварганить и за минуты, мне же она доставляет уйму хлопот, ибо далека от основной моей деятельности, и эта вечная причиняемая ею маета, когда то за одно хватаешься, то за другое, способна полностью расшатать любые нервы, правда, не такие крепкие, как у меня. Вы меня понимаете?
К. полагал, что он понимает.
— Так вот, — продолжил Эрлангер, — тогда вы поймете также…]

24

Все в том же отупении он, вероятно, и мимо комнаты Эрлангера прошел бы, если бы сам Эрлангер, стоя в проеме открытой двери, его не поманил. Властно так поманил, одним движением пальца. Он совсем уже собрался уезжать, стоял в черной шубе, наглухо застегнув короткий тугой воротник. Слуга как раз протягивал ему перчатки, а шапку держал наготове.

— Вам давно следовало прийти, — бросил Эрлангер. К. хотел было извиниться, но Эрлангер только устало прикрыл глаза, давая понять, что это лишнее.

— Дело в следующем, — изрек он. — В буфетной прежде прислуживала некая Фрида, я ее только по имени знаю, саму ее не знаю вовсе, да она меня и не интересует. Эта Фрида иногда подавала Кламму пиво. Теперь вместо нее, кажется, другая официантка. Разумеется, перемена не бог весть какая и, надо полагать, ни для кого значения не имеет, а для Кламма и подавно. Однако чем больше и ответственней работа, а работы больше и ответственней, чем у Кламма, просто не бывает, тем меньше у человека сил сопротив-

ляться житейской прозе, вследствие чего всякая, пусть и пустяковая перемена в самых пустяковых вещах может оказаться серьезной помехой. Малейшая перемена на письменном столе, пусть даже всего-навсего устранение давнишнего, с незапамятных времен въевшегося, но привычного пятнышка грязи, может оказаться помехой, вот и новая официантка тоже. Хотя, разумеется, все, что любому другому в любой другой работе помешало бы, Кламму помешать не в силах, об этом и речи быть не может. Тем не менее мы обязаны блюсти покой Кламма с таким тщанием, чтобы даже помехи, которые для него помехами не являются, — а для него, вероятно, вообще не существует помех, — немедля устранять, едва эти возможные помехи попадут в поле нашего зрения. Не ради него лично и не ради его работы устраняем мы эти помехи, но ради самих себя, собственной совести и собственного спокойствия ради. Вот почему этой самой Фриде надлежит немедленно вернуться в буфетную, хотя, возможно, как раз этим она и помешает, что ж, тогда мы ее снова отошлем, но покамест она должна вернуться. Вы, как мне доложили, с ней живете, вот и обеспечьте немедленно ее возвращение. Само собой разумеется, никакие личные чувства тут во

внимание не принимаются, в связи с чем всякое дальнейшее обсуждение этой мелкой надобности я полагаю излишним. И без того я делаю сверх положенного, упоминая вскользь, что если вы оправдаете наше доверие в такой безделице, то для вашего продвижения это при случае может оказаться небесполезным. Вот и все, что я имел вам сказать.

Он кивнул К. на прощание, надел поданную слугой шапку и в сопровождении слуги быстрой, хоть и слегка прихрамывающей походкой двинулся по коридору.

Иногда здесь отдаются приказы, которые очень легко исполнить, вот только легкость эта отнюдь не радовала К. Не потому даже, что приказ касался Фриды и, хоть и мыслился как приказ, для К. звучал издевкой, но прежде всего потому, что из этого приказа на К. глянула полная бесполезность всех его чаяний и устремлений. Приказы, что благоприятные, что неблагоприятные, шли высоко над его головой, и даже в благоприятных, пусть крохотным зернышком, но все равно таилась неблагоприятная сердцевина, да, как ни крути, все приказы шли над его головой, и он слишком низко был поставлен, чтобы хоть как-то в них вмешаться, не говоря уж о том, чтобы их

заглушить, а свой голос донести до тамошнего слуха. Если Эрлангер от тебя отмахивается, что ты тут поделаешь, а если бы и не отмахнулся — что ты сможешь ему сказать? К., правда, осознавал, что усталость навредила ему сегодня больше, нежели все немилости обстоятельств, но тогда почему он, так веривший в собственное тело, в то, что силы его не подведут, кто без этой веры вообще не пустился бы в путь, — почему здесь от нескольких скверных ночей и одной бессонной он так обмяк, почему именно здесь на него навалилась такая неодолимая усталость, здесь, где никто не устает, или, вернее, устает каждый, и устает непрестанно, однако работе это не вредит, скорее наоборот, даже как будто ее подстегивает. Из чего следовало, что у людей здесь, должно быть, какая-то совсем другая, чем у К., усталость. Видимо, усталость счастливого, упоенного труда, нечто такое, что только внешне выглядит усталостью, а на самом деле это несокрушимый покой и несокрушимое умиротворение. Если к полудню ты малость устал, то это лишь верная примета нормального, счастливо прожитого дня. «А у здешних господ будто всегда полдень», — сказал себе К.

Весьма совпадало с этой мыслью и то, что сей-

час, в пять утра, по обе стороны коридора уже замечалось оживление. И была в этом гомоне голосов, доносившихся из комнат, особая жизнерадостность. То он напоминал ликующие крики детворы перед выходом на прогулку, а то вдруг переполох в курятнике, некий общий птичий восторг от жизни в полном согласии с пробуждением дня. Словно в подтверждение вдалеке кто-то из господ даже истошно несколько раз прокукарекал. Впрочем, в самом коридоре пока было пусто, но двери уже пришли в движение, то одна, то другая нет-нет да приотворялась слегка, чтобы тут же захлопнуться, коридор прямо ходуном ходил от этого открывания и хлопанья, да и в просветах над перегородками тут и там К. видел беспокойно высовывающиеся, по-утреннему растрепанные головы, которые, впрочем, мгновенно исчезали. Откуда-то издали медленно выплыла осторожно подталкиваемая слугой небольшая тележка, доверху нагруженная папками. Рядом шествовал второй слуга со списком в руках, очевидно сверяя номера на папках с номерами комнат. Едва ли не у каждой двери тележка останавливалась, дверь обычно сразу отворялась, и причитающиеся документы, иногда всего-навсего один какой-нибудь листок, — в

таких случаях между комнатой и коридором завязывался недолгий, но оживленный разговор, судя по всему, слугу осыпали упреками, — передавались в комнату. Если же дверь оставалась закрытой, бумаги аккуратной стопкой складывались на пороге. В таких случаях, как показалось К., движение дверей по соседству нисколько не успокаивалось, а пожалуй что и усиливалось, хотя в эти двери документы уже были розданы. Должно быть, это соседи алчно поглядывали на оставшиеся на полу, непостижимо почему до сих пор не востребованные папки, не в силах уразуметь, как такое вообще возможно — знать, что достаточно отворить дверь, чтобы забрать причитающиеся тебе документы, и не сделать этого. Не исключено, что бумаги, в конечном счете так и оставшиеся не взятыми, впоследствии распределялись между другими желающими, которые уже сейчас в нетерпении выглядывали в коридор, дабы удостовериться, лежат ли папки на чужом пороге и, значит, сохраняется ли еще надежда их заполучить. Кстати, эти остававшиеся на полу папки чаще всего являли собой особенно толстые кипы, К. даже предположил, что их до поры до времени нарочно не забирают, по зловредности или из хвастовства, либо, напротив, из законной

гордости, давая полюбоваться товарищам. Он еще больше укрепился в своем предположении, когда заприметил, что обычно такая толстенная стопка, достаточно долго покрасовавшись у всех на виду, затем, причем именно тогда, когда никто на нее не смотрел, стремительно и внезапно исчезала в недрах комнаты, дверь за ней поспешно захлопывалась и замирала, как прежде, в полной неподвижности; тогда и соседние двери, не то разочарованные, не то удовлетворенные тем, что предмет их непрестанного беспокойства наконец устранен, мало-помалу утихомиривались, однако потом постепенно опять приходили в движение.

К. наблюдал за всем этим не только с любопытством, но и с живейшим участием. Он чувствовал себя здесь, в самой гуще событий, почти уютно, оглядывался по сторонам и с интересом — хотя и на почтительном отдалении — следовал за слугами, которые, впрочем, уже не раз неодобрительно и строго на него оборачивались, и смотрели исподлобья, и губы кривили, но он все равно за ними шел и глаз не мог оторвать от их важной работы. Работа, впрочем, продвигалась чем дальше, тем бестолковей, то ли в списках было напутано, то ли слуги нужные папки находили не сразу, то ли господ еще что-то не устраивало, — как бы

там ни было, некоторые бумаги явно попадали не по назначению, и приходилось их перераспределять, тележка в этом случае отъезжала назад, и через приоткрывшуюся дверную щелку начинались переговоры о возвращении документов. Переговоры и сами по себе были делом нелегким, однако нередко случалось так, что, едва возникала сама надобность в возвращении, как именно те двери, которые совсем недавно пребывали в живейшем движении, теперь оказывались неумолимо и наглухо закрытыми, словно знать ни о чем не желали. Тогда только и начинались настоящие трудности. Тот, кто считал себя вправе претендовать на недостающие документы, просто изводился от нетерпения, поднимал у себя в комнате невероятный шум, хлопал в ладоши, топотал ногами, а главное, поминутно подбегал к дверной щелке и выкрикивал в коридор номер требуемой папки. В таких случаях тележка нередко вовсе оставалась без присмотра. Один слуга шел увещевать нетерпеливого буяна, другой перед закрытой дверью вел осадные бои за возвращение документов. Обоим приходилось несладко. Не перестававший изводиться и требовать обездоленный чиновник от попыток увещевания часто и вовсе впадал в неистовство,

слушать пустопорожние речи слуги ему было что нож острый, ему не утешения требовались, а документы, один из господ, вне себя от ярости, даже выплеснул на слугу через дверную щель целый таз воды. Второй слуга был, очевидно, рангом повыше, но ему приходилось еще трудней. Если обладатель требуемых бумаг вообще снисходил до переговоров, начинались длительные препирательства, в ходе которых слуга ссылался на свои списки, а чиновник на свои заметки, но также и в особенности как раз на те документы, которые ему надлежало вернуть и которые он покамест цепко укрывал в руках, чтобы даже уголок или краешек плотоядному взгляду слуги ненароком не показался. В поисках новых доказательств слуге тогда либо приходилось спешить обратно к тележке, которая тем временем по наклонному полу коридора потихоньку сама собой откатывалась назад, либо идти к обделенному документами господину, излагать там доводы нынешнего владельца и выслушивать новые возражения претендента. Тянулись подобные переговоры очень долго, покуда стороны наконец не приходили к соглашению; к примеру, если выяснялось, что произошла путаница, один из господ просто отдавал часть бумаг и получал в

качестве возмещения другие, но бывало и иначе, иной бедняга в конце концов лишался всех документов до последнего, то ли доводы слуги загоняли его в тупик, то ли изнурительные переговоры отнимали все силы, в таких случаях он, впрочем, все равно папки в руки слуге не отдавал, а в порыве отчаяния вышвыривал их за дверь, да с такой силой, что завязки рвались и бумаги разлетались по всему коридору, слугам тогда немалого труда стоило их подобрать и снова привести в порядок. Но все это были более или менее пустяки в сравнении с настоящей бедой, а именно когда слуга на свои просьбы о возвращении документов не получал вовсе никакого ответа и, стоя перед закрытой дверью, просил, заклинал, умолял, зачитывал из своего списка, ссылался на предписания, но все понапрасну, из комнаты не доносилось ни звука, а войти туда без разрешения он, судя по всему, не имел права. Тогда даже этого безупречного слугу иной раз покидало самообладание, он шел к своей тележке, сокрушенно усаживался на стопки папок, утирал пот со лба и какое-то время вовсе ничего не делал, только сидел и беспомощно ногами болтал. Между тем интерес к происходящему был вокруг чрезвычайный, отовсюду долетали шепотки и

шушуканье, мало какая дверь оставалась в покое, а сверху, в проеме между стенками и потолком, за ходом событий наблюдали странные, почему-то почти целиком закутанные платками физиономии, тоже ни секунды не желая задержаться на месте, — они то появлялись над стенкой, то исчезали. Посреди этого смятения К. успел заметить, что дверь Бюргеля все время оставалась закрыта, хотя слуги с тележкой эту часть коридора уже миновали, причем Бюргелю никаких папок не досталось. Конечно, может, он все еще спит, что, впрочем, при таком шуме свидетельствовало о поистине богатырском сне, но почему он никаких бумаг не получил? Лишь очень немногие комнаты, вдобавок, судя по всему, явно без жильцов, оказались обойдены подобным образом. Зато в комнате Эрлангера уже воцарился новый, особенно неспокойный постоялец, не иначе он Эрлангера среди ночи из номера буквально выжил; с холодными, самоуверенными манерами Эрлангера подобное представление вязалось плохо, однако то, что Эрлангеру пришлось дожидаться К. на пороге, позволяло и такую мысль по крайней мере допустить.

От всех этих побочных наблюдений К. вскорости снова и снова возвращался к слуге. Воистину,

ничего из того, что К. приходилось здесь вообще слышать о слугах, об их нерадивости, высокомерии, об их сытом и беззаботном житье-бытье, об этом слуге ну никак сказать было нельзя. Бывают, значит, и среди слуг исключения, а точнее, наверное, есть и среди них свои разные группы, ибо здесь, как заметил К., между всеми существуют какие-то особые ранги и различия, о каких он прежде и отдаленно понятия не имел. В этом слуге К. особенно нравилась его неуступчивость. В борьбе с упрямыми комнатушками — К. очень часто казалось, что это именно борьба с комнатами, ведь обитателей он почти не видел, — он и не думал сдаваться. Да, иногда он уставал — а кто бы не устал? — но, уже вскоре отдохнув, спрыгивал с тележки и, стиснув зубы, бесстрашно шел в очередную атаку на неприятельскую дверь. Случалось, что наступление его и дважды, и трижды бывало отбито, причем весьма простым способом, одним только иезуитским молчанием, но он все равно не желал признавать себя побежденным. Убедившись, что атакой в лоб ничего не добиться, он прибегал к другим способам, к примеру, сколько мог судить К., решал взять противника хитростью. Тогда он для вида оставлял дверь в покое, позволяя ей, так сказать, до конца

израсходовать арсенал молчания, а сам тем временем занимался другими дверьми, но немного погодя возвращался, подзывал второго слугу и начинал вместе с ним, причем нарочито деятельно и шумно, выкладывать у порога злополучной двери кипы бумаг, словно в его намерениях все переменилось и теперь он должен не забрать у господина за дверью какие-то документы, а, совсем наоборот, добавить ему новые. Проделав все это, он шел дальше, не спуская, однако, с пресловутой двери глаз, и, когда господин, как это обычно не замедляло случиться, уже вскоре осторожно приоткрывал дверь, чтобы втянуть в комнату вожделенные папки, слуга в два прыжка подлетал к двери и, просунув мысок ботинка в щель, вынуждал обитателя по крайней мере вступить с ним в переговоры лицом к лицу, что в конечном счете обычно все-таки приводило к более или менее взаимоприемлемому решению. Если же уловка не срабатывала или если он считал подобный способ для данной двери неподходящим, он заходил совсем с другого конца. Тогда основные усилия сосредоточивались на господине, который заявлял притязания на документы. Отодвинув плечом товарища — тот, похоже, вообще работал без выдумки,

машинально и явно был у напарника лишь на подхвате, — он шепотом, с таинственным видом, глубоко просунув голову в дверь, начинал уговаривать господина сам — вероятно, сулил особенно большие порции на будущее, а другого господина обещал при ближайшей раздаче бумаг примерно наказать за упрямство, по крайней мере, он то и дело указывал на дверь этого господина и нехорошо смеялся, насколько вообще в силах был смеяться при такой-то усталости. Но были и такие случаи — один, два, не больше, — когда он вроде бы от дальнейшей борьбы вовсе отказывался, однако и тут у К. сложилось впечатление, что отказ скорее притворный или, по крайней мере, по обоснованным причинам, ибо тогда слуга спокойно двигался дальше, терпеливо снося шум, поднятый обделенным господином, и даже на него не оглядываясь, только время от времени мучительно закрывая глаза, — тут-то и становилось видно, до какой степени он от этого шума страдает. Постепенно и обиженный господин успокаивался: как мало-помалу переходит во все более редкие всхлипывания детский плач, так стихали понемногу и его крики, однако и после наступления полной тишины за дверью нет-нет да и раздавался вдруг короткий вопль, или сама

дверь ненадолго приотворялась, чтобы тотчас захлопнуться. Как бы там ни было, выяснялось, что и в этом случае слуга, вероятно, действовал совершенно правильно. В конце концов остался только один постоялец, который все никак не желал успокоиться, он надолго замолкал, но лишь чтобы собраться с силами, после чего принимался орать пуще прежнего. Не вполне было ясно, с чего он так надрывается и чем недоволен, может, распределение документов было тут вовсе ни при чем.

Слуги тем временем свою работу закончили, но на тележке по недосмотру помощника осталась одна бумажка, не больше блокнотного листка, и оба не знали, кому она предназначается. «А ведь это вполне может быть и к моему делу листок», — пронеслось в голове у К. Не зря староста ему все время про мельчайший из случаев талдычил. И К., сколь смешным и вздорным ни казалось ему, в сущности, собственное предположение, начал потихоньку подбираться к слуге, который стоял, задумчиво разглядывая бумажку. Подбираться было совсем не просто, ибо у слуги все дружелюбные поползновения К. ни малейшей симпатии не вызывали; даже в самый разгар работы он не упускал возможность сердито, досадливо, с

каким-то нервным подергиванием головы на К. оглянуться. И только теперь, покончив с раздачей бумаг, похоже, на время о К. позабыл да и вообще стал поравнодушней, что вполне объяснялось крайним утомлением, вот и с листочком он особо не усердствовал, может, даже и не читал его вовсе, только делал вид, и, хотя вручением этой записки любого из обитателей комнат мог бы сейчас осчастливить, рассудил по-своему, он этой раздачей уже по горло был сыт, знаком, приложив палец к губам, приказал своему напарнику молчать и быстро — К. был еще далеко и все равно бы не успел — порвал листок на мелкие клочки, а клочки сунул в карман. Это было, пожалуй, первое служебное нарушение, которое К. наблюдал в работе здешних канцелярий, да возможно, и не нарушение вовсе, возможно, он просто что-то недопонял. А даже если и нарушение, оно вполне простительно, при порядках, которые тут царят, человек просто не в состоянии работать безупречно, скопившееся нервное напряжение когда-то неминуемо должно прорваться, и, если срыв выразился лишь в изничтожении мелкой бумажки, это еще полбеды. Коридор по-прежнему оглашали пронзительные крики безутешного господина, его сотоварищи, в остальном отнюдь

не склонные друг друга жаловать и жалеть, в отношении этих воплей, похоже, были совершенно единодушны, постепенно даже стало казаться, что буйный господин вызвался производить шум за всех, а остальные дружно подбадривают его кивками и возгласами, мол, не останавливайся, дальше давай. Однако слугу все это уже нимало не заботило, он свое дело сделал, жестом указал напарнику на ручку тележки, чтобы тот ухватился, и откуда они пришли, туда и ушли, только более весело и споро, тележка перед ними так и подпрыгивала на ходу. Лишь однажды они еще разок вздрогнули и обернулись, когда непрестанно орущий господин, под дверью которого К. теперь как раз слонялся, — уж очень любопытно было выяснить, чего все-таки тот добивается, — явно не удовлетворенный одним только криком, видимо, обнаружил кнопку электрического звонка, понял, что вместо крика может звонить, и в полном восторге от такого облегчения принялся трезвонить что есть силы и без умолку. Другие комнаты откликнулись на это дружным гулом, видно, находчивость господина все одобряли, видно, он сделал то, что все давно хотели сделать, но по непонятным причинам воздерживались. Может, этим звонком господин звал прислугу,

может, даже Фриду? Тогда ему долго придется звонить. Фрида сейчас другим занята: наверно, заворачивает Иеремию в мокрые простыни, а если тот вдруг успел поправиться, у нее тем более нет времени, тогда она в его объятиях нежится. И тем не менее звонок возымел свое действие немедленно. Из недр коридора уже спешил собственной персоной хозяин гостиницы, как всегда, в черном и застегнутый на все пуговицы, только на сей раз, похоже, он о своем достоинстве напрочь позабыл, так он несся, руки слегка вразлет, словно его позвали из-за большой беды, которую он вот сейчас голыми руками схватит и задушит прямо у себя на груди; от всякого, даже кратчайшего перебоя в звонке он, казалось, слегка подскакивает и припускается еще быстрее. Позади него, на большом расстоянии, появилась вдалеке и супруга, она тоже бежала раскинув руки, но коротенькими, кукольными шажками, К. еще подумал, что уж ей-то вовремя точно не поспеть, пока она добежит, хозяин все уладит. Давая простор стремительной хозяйской побежке, К. прижался к стене. Но трактирщик почему-то как раз возле К. остановился, словно к нему и бежал, тут и жена его подоспела, и оба они вдруг накинулись на К., осыпая его упрека-

ми, которых он, ошарашенный их обилием и неожиданностью, вовсе не понимал, особенно потому, что звонок господина продолжал трезвонить и теперь к нему присоединились другие звонки, эти, видно, не в знак тревоги, а скорее, из озорства и просто от избытка удовольствия. К., поскольку ему важно было понять, в чем его обвиняют, охотно позволил хозяину взять себя под руку и отвести подальше от этого шума, который между тем все усиливался, ибо позади них — К., впрочем, боялся оборачиваться, ведь в затылок ему беспрерывно что-то сердито тараторили с одной стороны хозяин, с другой, еще яростнее, хозяйка, — позади них теперь настежь распахивались двери, в коридоре бурлила жизнь, там, словно в узком, но бойком переулочке, нарастал шум и гул голосов, а двери перед ними, казалось, в нетерпении только и ждут, когда же К. наконец пройдет мимо, чтобы выпустить своих обитателей, и над всем этим, словно в ознаменование некой победы, наперебой со всех сторон и изо всех сил ликующе заливались звонки. Только теперь наконец — они уже вышли на тихий, заснеженный двор, где стояли в ожидании отъезда несколько саней, — К. постепенно узнал, в чем, собственно, дело. Ни хозяин, ни хозяйка

просто понять не могли, как это К. мог себе такое позволить. Да что он такое совершил? К. снова и снова задавал этот вопрос, но долго еще не мог ничего толком выспросить, ибо вина его казалась хозяину с хозяйкой столь очевидной и само собой разумеющейся, что допустить с его стороны отсутствие злого умысла им и в голову не приходило. Не сразу, лишь очень медленно К. уяснил себе суть происшедшего. Оказывается, он не имел права находиться в коридоре, ему вообще, в порядке одолжения и то временно, дозволен доступ лишь в буфетную. Если он вызван кем-то из господ, ему, разумеется, надлежит явиться к месту вызова, постоянно, однако, держа в уме — у него что, вообще соображения нет такую простую вещь понять? — что он находится там, где ему находиться не положено, куда кто-то из господ с крайней неохотой затребовал его исключительно в силу служебной надобности. А значит, ему следует как можно скорей явиться и затем, по возможности еще скорее, сгинуть с глаз долой. Неужели, находясь в коридоре, он сам не почувствовал, сколь неуместно его присутствие? А если почувствовал, как же мог так запросто, так бездумно, будто скотина на лугу, там разгуливать? Разве не был он вызван на ночной

допрос и разве не знает, для чего введены ночные допросы? Ночные допросы — тут К. открылось еще одно толкование их смысла — имеют только одну цель: как можно скорее, ночью, при неярком искусственном освещении, выслушать посетителей, вид которых при свете дня господам совершенно непереносим, дабы после допроса поскорее заснуть и во сне немедленно позабыть всю эту мерзость. А К. своим поведением над всеми правилами и мерами предосторожности будто назло глумиться изволил. Призраки, и те под утро исчезают, но К. и не подумал исчезнуть, он остался, руки в брюки, словно выжидая, коли сам он сгинуть не намерен, что сгинет весь коридор со всеми его комнатами и обитателями. И может не сомневаться, так оно неминуемо бы и случилось, будь это хоть сколько-нибудь возможно, ибо щепетильность и деликатность господ беспредельны. Ни один не стал бы, допустим, прогонять К. и даже не приказал бы ему, хоть это и была бы самая естественная вещь на свете, чтобы он наконец ушел, никто ничего такого не стал бы делать, пусть от одного присутствия К. господ, должно быть, просто трясло, и утро, самое любимое их время, оказалось для них отравлено напрочь. Вместо того чтобы предпринять хоть

что-то против К., господа предпочли страдать сами, правда, не без тихой надежды, что К. наконец узрит то, чего не заметить невозможно, и, осознав страдания других, сам начнет нестерпимо страдать оттого, что столь нелепо, до ужаса неуместно, на виду у всех ясным утром стоит посреди коридора. Напрасные надежды! Эти господа не знают или по дружелюбию своему, из снисходительности не желают знать, что бывают столь жестокие, бесчувственные сердца, не ведающие ни трепета, ни почтения. Даже ночной мотылек, жалкое насекомое, с наступлением дня ищет тихое местечко, где бы распластаться и замереть, мечтая вовсе исчезнуть и страдая оттого, что исчезнуть невозможно. Другое дело К. — он становится там, где его всего виднее, и пусть хоть вовсе не рассветай, он с места не сдвинется. Разумеется, воспрепятствовать наступлению дня он не может, однако затруднить, замедлить, к сожалению, может вполне.

Разве не наблюдал он за раздачей документов? Наблюдал за тем, за чем никто, кроме ближайших посвященных и участников, наблюдать не смеет. На что ни трактирщик, ни трактирщица в своем собственном доме себе взглянуть не позволяют. О чем они иногда только слышат кое-что, как вот

сегодня от слуги. Разве не заметил он, с какими трудностями сегодня происходила раздача документов, одно это уму непостижимо, ведь каждый из господ предан только делу, о собственной выгоде никогда и думать не станет, а значит, всеми силами должен стремиться, чтобы распределение бумаг, эта важная, основополагающая часть работы, шла быстро, легко и без сбоев? Неужто у К. вправду и проблеска догадки не было, что главная причина всех затруднений в том, что раздача бумаг производилась, по сути, при закрытых дверях, то есть в условиях, когда господа лишены возможности непосредственного общения, ибо между собой они, разумеется, все вопросы и недоразумения разрешили бы в два счета, в то время как распределение через посредство слуг продолжается часами, никогда не обходится без нареканий, для господ и для слуг это сплошная мука, которая, вероятно, еще и на дальнейшей работе пагубными последствиями скажется? Что, К. все еще ничего не понимает? Ничего похожего хозяйка — и хозяин со своей стороны это подтвердил — в жизни не встречала, а уж они на своем веку всяких повидали чудаков да упрямцев. Вещи, о которых и говорить-то неловко, ему приходится растолковывать вслух, а как иначе, если

он самого простого и необходимого не понимает? Так вот, раз уж он без слов не понимает: из-за него, исключительно и только из-за него одного, господа не могли выйти из своих комнат, ведь по утрам, сразу после сна, они слишком стыдливы, слишком ранимы, чтобы показываться на глаза посторонним, они чувствуют себя, сколь бы безупречно ни были они одеты, форменным образом обнаженными, слишком обнаженными для посторонних глаз. Трудно сказать, чего они так стыдятся, возможно, они, эти вечные труженики, стыдятся только того, что спали. Но еще больше, чем показываться на глаза посторонним людям, они стыдятся этих посторонних видеть; только благодаря ночным допросам худо-бедно вытерпев столь невыносимое для них зрелище посетителей, они, разумеется, меньше всего хотят сейчас, ранним утром, сталкиваться с этим же безобразием снова, причем внезапно, лицом к лицу и во всю его натуральную величину. Зрелище это и вправду выше их сил. И каким надо быть человеком, чтобы не проявить тут понимания

и сочувствия?{29} Таким, как К., — вот, оказывается, каким! Человеком, который в своем тупом безразличии, в своей угрюмой заспанности не считается ни с чем — ни с законом, ни с границами обыкновеннейшего человеческого уважения и участия, человеком, которому нет дела, что раздача документов из-за него почти сорвана, что репутация солидного заведения под угрозой, и который воистину добивается небывалого, доведя господ до такого отчаяния, что те сами решаются оказать сопротивление и ценой немыслимого для простого смертного насилия над собой хватаются за шнур звонка и зовут на помощь, лишь бы изгнать этого ужасного, ничем иным не прошибаемого человека! Они, господа, зовут на помощь! Да хозяин с хозяйкой, а заодно и вся прислуга, давно бы сюда сбежались, если бы только посмели явиться пред очи господ незваными, вдобавок еще и утром, пусть с одной-единственной целью оказать помощь и тотчас снова исчезнуть. Содрогаясь от возмущения бесчинствами К., в

{29} Варианты: 2.29

И каким надо быть человеком, чтобы не проявить тут понимания и сочувствия? [*Не сообразить, что господам, по крайней мере в первые утренние часы, — не для того ли они и встают достаточно рано? — надо дать спокойно вздохнуть и понежиться в счастливой иллюзии, что наконец-то никаких посетителей нет и они без помех могут пообщаться между собой, из комнаты в комнату.*] Таким, как К., — вот, оказывается, каким!

отчаянии от собственного бессилия, они ждали вот тут, на пороге коридора, и звонок, который они и не чаяли услышать, стал для них истинным избавлением. Слава богу, самое страшное теперь позади! Вот бы им хоть одним глазком взглянуть на ликование и веселую кутерьму наконец-то избавленных от К. господ! Для самого К., впрочем, ничто еще не позади, ему-то, конечно, еще только предстоит ответить за все, что он тут учинил.

Они тем временем дошли до буфетной. Почему хозяин, несмотря на весь свой гнев, тем не менее завел сюда К., было не вполне ясно, видно, понимал все-таки, что в таком виде негоже человека из дома выпускать. Не дожидаясь приглашения сесть, К. буквально плюхнулся на одну из бочек. Здесь, в полумраке, было хорошо. В просторном зале горела лишь одна тусклая электрическая лампочка над пивными кранами. За окнами еще чернела кромешная темень, похоже, там вдобавок и мело. А он тут в тепле, за одно это благодарить надо и постараться, чтоб не выгнали. Хозяин с хозяйкой по-прежнему стояли над ним, словно он все еще представляет собой некоторую опасность, словно никак нельзя исключить, что при таком непредсказуемом нраве он вдруг вскочит и опять в коридор попрется. Они, впрочем, и

сами устали от ночного переполоха и преждевременной побудки, особенно хозяйка, на которой было сейчас шелковисто шуршащее, с широченной юбкой, коричневое платье, невпопад застегнутое и кое-как подпоясанное, — откуда только она его выкопала в такой спешке? — словно цветок на подломанном стебле, она приникла головкой к плечу мужа, поминутно поднося к глазам кружевной платочек и не забывая в промежутках бросать на К. сердитые взгляды обиженного ребенка. Желая успокоить супругов, К. сказал, мол, все, что те ему сейчас поведали и объяснили, для него совершенная новость, но он, даже ни о чем таком не догадываясь, и сам не собирался так долго торчать в коридоре, где ему действительно нечего делать, и, уж безусловно, не хотел никому причинять страдания, а если это все-таки произошло, то лишь по причине чрезмерной его усталости. Он премного благодарен, что они положили конец этой некрасивой, прискорбной для него сцене. Если же его привлекут к ответственности, он будет даже рад, только так он сможет опровергнуть всеобщие толки и домыслы по поводу своего поведения. Усталость, исключительно она одна всему виной. А усталость у него оттого, что он еще не привык к

утомительным ночным допросам. Ведь он совсем недавно здесь. Вот наберется немного опыта, и ничего подобного ни в коем случае больше не произойдет. Может, он просто слишком серьезно к допросам относится, но ведь само по себе это не порок. А ему пришлось два допроса подряд выдержать, один у Бюргеля, второй у Эрлангера, причем первый был особенно утомительным, второй-то недолго продолжался, Эрлангер просто об одном одолжении его попросил, но оба допроса вместе оказались выше его сил, может, и для кого другого, вот хоть для господина трактирщика, такое тоже было бы чересчур. После второго допроса он, можно сказать, на ногах едва держался. Он и вправду был почти как пьяный — он же обоих господ впервые видел, а тут ведь и слушать пришлось, и отвечать. Но сколько он может судить, на допросах в итоге все довольно хорошо обошлось, и лишь потом приключилось злосчастное недоразумение, которое после всего происшедшего вряд ли можно поставить ему в вину. К сожалению, о состоянии его только Эрлангер и Бюргель знали и наверняка бы о нем позаботились, предотвратив тем самым дальнейшее, но Эрлангеру сразу после допроса надо было уходить, видимо, чтобы в Замок ехать, а Бюргель,

вероятно, и сам сморенный допросом, — как же, спрашивается, ему, К., от такого допроса не обмякнуть? — тотчас заснул и даже всю раздачу документов проспал. Да будь у К. подобная возможность, он бы с превеликой радостью ею воспользовался, охотно отказавшись от любых запретных зрелищ, тем более что он хотя и смотрел, но видеть ничего толком не видел, так что даже самые стеснительные из господ спокойно, без малейшей опаски могли ему показываться.

Упоминание двух допросов, в особенности у Эрлангера, а также почтение, с каким К. говорил о господах, явно расположили хозяина в его пользу.{30} Казалось, он не прочь выполнить просьбу К. — положить на бочки доску и дать ему поспать хотя бы до рассвета, однако жена его была явно против, без всякого толку тут и там оправляя платье, беспорядок которого лишь сейчас стал доходить до ее сознания, она снова и снова

{30} Варианты: 2.30

Упоминание двух допросов… явно расположили хозяина в его пользу. [*Он, так и быть, уже согласился позволить К. положить на две бочки доску и немного поспать, однако хозяйка решительно этому воспротивилась, лишь немедленное выдворение К. из гостиницы казалось ей достаточной гарантией от дальнейших скандалов. И только когда супруг объяснил ей, что К., вероятней всего, вскорости вызовут снова, и если оставить его здесь, то, глядишь, и дело его быстрее уладится, а значит, и от него самого можно будет избавиться окончательно, — лишь выслушав этот довод, хозяйка, после некоторого размышления, согласилась.*] Казалось, он не прочь…

недовольно покачивала головой, и казалось, пресловутый стародавний спор насчет чистоты в доме вот-вот разгорится с новой силой.{31} А в глазах К., видимо от крайней усталости, разговор супругов приобрел чрезмерное значение. Быть выгнанным еще и отсюда казалось ему сейчас бедствием куда более страшным, нежели все предыдущие пережитые им несчастья. Этого никак нельзя допускать, даже если хозяин с хозяйкой, забыв разногласия, вдруг вдвоем против него ополчатся. Скорчившись на бочке, он прислушивался к их разговору, не спуская с обоих глаз. Как вдруг хозяйка со свойственной ей вспыльчивостью — К. с самого начала за ней это подозревал, — решительно отступив в сторону (вероятно, они с супругом и говорили уже совсем

{31} Варианты: 2.31

…казалось, пресловутый стародавний спор насчет чистоты в доме вот-вот разгорится с новой силой.

[*1. Этого хозяин явно испугался и с внезапной суровостью указал К. на дверь. К. со вздохом встал, его слегка подмывало хозяйке отомстить, и он слишком устал, чтобы этому соблазну противиться.*

— Ты, наверно, думаешь, что особенно красиво нарядилась. Да оставь ты в покое пуговицы, оттого, что ты их застегнешь, лучше не станет. Ты одета так, что даже мне, кому ты часок прикорнуть здесь не позволила, на тебя смотреть жалко. Если у тебя есть портниха, считай, что она тебя обманывает. Твои платья вообще как не на тебя пошиты. Это старые, чужие платья, а ты только потому, что они шелковые и вид у них богатый, их напяливаешь. Постыдилась бы! У тебя, наверно, вся комната этими платьями битком забита, и ты думаешь, будто это бог весть какое сокровище. А ведь ты еще молода,

стройна и вполне могла бы красиво одеваться, как и подобает хозяйке «Господского подворья».

Слова К., против его ожиданий, хозяйку не разозлили, а скорей напугали, она отпрянула к стене, в панике обжимая на себе пышное платье. Хозяин же только рассмеялся, и, хотя очевидно было, что К. над хозяйкой подшучивает, так что и посмеяться было не грешно, смех этот показался К. грубым и недостойным, так что он посчитал для хозяина вполне заслуженным наказанием, когда его жена, внезапно передумав, вдруг позволила К. спать на бочках. В сущности, ему было глубоко наплевать, почему она вдруг передумала, главное было само разрешение, он вытащил из угла постель, которую еще прежде там углядел, краем сознания успел отметить, что ему помогает кто-то еще, наверно, судя по шуршанию платья, это была Пепи, стянул с себя сюртук, скатав, сунул его под голову вместо подушки, уже не глядя на хозяина с хозяйкой, блаженно вытянулся, успев отмахнуться еще от кого-то, кто склонился над ним, похоже, это был Герштекер, и тотчас же заснул.

2. ~~Она смотрела на К. сердито, да и хозяин его явно побаивался.~~ К. смерил хозяйку сердитым взглядом с головы до ног, впрочем, наверно, не такая уж она страшная, вообще-то ему ведь не запрещено здесь находиться, а что она сейчас его гонит — это просто минутная блажь. Смутно догадываясь, что если хозяйку как-то отвлечь, то она, вероятно, про такую мелочь, как возможная ночевка К., просто забудет, К., встревая в тихую беседу супругов, громко сказал:

— А не сказать, чтобы ты красиво одета.

Хозяин удивленно оглянулся, решив, что ему послышалось, и явно собирался переспросить К., что это он такое говорит. Однако возглас хозяйки его опередил.

— Молчи! — крикнула она, что в равной мере могло относиться и к К., и к ее мужу. — А ты разве что-нибудь понимаешь в платьях? — с напряженной улыбкой спросила она затем.

— Нет, — ответил К., успев подумать, что разрешение на ночевку ему

уже почти обеспечено.

— Тогда попридержи лучше язык, — приказала хозяйка.

— Вовсе не обязательно, — отвечал К., медленно поводя отяжелевшей от усталости и недосыпа головой сперва в одну, потом в другую сторону, — что-то понимать в платьях, чтобы твой наряд оценить.

— Да как же ты можешь его оценить? — спросила хозяйка, напрочь забывая, что пускается в серьезный разговор с человеком много ниже себя, и отмахиваясь от супруга, который тщетно пытался ей об этом напомнить. — Разве у кого-нибудь в деревне ты подобные платья видал? Да ты на такие платье еще и смотреть-то не научился. Во всей деревне ни у кого таких платьев нет.

— А иначе и быть не может, — невозмутимо отозвался К. — Потому как если б ты хоть на ком-нибудь такое платье увидела, сразу бы поняла, что к чему, и больше бы носить не стала.

— И что же такое я бы поняла? — почти выкрикнула хозяйка, отталкивая от себя руку мужа, который порывался погладить ее по плечу и успокоить. — И как вообще ты смеешь судить о моих платьях, увидев только это одно, первое попавшееся, которое я впопыхах кое-как надела, когда из-за тебя, баламута непутевого, в господский коридор помчалась?

— Что беспокойство причинил — виноват, — сказал К., — да уж прости ты мне этот грех наконец, а вот в платье твоем моей вины нет. К тому же я и другое видал, светло-коричневое, почти бежевое, шерстяное, которое на тебе несколько дней назад было, когда я в первый раз сюда пришел. — И внезапно, заставляя забыть о всех прежних уловках и хитростях, на него вдруг накатило какое-то почти яростное отвращение к этим платьям, и он добавил, смутно чувствуя, что на самом деле причиной всему, быть может, только его усталость: — Да и зачем мне по отдельности на платья смотреть? Разве по тебе самой не видно, что у тебя целая комната такими платьями битком забита и ты думаешь, будто это бог весть какое сокровище.]

о другом), обиженно воскликнула:

— Нет, как он на меня пялится! Да выстави ты его, наконец!

Однако К., решив, что другого случая может не представиться, и уже в твердой — будь что будет! — убежденности нипочем отсюда не уходить, сказал ей:

— Я не на тебя, я на платье твое смотрю.

— Платье? — опешила хозяйка. — При чем тут платье?

К. только плечами передернул.

— Пойдем, — сказала хозяйка мужу. — Он пьян, этот олух! Пусть проспится сперва.

И она приказала Пепи — та выплыла из темноты на ее оклик, растрепанная, усталая, волоча швабру в ленивой руке, — бросить К. какую-нибудь подушку.

25

Пробудившись, К. сперва решил, что вообще почти не спал: в буфетной было по-прежнему тепло и пусто, стены тонули во мраке, та же лампочка тускло мерцала над пивными кранами, та же темень чернела за окнами. Но едва он потянулся, отчего бочки и доска под ним слегка громыхнули, а подушка свалилась, как вошла Пепи, тут-то он и узнал, что уже вечер и что проспал он больше полусуток. Хозяйка за день несколько раз о нем спрашивала, да и Герштекер, который спозаранку, когда К. с ней беседовал, здесь, в темном углу за пивом его дожидался, потом снова забегал на К. взглянуть, но будить его не осмелился, а в конце концов вроде бы и Фрида зашла и какое-то время около него постояла, правда, она вряд ли из-за К. приходила, просто ей тут кое-что приготовить нужно, ведь с ночи она заступает на свою прежнюю службу.

— Что, она тебя больше не любит? — спросила Пепи, подавая К. кофе с пирожными.

Но спросила без прежнего своего злорадства, скорее грустно, словно за истекший срок успела изведать всю злую жестокость мира, против

которой собственная злость бессильна и бессмысленна. Теперь она говорила с К. как с товарищем по несчастью и, когда он попробовал кофе и ей показалось, что кофе на его вкус недостаточно сладкий, побежала и принесла ему полную сахарницу. Никакая грусть не помешала ей, впрочем, прихорошиться сегодня еще смелее, чем в прошлый раз; всяких бантиков и ленточек, вплетенных в волосы, было больше чем достаточно, вокруг лба и висков пушились мелкие, тщательно завитые кудряшки, а на шее, упадая в глубокий вырез блузки, поблескивала цепочка. Однако, когда К., в полном довольстве от выпитого ароматного кофе, а главное, оттого, что наконец-то всласть выспался, украдкой шаловливо потянул за кончик бантика, норовя его развязать, Пепи только устало вымолвила: «Да брось ты!» — и присела рядом с ним на бочку. К. и расспрашивать не пришлось, что у нее за кручина, она сама принялась рассказывать, не сводя глаз с его кофейной чашки, словно во время рассказа ей обязательно нужно отвлечься, словно, думая и говоря о своем горе, она не может отдаться ему всецело, это выше ее сил. Перво-наперво К. узнал, что, оказывается, именно он виноват во всех ее несчастьях, но она зла на

него не держит. В подтверждение своих слов, как бы не давая К. возразить, она то и дело истово кивала. Сперва он умыкнул Фриду из буфетной и тем открыл для Пепи неожиданный путь наверх. Даже и не придумаешь, что еще могло бы подвигнуть Фриду оставить такую должность, ведь она засела у себя в буфетной, словно паучиха в паутине, от нее во все стороны ниточки тянулись, только ей одной известные; против воли ее с этого места выкурить было совершенно невозможно, только любовь к человеку низшего ранга, то есть нечто с ее должностью напрочь несовместимое, могла ее с этого места согнать. А Пепи? Разве помышляла она заполучить такое назначение? Она всего лишь горничной была, на самой неприметной должности, без особых видов на будущее, конечно, и она, как всякая девушка, мечтала о своей сказке, мечтать-то никому не запретишь, но всерьез о продвижении не думала, довольна была тем, что есть. И тут вдруг Фрида исчезает из буфетной, да еще так внезапно, что у хозяина подходящей замены под рукой нету, он искал кого придется, его взгляд случайно упал на Пепи, она, правда, и сама постаралась вперед протиснуться да вовремя на глаза ему попасться. В те дни она любила К., как, наверно, никого в

жизни не любила, ведь она месяцами внизу, в своей крохотной темной каморке, сидела и была готова еще годы, а в худшем случае и всю жизнь, так никем и не замеченная, там прозябать, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется К., герой, девичий освободитель и заступник, и путь наверх перед ней расстилает. Он, правда, о ней и ведать не ведал, не ради нее и подвиг свой совершил, но от этого благодарности в ней не убавилось, и в ночь накануне выхода на новое место — правда, назначение еще не состоялось, но вероятность уже была большая — она часами с ним мысленно разговаривала, всё слова свои благодарные ему на ушко нашептывала. А еще больше возвышало его подвиг в ее глазах то, что совершил он его ради Фриды, что такое бремя на себя взвалил, в этом какое-то непостижимое самоотречение чувствовалось, — что он, Пепи из подземелья вызволяя, Фриду своей возлюбленной сделал, именно Фриду, некрасивую, старообразную, тощую Фриду, с ее жиденькими, куцыми волосенками, вдобавок вечно скрывающую какие-то тайны, это, наверно, с ее внешностью связано; если с лица и фигуры показать нечего, надо, по крайней мере, какие-нибудь тайны себе придумать, которые и не проверишь, есть они вообще

или нет, ну, например, что она якобы с Кламмом любовь крутит.

И даже такие мысли Пепи тогда в голову приходили: неужто возможно, что К. и правда Фриду любит, может, он обманывается, а может, даже и не сам обманывается, а только Фриду обманывает? И тогда итогом всего только одно и получится — ее, Пепи, возвышение, а К. заметит свою ошибку или не захочет дольше ее скрывать и на Фриду уже смотреть не станет, только на Пепи, со стороны Пепи это вовсе не такое безумное самомнение, как девушка с девушкой она с Фридой запросто потягаться может, тут и спорить не о чем, ведь только должность и блеск, который Фрида своей должности умела придать, — вот что К. в первую секунду ослепило. Ну и Пепи мечтала, что, когда она займет это место, К. сразу к ней придет, просить-умолять станет, а у нее будет выбор — либо к мольбам К. снизойти и потерять место, либо К. отвергнуть и дальше наверх продвигаться. И она для себя уже решила, что все отринет и со своих высот к К. снизойдет, чтобы его настоящей любви научить, какой он у Фриды в жизни бы не изведал и какой нет дела ни до каких, пусть самых почетных на свете должностей. Только потом все совсем иначе обернулось. А кто все-

му виной? Прежде всего он, К., а еще, конечно, Фридина пронырливость. Но прежде всего сам К., ведь разве поймешь, чего ему надо и что он за странный такой человек? К чему он стремится, что за важные вещи такие беспрестанно его занимают, из-за которых он того, что совсем рядом, самого лучшего, самого прекрасного, готов не замечать? Теперь вот Пепи жертва, и все по-глупому вышло, все потеряно, и найдись смельчак, который поджег бы все «Господское подворье» и спалил дотла, чтобы и следа не осталось, как от бумажки в печи, вот такой удалец сей же час стал бы ее избранником. Да, вот так Пепи и пришла в буфетную, сегодня уже четыре дня как, перед самым обедом. Работа здесь нелегкая, на такой и угробиться недолго, но и достичь можно многого. Пепи и прежде никогда одним днем не жила, и хотя даже в самых отчаянных мечтах на такое место не рассчитывала, однако наблюдать-то все равно наблюдала, и знает, что тут к чему, нельзя сказать, будто она вовсе без подготовки на это место шла. Да вовсе без подготовки за такую работу лучше и не браться, иначе в первый же час вылетишь. Особенно если с повадками горничной вздумаешь сюда лезть. Ведь в горничных со временем совсем заброшенной и забытой

себя чувствовать начинаешь, это работа как в шахте, по крайней мере в секретарском коридоре, там целыми днями никого не увидишь, кроме нескольких дневных посетителей, да и те прошмыгнут все равно что тени, глаз не смеют поднять, за целый день живой души не встретишь, разве что двух-трех других горничных, так они забитые и угрюмые не меньше твоего. По утрам из комнаты вообще выйти не смей, утром секретари промежду собой оставаться желают, еду им из кухни приносят слуги, с едой горничные обычно дела не имеют, а во время еды опять-таки в коридор носа не кажи. И лишь когда господа за работу приняться изволят, горничным разрешено уборку делать, но, конечно, не в тех комнатах, где живут, а только в таких, которые пустуют, притом убирать надо тихо-тихо, господа ведь работают, мешать им нельзя. Только тихо-то как убирать, когда господа в этих комнатах по многу дней живут, да и слуги там хозяйничают, а это сброд хуже некуда, свиньи просто, так что когда комната наконец освобождается для уборки, она в таком состоянии, что никаким всемирным потопом не отмыть. Оно конечно, господа важные птицы, а только убирать после них иной раз никакого отвращения не хватит. Вроде бы

работы у горничных не слишком много, зато работа эта будь здоров. И никто доброго слова не скажет, вечно одни попреки, и самый частый, самый живодерский из них — что после уборки опять пропали документы. На самом деле ничего не пропало, мы каждую подобранную бумажку хозяину сдаем, но документы ведь и вправду пропадают, только уж точно не по вине горничных. И тогда являются комиссии, и девушек выставляют из комнат, и комиссии эти в постелях наших роются; а у горничной и имущества считай что нету, весь ее скарб в заплечном коробе умещается, и тем не менее комиссии иной раз часами все обыскивают. Ясное дело, ничего не находят, да и как попасть туда документам? Нам, горничным, документы эти на что нужны? А кончается все опять же бранью и угрозами — раздосадованная комиссия уходит ни с чем, а хозяин нам потом все ее «ласковые» отзывы пересказывает. И ни минуты покоя — ни днем ни ночью. Полночи шум и спозаранку шум. Если бы еще там не жить, но жить мы там обязаны, ведь время от времени нам еще полагается заказы господ исполнять, из кухни всякую снедь приносить, это тоже наша работа, особенно по ночам. И то и дело среди ночи стук в дверь, кулаком, что есть силы, и сразу тебе

заказ диктуют, и ты со всех ног вниз на кухню, расталкиваешь сонных поварят, а потом оставляешь заказанное блюдо у дверей комнаты горничных, откуда слуги его забирают, — в общем, веселого мало. Но это не самое страшное. Самое страшное — это когда заказов нет и глубокой ночью, когда всем давно угомониться пора, а большинство и вправду уже спит, кто-то начинает вдруг под дверьми у горничных шастать. Девушки тогда все с кроватей соскакивают — кровати у нас друг над другом, как нары, там вообще очень мало места, по сути, это не комната, а большой такой шкаф с тремя отделениями, — к двери на коленях прильнут, слушают, в страхе друг к дружке жмутся. И все время кто-то у двери шастает. Лучше бы уж вошел, все бы только обрадовались до смерти, но он не входит, только покоя не дает. Тут ведь еще что внушать себе приходится: что это, быть может, никакая не опасность, может, это кто-то просто так взад-вперед под дверью ходит, может, раздумывает, заказ сделать хочет, но не решается. Может, конечно, и так, но, может, и совсем иначе. Ведь самих-то господ мы, по сути, не знаем, мы и не видим их почти. Как бы там ни было, а девушки ночами, когда кто-то этак вот шастает, просто обмирают от страха, а когда

за дверью наконец все стихнет, они уже до того измучены, что только к стенке притулятся и даже на постели влезть у них сил нет. Вот какая жизнь теперь снова ожидает Пепи, сегодня же вечером ей в комнату горничных на койку свою возвращаться. А почему? Только из-за К. и Фриды! Опять назад, в эту жизнь, от которой она едва успела сбежать, от которой хотя и с помощью К., но и ценой собственных неимоверных усилий она все-таки сбежала. Ведь там, в горничных, девушки, даже самые чистюли, все равно себя запускают. Да и для кого прихорашиваться? Кто их видит-то, в лучшем случае повара с кухни, ну если какой интересно, пусть для поваров наряжается. А так вечно только в своей каморке или в господских номерах, куда просто в чистом платье зайти и то глупость и перевод добру. И вечно при искусственном свете, в спертом воздухе — там ведь всегда натоплено — и вечно эта усталость. Единственный свободный вечер в неделю лучше всего провести, спрятавшись где-нибудь в кладовке на кухне, чтобы отоспаться всласть, без всяких страхов. Для чего, для кого тогда, спрашивается, наряжаться да прихорашиваться? Да там вообще чуть не раздетой ходишь. А тут вдруг Пепи переводят в буфетную, где, если, конечно, хочешь

закрепиться, все совсем наоборот нужно, где ты все время на людях, а среди этих людей очень даже избалованные и знающие толк господа попадаются, и выглядеть надо как можно изящней и привлекательнее. Для нее это какой поворот был! И Пепи смело может сказать: она ни в чем не оплошала. Как оно там после обернется, ее ничуть не заботило. Что у нее способности есть, которые для этого места нужны, это она знала, уверена была, она и сейчас в этом убеждена, и убежденности этой у нее никто не отнимет, даже нынче, в день ее поражения. Но вот как ей на первых порах продержаться, это была задачка, ведь она всего-навсего бедная горничная, у нее ни нарядов, ни украшений, а у господ нет терпения подождать да посмотреть, как дело пойдет, им сразу такую буфетчицу подавай, чтобы все при ней, как положено, иначе они отвернутся и не посмотрят больше. Тут впору подумать, дескать, не такие большие у них запросы, коли Фрида их вполне устраивала. Только неправильно так думать. Пепи часто об этом размышляла, ведь они с Фридой не первый год знакомы, бывало, и спали вместе. Фриду нелегко раскусить, и, если внимательно к ней не присматриваться — а кто из господ станет присматриваться? — она кого

хочешь мигом вокруг пальца обведет. Никто лучше самой Фриды не знает, насколько жалкая, убогая у нее внешность; когда в первый раз видишь, к примеру, как она волосы распускает, поневоле от жалости руками всплеснешь, да такую дурнушку, по правде говоря, и в горничные допускать нельзя; и Фрида прекрасно это знает, сколько раз она ночами из-за этого плакала, к Пепи прижималась и ее волосы вокруг своей головы обвивала. Но когда она на службе, все сомнения долой, она самой красивой себя мнит и находит способ каждому это внушить. Она в людях разбирается, в этом главное ее искусство. А врет, глазом не моргнув, быстро так, люди ничего и заметить не успевают.

Разумеется, долго на этом не поживешь, у людей глаза на лбу есть, рано или поздно они ее раскусывают. Но Фрида, едва она опасность учует, тотчас какую-нибудь новую обманку наготове держит, в последнее время, например, что у нее любовь с Кламмом. У нее любовь с Кламмом! Не веришь — можешь проверить, сходи к Кламму да сама спроси. Ах, как хитро, ах, как умно! И даже если ты не посмеешь сунуться к Кламму с подобным вопросом, потому как, будь у тебя вопросы и в тысячу раз важнее, тебя все равно не

пропустят, Кламм для тебя недоступен напрочь (но только для тебя и тебе подобных, Фрида-то заскакивает к нему запросто, когда хочет), даже если ты не посмеешь или тебя не пропустят, — ты, мол, все равно можешь проверить, надо только подождать. Дескать, Кламм, ясное дело, лживые слухи долго терпеть не станет, он наверняка жадно следит за всем, что о нем в буфетной да в номерах судачат, для него это вещи первостепенной важности, и, если узнает, что враки, немедленно опровергнет. А он не опровергает, значит, и опровергать нечего, значит, все чистая правда. И хотя видят люди только одно — как Фрида в комнату Кламма пиво подает и потом с деньгами возвращается, а остальное, чего люди не видят, сама Фрида рассказывает, — ей хочешь не хочешь верят на слово. Да она и не рассказывает даже, станет она всем и каждому такие тайны выбалтывать, но только вокруг нее тайны сами себя выбалтывают, а коли уж тайны разболтаны, то и она упомянуть о них не упустит, но скромно так, невзначай, вроде бы ничего сама не утверждая, дескать, все говорят, ну и я повторяю. Только говорит она совсем не про все, про то, к примеру, что Кламм, с тех пор как она в буфетной, меньше стал пива пить, не намного

меньше, но все-таки явно меньше, про это она молчок, конечно, мало ли какие тут причины, просто полоса такая, просто Кламму пиво стало меньше нравиться, или, может, чего доброго, он из-за Фриды про пиво свое забывает. Словом, как ни удивительно, а получается, что Фрида возлюбленная Кламма. Ну а если она самого Кламма устраивает, как же другим ее не обожать, все и оглянуться не успели, а Фрида чуть ли не в первые красавицы вышла, для буфетной лучше и не сыскать, пожалуй, даже слишком хороша, слишком много чести для буфетной-то, разве в буфетной ей место? И точно, людям в самом деле стало странным казаться, с какой стати она до сих пор в буфетной сидит? Хотя буфетчицей быть — большое дело. Когда ты буфетчица, люди и в твое знакомство с Кламмом легко поверят, но если уж буфетчица стала возлюбленной Кламма, почему он так долго оставляет ее в буфете? Почему не устраивает ей повышение? Конечно, можно тысячу раз втолковывать всем и каждому, что никакой неувязки тут нет, что у Кламма свои причины и что когда-нибудь однажды, может и в самое ближайшее время, Фриду возьмут да и повысят, только проку от этого немного, у людей на сей счет свои твердые понятия, и ни-

какими выкрутасами их надолго с этих понятий не сбить. Никто ведь уже и не сомневался, что Фрида возлюбленная Кламма, даже которые вечно всё лучше всех знают, и те сомневаться перестали. «Черт с тобой, пусть ты возлюбленная Кламма, — так они рассуждали, — но коли ты его возлюбленная, будь добра, подтверди это своим повышением». Однако время шло, а никаких подтверждений не было, Фрида оставалась в буфетной и в глубине души еще радоваться была должна, что ее там держат. Вот в людях уважения к ней и поубавилось, и она не могла этого не заметить, она обычно раньше всех все замечает, даже наперед, чего и нет еще, а только будет. Хотя по-настоящему пригожей и приветливой девушке, если уж она в буфетной обосновалась и прижилась, никаких ухищрений не требуется; пока красота при ней, она буфетчицей и останется, если, конечно, ничего совсем уж нехорошего не случится. А вот девушке вроде Фриды, той постоянно за свое место трястись приходится, у нее, конечно, хватит ума страх свой не показывать, скорее наоборот, она для вида жаловаться на свою тяжкую жизнь будет и даже клясть свою должность. Но тайком, исподтишка она постоянно за настроением людей наблюдает. Ну и заметила,

как люди теряют к ней интерес, для них она почитай что пустое место, при ее появлении им и глаза лень поднимать, даже слуги перестали на нее поглядывать, они, ясное дело, предпочитали с Ольгой и такими, как Ольга, дело иметь, и по поведению хозяина чувствовалось, что он все меньше считает ее незаменимой. А бесконечные истории про Кламма сколько можно сочинять, всему предел есть — и тогда наша ненаглядная Фрида решила выкинуть кое-что новенькое. Кто мог знать, у кого бы ума хватило догадаться, что она удумала! Пепи что-то такое подозревала, но догадаться, увы, не догадалась. Фрида решила разыграть скандал: она, возлюбленная Кламма, падает в объятия первому встречному, чтобы не сказать последнему проходимцу. Это наделает шуму, об этом долго еще судить-рядить будут и наконец-то, наконец все снова вспомнят, что значит быть возлюбленной Кламма и что значит такую честь отбросить, забывшись в дурмане новой любви. Только одно было трудно — подходящего кавалера найти, с которым хитроумный этот фортель провернуть можно. Это не мог быть никто из Фридиных знакомых, даже из слуг, любой бы только глаза вытаращил и дальше пошел, посчитал бы, что она его разыгрывает, да и кому,

при всем красноречии, могла она внушить, будто кто-то на нее набросился и она, не в силах оказать сопротивление, в безумный миг отдалась ему в порыве внезапной страсти?

Хорошо, пусть даже последний проходимец — но такой, чтобы можно было поверить, будто он, невзирая на всю свою тупость и неотесанность, воспылал вдруг вожделением не к кому-нибудь, а именно к Фриде, и теперь намерен, ни больше ни меньше, — Бог ты мой! — на ней жениться. Но даже если это будет распоследний бродяга, пусть ниже слуги, много ниже, все равно это должен быть такой мужчина, рядом с которым тебя подружки не засмеют, а наоборот, иная понимающая девушка привлекательность такого кавалера почувствует. Только где такого сыскать? Другая, пожалуй, всю жизнь бы промыкалась и не нашла, а Фриде ее счастье землемера прямо в буфетную, как по заказу, прислало, быть может, в тот же вечер, когда вся затея ей впервые в голову взбрела. Это ж надо, землемера! Да что К. вообще о себе понимает? Какие такие невероятные мысли у него на уме? Чего он такого особенного в жизни добиться хочет? Места хорошего, отличий, наград? Чего-то такого, да? Ну тогда ему с самого начала все по-другому надо было устраивать.

Ведь он же совершенное ничто, смотреть жалко на его положение. Да, он землемер, наверно, это что-то значит, чему-то он, надо понимать, обучался, только если от его умений никакого проку нет, опять-таки выходит тот же самый ноль без палочки. Но при этом он с претензиями, на других никакого внимания, а у самого претензии, не то чтобы он их высказывает, но видно, что с претензиями, а это самое вызывающее и есть. Да знает ли он, что даже горничная, если чуть дольше положенного с ним поговорит, свое достоинство уронит? А он с претензиями своими особыми в первый же вечер на самый дешевый трюк попадается, в самую глупую ловушку так сам и лезет! Да неужто ему не стыдно? Чем Фрида так его прельстила? Теперь-то может не таиться. Как она вообще могла ему глянуться, эта тощая желтая дохлятина? Да нет, он, наверно, и взглянуть на нее не успел, а она его уже огорошила, я, дескать, возлюбленная Кламма, ну для него-то это новость, вот она его и сразила, вот он и пропал. Ну ей, конечно, тотчас пришлось выметаться, теперь для нее в «Господском подворье» места не было. Пепи ее в то утро видела, перед самым уходом, вся прислуга сбежалась, на такое каждому любопытно взглянуть. И настолько

велика еще была ее власть, что ее жалели, все, даже враги, ее жалели, вот до чего умным ее расчет оказался; на потребу такому ничтожеству себя бросить, это просто в голове не укладывалось, какой удар судьбы, девчонки с кухни, для которых любая буфетчица что свет в окошке, плакали навзрыд и никак утешиться не могли. Даже Пепи была растрогана, даже она не могла устоять, хоть и на другое кое-что тоже обратила внимание. Ей что бросилось в глаза — что Фрида, в сущности, совсем не такая уж печальная. Ведь если разобраться, это ж какое несчастье ее постигло, да она и делала вид, будто несчастна, только не больно у нее получалось, Пепи такими фокусами не проведешь. Что в таком случае ее поддерживало? Может, счастье новой любви? Нет, это соображение пришлось сразу отбросить. Тогда что? Что давало ей сил даже с Пепи, которая как-никак уже намечена была ей в преемницы, держаться, как всегда, холодно, приветливо и ровно? У Пепи тогда времени не было как следует об этом поразмыслить, слишком много свалилось хлопот с приготовлениями к новой должности. Ей через несколько часов заступать, а у нее ни прически красивой, ни платья элегантного, ни тонкого белья, ни обуви подходящей. Все это за

несколько часов раздобыть требовалось, ведь если у тебя надлежащего вида нет, лучше сразу от места отказаться, все равно в первые полчаса его потеряешь. Ну не все, но кое-что удалось сделать. К прическам у нее вообще талант, однажды даже хозяйка ее к себе вызывала прическу делать, рука у нее легкая, впрочем, у нее и волосы густые, пышные, ложатся всегда послушно. И с платьем ей помогли. Две товарки выручили, правда, и для них как-никак честь, что именно из их группы девушку в буфетчицы производят, вдобавок потом, войдя в силу, Пепи много чем могла бы их отблагодарить. У одной из этих девушек давно дорогой отрез лежал, ее сокровище, она часто позволяла подружкам им полюбоваться, мечтала, наверно, как в один прекрасный день пустит этот материал в дело, а тут вдруг, увидев, что Пепи он нужнее, — это очень благородно было с ее стороны, — взяла и пожертвовала отрез ей. И обе вызвались помочь ей шить, да как шили — на себя с таким рвением не шьют! Вообще работа была очень радостная, счастливая. Они сидели, каждая на своей кровати, друг над дружкой, шили и пели, только и успевали готовые части да отделку друг другу вверх-вниз передавать. Пепи как вспомнит, так у нее сердце сжимается, ведь

все труды понапрасну оказались, и теперь ей с пустыми руками к подружкам возвращаться. Вот уж беда так беда, а виной всему легкомыслие, прежде всего с его, К., стороны. Им в ту ночь все казалось залогом удачи, и, когда под конец еще и для бантика место нашлось, последние сомнения отпали. Да и правда — разве не красивое вышло платье? Сейчас-то оно уже измято и пятнышки есть, ведь сменного платья у Пепи нет, день и ночь пришлось в этом ходить, но и сейчас видно, какое оно красивое, даже проклятая Варнавина сестрица лучше бы не сшила. Его и сверху, и снизу затягивать и распускать можно, получается, что платье одно, а выглядит по-разному, очень выгодный фасон, ее, Пепи, придумка. На нее, впрочем, и шить легко, правда, хвастаться тут особо нечем, молодой и здоровой девушке все к лицу. Куда трудней оказалось обувь и белье раздобыть, с этого, собственно, и начались неудачи. Подружки и здесь старались, как могли, только могли они немного. Белье, какое ей удалось собрать и перештопать, оказалось самое простое и грубое, а вместо туфелек на каблучках пришлось довольствоваться обычными домашними, в которых на люди лучше не показываться. Другие утешали Пепи: Фрида тоже не особенно красиво одева-

лась, иной раз такой замарашкой приходила, что гости вместо нее подавальщиков из погребка требовали, пусть, мол, те их обслуживают. Оно и правда, но Фриде все спускали с рук, она уже была в милости да в чести, вроде как дама — если разок в неприбранном виде покажется, так от этого еще соблазнительней, но чтобы новенькая вроде Пепи такое себе позволила? А кроме того, Фрида вообще не умеет хорошо одеваться, у нее ведь вкуса нет напрочь; если, допустим, у тебя такая желтая кожа, от этого, конечно, никуда не денешься, но тем более нельзя надевать, как Фрида, кремовую блузку с глубоким вырезом, так что у людей от желтизны в глазах мутится. Да и был бы у нее вкус — Фрида слишком скупа, чтобы хорошо одеваться, она что ни заработает — все в кубышку, и никто не знал зачем. Пожалуй, при таком хлебном месте ей, Фриде, и деньги без надобности, все враньем да плутнями добыть можно, только Пепи ее примеру не хотела да и не могла подражать, а значит, правильно было, что она так наряжалась, сразу себя поставить и показать хотела, тем более на первых порах. И будь у нее другие возможности, она бы все равно победительницей вышла, несмотря на все Фридины козни и на всю глупость К. А начина-

лось ведь все очень хорошо. Знания и навыки, которые на такой работе нужны, она еще загодя присматривала и потихоньку усваивала. Только за стойку встала — сразу и обвыклась. Отсутствия Фриды и не заметил никто. Только на второй день кое-кто из гостей поинтересовался, а куда, собственно, Фрида делась? Промахов она не допускала, хозяин доволен был, в первый день, правда, он от страха из буфетной не выходил, потом только время от времени заглядывал, а в конце концов все на Пепи оставил, у нее и касса всегда в порядке была, и выручка в среднем даже немного повыше оказалась, чем у Фриды. Она и новшества ввела. Фрида не столько от усердия, сколько от жадности, а еще от властолюбия и из страха хоть какие-то права свои уступить всегда и за залом для слуг сама присматривала, особенно при хозяине, даже подавала там иногда; Пепи, напротив, полностью передоверила эту работу подавальщикам из погребка, тем это куда больше пристало. А значит, у нее выкроилось больше времени для господских комнат, она стала быстрее господ обслуживать, успевая при этом для каждого и доброе словечко найти, не то что Фрида, которая якобы только для одного Кламма себя блюла и всякую попытку просто побеседовать с

ней, не говоря о чем другом, как посягательство на честь Кламма воспринимала. Оно и умно, конечно, потому как, если уж она кого чуть поближе к себе подпустит, это вроде как милость неслыханная получалось. Только Пепи такие хитрости ненавидит, да они вначале и не нужны, она со всеми была приветлива, и каждый отвечал ей тем же. Все, кстати, радовались столь очевидным переменам: когда у измотанных работой господ наконец-то выпадает минутка посидеть за кружкой пива, любому из них одного доброго слова, одного взгляда, одного пожатия плечиками бывает достаточно, чтобы совсем другим человеком себя почувствовать. А к локонам Пепи столько рук тянулось, что ей, бывало, по десять раз на дню прическу поправлять приходилось, перед соблазном ее локонов и бантиков никто устоять не мог, даже К., а уж он какой дуралей бесчувственный. И полетели дни — волнующие, напряженные, полные работы, но и успеха. Если б не пролетели они так скоро, если б хоть немного побольше их выпало! Четыре дня — это слишком мало, как бы ты ни выкладывался до полного изнеможения, может, пятого дня уже хватило бы, но четырех оказалось мало. Правда, Пепи и за четыре дня успела приобрести покровителей и

друзей, если верить всем взглядам, какие на нее бросали, когда она с пивными кружками по залу шла, она просто купалась в волнах дружелюбия, писарь Братмайер и вовсе по уши влюбился, вон даже цепочку с медальоном подарил, а в медальон еще и фотокарточку свою вклеил, хотя это, конечно, уже дерзость с его стороны — да много еще всего случилось, а ведь всего-то четыре дня только, за четыре дня — Пепиными стараниями — Фриду забыли почти, да не совсем, может, ее бы и совсем забыли, может, и даже скорей, чем за четыре дня, не позаботься она заблаговременно свой грандиозный скандал подстроить, который теперь у всех с уст не сходит, благодаря чему она людям с новой стороны раскрылась, и теперь из чистого любопытства всем снова захотелось на нее взглянуть. То, что прежде до оскомины приелось, теперь, заслугами К., в остальном совершенно всем безразличного, снова приобрело для людей изюминку. Правда, Пепи, пока она у стойки стояла и своим присутствием на них действовала, никто, конечно, на Фриду не променял бы, только ведь гости у них люди в основном пожилые, в своих привычках косные, им время нужно, чтобы к новой буфетчице попривыкнуть, сколь бы привлекательно эта новенькая ни вы-

глядела, но нескольких дней, которые, совсем не по их воле, на это отпущены, тут мало, пяти, может, уже хватило бы, а четырех мало, Пепи в их глазах по-прежнему оставалась просто временной подменой. Ну и самое большое несчастье: за эти четыре дня, хотя в первые двое суток он точно в деревне был, Кламм так ни разу в гостевую комнату и не спустился. Спустись он — и для Пепи это стало бы решающим испытанием, которого она, впрочем, меньше всего боялась, которого она скорее с радостью ждала. Она, конечно, — хотя к таким вещам словами лучше вообще не прикасаться, — не стала бы его возлюбленной и уж тем паче не вздумала бы себя в таковые самозванкой производить, но мило, не хуже Фриды, подать на стол кружку пива как-нибудь сумела бы, и мило, без Фридиной навязчивости, поздороваться, и так же мило откланяться, и если Кламм вообще хоть чего-то в девичьих глазах ищет, то в Пепиных глазах он нашел бы всего вдоволь и досыта. Ну почему, вот почему он не пришел? Может, просто случайно так вышло? Пепи тоже так думала. В те первые двое суток она ждала его в любую секунду, даже ночью. «Сейчас Кламм придет!» — непрестанно думала она и металась к двери и назад без всякой причины, от одного только тревожного

ожидания, от неуемной жажды раньше всех, первой, едва он войдет, его узреть. И нескончаемое разочарование, оно ужасно ее изматывало, может, она из-за этого не все показала, на что способна. Когда выпадала свободная минута, она крадучись поднималась в верхний коридор, куда прислуге заходить строжайше запрещено, и, притаившись в нише, ждала. «Хоть бы сейчас Кламм появился, — думала она, — хоть бы мне позволили самой забрать его из комнаты и на руках в гостевую отнести! Уж под этой ношей я бы не рухнула, сколь бы неподъемной она ни была». Но он не шел. А в этих коридорах наверху тишина такая, кто не был, и вообразить не может. До того тихо, что долго выдержать невозможно, тишина тебя прямо выталкивает. Но, в который раз вытолкнутая, Пепи в который раз снова и снова туда поднималась. Все понапрасну, все без толку, но если он не идет — тогда все без толку. Захотел бы Кламм прийти — он бы пришел; но если он не хочет, Пепи никакими силами его не выманить, хоть задохнись она в этой нише от стука собственного сердца. Словом, он так и не пришел. И сегодня Пепи знает почему. То-то порадовалась бы Фрида, увидь она, как Пепи наверху в коридоре в той нише от страха обмирает, обе

руки к сердцу прижав.

А Кламм не шел вниз, потому что Фрида этого не допускала. И не просьбами, просьбами ей от Кламма ничего не добиться. Только у паучихи этой повсюду свои связи, ниточки свои, о которых никто не знает. Когда Пепи что-то говорит гостю, она говорит открыто, не таясь, так что и за соседним столиком слышно. Фриде обычно гостю и сказать нечего, она пиво на стол поставит и уйдет, только и слышно, как ее шелковая нижняя юбка — единственное, на что ей денег не жалко, — на ходу шуршит. Но если она что захочет сказать, то никогда не скажет в открытую, всегда только шепотом, низко склонившись к гостю, — за соседним столиком все поневоле уши навострят. Может, и говорит она сущую ерунду, безделицу какую-нибудь, но только не всегда, связи у нее есть, и она их укрепляет всячески, одни при помощи других, и даже если большинство не сработает — кто, в самом деле, станет постоянно о Фриде печься? — то какая-нибудь одна непременно себя оправдает. Вот она эти связи и давай использовать, благо К. обеспечил ей к тому все возможности: вместо того чтобы при ней сидеть да глаз с нее не спускать, он почти дома не бывает, все где-то колобродит, там у него

встречи, тут разговоры, и на все у него время и пригляд есть, только не на Фриду, а чтобы еще больше досуга ей предоставить, он и вовсе из трактира в пустую школу переселяется. Хорошенькое начало медового месяца, нечего сказать! Ну Пепи последняя будет, кто К. упрекать станет, что он возле Фриды долго не выдержал, возле нее никому не выдержать. Но почему он совсем ее не бросил, почему снова и снова к ней возвращался, почему блужданиями своими создавал у всех впечатление, будто он ради нее старается, за нее борется? Ведь со стороны все выглядело так, будто он свое истинное ничтожество уразумел, только когда с Фридой соприкоснулся, и теперь, чтобы стать достойным Фриды, изо всех силенок вверх карабкаться начал, поэтому сейчас до поры до времени от уединения с ней отказывается, чтобы потом без помех за все лишения сторицей себя вознаградить.{32} А Фрида меж тем времени да-

{32} Варианты: 2.32

…чтобы потом без помех за все лишения сторицей себя вознаградить. [*И Фрида тоже ждет, только не К.; она за «Господским подворьем» наблюдает, а заодно и за К. присматривает; ей даже и волноваться не о чем, положение у нее благоприятнее, чем она сама ожидала, она без всякой зависти следит, как Пепи тут убивается, как уважение к ней растет, ничего, она в свое время легко этому конец положит, она и на похождения К. спокойно взирает, такого, чтобы он совсем ее бросил, она, уж конечно, не допустит.*] А Фрида меж тем времени даром не теряет…

ром не теряет, сидит себе в школе, куда, наверное, сама К. и заманила, наблюдает за «Господским подворьем» да и за К. присматривает. Посыльные у нее отличные и всегда под рукой, это помощники К., которых он — вот чего никак понять нельзя, даже зная К., такое все равно понять невозможно! — полностью предоставил в ее распоряжение. Вот она и шлет их ко всем своим старым друзьям-приятелям, напоминает о себе, плачется, что К., этот ужасный человек, якобы взаперти ее держит, плетет интриги против Пепи, сулит всем свое скорое возвращение, молит о помощи, заклинает ничего не говорить о ее измене Кламму, внушает всем, будто того надо щадить и, следовательно, ни в коем случае не подпускать к буфетной. И то, чего под видом заботы о Кламме добивается от одних, она перед хозяином как свою доблесть выставляет, то и дело напоминая, что Кламм больше в буфетную не ходит; да и как он придет, когда внизу какая-то Пепи прислуживает; разумеется, хозяин тут не виноват, все-таки эта Пепи еще лучшая замена, какую удалось сыскать, только ее одной, видно, недостаточно даже на несколько дней. А К. и невдомек, какую Фрида развила деятельность; он, если по округе не бродит, у ее ног, ничего не подозревая, преданно лежит, а

она меж тем часы считает, какие ей остались, чтобы в буфетную вернуться. Помощники у нее не только на побегушках, они еще и для того ей служат, чтобы, возбуждая в К. ревность, не давать ему к Фриде охладеть. Фрида этих помощников с детства знает, тайн у них друг от дружки наверняка давно никаких нет, но для вида, так сказать в честь К., они с Фридой друг по дружке томиться начинают, чтобы он углядел, какая тут для него опасность в виде их большой любви. А К. во всем Фриде потакает, даже в полнейшей нелепице, он, к примеру, начинает к помощникам ревновать, но все равно допускает, чтобы Фрида с ними наедине оставалась, а сам опять по делам своим уходит. Со стороны вообще можно подумать, будто он у Фриды третий помощник. И вот тогда, все свои наблюдения взвесив, Фрида решается наконец нанести главный удар — объявить о своем возвращении. И то сказать, время выбрано лучше некуда, просто поразительно, как Фрида, эта шельма, умеет возможность улучить и ею воспользоваться, по части наблюдательности и умения вовремя решение принять Фрида просто недосягаема, будь у нее, Пепи, такие таланты, насколько иначе сложилась бы вся ее жизнь! Просиди Фрида в своей школе еще день-другой,

и Пепи тогда из буфетной уже никакими силами не выкурить, она бы завзятой буфетчицей стала, ее бы все любили и поддерживали, она и денег бы достаточно заработала, чтобы свой с миру по нитке, с бору да с сосенки собранный наряд шикарно дополнить, еще день-другой — и Кламма уже никакими уловками от прихода в гостевую комнату удержать бы не удалось, он спускается вниз, пьет пиво, ему хорошо и уютно, так что он, если вообще отсутствие Фриды замечает, остается этой переменой более чем доволен, еще день-другой, и Фриду с ее скандальной любовью, с ее помощниками и всем прочим забудут раз и навсегда, от нее и следа не останется. Может, она бы покрепче тогда за К. ухватилась и сумела бы, если вообще на такое способна, наконец-то полюбить его по-настоящему? Да нет, и этого не будет. Потому что и К. в этом случае больше дня возле нее не выдержит, он все ее фокусы мигом раскусит, поймет, как она его морочила — и красотой своей дутой, и верностью липовой, а пуще всего сказками про любовь Кламма, день один, не больше, ему потребуется, чтобы и ее, и помощников, и всю свадьбу их собачью из дома выставить, надо полагать, тут даже К. дольше не станет мешкать. И вот, между этих двух опас-

ностей, когда над Фридой, можно сказать, уже края могилы начинают смыкаться, К., святая простота, для нее последнюю узенькую лазейку держит, через которую она и успевает удрать. И тут вдруг — вот уж чего никто не ожидал, ведь это совсем против всякого понимания и смысла — выясняется, что это она К., того самого К., который все еще любит ее, все еще бегать за ней готов, выгоняет и, дав похлопотать за себя друзьям и помощникам, является к хозяину гостиницы этакой спасительницей, благодаря скандалу еще более привлекательная, чем прежде, желанная, как показала жизнь, и высшим, и низшим, и господам, и холопам, правда, холопу она уступила лишь на миг, а потом, как и подобает, тотчас его отринула и теперь снова ему, как и всем прочим, недоступна, только если раньше в этой недоступности все по праву сомневаться начали, то теперь снова уверились. Вот так обставлено ее возвращение, хозяин, косясь на Пепи, сперва колеблется — как ему ею пожертвовать, когда она так хорошо себя показала? — но вскоре уступает, слишком многое говорит в пользу Фриды, а перво-наперво: она вернет в гостевые комнаты Кламма. Вот как на сегодняшний вечер обстоит дело. Ждать, пока Фрида придет и передачу буфетной превратит в

свой триумф, Пепи не намерена. Кассу она уже хозяйке сдала, так что может отправляться. Койка в комнатенке для горничных ее ждет, она вернется восвояси, подружки со слезами ее встретят, она сорвет с себя и платье, и бантики, запихнет все в угол куда подальше, с глаз долой, чтобы зря не напоминало, о чем лучше позабыть. Потом возьмет ведро побольше, швабру, зубы стиснет и примется за работу. Но перед тем она все должна была К. растолковать, чтобы он, кто без подсказки и до сих пор ничего бы не понял, наконец ясно увидел, как отвратительно он с Пепи обошелся и насколько она из-за этого несчастна. Правда, он в этой истории тоже был всего лишь игрушкой в чужих руках.{33}

Пепи умолкла. Вздохнув, она отерла слезинки

{33} Варианты: 2.33

Правда, он в этой истории тоже был всего лишь игрушкой в чужих руках.

[*Во время всего этого рассказа Пепи лишь изредка и недолго удавалось усидеть на месте, оживление пересиливало в ней печаль, сколь бы горькой та ни казалась. Впрочем, быть может, это и не оживление было, а только безотчетная тревога расставания. То она бежала к двери в прихожую посмотреть, не идет ли кто, то снова возвращалась к стойке, почти не глядя, собирала что-нибудь из еды и несла К., который все без разбору принимал с удовольствием, — все время их разговора он ел, почти не переставая, — потом снова принималась рыться в ящичке, доставая оттуда всякие мелочи — щетку, гребень, щипцы для завивки, флакончик духов и тому подобное, — заворачивала все это в бумагу в явном намерении взять, но затем, в каком-нибудь особенно душераздирающем месте своего рассказа, вдруг передумыва-*

ла, все распаковывала и швыряла обратно, а ящичек задвигала, чтобы немного погодя снова вернуться, снова начать шуршать бумагой, но потом вдруг все решительно бросить и в итоге так, брошенным, и оставить на прилавке. Потом явился молодой человек, худенький и робкий, безвольные руки, одна прикрывая другую, сложены где-то над пупком, большие, тревожные глаза испуганно бегают, мягкая шея то и дело просительно вытягивается, выражая угодливое стремление своего обладателя понравиться и выглядеть любезным, и уселся на бочке как можно дальше от К. Пепи, не прерывая своего рассказа, лишь кивнула ему, даже не в знак приветствия, а только как бы показывая, что соизволила его заметить, словно без ее кивка сам он в такую возможность никогда поверить бы не осмелился. Так он там и сидел, острым локтем осторожно опершись на соседнюю бочку, одной рукой прикрывая рот, другую опустив на колени, и внимательно слушал. Пепи долго еще продолжала рассказывать, прежде чем поставила перед ним — опять-таки скорее в порыве внутреннего беспокойства, чем из обязанности обслужить посетителя, о желаниях которого она, кстати, даже не потрудилась спросить, — бокал пива. Потом вдруг, перепорхнув, изящно устроилась на бочку рядом с гостем и продолжила рассказ уже оттуда, причем еще подробнее и даже почти с удовольствием, под взглядом молодого человека как бы согреваясь и оттаивая. Когда она, описывая свои успехи у клиентов, с улыбкой, словно ненароком, а все же и не без лукавого умысла, выхватывая из несметной их толпы самого ничтожного, упомянула писаря Братмайера, гость — а это Братмайер и был — словно ослепленный внезапной вспышкой нестерпимо яркого света, стремительно прикрыл рукой глаза, — то ли это была такая шутка неловкая, то ли он и вправду смутился. Уже где-то в конце рассказа, к немалой досаде Пепи, медленно, тяжело, выпячивая то одно плечо, то другое, приковылял Герштекер и теперь время от времени настолько мешал всем своим кашлем, что Пепи, гневно сверкая глазами, вынуждена была прерываться и ждать, когда же тот прокашляется. К тому же Герштекер уселся

рядом с К. и то и дело трогал того за плечо, явно намереваясь что-то К. сообщить и почти не желая замечать совершенно безразличную ему пигалицу Пепи, которая что-то там рассказывает. Уж этого Пепи никак вынести не могла, подошла к К., увлекла его к стойке и только там стала рассказывать дальше, причем неизменно громко, без тени скрытности, словно речь идет об очевиднейших вещах, о которых всем, кроме К., и так уже давным-давно известно. Под конец [Далее по тексту]

К. и в самом деле был ей благодарен, гладил по щеке, Братмайер, издали за этим наблюдавший, страдальчески прятал глаза и вообще, как мог, старался утешить. Этим он умело подтачивал ее силы, сквозь всхлипы она лишь изредка пыталась возражать, часто даже не словами, а только руками, слабо, как обороняющийся зверек, их вскидывая. ~~К. говорил тихо, никто, кроме Пепи, его услышать не мог.~~ Конечно, несчастье у нее большое, это К. признает, иначе он бы вообще не понял, с какой стати она все так чудовищно преувеличивает. Но все эти жуткие миражи у нее именно от отчаяния, а правды в них немного, он чем хочешь поручиться готов; она ведь даже и не говорит, откуда ей все эти ужасы известны, так что слова ее и проверить нельзя. Зато все, что ее слова опровергает, проверить можно. Фрида не паучиха и не сатана в юбке, она всего лишь отстаивающая свое существование девушка, как и Пепи, только постарше и поопытней; то, что Пепи представляется злобой и коварством, на самом деле лишь проницательность и знание жизни, на которые Пепи, по молодости лет, еще неспособна, и неспособность эта пробуждает в ней одновременно и гордыню, и зависть. Да, Фрида теперь снова вернется в буфетную, это верно, так уж — прихотливо и независимо от чьей-либо воли — сложились обстоятельства, однако что Фрида по этому поводу особенно счастлива, он сомневается. Скорее уж впору сказать, что им, всем троим, выпало несчастье, но с мимолетной, очень недолгой порою счастья посередке, так что в этом отношении, можно считать, все распределилось по справедливости. А вина на К. и Фриде,

конечно, лежит, хотя отнюдь не с такой очевидностью, как это Пепи представляется, да и сама Пепи тоже совсем не без греха. Он только напомнит ей, как она, сразу же после своего внезапного назначения, не помня себя от зазнайства, от высокомерия, как в дурмане, обошлась с К., когда Момус вздумал его допрашивать, и как она у Ольги перед носом дверь заперла и впускать ее не хотела. Кто знает, во что бы она превратилась, если бы ее и дальше оставили буфетчицей, глядишь, стала бы сущей ведьмой, куда страшнее Фриды, которую она сейчас так честит. Всякий, кто занимает высокое место, уже только по-этому любому нижестоящему внушает ужас, тот самый ужас, из-за которого Пепи сейчас на Фриду ополчилась, однако осознанно этот ужас усугублять, с умыслом им пользоваться, как делала это Пепи, — только это и есть уже настоящее зло и несправедливость. Однако он не хочет сейчас еще и этим Пепи уязвить, ей и так довольно досталось, просто хотел на наглядном примере ей показать, что другие, быть может, могли бы еще суровее ее, Пепи, обвинять, чем она Фриду, и что несчастье, значит, совсем уж не так непостижимо и незаслуженно на нее свалилось, как ей кажется. Она, к примеру, тонко подметила изъяны во Фридиной внешности и в ее нарядах, но другие и в отношении ее самой тоже нашли бы к чему придраться. То, что на ее вкус в одежде красиво, вовсе не обязательно другим понравится. Буфетчица должна оставаться именно буфетчицей, а вовсе не кумиром всех гостей; если же она полагает последнее — а рассказ Пепи, как, впрочем, и ее платье, именно на такую мысль наводят, — то это большое заблуждение. Пусть Фрида слишком, пусть вызывающе неброско одевалась, но уж Пепин туалет вообще ни в какие ворота не лезет. То, что на ней надето, это же вообще не платье, а пестрая хламида, да и прическа у нее смешная, недостойная таких красивых волос. И то, что вон тот молоденький субъект на все это восхищенно таращится, говорит скорее не в ее пользу. Нет, этаким манером она далеко не продвинется. Теперь вот ей приходится возвращаться, но не стоит думать, будто все потеряно. Однако если ей в следующий раз подвернется подобная же

возможность, надо будет воспользоваться ею иначе. Она такая юная, свежая, приди она в самом простеньком платье — и все сразу будут ею покорены. Только не нужно в отношении тех, кого она намерена к себе расположить, иметь какие-то болезненно преувеличенные представления и в соответствии с этим так же преувеличенно театрально себя вести и себя подавать, чтобы в конце концов только из-за этого неминуемо потерпеть неудачу. Буфетчица в трактире — это всего лишь место, не лучше и не хуже других, разумеется, работать в буфетной, наверно, получше, чем внизу, в комнатах секретарей, и если бы на свете ничего, кроме двух этих мест, не существовало, тогда, конечно, от внезапного скачка с одного на другое можно было бы, наверно, и ума решиться, но поскольку это не так и на свете несметное число самых разных мест, то, глядя с такой точки зрения, разница между двумя этими местами вовсе не такая уж огромная, скорее, они схожи почти до неразличимости, исходя из чего следует сказать себе, что быть буфетчицей — это вовсе не бог весть какое безумное, дух захватывающее приключение, а значит, и чтобы получить это место, вовсе не обязательно выряжаться, словно примадонна в цирке, — скорее, уж так имеет смысл наряжаться, если хочешь место потерять. Впрочем, сказал К. под конец, ошибку, которую Пепи совершила, он очень даже хорошо понимает. Это первым делом ошибка юности. Не надо было Пепи на это место рваться, она до него еще не доросла, по молодости она думала, что новое место принесет свершение всем ее юношеским грезам, а оно не принесет, и никакое место не принесет, а всякий, кто на подобное место приходит с подобными чаяниями, непригоден к работе уже заранее. Поэтому весьма маловероятно, что это Фрида ее с места гонит, просто Фрида снова освободилась, поэтому трактирщик снова ее и взял, но если бы даже Фрида не пришла, Пепи все равно здесь не удержаться бы. Однако это не только ошибка юности, это еще и ошибка, которую и он, К., по-видимому, снова и снова совершает, хоть он давно уже не юноша, чтобы пускаться по свету счастья искать. Пожалуй, в их ошибках, в его и в Пепиных, есть

кое-что общее. Потому он так и удивляется, отчего это Пепи осыпает его упреками за его якобы сомнительные похождения и никчемные встречи, да что упреки — она просто ругает его последними словами. Да, верно, она правильно догадалась: он хочет достигнуть некой цели, и этому его намерению служит все, что он ни делает. Но и у него, по-видимому, тоже преувеличенные представления о том, к чему он стремится, как раз поэтому, наверно, и в усилиях своих он пока что терпел одни неудачи. И ему тоже придется себя переиначивать — ничуть не меньше, чем Пепи. Только его-то положение куда хуже, чем ее. Она-то, пусть только на четыре дня, своего достигла, побывала там, куда стремилась, и при следующей попытке будет действовать умней. А вот он, К., насколько же он по-прежнему далек от исполнения своих желаний, далек всегда одинаково и неприближимо. Да он, по Пепиным меркам, даже до горничной еще не дорос. Ведь он прибыл сюда землемером, но подобающего места все еще не получил, то есть даже за место землемера, которое привлекает его ничуть не больше, чем ее место горничной, ему еще предстоит долгая, тяжелая и, судя по сегодняшнему положению, пока что совершенно безнадежная борьба. Так что не одна только Пепи вправе сетовать на судьбу. Кстати, он, К., на свою и не сетует. Просто хотел немного осушить Пепины слезы, которые ему больно видеть. Он не сетует. Правота собственных притязаний настолько ему очевидна, что иногда кажется: он мог бы просто безмятежно растянуться на кровати — кровать, правда, ему сперва еще завоевать надо, — а правота пусть сама за себя борется, и этого будет достаточно. Только все это опять-таки лишь грезы, пустые, бесполезные грезы.

Из того, что К. ей говорил, Пепи понимала не все и даже не все слушала, некоторые вещи, например отзыв К. о ее нарядах, настолько поглощали ее внимание, что она, глубоко задумываясь, последующие рассуждения пропускала мимо ушей. Однако в целом слова К. ее опечалили, правда, прежде она, быть может, была даже несчастнее, зато теперь на глазах погрустнела и, в поисках помощи и поддержки — видно, одного

Братмайера, как рассудил К., тут было уже недостаточно — склонилась к К. и, уткнувшись лицом ему в ладонь, горько расплакалась.

~~Однако в отношении своего несчастья она, похоже, с К. ни в чем соглашаться не собиралась, такая уж она была упрямица. Делая вид, будто рассказом своим она только Фриду обидела, бывшую невесту К., а К., значит, возражая, только ее, Фриду, и пытался защищать, она, Пепи, — великодушная победительница, (хоть и капающая слезами К. на ладонь), готовая теперь в этой части К. уступить, хотя при ближайшем рассмотрении и это оказалось вовсе не уступкой, а, наоборот, попыткой только еще сильнее Фриде насолить, — она, все еще в слезах, сказала:~~

~~— Может, ты и прав, может, вовсе не Фрида тут виновата. Не такая уж она злюка и не такая уж умная. Это все хозяйка трактира «У моста», она у нас, можно сказать, почти ученый, вот она-то за ней и стоит и все ей приказывает. Конечно, это все хозяйка, кто же еще? С Фридой-то самой я бы уж как-нибудь справилась, но супротив хозяйки никто не устоит. Только что ей здесь-то понадобилось? Мало ей, что ли, своего трактира? В чужом-то зачем ей места распределять, решать, кого брать, а кого гнать? И почему наша хозяйка такое терпит? Да она тоже неженка и трусиха, хозяйка-то наша. Вон, даже ты, К., на нее впечатление произвел. Она уже несколько раз сюда заглядывала, мне кажется, только из-за тебя, и наверняка еще придет, видно, поговорить с тобой хочет. Вот ты ей все и объясни, я-то боюсь, да мне она и не поверит. Впрочем, даже если ты ей все объяснишь и она тебе поверит, делу этим не поможешь, она только еще больше перепугается, но по крайней мере хоть кто-то вслух об этом скажет, иначе ведь от несправедливости, которую тут с людьми творят, и задохнуться недолго.~~

После чего Пепи все-таки направилась к стойке, сперва нерешительно, словно выжидая, не станет ли К. ее удерживать, затем нарочито быстро запаковала наконец свои вещички, теперь уже не для вида, а всерьез, махнула Братмайеру, который подскочил к ней в мгновение

ока, потом вдруг вздрогнула, когда ей почудилось, будто кто-то по коридору сюда идет, и, торопливо, спешно же поправляя на ходу сзади прическу, в сопровождении Братмайера вышла из буфетной.

Теперь наконец Герштекер решил, что пробил его час. И хотя все это время он тщетно пытался привлечь к себе внимание К., начал он — по-другому, видимо, он просто не умел — довольно бесцеремонно.

— Так у тебя есть место? — спросил он.

— Есть, — ответил К., — и очень хорошее.

— Это где же?

— В школе.

— Так ты ведь землемер.

— Да, так и место это временное: я там служу, покуда не получу назначение на должность землемера. Уразумел?

— Ага. А это еще долго протянется?

— Да нет же, приказ в любую секунду может прийти, я вчера насчет этого с Эрлангером говорил.

— С Эрлангером?

— Ну да, и ты прекрасно это знаешь. Не надоедай лучше. Иди себе. Оставь меня.

— Да понятно, что ты с Эрлангером разговаривал. Я думал, это секрет.

— С тобой я бы секретами делиться не стал. Ведь это ты на меня из оконца пялился, когда я перед твоим домом в сугробах увяз?

— Зато ведь я же тебя потом до трактира у моста довез.

— Это правда, и я с тобой тогда не рассчитался. Сколько с меня?

— У тебя деньги что, лишние? Тебе в школе хорошо, что ли, платят?

— Хватает.

— Я знаю местечко, где тебе платили бы и побольше.

— Это у тебя, что ли? При лошадях? Благодарю покорно.

— Это кто ж тебе рассказал?

— Так ты со вчерашнего вечера меня подкарауливаешь, не иначе сманить хочешь.

— А вот и ошибаешься.

— Тем лучше, если ошибаюсь.

— Только теперь, когда я вижу, в какую ты попал беду, ты, землемер, образованный человек, в грязной рванине, без шубы, словом, доходяга такой, что, на тебя глядючи, просто сердце щемит, якшаешься с этой мартышкой Пепи, которая небось тебя еще и подкармливает, — только теперь мне вспомнилось, что матушка моя однажды сказала: «Нельзя допустить, чтобы такой человек пропадал».

— Спасибо на добром слове. Как раз поэтому я к тебе и не пойду.

С этими словами К. отвернулся от Герштекера, ибо в буфетную вошла хозяйка, как будто назло К., она была в том же, что и вчера вечером, платье, но теперь оно было тщательнейшим образом разглажено и расправлено, что, вероятно, стоило немалых трудов, поскольку складок и рюшей на нем было в изобилии, в особенности в таких местах, где они совершенно ни к чему, например по бокам от талии до подмышек, так что и руки толком не опустишь. Это, кстати, сказывалось и на движениях хозяйки, неестественно величавых и надменных, тогда как в действительности она, судя по всему, была скорее ловка и изящна. Сперва она спросила, где Пепи, и явно рассердилась, узнав, что та уже ушла. К. попытался оправдать Пепи, предположив, что та решила, будто Фрида вот-вот придет, на что хозяйка ответила, дескать, как раз это еще и неясно, Фрида заперлась в своей комнате, ей якобы нехорошо. Тогда К. спросил, не пойти ли ему позвать Пепи. Нет, ответила хозяйка, прийти должна Фрида, пусть даже больная. И только тут она, похоже, осознала, с кем говорит, и с удивлением осведомилась, что это К. вообще здесь делает и почему он давным-давно не ушел.

К. ответил:

— Я госпожу хозяйку ждал.

— Да? — спросила та с утомленной улыбкой. — Тогда пойдем.

Герштекер попытался увязаться за ними, но К. просто не пустил

его в дверь.
— Останешься тут, — распорядился он. — Ну и надоедлив же ты.
— Он что, с тобой? — спросила хозяйка, словно готова и Герштекера пригласить.
— Да нет, — ответил К., — это он только хочет. [Далее по тексту]
— Ты вчера был груб, — сказала хозяйка. — Некрасиво так себя вести.
— Я очень устал вчера, — ответил К. — Я несколько ночей не спал, а потом еще этот кошмар в коридоре. А кроме того, я вовсе и не был груб.
— Ты был груб, не отрицай, это отвратительно, что ты пытаешься отпираться. Если ты такой трус, мне с тобой вообще говорить не о чем. Тогда лучше сразу уходи.]
Пепи умолкла.

с глаз и щек, а потом, кивая головой, посмотрела на К., будто говоря: дело, мол, совсем не в ней и ее несчастьях, ей ни от кого, а от К. и подавно, ни помощи, ни утешений не требуется, она, невзирая на молодость, уже знает жизнь, и ее бедами знания эти только подтверждаются, она об К. печется, ему его истинное отражение и положение, как в зеркале, показать хочет, даже теперь, после краха всех своих надежд, она считала своим долгом это сделать.{34}

[— *Ты себе много забот причиняешь, и нужных и ненужных, — сказал К. — Ненужных даже больше, чем нужных, меня теперь даже не удивляет, что у тебя такие беды на службе: ты же все время боишься, что тебя обманут, и все время начеку, все время только к этому и готовишься.*

{34} Варианты: 2.34

…даже теперь, после краха всех своих надежд, она считала своим долгом это сделать.

[— *Ты себе много забот причиняешь, и нужных и ненужных, — сказал К. — Ненужных даже больше, чем нужных, меня теперь даже не удивляет, что у тебя такие беды на службе: ты же все время боишься, что тебя обманут, и все время начеку, все время только к этому и готовишься. Этого никому не выдержать, даже такому, по счастью, крепкому и юному созданию, как ты. До чего же необузданная у тебя фантазия! Наверно, там, внизу, в вашей девичьей каморке, и вправду очень темно и затхло, если там подобные мысли столь пышным цветом расцветают. Такие мысли — плохие помощники при подготовке к новой работе, вот ты ее и теряешь, как и следовало быть. Но на твоем месте, Пепи, я бы по этому поводу так не отчаивался…*]

— Экая необузданная у тебя фантазия, Пепи, — проговорил К.

Этого никому не выдержать, даже такому, по счастью, крепкому и юному созданию, как ты. До чего же необузданная у тебя фантазия! Наверно, там, внизу, в вашей девичьей каморке, и вправду очень темно и затхло, если там подобные мысли столь пышным цветом расцветают. Такие мысли — плохие помощники при подготовке к новой работе, вот ты ее и теряешь, как и следовало быть. Но на твоем месте, Пепи, я бы по этому поводу так не отчаивался…]

— Экая необузданная у тебя фантазия, Пепи, — проговорил К. — Ни за что не поверю, что ты все эти ужасы только сейчас для себя открыла, это все страшные сказки из вашей каморки там, внизу, байки, больше ничего, только там, в тесноте да темноте, им и место, а здесь, в просторной буфетной, их странно слушать. С этакой чепухой в голове тебе никак тут не удержаться, это само собой понятно. Уже и платье твое, и прическа, которыми ты так гордишься, — это все порождения той же тьмы, тех же тесных постелей в вашей комнатенке, там они наверняка прекрасными кажутся, а здесь над ними только смеются, кто про себя, а кто и вслух. Сама подумай, ну что ты такое говоришь? Это я-то игрушка в чужих руках, это меня-то обманули? Нет, дорогая Пепи, я не

обманут и не игрушка, ко мне это так же мало относится, как и к тебе. Да, верно, Фрида меня бросила, или, как ты изволишь выражаться, удрала от меня с одним из помощников, тут некий проблеск истины ты еще видишь, и, действительно, весьма маловероятно, чтобы она после этого стала моей женой, но что она якобы мне надоела бы, или что я уже на следующий день ее бы прогнал, или что она изменила бы мне, как заурядная жена изменяет постылому мужу, — во всем этом и намека на правду нет. Вы, горничные, привыкли в замочные скважины подглядывать, у вас от этого и мысли соответствующие, из всякой мелочи, какую и вправду углядели, вы себе всю картину дорисовываете, столь же увлекательную, сколь и нелепую. А в итоге получается, что я, к примеру, о своих же делах куда меньше твоего знаю. Я вот при всем желании не могу с такой же точностью, как ты, объяснить, почему Фрида меня бросила. Наиболее вероятным объяснением мне представляется то, которое ты упомянула лишь вскользь, но прибегать к нему не стала, — что я надолго ее забрасывал. Это, к сожалению, правда, я ее забрасывал, но тому были свои причины, которые к этому делу не относятся, я был бы счастлив, если бы она ко мне вернулась, но

немедля стал бы точно так же забрасывать ее снова. Да-да, именно так. Когда она была со мной, я беспрестанно уходил от нее по делам, которые ты так высмеиваешь, а сейчас, когда ее со мной нет, мне почти нечем заняться, я устал и томлюсь по безделью еще большему. Нет ли у тебя теперь для меня совета, Пепи?

— А вот и есть, — отозвалась Пепи, неожиданно оживляясь и беря К. за плечи. — Мы оба обманутые, давай держаться вместе, пойдем со мной вниз, к девушкам.

— Покуда ты жалуешься и считаешь нас обманутыми, — возразил К., — нам с тобой друг друга не понять. Ты все время хочешь быть обманутой, тебе это лестно, это же так трогательно, так душещипательно. А правда в том, что ты для этого места не годишься. Подумай, насколько эта непригодность бросается в глаза, если даже я, последний, по твоим же наблюдениям, профан, это понимаю. Ты добрая, хорошая девушка, Пепи, только по тебе совсем не сразу это видно, я, к примеру, поначалу считал тебя ужасной зазнайкой и злюкой, оказалось, ты совсем не такая, просто должность тебя портит, и все потому, что ты для нее не годишься. Не хочу сказать, что ты до места этого не доросла, должность не такая уж завид-

ная, конечно, при ближайшем рассмотрении, она, может, немного почетнее твоей прежней работы, но в целом разница невелика, на самом деле обе должности похожи почти до неразличимости, пожалуй, можно даже сказать, что должность горничной предпочтительнее места буфетчицы, там ты всегда среди секретарей, здесь же, напротив, хоть в гостевых комнатах тебе даже начальникам секретарей прислуживать дозволено, однако и с последней швалью вроде меня якшаться приходится; ведь мне по здешним законам нигде, кроме буфетной, и находиться нельзя, или, скажешь, возможность общаться со мною такая уж большая честь? Так что почетной эта должность кажется только тебе, что ж, может, у тебя на то свои причины имеются. Но именно поэтому ты и не пригодна. Это место не лучше и не хуже всякого другого, а для тебя оно чуть ли не царствие небесное, отсюда и пыл твой чрезмерный, ты вон и наряжаешься под ангелочка — хотя на самом-то деле разве ангелы так выглядят? — трясешься из-за этого места, воображаешь, будто тебя тут со света сживают, преувеличенной любезностью пытаешься расположить к себе всякого, кто, на твой взгляд, способен тебя поддержать, но этим лишь сбиваешь людей с

толку и далее отпугиваешь, ведь люди отдохнуть в трактир приходят, а вовсе не переживать вдобавок к собственным заботам еще и заботы буфетчицы. Возможно, сразу после ухода Фриды никто из высоких господ и не заметил ее отсутствия, но теперь они уж точно обратили на это внимание и чуть ли не тоскуют по Фриде, потому что Фрида, надо полагать, вела дело совершенно иначе. Какая бы она ни была и как бы к своему месту ни относилась, но опыта в работе у нее гораздо больше, и держалась она здесь холодно и сдержанно, ты сама это подчеркиваешь, хоть и не желаешь ее уроками воспользоваться. Ты когда-нибудь за ее взглядом следила? Это давно уже был не взгляд буфетчицы, а взгляд почти что настоящей хозяйки. Она все замечала, всех до единого, и взгляд, которым она успевала одарить каждого по отдельности, был достаточно властным, чтобы любого себе подчинить и на место поставить. Что из того, что она малость худощава и не очень молодо выглядит, что из того, что женские волосы можно вообразить себе и попышнее, все это мелочи в сравнении с тем, какой она тут была, что из себя представляла, а кому мешали мелкие недостатки ее внешности, тот этим одно только доказывал: что не умеет за внешностью

суть разглядеть. Кламма в этом упрекнуть никак нельзя, и только шоры неопытности не дают тебе, еще совсем молоденькой девушке, поверить в любовь Кламма к Фриде. Если тебе — и вполне справедливо — Кламм кажется недосягаемым, то ты решила, что и Фриде до него не дотянуться. Ты ошибаешься. На сей счет я, не имея других бесспорных доказательств, положился бы на одно только Фридино слово. Сколь бы неправдоподобным тебе это ни казалось, как бы ни расходилось с твоими представлениями о жизни, о господах чиновниках, о благородстве и действии женских чар, это все равно правда, такая же правда, как то, что мы сейчас сидим рядом и я беру твою руку в свои ладони, — вот так же, наверно, как будто это самая естественная вещь на свете, и Кламм с Фридой рядышком сидели, и он по доброй воле сюда, вниз, к ней спускался, даже спешил, и никто не подкарауливал его в коридоре, халатно забросив свою работу, да-да, Кламм сам сподабливался сойти вниз, и изъяны в костюме Фриды, способные привести тебя в ужас, ничуть его не смущали. Ты просто не хочешь ей поверить! И даже не понимаешь, как именно этим выдаешь себя с головой, выставляя напоказ свою неопытность, свое незнание жизни. Даже вовсе не зная

об отношениях Фриды с Кламмом, нельзя не заметить во всем ее существе нечто особенное, сложившееся под влиянием человека, который ни тебе, ни мне, ни любому здесь в деревне не чета, человека, общение с которым выходит далеко за пределы обычной докучливой трепотни между гостями и официантками, — а для тебя в этой трепотне чуть ли не цель и смысл всей жизни. Но я несправедлив к тебе. Ты ведь сама прекрасно подмечаешь достоинства Фриды, сама говоришь о ее наблюдательности, решительности, умении влиять на людей, правда, истолковываешь все это неверно, полагая, будто она все эти качества своекорыстно, только к своей выгоде или во зло другим, а то и вовсе как оружие против тебя лично использует. Нет, Пепи, даже будь у нее такие могучие стрелы, со столь короткого расстояния их не выпустить. Это она-то своекорыстна? Скорее можно сказать, что она, пожертвовав всем, что у нее было и чего она вправе была ожидать от будущего, нам с тобой предоставила возможность подняться повыше и себя показать, но мы оба ее подвели и, можно считать, просто вынудили на прежнее место вернуться. Не знаю, верно ли это, да и вина моя не вполне мне ясна, только когда я тебя с собой сравниваю, какое-то смутное пони-

мание начинает во мне брезжить; ну вроде того, что старались мы оба слишком уж по-детски, шумно, суетливо и неуклюже, словно нечто, что Фридиным спокойствием и деловитостью легко и незаметно взять можно, мы с истерикой, плачем и дерганьем цапнуть норовили, — как ребенок всю скатерть со стола тянет, когда ему что-то на столе нравится, а в итоге ему одни черепки достаются и надежды, разбитые в прах и утраченные навсегда. Не уверен, так ли в точности с нами было, но скорее уж так, чем как ты рассказываешь, это я знаю наверняка.

— Ну да, — сказала Пепи, — ты все еще любишь Фриду, потому что она от тебя сбежала. Кто уходит, того нетрудно любить. [*По сути-то ты ведь даже вовсе не в нее влюблен, а в трактирщицу, ее хозяйку, ведь люди, когда про Фриду говорят, на самом деле хозяйку имеют в виду, а Фрида — ее порождение и ее волю исполняет, к ней каждый час за советом бегает. Собственно, это и была единственная моя надежда — что низвержение Фриды без ведома хозяйки произошло, что хозяйка теперь Фриду своими заботами оставила и что теперь Фрида разве что к ней в услужение пойдет. Я сейчас как на духу с тобой говорю. Вот честное слово, Фридиных стрел я нисколько не*

боялась, от них-то я, как от мух, отмахнулась бы, а заодно и от Фриды вместе с ними.] Хорошо, пусть по-твоему будет, пусть ты во всем прав, даже когда меня высмеиваешь, — но сам-то ты что делать будешь? Фрида тебя бросила, и как ни толкуй, хоть по-твоему, хоть по-моему, надежды, что она к тебе вернется, у тебя нету, а даже если и вернется, где-то надо тебе перекантоваться до ее возвращения, на дворе вон зима, а у тебя ни работы, ни ночлега. Пойдем к нам, подружки мои тебе понравятся, мы тебя уютно устроим, будешь нам в работе помогать, для девушек она и в самом деле тяжеловата, да и нам веселее, ночами перестанем от страха дрожать. Пойдем к нам! Подружки мои, они тоже Фриду знают, мы тебе столько историй про Фриду расскажем — надоест слушать. Пойдем! У нас и фотокарточки Фриды есть, мы тебе покажем. Правда, Фрида тогда еще поскромней выглядела, чем сейчас, ты и не узнаешь ее, наверное, разве что по глазам, они и тогда уже были лисьи. Ну что, пойдешь?

— А это разрешено? Ведь еще вчера, когда меня в вашем коридоре застукали, жуткий скандал вышел.

— Потому что тебя застукали. А когда у нас будешь жить, не застукают. О тебе и знать никто

не будет, только мы трое. Ой, вот будет весело! Мне уже сейчас тамошняя жизнь куда терпимей кажется, чем минуту назад. Может, я не так много и теряю, уходя отсюда. Слушай, мы и втроем-то не скучали, ведь как-то надо себе эту горькую жизнь подслащать, а то ее прямо с юности горечью заливают, чтоб медом не казалась, вот мы втроем и держимся вместе, стараемся красиво жить, насколько это там вообще возможно, особенно Генриетта тебе понравится, но и Эмилия, я им про тебя уже рассказывала, там такие истории как сказки слушают, словно за стенами нашей каморки взаправду ничего и случиться не может, нам тепло и тесно, а мы еще теснее друг к дружке прижимаемся, нет, мы хоть и вынуждены все время вместе жить, а ничуть друг другу не надоели, наоборот, как о подружках своих вспомню, мне вроде даже и хорошо, что я снова туда возвращаюсь. Да и с какой стати я выше них должна подниматься? Ведь это как раз то, что всех нас вместе держало, — что у всех троих одинаково вместо будущего стенка непрошибаемая, а я вот все-таки прорвалась, и это нас разлучило; правда, я их не забывала, и моей первой заботой было — как хоть что-нибудь для них сделать? Я на новом месте сама еще непрочно сидела, — правда, на-

сколько непрочно, я тогда и ведать не ведала, — а с хозяином насчет Генриетты и Эмилии тотчас переговорила. По поводу Генриетты он с порога отказывать не стал, а вот с Эмилией, которая много старше нас, она примерно одних лет с Фридой, всякую надежду сразу перечеркнул. Но представляешь, сами они даже и не хотят оттуда уходить, хоть и понимают, что жизнь у них там жалкая, но притерпелись, кроткие создания, по-моему, при нашем прощании они больше не о себе, а обо мне плакали, что я нашу каморку покидаю и куда-то в холодный мир ухожу, — нам ведь за стенами комнаты нашей везде жуткий холод мерещится, — и там, в чужих холодных залах, буду мыкаться среди надменных чужих людей с одной-единственной целью выжить, хотя и в нашей общей девичьей комнатенке мне прекрасно это удавалось. Они, вероятно, и не удивятся, когда я вернусь, и только в угоду мне всплакнут немного и на трудную судьбу мою посетуют. Зато потом увидят тебя и сразу поймут, что я не зря от них уходила. Счастливы будут, что у них теперь настоящий мужчина есть, защитник и помощник, а уж оттого, что все это тайной должно оставаться, и вовсе придут в полный восторг, ведь тайна крепче прежнего нас сплотит. Пойдем, ну прошу

тебя, пойдем к нам! Тебя это ни к чему не обязывает, и к комнате нашей ты не будешь привязан навсегда, как мы. Если с наступлением весны ты подыщешь себе другое пристанище, если тебе не понравится у нас, ты всегда волен уйти, правда, тайну ты и тогда сохранить обязан, ведь если ты вдруг нас выдашь, это будет наш последний час в «Господском подворье». Но и сейчас, когда ты у нас будешь, тебе придется очень осторожно себя вести: не показываться там, где, на наш взгляд, это небезопасно, и вообще нас слушаться; это единственное, что тебя свяжет, но ведь это не только в наших, но и в твоих интересах, в остальном же ты будешь совершенно свободен, работу мы тебе дадим нетрудную, на этот счет можешь не опасаться. Ну что, идешь?

— А сколько еще до весны осталось? — спросил К.

— До весны? — переспросила Пепи. — Зима у нас долгая, очень долгая и тоскливая. Но у себя, внизу, мы на это не жалуемся, нам холода не страшны. Когда-нибудь и весна придет, и лето, всему свое время, только сейчас-то, по воспоминаниям, лето и весна такими коротенькими кажутся, все равно что два дня, не больше, да и в эти дни, в самую дивную погоду, нет-нет да

пойдет и снег.

Тут дверь вдруг отворилась, Пепи вздрогнула, в мыслях она уже витала далеко-далеко от буфетной, но это оказалась не Фрида, это была хозяйка. Застав К. в буфетной, она сделала удивленное лицо — неужто он все еще здесь? К. извинился, сославшись на то, что именно ее он и дожидается, и поблагодарил, что ему позволили переночевать. Хозяйка не поняла, с какой стати он вздумал ее дожидаться. У него, отвечал К., сложилось впечатление, будто хозяйка с ним еще раз поговорить хотела, если это ошибка, он прощения просит, да ему и уходить пора, школа, где он смотрителем работает, и так непозволительно долго без присмотра остается, это вчерашний вызов всему виной, слишком мало у него пока опыта в таких делах, но неприятностей, как вчера, он хозяйке больше не причинит, такое никогда впредь не повторится. И он поклонился, намереваясь уйти. Хозяйка смотрела на него мечтательным, с поволокой взглядом, будто во сне. Под этим взглядом К. промедлил дольше, чем ему хотелось. Тут хозяйка вдобавок еще и слабо улыбнулась, и только удивленное лицо К. как будто пробудило ее от грез, — казалось, все это время она ждала ответа на свою улыбку и лишь теперь, когда ответа не

последовало, очнулась окончательно.

— Ты вчера, по-моему, имел дерзость что-то заметить о моем платье?

К. ничего такого не мог припомнить.

— Ах не припоминаешь? Выходит, дерзость твоя еще и за трусость прячется?

К. извинился, сославшись на вчерашнюю усталость, вполне возможно, он вчера что-то и сболтнул не подумавши, только вот напрочь не помнит что. Да и что такого мог он сказать о платьях хозяйки? Только то, что таких красивых в жизни не видал. По крайней мере, ни одну хозяйку на работе он в таких нарядах не видывал.

— Попридержи-ка язык, — резко оборвала его хозяйка. — Я больше ни слова от тебя про свои платья слышать не желаю. Не твоего ума дело о платьях моих беспокоиться. Запрещаю тебе это раз и навсегда. К. снова отвесил поклон и направился к двери.

— Это как же прикажешь понимать, — вдруг крикнула хозяйка ему вдогонку, — что ты ни одну хозяйку в таких нарядах на работе не видывал? Что за вздор ты несешь? Это же совершенная бессмыслица! Что ты этим хочешь сказать?

К. обернулся и попросил хозяйку не волноваться попусту. Разумеется, он сказал совершенную

бессмыслицу. И в платьях он, ясное дело, ничего не понимает. Человеку в его положении всякое чистое и незалатанное платье уже кажется роскошным нарядом. Он только удивился, когда ночью, в коридоре, среди всех этих полуодетых мужиков хозяйку в красивом вечернем платье увидел, вот и все.

— Ну вот, — сказала хозяйка, — похоже, ты все-таки припомнил свое вчерашнее замечание. И решил очередной глупостью его дополнить. Что ты в платьях ничего не смыслишь — это верно. Но тогда — имей в виду, я серьезно тебя об этом попросила — не берись судить о том, какие платья дорогие, какие вечерние, когда они подходят, а когда нет и все такое. И вообще, — тут она передернулась, будто ее вдруг пробрал озноб, — оставь мои платья в покое, ясно тебе?

К., ни слова не говоря, хотел было повернуться, как она вдруг спросила:

— Откуда у тебя вообще такие знания, чтобы о платьях рассуждать?

К. только плечами пожал: нет у него таких знаний.

— Нет, говоришь? — резко бросила хозяйка. — Тогда и не прикидывайся знатоком. Пойдем-ка со мной в контору, покажу тебе кое-что, после чего у

тебя, надеюсь, навсегда пропадет охота говорить дерзости.

Она первой вышла из двери, Пепи успела подскочить к К. и под предлогом, что он с ней не расплатился, торопливо стала с ним договариваться; это оказалось легко: двор гостиницы, ворота которого выходили в боковой переулок, К. уже знал, рядом с воротами имелась калитка, за которой примерно через час Пепи будет его ждать и на троекратный стук ему откроет.

Контора находилась прямо напротив буфетной, только прихожую пересечь, хозяйка в нетерпеливом ожидании уже стояла на пороге освещенной комнаты и смотрела на К. Того, однако, снова задержали. Герштекер ждал К. в прихожей и хотел немедленно с ним переговорить. Не так-то просто оказалось от него отделаться, однако тут и хозяйка К. помогла, попеняв Герштекеру за его назойливость.

— Да куда ты? Куда? — под прихлоп закрывшейся двери донесся до К. возглас Герштекера, отвратительно перемежаемый оханьем и кашлем.

Контора оказалась маленькой перетопленной комнаткой. По торцевым стенам стояли бюро и железный ящик кассы, по продольным — гардероб и оттоманка. Большую часть помещения

занимал гардероб, не только заполняя всю стену в длину, но и донельзя сужая комнату своим гигантским выпирающим корпусом с тремя створками раздвижных дверей. Хозяйка указала на оттоманку, предложив К. присесть, сама же села на вертящееся кресло возле бюро.

— Что же, ты даже портняжничать не учился? — спросила она.

— Нет, никогда, — отвечал К.

— А чем вообще занимаешься?

— Землемер.

— И что это за работа такая?

К. начал объяснять, от его объяснений хозяйка принялась зевать.

— Ты не говоришь мне всей правды. Почему ты мне всей правды не говоришь?

— Так и ты ее не говоришь.

— Я? Опять дерзить начинаешь? А даже если и не говорю — что, мне оправдываться перед тобой, что ли? И в чем я, по-твоему, не говорю правды?

— Ты не только хозяйка, какой стараешься на людях казаться.

— Смотри-ка, да у тебя что ни слово, то открытие прямо. Кто же я еще? Ты в своих дерзостях и впрямь далековато заходишь.

— Не знаю, кто ты еще. Я только вижу, что ты

хозяйка, а платья носишь, какие простой хозяйке не подходят и каких, сколько я знаю, никто здесь, в деревне, не носит.

— Ну вот, наконец мы до сути дошли, ты, оказывается, отмалчиваться не умеешь, может, ты вовсе и не дерзишь, а просто как маленький ребенок, который какую-нибудь глупость узнал, и его уже никакими силами не заставить о ней молчать. Так что говори. Что такого особенного в моих платьях?

— Если я скажу, ты рассердишься.

— Да нет, посмеюсь только, на детский лепет какой прок сердиться. Так какие же у меня платья?

— Ну хорошо, ты сама настояла. Что ж, они из добротного материала, довольно дорогие, но давно устарели, старомодные и слишком богатые, к тому же переделанные и поношенные, словом, — не идут они тебе — ни по возрасту, ни по фигуре, ни по должности. Мне это сразу в глаза бросилось, в самый первый раз, как я тебя увидел, еще неделю назад, здесь, в прихожей.

— Ах так, значит. Старомодные, слишком богатые, а еще что? И откуда тебе это так хорошо известно?

— Просто вижу, и все. Этому учиться не надо.

— Просто видишь, и все? Никого не спрашивая,

сразу понимая, что модно, а что нет? Этак ты для меня незаменимым человеком станешь, ведь наряды — моя слабость. А как ты посмотришь на то, что весь этот шкаф платьями битком набит?

Она раздвинула все три дверцы, и взгляду открылось множество платьев, висящих действительно битком, вплотную друг к дружке, во всю ширину и глубину гигантских гардеробных недр; платья в основном были темные, серые, коричневые, черные, все тщательно расправленные и развешанные.

— Это все мои платья, и все старомодные, если тебя послушать. Причем только те, что не уместились наверху в моей комнате, там у меня еще два шкафа, тоже битком, да-да, два шкафа, каждый почти с этот величиной. Ну что, удивлен?

— Да нет, чего-то в этом роде я и ожидал, говорю же, ты не только хозяйка, у тебя что-то еще на уме.

— У меня одно на уме: одеваться красиво. А ты либо болван неотесанный, либо дитя малое, либо очень опасный, злой человек. Все, отправляйся, да ступай же!

Едва К. вышел в прихожую, где его тотчас ухватил за рукав Герштекер, как из конторы снова донесся голос хозяйки:

— Завтра мне доставят новое платье, может, я велю тебя позвать.

Герштекер, сердито тыча кулаком в воздух, словно надеясь на расстоянии заставить надоедливую хозяйку наконец умолкнуть, немедленно потребовал от К. идти вместе с ним. В дальнейшие объяснения он поначалу вообще не желал пускаться. И доводов К., что ему, дескать, надо в школу, тоже не желал слушать. Лишь когда К. всерьез заартачился, не позволяя тянуть себя невесть куда, Герштекер сообщил, что беспокоиться К. не о чем, у него, Герштекера, ему ни в чем отказа не будет, а место школьного смотрителя он вообще может бросить, только сейчас, ради бога, пусть пойдет с ним, он и так целый день его, К., прождал, а его, Герштекера, матушка даже не знает, где его носит. Нерешительно уступая, К. спросил, за какие такие труды Герштекер намерен предоставить ему кров и пищу. На что Герштекер как бы невзначай бросил, ему, дескать, нужен помощник на конюшне, сам он другими делами заниматься будет, только ради бога, пусть К. перестанет упираться и без нужды его задерживать. Захочет, чтобы ему платили, — будут платить. Тут К. и вовсе встал, как ни тянул его Герштекер. Да он в лошадях ни бельмеса не смыслит! Это и

не требуется, нетерпеливо отвечал Герштекер и от досады даже руки молитвенно сложил, лишь бы заставить К. стронуться с места.

— Я знаю, зачем я тебе понадобился, — сказал наконец К.

Однако Герштекеру было совершенно безразлично, что К. знает, а чего нет.

— Ты надеешься, что я могу у Эрлангера словечко за тебя замолвить.

— Конечно, — отвечал Герштекер, — иначе какой мне от тебя прок?

К. рассмеялся и уцепился за руку Герштекера, наконец-то позволяя тому потащить себя сквозь кромешную темень.

Горница в избенке Герштекера была тускло освещена огнем очага и огарком свечи, в бликах которой, притулившись в уголке под выступающими над головой потолочными балками, кто-то согнувшийся в три погибели сидел и читал книгу. Это была мать Герштекера. Она протянула К. дрожащую руку и усадила рядом с собой, говорила она с трудом, и разбирать ее слова было трудно, но то, что она сказала…

(На этом рукопись обрывается.)